

# НОВОБЫИ МИИР

8

---

1996



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(856)

Август, 1996 г.

---

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

## СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Обертон, повесть	3
АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН — Корабль дураков, стихи	52
ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ — Дом и храм, стихи	55
ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ — Сорок лет Чанчжоз, роман. Окончание	58
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — По былинам сего времени, стихи	130
ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ — По классу фортепиано, стихи	134
ЮРИЙ БУЙДА — Три рассказа	136
ФРЕД СОЛЯНОВ — Житие колокольного литца, рассказ	149

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

АНТОНИО ТАБУККИ — Два рассказа. Перевел с итальянского Валерий Николаев	160
---	-----

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Свой среди своих. Савинков на Лубянке. Окончание	170
---	-----

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МАРИНА НОВИКОВА — Месяцеслов	195
------------------------------	-----

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Алена Злобина. Платонический театр.	209
Татьяна Касаткина. В поисках другой половины.	
Ольга Кузнецова. Представление продолжается.	
Евгений Перемьшлев. О людях, богах и зверях.	
Александр Носов. Сумбур вместо философии?	
Алексей Зверев. Сплетение без стебля.	

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПОЭЗИЯ КАК СОСТОЯНИЕ. Из стихов и заметок Ивана Соловьева. Публикация и предисловие Михаила Эпштейна 230

#### КОРОТКО О КНИГАХ:

Алексей Козырев. — I. К. Мочульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. II. Л. М. Лопатин. Аксиомы философии. III. Сочинения Василия Васильевича Розанова. Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899 — 1913 гг. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. ♦

Елена Ознобкина. — «Пирамида». Книжное приложение к журналу «Логос». 241

КНИЖНАЯ ПОЛКА 251

ПЕРИОДИКА 253

SUMMARY 256

#### **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



## ОБЕРТОН

*Повесть*

*Валентине Михайловне Ярошевской.*

**З**овут меня Сергей Иннокентьевич Слесарев, хотя я на самом-то деле Слюсарев, но, прокатывая человека по калибрам армейской жизни, дорогая наша действительность постепенно снимала или целесообразно стесывала топориком с человека все умственные и прочие излишества, чтобы он не портил строя, не изгибал ранжира, ничем не выделялся из людского стада. Малограмотные хлопцы с Житомирщины иль с Волыни, которым не дано было выбиться в полководцы иль хотя бы в старшины, приспособили себя в писари и тут уж царили, включая на всю мощь те полторы извилины, которыми наделил их Создатель.

Поначалу я сердился, возражал, сопротивлялся, если искажали мою фамилию, но когда получил красноармейскую книжку перед отправкой на сталинградскую мясорубку, махнул рукой: не все ли равно, убьют меня Слюсаревым или Слесаревым — какое это будет иметь значение перед историей? Мать с отцом живут по адресу, заключенному в пластмассовый патрончик, и узнают, а не узнают, так почувствуют, что это их сын, Сергей Иннокентьевич, сложил голову на Волге или где-то еще дальше.

Так же вот, как я, безвольно отдаваясь казенному упрощению, военному бюрократизму, наш народ постепенно исказился не только в личном документе, но и характером, и обликом своим. Нынче почти над каждым русским дитем висят явственные признаки вырождения. А началось-то все с буковки, с какого-нибудь родового знака, с нежелания сопротивляться повсеместному произволу.

Работая после войны слесарем вагонного депо, я по ротозейству, свойственному людям задумчивым, не успел назвать другого кандидата, и меня избрали в профсоюзный рабочий комитет. Знакомясь с бумагами, я с удивлением узнал, что в нашей бесправной стране еще существуют остатки дотлевающей демократии. Администрация предприятия обязана каждый год заключать с рабочими коллективный договор. В этом важнейшем для жизни трудового человека документе я обнаружил, что рабочий люд сам постепенно уступил всякие свои права родному государству, сделался бесправным большей частью по своей лени и бездумию. Из колдоговора каждый год исчезали пункт за пунктом, параграф за параграфом. Одним из первых исчез из договора пункт о праве на забастовку, продержавшийся на иных крупных предприятиях аж до середины тридцатых годов.

К той поре, когда мне довелось отбывать профсоюзную нагрузку, никто уже колдоговора, вывешенного в профсоюзном комитете, в партбюро и кое-где в цехах — на досках объявлений, — не читал. Собrania по заключению колдоговора проводились раз в году, но и тогда, чтобы собрать кворум, начальники цехов закрывали душевые вместе с чистой одеждой, никого после смены домой не отпускали до тех пор, пока не будет утверждён общим собранием важнейший трудовой документ. На вопрос, как го-



лосовать — за каждую статью и параграф отдельно иль за весь договор сразу, — следовал неизменный ответ: «Сразу!»

Ну, я забежал вперед. Рассказ мой или личное воспоминание не об этом, не о правах и бедах трудящихся, а о любви, о несостоявшейся любви, объехавшей, облетевшей иль прошагавшей мимо меня. Ах, как я завидую тем моим братьям фронтовикам, которые так жадно вглядываются в военное прошлое, и там, среди дыма и пороха, среди крови и грязи, мерцает издали им тихой, полупогасшей звездочкой то, чего нет дороже, то, что зовется совершенно справедливо наградой судьбы.

В сталинградской мясорубке меня не дорубило, лишь покалечило. Долго я путешествовал по госпиталям, долго и много шарилась в моей требухе усталые хирурги, чего-то отрезали, удаляли, пока наконец, облегченного, не возвратили в строй.

Осенью сорок четвертого года, на одной из многочисленных высот, в Карпатах, я был тяжело ранен осколком авиационной бомбы — раскрошило в бедре моем кость, в боку выбило ребро, камнями изборозило лицо. Я потерял много крови, пока на перекладных и попутных транспортах доставили меня в медпункт, затем, уже в санпоезде, — в стационарный госпиталь. «Жизненно важные» центры, как писалось в истории болезни и говорилось врачами, оказались не задеты, мясо же на молодом теле нарастет. Однако ж и молодое, беззаботное тело способно гнить при тех лекарствах и снадобьях, которые имелись в госпитале, да и во всей тогдашней медицине, обслуживающей рядовой состав: гипс покрепче, марганцовка и мазь, похожая на солидол, стираные бинты, — лечись, героический боец, если хочешь жить.

А что делать? И лечились, и выздоравливали, пусть и не вдруг.

Весной сорок пятого года я был комиссован в нестроевики и направлен на военно-почтовый пункт в местечко Ольвия, что на Житомирщине, может, и на Подолии, — я сейчас уже не помню, — где женское поголовье почтовиков, назначенное к демобилизации, жаждало замены, чтобы поскорее вернуться домой.

Ольвия — благословенный райгородок, стоящий чуть поодаль от железной дороги и от всяких других важных и беспокойных магистралей. Вкалывающих бок о бок почту и цензуру отцы тыловой части наострились устраивать добротню. Ольвия, совсем почти не тронутая войною, была тем райским местечком, где можно было отъедаться, стрельбы не бояться, офицерам заводить романы, иногда заканчивающиеся женитьбой, и солдатам — правда, реже — случалось встретиться с любовью, этим вечно обновляющимся даром Господним.

Увы, увы, дар великий, дар бесценный умудрился я профукать — один раз по бесшабашности молодой, другой раз — уж точно — по вине нашей беспощадной, извилистой, лучше сказать старомодно, по причине изменчивой, бесчувственной судьбы. Мало это, очень мало для человеческой жизни — всего два сближения со счастьем, и оттого еще жальче прошлого и хочется, опять же как в старину, воскликнуть: «Ах, если б можно было повернуть прошлое вспять!..»

Почта текла еще потоком, однако напор белых волн ослабевал, успокаивалось взбаламученное море, оседал на землю дым войны, умолкало слово, исторженное тоскующим человеческим сердцем. Но в бывшей начальной школе, где располагался почтовый сортировочный пункт, оставались еще завалы пыльных мешков с письмами, штабелями сложенных в экспедиционных кладовых, вдоль стен и меж столов сортировки.

Не передохнув, не осмотревшись, нестроевики попали в обучение, включились в работу. Ничего сложного в той работе не было: в секции, в таком квадратном купе, сделанном из грубо сколоченных ящичков, по алфавиту были встроены соты и в те соты надо было забрасывать вынутые из мешков письма. Казалось бы, какая хитрость: помнишь алфавит — и шуруй от ящичка «А» к ящичку «Б» и так далее до ящичка «Я». Мечи письма попроворней, не путай буквы, не кидай конверты мимо сотов.



На перекладинке купейного косяка, в которое меня определили, виднелась бумажка, на ней написано: «№ 6 — Некрасова Софья Игнатьевна. Прожогина Тамара Алексеевна». Для удобства экспедиторов писана, точнее, для раздатчиков писем на сортировку. В той секции, где мне предстояло работать, куда определил меня начальник сортировочного цеха лейтенант Кукин Виталий Фомич, прыгали, точнее, по воздуху летали и неуловимо бросали письма две девушки, сделавшие вид, что никого они не ждут, начальника с «новеньким мальчиком» не слышат и так сосредоточены на работе, что все их помыслы поглощены трудом и только трудом, нужным Родине.

— Софья! Тамара! Вот вам ученик, второго не досталось. — Лейтенант постоял, подумал, глядя на вдохновенную работу сортировщиц, шмыгнул остреньким носом, приложил ладонь ко вбок зачесанной, блеклой, вроде как мокрой челочке и добавил, удаляясь: — Пришлют еще бойцов, добавлю и второго...

Я стоял у входа в секцию, по которой, клубя пыль, метались девушки. Хотя и горела лампочка, спущенная с потолка на длинном шнуре в ящик почтового купе, я не вдруг различил, что одна девушка — блондинка, вторая же — черная, будто муха, и летает по тесному пространству тоже как муха, даже почудилось, что она жужжит. Девушки дали вдосталь полюбоваться вдохновенным их трудом. Муха фукнула носом или ртом, развеяв перед собою пыль, выдвинула из-под стеллажа вделанную в него толстую доску и села на нее. Следом то же самое проделала и напарница Мухи. Обе они были в застиранных сатиновых фартуках, расширенных до размеров халата мешковинами, пришитыми по бокам. У обеих работниц волосы подобраны под платочки. Странная самодельная спецовка делала их похожими на работяг с какого-нибудь вредного завода. У Мухи волосья не держались взаперти, лохмы или кудри торчали отовсюду. У ее напарницы волосы закатаны в валик над шеей и стянуты за ушами. Лица девушек угрюмы, в подглазьях тени. Пыль! — догадался я.

— Ну, здравствуй, работник! Проходи, хозяином будешь, — насмешливо сказала Тамара-Муха и подала мне руку. — Давай знакомиться. Меня зовут Тамарой. — Собралась представить подругу, но та остановила ее взглядом, поднялась с седухи-доски и тоже подала мне руку:

— Соня.

Я поискал глазами, где бы присесть. Тамара взлетела со своего сиденья, приткнулась задом на кромку низкого стеллажа, подставленного под ящики с сотами.

— Садись! — похлопала она по столешнице. — В ногах правды нет...

— А в чем она есть? — попытался я завязать разговор.

— В чем?! — переспросила Тамара. — А вот поработаешь в этом месте, — покрутила она головой по купе, в котором медленно оседала пыль и становилось светлее, — узнаешь. А сейчас слушай и запоминай...

Тамара начала посвящать меня в премудрости сортировочной работы. Соня сходила за ведром, принялась зачерпывать ладошкой воду, разбрызгивать по полу. Пол, покрытый слоем пыли и мелкими-мелкими крошками бумаги, воду не принимал — она скатывалась в капли, в комочки, в пластушки. Соня полосами размазывала серую смесь, выметала в коридор валик из пыли и бумажного мелкого хлама.

В этот день Соня и Тамара пощадили меня, не загрузили работой. Поскольку все почти ученики после совместного труда двинулись провожать своих наставниц — а жили они в снятых для них хатах, — я тоже увязался за Сонею и Тамарой и дорогой скупово поведал им о себе. Узнав о характере моего ранения, девушки в голос заявили, что я хоть и хороший парень, но надо мне подыскивать другую работу: эту мне, раненному в ногу, не выдержать.

Меня и в самом деле хватило на неделю. Я до того наискакался по купе, что раненая нога начала опухать, на лбу — от боли — горохом прорастали и катились за воротник крупные капли, а там и температура поднялась. Я



занедужил. Девушки делали работу за троих, если сказать поточнее — делала ее Тамара. От нее, от Тамары, я узнал, что у Сони начался туберкулезный процесс, который она всеми силами скрывает, чтобы без осложнений демобилизоваться и уехать домой, где ждала ее мама и должен был с фронта приехать жених.

Чтобы не быть совсем уж тунеядцем, я вызвался помогать хотя бы экспедиторам. Девушки, обрадовавшись, затащили в свой закуток экспедиторшу Любу, которая имела звание старшего сержанта, отвозила отсортированную почту в цензуру, иногда ездила на станцию за мешками с почтой, по-нынешнему сказать — была челноком. Девки-подружки хотели, чтоб я попал на «чистую» работу и заменил Любу в переправке писем из почты в цензуру, откуда, как я скоро уяснил, Люба не торопилась обратно, так как в строгой цензуре ее, как и на почте, тоже обожали. Слух шел: один цензурный начальник в чине майора, потерявши голову, предлагал Любе сбежать куда-нибудь, но Люба будто бы заявила, что не оставит своих девочек и ее не только трусливый тыловик-майор, но даже пехотный генерал никуда не сманит.

Должность у Любы была не пыльная, почти вольная, и ей навешали общественных нагрузок до завязки: была она секретарем комсомольской организации, общественным информатором, ведала библиотекой и еще чем-то. Однако все эти нагрузки Любу нисколько не угнетали и на здоровье ее не влияли.

Поскольку Любе препоручили меня, то и нагрузки ее как бы сами собой переместились на меня, лишь комсомольское дело отпадало: я как-то умудрился не вступить в комсомол, да и информатор из меня тоже не получился — редко видел я газеты, радио почти не слушал, но библиотеку принимать отправился охотно.

Библиотека размещалась в пристройке к школе, имела отдельное крыльцо и вход с торца школы. Этим входом пользовалась и экспедитор Женяра Белоусова, боковушка которой помещалась в бывшей школьной кладовке. Люба делала сообщения насчет текущего момента, взобравшись на длинный, вроде бы тоже нестройной стол первичной сортировки; обшарпанный по углам, безропотно принимал он всю войну на спину свою тонны писем. С этого стола, распиная на нем пачки писем, Люба рассказывала военные и всякие новости, поскольку общалась с миром и людьми шире, чем запечатанные в сортировочных купе девчонки.

В пыльном и мрачном помещении сортировки я не разглядел Любу, думал, стану ездить на машине в цензуру, тогда и подивлюсь на нее. Ан выпало мне ездить в кузове, Любе — в кабине. Что тут узрешь? Лишь принимая библиотеку, сидя рядом иль за столом, перелистывая книги, проявил я некоторую решительность, пристальней разглядел свою начальницу.

Крупная, будто рюмка всклень, до краев, стало быть, налитая деваха носила себя по земле бережно. Обутая в хромовые сапоги, плотно облегающие икры, обтянутые тонкими чулками, с фигурой как бы обвалившейся под грудь, которую достойно было назвать грудью бойца, до того ли она гордо себя возносила, что комсомольский значок, бабочкой лепившийся к клапану кармана военной гимнастерки, торчал лишь древком знамени, и для того чтоб прочесть буквы ВЛКСМ, следовало взобраться если не на дерево, то хотя бы на скамейку. Ко всему этому назревшему до последней спелости телу была приставлена пышная головка с неожиданно бледной кожей и оттого кажущейся беззащитной шеей. На голове Любы женским приспособлением, скорее всего обыкновенными бумажками, смоченными пивом, иль накаленным над пламенем гвоздем, взбодрены были над ушами и надо лбом небрежные локоны иль даже кудри. Волосы темно-орехового цвета, и без того пышные, как бы сами собой радостно растущие, густо восходили наверх, вроде даже и подпушек иль кедровая прохладная тень на голове угадывалась. Но все эти достоинства Любы не главные, главное-то и описать невозможно, большая решимость для этого требуется. Даже глаза Любы, серые глаза с четко очерченными зрачками, как бы



чуть сонные от переутомленности, и курносый нос, и щеки со слегка выступающими скулами, овеванные не румянцем, а яблочной алой мглой, и подбородочек, будто донышко новенькой детской игрушки, — все-все эти детали лица, сами по себе — загляденье, являлись все же второстепенными по сравнению с несравненными губами Любы. Яблочко или две спелые вишни, зажатые во рту, персик пушистый, ярчайший заморский фрукт — все-все слабо, все блекло, все ничтожно в сравнении с теми губами. Признаться, не единожды утрачивал я присутствие духа в приближенном разглядывании Любы, и сердце мое, стронувшееся с места и откатившееся в какой-то совершенно пустой угол, не смело оттуда возвращаться, потому как неодолимо влекло меня впитаться в эти перенапряженные от яркого пламени губы, раскусить их, ожечься.

«Ах ты, Господи, Боже мой! — думал я в смятении, боясь долго глядеть на Любу. — Это сколько же мужиков она уже свалила и свалит еще, искрошит в капусту и схрумкает!..»

С удивлением и с обвинением человечества за слепоту его узнал я от наставницы моей Тамары, что в жизни Любы, не считая школьных, пионерских, увлечений, случился лишь один роман — с непосредственным начальником, Кукиным Виталием Фомичом, да и тот роковой: во время передислокации почтовой части, в запущенной хате, у какой-то знахарки с березанских болот, за банку тушенки Любе сделали аборт.

С тех пор не только Кукина, но и всяких прочих мужиков Люба на выстрел к себе не подпускает.

Муха-цокотуха, выболтав мне много девичьих историй, заодно поведала и свою: попутал ее моряк-злодей... а она — архангельская, на море и моряках помешанная. На 1-м Украинском фронте моряк — явление редкое, увидела парня в матроске, в бескозырке, втюрилась в него и с ходу отдалась, без последствий, правда.

— Да я-то что? Вон Соня у нас...

А Соня все чаще оставалась дома или, посортировав почту полдня, уходила с работы. Тамара делала работу и за нее, летала по сортировке, что-то напевая, и чудилось, на просторе сортировочной клетки ей одной-то еще спорее работается. Клубилась пыль вокруг этого мохнатенького, все время жужжащего какой-нибудь мотив, до последней худобы износившегося существа.

Зла не ведающий человек, скорый на любое дело, на язык и мысль, Тамара любила стихи, особенно Есенина и Кольцова, а Соня — прозу и вообще литературу серьезную. В армию Соню взяли из университета. Среди военных подруг в сортировке Соня была пожалуй что самой образованной. Не глядя на болезнь, она потихоньку готовилась по присланной ей программе — продолжать учебу в университете.

Тамара порхала по клетке, а я в свободное время читал ей по книжке Никитина «Звезды меркнут и гаснут»; «На заре туманной юности» — Кольцова; «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком» — Есенина.

— Сереж, а наша-то роща уж совсем отговорила или как? — всхлипывала порой Тамара.

— Да что ты? — бодрился я сам и бодрил Тамару. — У нас еще все впереди! У нас еще ого-го! И найдешь ты своего моряка иль другого из моря вытащишь...

— Может, из канавы?

— Ну и что! — дурачился я. — Отмоешь, отскоблишь, ты у нас вон какой трудолюбивый человек!

— Ага, ага, вон какой, а сам на Соню да на Любу только и пялишься, а я — мимо тебя, мимо ребят...

— Так и я мимо... Соня — не по нашей ноге лапоть. Люба — тоже. Поговорку помнишь: «Гни березу по себе»?

— Помню. Пошли на ставок.



И мы шли на ставок. На кисло-зеленой воде ставка густо напредила куга, осока и стрелолист, объединенные скотом до корней, — коровы забредали по пузо в воду и вырывали водоросли, сонно жевали их, выдувая ноздрями пузыри, обхлестывая себя грязными хвостами.

Тамара, разгребши ряску и гниющие водоросли, стирала с мылом и полоскала халаты, свой и Сонин, затем, скинув с себя верхнее, оставшись в бюстгальтере и трусах — если это изделие, сработанное из байки и мешковины, можно назвать трусами, — стояла какое-то время, схватившись за плечи, и, вдруг взвизгнув, бежала в мутную, ряской не затянутую глубь, с маху падала на воду. Черным утенком, быстро, легко, не поднимая брызг, плыла она, рассекая кашу водяной чумы, свисающей с высунувшихся, нарастивших островок подле себя обгорелых коряжин и обглоданных комков водорослей, пытающихся расти по другому разу.

— Бр-р-р-р! — стоя на мели в воде, обирая с себя ряску, отфыркивалась Тамара и принималась водить по неровному костлявому телу обмылком, ругательски ругала при этом пруд, Украину, нахваливала архангельскую местность.

— Не гляди! — командовала она, направляясь к огрызенным кустам, чтоб развесить на них мокрую спецовку и белье.

«Было бы на что!» — фыркнул я про себя. Прикрывшись понизу казенным полотенчиком с печатями, пришлепнув ладонями грудишки, наставница моя грелась на незнойном уже солнышке, устало подремывая.

Когда солнце опускалось за дальние холмы, Тамара, вздрагивая, натягивала на себя волглое белье, поверху набрасывая шинеленку, совала под мышку скомканые халаты, и мы медленно поднимались по выпеченному за лето до трещин косогорчику в улицу, к хате, в которой Тамара и Соня жили. Наставница моя, шутя иль всерьез — не поймешь, бросала, что я, как и все подбитые доходяги, с каждым днем разевающие все ширше рот на Любу, на других девушек, в том числе на заботницу свою, смотрю ладно если как на сестру, но что — как на колхозного заезженного одра.

Я вяло отругивался, сестер у меня никогда не было, я всегда об этом сожалел, даже вроде тосковал о сестре. В благодарность за утешение Тамара обещала пристроить меня к постоянной, не пыльной работе, себе же попросит помощника не столь ущербного.

И пристроила. И себя, и меня. Тихий, вежливый парень из братской в ту пору Молдавии угодил к Тамаре в наместники, и она уж его не выпустила из-под своей власти, соединилась с ним вплотную — после демобилизации в качестве жены уехала с ним в село под Бендеры, где быстренько родила двух смугленьких детей. Узнал я об этом уже дома, из письма ко мне.

Вместе с Мишей к Соне и Тамаре сунули еще одного бойца — Коляшу Хахалина. У него не разгибалась нога в колене, и он выдюжил на сортировке меньше, чем я, — всего три или четыре дня.

В коридоре, на приемке и разборке, работала славная девушка Стеша. Еще дальше, в конце коридора, была отгорожена кладовка, и там, в клетке без окон, без дверей, меж пыльных мешков с письмами, восседала Женяра Белоусова, имевшая звание сержанта и громко именовавшаяся экспедитором. Вот к ней скоро и был сослан Коляша Хахалин, парень хоть и шибко хромой, зато неунывный. В полутьме и уединении Женяра с Коляшей естественным ходом воссоединились, и этого как бы никто не заметил.

Ну а я... ох, надо дух перевести, — я долго принимал у Любы библиотеку. Библиотека была не большая, но и не маленькая, собранная со всех концов России с помощью и при содействии тыловых библиотек, шефствующих над почтовой военной частью. Предполагалось, что в книжном уюте я, как бывалый боец, сразу нападую на такой аппетитный кадр, девчонки предостерегли библиотекаря на счет моральной выдержки, и потому Люба держалась со мной холодно, однако скоро уяснила, что перебра-

ла лишка в смысле соблюдения нравственности, заметила, что я и без того перед нею робею, как и всегда робел перед женским сословием, Люба смягчилась, взгляду и голосу придавала приветливость и порой уж не говорила, а как бы ворковала, рассуждая о книгах, о культуре, делала уклон на любовные романы. Видя, что и это не подвигает меня к решительности, как бы ненароком касалась меня коленками под столом и однажды, зачем-то потянувшись к стеллажу, так придавила мою голову грудью с комсомольским значком — чуть шея у меня не сломилась и темечко, едва заросшее после госпитальной стрижки, едва не проломилось: так в него воткнулся болт не болт, но что-то твердое и до того раскаленное, что меня аж в жар бросило.

— Продырявишь башку-то! — сорванным голосом пошутил я.

— Не продырявлю. Башка у тебя дубовая. А продырявлю, так заживлю! — бодро заверила Люба и поцеловала меня в темечко, да еще и погладила по голове.

После таких ободряющих слов и действий я с табуреткой подвинулся ближе к Любе, и она не отодвинулась. Наступили сумерки. Свет мы не зажигали. Я, осторожно подкрадываясь, поцеловал Любу в шейку ее нежную, после и до губ добрался, до тех невероятных, редкостных губ, что манили к себе пуще спелой малины. Я, конечно же, воображал, что может статься с женщиною, награжденным поцелуем этаких яростно-жарких губ. Но слабо, ничтожно слабо оказалось солдатское воображение, чтобы выразить чувства, пронзившие меня. Тут только поэту пушкинского масштаба хватило б таланту и силы выразиться до конца и объяснить словами мое ошеломленное, полуобморочное состояние. Обмерев, сидел я, обняв Любу, и не верил привалившему невероятному счастью своему. И не иначе как от неверия даже отстраняться начал от Любы, пока еще не ясно, однако тревожно сознавая всю гибельность момента. От непосильности поцелуя сердце, замершее во мне, неуверенно водворялось на свое место и так разошлось, расстучалось, что Люба услышала его и, гася звук и трепет, приложила ладошку к моей разгоряченной груди. В потемках, в таинстве густого украинского вечера мы целовались с Любой до беспамятства, и я уж начал было крестить ее на спину, шариться под обмундированием, как в самый напряженный момент Люба поймала мою руку, отвела ее в сторону от горячо дышащего места и резко от меня отстранилась.

— Хватит! — Прерывисто подышала и уже почти спокойно добавила: — Сладкого помаленьку, горького не до слез.

На заплетающихся ногах прибрел я в солдатское общежитие и, сбросив сапоги, упал лицом в подушку, набитую соломой. Что это со мною было? Солдатики беззлобно подшучивали: допоздна, дескать, принимал библиотеку, устал, укатался, бедняга. Какие уж тут танцы? Какие развлечения? До койки добрался живой, и на том спасибо библиотекарше.

К этой поре братья мои доходяги сплошь определились в судьбе своей. Сама обстановка, само помещение — эти деревянные клетки — способствовали соединению людей попарно. Как работали, так в большинстве и распределились. Девки уж и покрикивали на «одноклеточников» своих, и ревновали, и заботились о них: стирали, подворотнички подшивали, пуговицы и медали чистили, следили, чтоб по утрам и вечерам парни непременно мыли руки соленой водой или керосином, иначе чесотку или экзему через письма поймать могут. Девахи, которые посообразительней, уже и рокировку на квартирах сделали — вместо напарницы подселили к себе стажера-кавалера...

Но резвились в Ольвии и вольные казаки. Попавши в малинник, ели они ягоду только с куста, порой и не с одного, да охомутать себя не давали. По местечку ходили табуном, орали под гармонь соленые частушки и прибавляли соли по мере приближения к помещениям цензуры; зорили сады, за кем-то гонялись в темноте, добывали самогонку; завалившись в клуб, куражились, задирались, по пролетарской привычке затевали драки с «белой костью», которая являлась на танцы с цензорского холма. Там, на



холме, тоже в школе, но уже средней, обретались кавалеры, в большинстве имеющие офицерские звания, румяленькие, иные уж и с брюшком, не калеченые, не битые, — и в первой же драке они изрядно навешали доходягам; старшине Колотушкину и нос набок своротили...

Орлы наши, да и то не все, знали только приемы штыкового боя. Энкавэдэшники же владели приемами рукопашных схваток, и успех явно был за ними, но фронтовики-отчаюги сдаваться не хотели и готовились к новым сражениям. Меня поражало, как быстро и незаметно парни перешли на «мирную рельсу» и образ жизни вели уже по деревенским умным законам — где барачным, а где и арестантским. В общежитии появились ножи, кастеты, наган.

Почувствовав неладное, командир нашей почтовой части майор Котлов провел беседу со вновь прибывшими, делая упор на то, что пока мы еще военные и трибунал располагается неподалеку, штрафбаты не отменены и работы у них по восстановлению народного хозяйства много. Зная, что едва ли воньмут его разумным словам отважные воины, не очень доверяясь рассудку, майор Котлов велел назначить патрулей с красными повязками на рукавах. В цензуре тоже предприняли соответственные действия — назначили своих патрулей с пистолетами, новыми, в бою не обгоравшими.

Мир в Ольвии, хотя и шаткий, был восстановлен.

Разборка завалов почты продолжалась. Работали и сверхурочно, работали из последних сил и терпения, веря слухам и письмам фронтовых подруг, что в той-то части, в том-то соединении девчонок уже отпустили по домам. А здешние почтари все еще парятся в пыли и духоте потому, как их смена, эти фронтовые кавалеры, работать не хотят, жрут самогонку да девок портят. Некоторые хитрованы вроде Сереженьки Слесарева пристроились в тепленьком местечке, подкатились под тепленький бочок к разным Любушкам-голубушкам и о нуждах предприятия ничего знать не желали. Но девки зря волокли на меня: я не только караулил библиотеку, помогал Стеше и Женяре раздавать по сортировочным клеткам пачки писем, но и... плоское катал да круглое таскал — уж гимнастерка лоснилась от пота и грязи. Интеллигентная же библиотекарша не изъявляла желания ее постирать. Тамара — опять же Тамара — содрала с меня гимнастерку:

— Совсем ты, братец мой, заослел! Совсем тебя змея та подколодная запустила да заездила. Гитлер тебя ружьем подшиб, игрунья эта толстомясая любовью добивает!.. Лизаться завсегда готова, а обиходить бойца, пожалеть — тут ее нету! Завтра же и штаны принесешь — зашью. А то обновился, как пленный румын. — Все это говорилось громко, чтоб люди слышали и понимали, кто тут чего стоит и кому есть сестра, старшая сестра, и кто есть «змея подколодная».

Миша-молдаванин замороженно смотрел на летающую по клетке соратницу и слушал речи ее, словно стихи из хрестоматии. Глаза его темно-виноградного цвета светились молитвенной умиленностью.

Пыль, вздымаясь над сортировочными клетками, плавала, клубилась вокруг лампочек под потолком коридора. Пыль на стенах, на окнах, которые всегда были с двумя рамами и не открывались даже летом, сохраняя военную тайну. От духоты и непросветности на девчонок наваливались тоска и досада. Проплясавши возле сортировочных ящиков юность свою, кто и молодость, они прониклись ненавистью к службе своей и работе, впадали в истерику, швыряли пачки писем на пол, и, случалось, разносился вопль по сортировке: «Не могу-у-уу больше! Не могу-у-у-у!»

— Перестань! Уймись! — через заборки клеток тонко орал на бунтовщицу начальник Виталя Кукин. И кто-нибудь из активисток тут же впристыжку:

— Не одна ты тут такая цаца! Каково на фронте-то было нашему брату? В грязи, в холоде, среди мужичья...

Каково-то оно было на фронте, предстояло узнать сортировщицам от своих стажеров-доходяг. Не все они речисты и памятьливы, не все умели и хотели рассказывать, но девичьему бунту молча сочувствовали, и он часто тут же угасал, дело заканчивалось тем, что кто-нибудь взывал: «Споемте-ка лучше, девчонки!» Были тут и украинки с прирожденной певучестью, и одна из них, когда и все разом заводили песню. Сотня давно спевшихся, по клеткам распределившихся сортировщиц, изливая душу, возносилась голосами до такой пронзительной высоты и слаженности, что коробило жалостью и восторгом спину, шевелило волосья на голове, каждый корешок по отдельности, мелким льдом кололся холод под кожей.

Как пели! Как пели эти отверженные всеми, вроде бы забытые, в бездонный омут войны кинутые девчонки. Захлебывались они от песен своих слезами, давились рыданиями, отпаивали друг дружку водой. Сказывали, Виталий Фомич Кукин пытался запрещать пение во время работы, но его грубо срезали:

— А в уборную, поссать, гражданин начальник, можно? — И замерла готовая взорваться сортировка.

Начальник побежал жаловаться командиру части.

— И что у тебя за привычка лезть к людям в душу? — сказал майор Котлов, вроде бы человек недалекий, мужиковатый, но у него в Челябинске остались две дочери, и он, думая о них, примерял к ним судьбы военных девчонок.

Однажды уломали девки спеть Любу. И тут же зашипели: «Она, когда поет, не любит, чтоб на нее смотрели», — и поудергивали парней в свои клетки. Я законно обосновался в клетке Сони и Тамары с Мишей-молдаванином.

Люба, будто на политинформации, взгромоздилась в коридоре на стол. Сортировка замерла.

Во далеком поле, во чужой сторонке.

Вроде и не из глотки, не из груди, не из чрева человеческого, а из самого пространства возникал густой звук. Мужским почти басом заполнилось казенное помещение. Звучащей небесной дымкой обволокло все сущее вокруг, погрузило в бездну всяческих предчувствий — беды ли неотмолимой, судьбы ли непроглядной.

Какой же силой наделил эту женщину Создатель, обобрав полроты, а может, и роту бедных женщин! «Растет камышинка, горька сиротинка», — выдохнула песнопевица с той неизъяснимой тоской, коя свойственна лишь давно и много страдающей женщине да птицам, в чужедальние страны отлетающим осенней порой. Откуда же Любе-то ведать о той женской вечной тоске и страдании вечном?.. Откуда?!

Камышинку эту ветер-стужа гнет,  
Ты не плачь, не сетуй, вновь весна придет.  
Не грусти-ы-ы-ы, вновь весна придет.

Что-то переместилось в голосе, сошел он совсем уж с горького места, среди которого, взняв обгорелую трубу, стояла печь с задымленным челом, и из нее, из трубы той, разносило по опустошенной земле вой, стон иль просто ввысь посланный вздох.

Тревожно и сладостно было сердцу, щемящий холодок проникал в него, как чей-то зов, как слабая надежда на спасение и утешение. Люба-то знала, чего ждут от нее девчонки, потрафляла растревоженно замершему люду, надежду на лучшую долю переносила из сердца в сердце.

«Обертон!» — со смесью жути и восхищения прошептал в своей каморке начальник сортировки Виталий Фомич Кукин — он учился когда-то музыке, понимал маленько в ней и знал музыкальные термины.

А я, кажется, начинал уяснять, отчего не льнут к Любе парни, к такой ее вроде бы домашней и доступной красоте. Не-до-ся-га-е-мо! Помилуй и



пронеси мимо этакой тайной силищи слабого духом мужика, меня прежде всех.

Так и я, девица, камышинкой горькой  
На ветру качаюсь и от стужи гнусь.  
На чужой сторонке плачу да печалюсь:  
Кто меня полюбит? Кто развеет грусть?

Достигнув какого-то края иль обвала за далью, за тьмою, плачем не то одинокой волчицы, не то переливом горлицы за дубравой оборвалась песня. Песня оборвалась, но звук все бился, все клубился в тесном пространстве и, не вырвавшись из него, опал туда, откуда возник.

Какое-то время в сортировке ничего не шевелилось, не шуршало, казалось, любое движение, стук, шаг неизбежно что-то обрушат.

— Ну, Любка, подь ты к чертям! Тебя наслушаешься — так хоть удивись...

— А ты не слушай, коли сердцу невмочь, — крикнул кто-то из парней и захлопал в ладоши. — Н-ну, молодец, Люба! Н-ну, творе-ец!

— Кабы я не молодец, так и Вика Кукин был бы не засранец! — громко отозвалась Люба, прыгивая со стола. Нарочитой грубостью, громом обрушившегося с высоты тела разряжала она обстановку, снимала гнетущее впечатление с народа, возможно и с себя.

Иссякал поток писем с фронта и на фронт. Капитулировала Япония. Война на земле остановилась. Надолго ли?

В действие вступал как бы в тени все время державшийся лейтенант Кукин. Назначено ему было в боевых походах вести политчас, и он-то, находясь тогда в тесном контакте с экспедиторшей и библиотекаршей Любой, поставил ее политинформатором, оставляя за собой главное воспитующее дело — политчас.

Будучи главным начальником над почтовым бабьим эскадром, держал он сортировку строго: бить — не бил, орать — не орал, но как глянет в упор, поведет усами и бородой из стороны в сторону — тут же кадр его описается в казенные штаны.

Но вот настали иные времена, и повалил в часть мужик, пусть и неполноценный, пусть увечный, а все же мужик, и военные девки, всю войну ждавшие избавления от оков, пусть и не общевойсковых, хотя бы от гнева своего начальника, воспарили духом, сделались дерзкими, бойкими на язык, хохотали много и бесстрашно. Правда, завалы почты несколько остужали их пыл и вольность, даже политчас какое-то время не проводился: все силы были брошены на окончательный, победоносный штурм письмо-почтового потока.

За это время произошли резкие изменения во взаимоотношениях старых и новых кадров, прежде всего на сортировке: купе, как я уже заметил, располагали к воссоединению пар, и чем они плотнее воссоединялись, тем непослушней делались.

Еще недавно безропотные почтовые кадры восприняли пополнение не только как защитников Родины, но и просто мужиков, о которых в народе говорится: «За мужа завалюся — никого не боюсь», считали их судьбою к ним ниспосланными на личную защиту. Хоть девки и соблюдали почтение к начальству, прежде всего к непосредственному, но ох и вольны, ох и веселы, ох и бойкоязыки сделались! В строй не собьешь, команды вроде не слышат, в столовую не строем, но под ручку со стажером норовят следовать. Гуляя по Ольвии вечером или по саду — глаза отводят, не приветствуют, честь не отдают.

«Не рано ль, голубушки, демобилизовались?! Не рано ль из железных военных рядов вышли?!» — думал Виталя Кукин и, возобновив воспитующие беседы, обязал всех, и прежде всего вновь прибывших, сортировщиков во время обеда иль после работы в обязательном порядке присутствовать на политчасе, который порою растягивался и на два часа.

Политчас чаще всего проводился в просторном коридоре сортировки. Если же погода располагала, уходили в сад, сгоняли с поляны коров, очищали от лепех траву и, разлегшись на вновь зазеленевшей от рос и дождей муравке вперемежку с девками, реззевшими духом и налившимися телом, невинно с ними заигрывали: то теребнут, как в школе бывало, за вихор, то шлепнут по мягкому месту, то поздним желтым цветком проведут по смеженным глазам. Иные парни уже по-хозяйски, открыто нежились, положив голову в ласковые женские колени. Словом, блаженствовали отвоёвавшиеся, много перестрадавшие бойцы, достигнув долгожданного берега. И осень, как по заказу добрая, теплом и лаской реяла над людьми, и поздние яблоки, но чаще груши со стуком падали-катились вниз, сшибая с дерева последние листья.

Толя-якут, не знавший, как еще выразить товарищам, и прежде всего подругам, чувства любви и дружбы, собирал фрукты по саду в кем-то забытую корзину, высыпал их к ногам своей напарницы Стеши. Стесняясь такого, явно первобытного, внимания, объятая чувством коллективизма, царящего в почтовой части, Стеша взывала: «Девчонки! Ребята! Берите яблоки, берите груши! Тут так много! Берите!..»

К этой-то публике, блаженствующей на полянке, похлопывая по ладони красным блокнотом, на котором значилось слово «Агитатор», и приближался лейтенант Кукин с намерением пусть не сразу, не вдруг, идейно просветить ее, внушить важность передовой социалистической идеологии и значение текущего момента.

В ту пору, когда Виталя Кукин не был еще лейтенантом и агитатором, ослепленный ярким светом бурной действительности, в которую он в судорогах и материнских столах сподобился явиться, казенного спирту хватившие больничные повитухи-акушерки правили мокрому младенцу головку и вместо того, чтобы лепить ее с боков, хряснули бесчувственной ладонью по темечку и сплющили головку, а вместе с нею сплющилось и все остальное: лоб заузился, переносица расползлась, нос поширел и вознесся вверх, рот сделался до ушей, — все сместилось на лице младенца, лишь на подбородок не повлияло. Виталя Кукин боролся с изъянами своего лица посредством усов и бороды, старался придать облику своему мужественное выражение, полагал, что усы и бороды затем и носили русские офицеры — чтоб выглядеть внушительно.

Помкомвзвода Артюха Колотушкин по мере приближения агитатора замечал, как лейтенант робеет, с опаской ступает на поляну. Подпустив его на определенную дистанцию, командир Артюха Колотушкин вскакивал с земли и, придавая первачом сожженному голосу полководческую зычность, командовал так громко, что ввергал пропагандиста в испуг:

— Вста-ать! Хир-р-рна-а-а! — Прикладывая руку к пилотке, побеждая хромоту, Артюха следовал навстречу военному пропагандисту. — Ты-ыщ лейтенант! Военно-почтовое соединение эс-эс-сака, номер сорок четыре дроб шашнадцать, для проведения политчаса собрано!

— Вольно! — кивал головой лейтенант Кукин. — Разрешаю сесть.

Церемония эта военная очень нравилась Витале Кукину. Особое удовлетворение он получал от слова «соединение» — неизвестно почему и от чего возникшего в вечно хмельной голове Артюхи Колотушкина. Агитатор воспринимал его значительность, указующую на мощь ему вверенной военной силы в патетическом, так сказать, смысле, столь свойственном Советской Армии, где громкое слово имело силу решающую.

Отец Виталя, Фома Савельевич Кукин, работал начальником железнодорожной станции. Мать на той же станции ведала кадрами. Шишки оба. Сына они воспитывали с уклоном на новоаристократический интеллект: отдавали его в студию для художественно одаренных детей, даже в балет приспособляли, затем в местное музыкальное училище, которое он с натугой закончил, сносно брэнчал на пианино, писал заметки в армейскую прессу, рисовал стенгазеты как для родного почтового пункта, так и для военной цензуры, считал себя в здешних военных кадрах многогранно раз-



витым и самым умным офицером. Да так оно, пожалуй, и было. Порученное ему партией агитационное дело выполнял Кукин со всей ответственностью, тщательно готовился к проведению политчаса, из-за чего подолгу засиживался в библиотеке, где и увенчалась его агитационная работа неожиданным успехом. Молоденькая, цветущая библиотекарша, тоже с интеллектуальным пошибом, не чуждая романтизма, пала жертвой яркого пропагандистского слова.

В до антрацитового блеска начищенных сапогах, с портупеей через плечо, с кобурой, на которой было отчетливо видно тиснение щита и меча, подтянутый, серьезный лейтенант Кукин зачитывал своим слушателям переписанные из блокнота военного пропагандиста новости, пересказывал международные события и свои соображения по их поводу.

Народ дышал чистым воздухом, подремывал, кто украдкой откусывал от яблока, кто перешептывался с подругами. Артюха Колотушкин, упав лицом в раскоренье старой яблони, делал вид, что слушает, на самом же деле спал, но не храпел и время от времени делал движения раненой ногой: то сгибал ее, то разгибал — беспокоит, дескать, рана.

Однажды потянуло пропагандиста рассказать о боевом пути его героического «соединения», как бы между прочим сообщить о том, как на станции Попельня его однажды чуть не убило: осколком бомбы выбило стекло в здании сортировки и угодил тот осколок в стену, прямо над головой начальника.

— Это ж надо! — ахнули вояки, по два, а то и по три раза раненные. — Это ж!.. Еще бы метра три нижей — и такой умной головы как не бывало!

— Сорок сантиметров! Я лично мерил! — переходя на доверительный тон, уточнил лейтенант Кукин.

— Господь Бог лично тебя стерег, лейтенант!

— При чем тут Бог? Предрассудки это.

— Э-э, не скажите, товарищ лейтенант. Вот у нас в части случай был, — завлекал в ловушку пропагандиста затейник и весельчак, маленько и стихоплет, Коляша Хахалин. — Оторвало одному бойцу голову... Он ходит, ходит, ищет, ищет... А голова в крапиве лежит, матерится: «Во, хозяин! Собственную голову найти не может!» Воины переднего края, считай братья родные, — голову на место, она громко требует: «Благодари товарищев, обормот! Не пособи оне да Бог, валяться бы мне в крапиве...» А если бы кто поумней — подобрал голову-то, ведь без головы, дураку, воевать пришлось бы...

— Я ценю юмор, — кисло улыбался пропагандист, — но, товарищи!..

— Эт чё?! Без головы воевать не диво. Примеров тьма, — подхватывал ко времени проснувшийся Артюха Колотушкин. — Только в связи без головы нельзя — трубку телефонную не на что вешать. — Девки знали, какой юмор их ждет от Артюхи Колотушкина, воспринимали его трудно, плевались, покидали поляну. Артюха же Колотушкин вдохновлялся пуще прежнего: — Остальным всем без головы способно — доказано это и нашими полководцами, и германскими тоже. А вот без мудей не сможет воевать даже и советский непобедимый воин. Опять же в нашей части случай был: один связист-ротозей наступил на мину и оторви же ему яйца — частое, между прочим, на пехотной мине повреждение, — да и забрось же их на провода!.. Охат, прыгат связист, дотянуться до проводов не может. «Бра-а-атцы-ы! — вопит. — Как же я буду без мудей такой мудака?! Помогите!» Бойцы-связисты матерно ругают подвесную армейскую связь, то ли дело своя, полевая, — она в поле на земле лежит, потому и зовется полевой. Надо лестницу, а где ее на передовой взять? Связисты — первейшие трепачи — раззвонили по всему фронту о происшествии. До штаба весть докатилась. Звонок оттуда: «Врага тешите? Трибунал высылаем!» — «Лучше лестницу!»

Давай на верхах согласовывать вопрос насчет лестницы с политотделами, с членом Военного совета фронта, с первыми и вторыми отделами, с финансистами, с технарями. Но... без согласования с Кремлем никто ре-

шить вопрос не берется. А яйца так на проводе все и болтаются. Связистки и разные регулировщицы сбежались, колибер прикидывают; особняки шустряты: не сам ли себе боец членовредительство учинил? Технические спецы изучают мощь вражеской мины, чтоб противопоставить врагу свою мину, чтобы если ударит, так не только муди фашистские, но и весь прибор — в брызги! Начальник политотдела фронта первый раз за войну на передовой появился — с намерением утешить бойца отеческой беседой. «Боевой листок», говорит он пострадавшему, по поводу этого сражения уже нарисован, передовица в газету пишется, насчет лестницы лично он проследит — чтоб изготавливали ее из лучших сортов древесины, оформлены документы на предмет представления его к медали «За боевые заслуги»...

Виталя Кукин понимал: над ним глумятся и — о, ужас! — вроде бы глумятся и над передовой идеологией!..

Мы, однако, дошутились бы: часть энкавэдэшная, в основе своей стукаческая. Но... спасли нас кони и начавшаяся демобилизация.

Началось возвращение людей домой. С лета еще началось, но в нашей почтовой части — только-только. В цензуре и вовсе пока не шевелились. Нужен, нужен контроль, узда нужна развоевавшемуся, чужой земли повидавшему, фронтового братства, полевой вольности хватившему, отведавшему чужих харчей и барахла понахватавшему русскому народу. Без контроля, без узды, без карающего меча никак с ним не совладать и не направить его в нужном направлении. Без этого он и прежде жить не умел, но теперь, после такого разброда, — и подавно.

Почтовики блаженствовали в полубезделье, крутили с девчатами романы. Виталя Кукин открыл при клубе кружок танцев, организовывал разные развлекательные игры и соревнования. Это у него получалось лучше, чем политчас.

Корешки мои госпитальные — доходяги — вовсе перестали посещать библиотеку и читать книги. Да и мне скоро сделалось не до книг. Опухшие от сна — на конюшне велось всего пять лошадей, одна верховая и четыре рабочих, — начальники конюшни, сержанты Горовой и Слава Каменщиков, мобилизовали резервы. Угодил и я на конюшню и жить стал вместе с начальниками в пристройке конюховки, где стояли нары, толсто заваленные соломой, с заношенными простынями и байковыми одеялами. Была нам выделена отдельная стряпка из местных крестьянок. Военных женщин уже никакой работой не неволили — их партиями отправляли домой. Однако наших наставниц и цензурных щеголих еще много шаталось по местечку, танцевало и пело в клубе, обнималось по садам и темным переулкам.

Баня в местечке была одна. В пятницу ее топили почтовики, в субботу — цензорши. Солдаты стучали в стенку кулаками, залезали по лестнице на чердак, намереваясь высмотреть в чердачный люк, где у цензорш чего находится. Когда мылись наши девки, им приносили из колодца дополнительно воды.

Не раз случалось, кто-нибудь из наших ребят «нечаянно» затесывался в редко сбитый из досок предбанник и «нечаянно» сталкивался там с нагой или полунагой сортировщицей. Вышибленный оттуда, боец сраженно тряс головой: «Ребя-а-а-а-а-та-а! Погибель нам!..» — «Бесстыдники окаянные! Ошпарим шары, будете знать!» — кричали девки из бани, но особой строгости в их криках не выявлялось: глянулись им волнение в сердце поднимающие мужицкие шалости. Толя-якут, тот самый, что сыпал яблоки к ногам самой беленькой, самой застенчивой девушки Стеша, упорный следопыт и охотник, достиг своей цели, вытروпил голубоглазенькую жертву, по цвету глаз в голубой халат одетую. Поверху халата Стеша повязывала фартук с оборочками из цветного лоскута. Не глядя на постоянную пыль и головную — до глаз — повязку, Стеша умудрялась оставаться опрятной, беленькой и даже нарядной. Она завистливо поглядывала из коридора на



бегающих, хохочущих и поющих подружек-сортировщиц, особо в кладовку, где царствовала ее подруга по ремеслу Женяра Белоусова и помогал ей в делах Коляша Хахалин — парень хотя и хромой и непутевый, но все же парень, кавалер. Норовя быть поближе к удачливым подругам, Стеша пускалась на маленькую хитрость — раздавая для сортировки письма, говорила каждой из них: «Я тебе хор-рошие уголочки подобрала!» Хитрые русские крестьяне и поселковые ловкачи, обороняя личные секреты, прошивали уголки письма нитками, проволокой, иные даже струнами. Сортировщицы ранили пальцы, особенно рвали руки цензорши, которые непременно должны были уж если не прочесть письмо, то хотя бы «распороть».

Отбой в солдатской общаге, как и положено, — в одиннадцать, подъем — в шесть. Но младший лейтенант Ашот Арутюнов и его помощник, помкомвзвода старшина Артюха Колотушкин, в такой ударились разгул, что войско свое кинули на произвол судьбы, в общежитии объявлялись на рассвете, падали на постель часто и амуниции не снявши. Столоваться с рядовым составом командиры перестали — кормились где-то на стороне, обретались в хатах у вдов или у военных постоялок. С прудов начали пропадать гуси, утки, со дворов — куры. Докатился слух, что и бараны, и телки терялись. Волокли вину на бендеровцев и всяких лихих людей, но ясное дело — без наших боевых командиров тут не обошлось. Да нам-то что до этого? Солдатня тоже волокла все, что плохо лежало. Сортировщики блудили и в почте — выбирали табак, денежки, кисеты, цветные открытки, что каралось как на почте, так и в цензуре строгими мерами, вплоть до трибунала. Но послепобедный разброд и шатание в армии, предчувствие близкой демобилизации, сама себе разрешаемая вольность совсем развалили дисциплину и в такой законопослушной, бабски-покорной части, как наша, по словам Артюхи Колотушкина — «соединение» за номером сорок четыре дроб шашнадцать.

Однажды утречком невыспавшиеся бойцы трудно поднимались с жестких казенных постелей. Арутюнов и Колотушкин, как положено комсоставу, спали отдельно, на железных кроватях, все остальные — на общих нарах. Кривоногий Артюха Колотушкин на этот раз спал об одном сапоге, в полуснятых комсоставских галифе, заеложенных на колених, — раздеться у него не хватило сил. Арутюнов снял сапоги, штаны и гимнастерку, но отчего-то держал ее на весу, за погон, — видать, совсем недавно он стискивал что-то живое, драгоценное, и не хотелось ему выпускать добро из рук.

Кое-как поднялись, разломались воины, ополоснулись из ведра у колодца, а командиры спят. Без командира куда же? Хоть Артюха, да нужен: в столовую без старшего не пустят. Спал старый разведчик и ходок Артюха боязно, и когда его трянули, подскочил на койке, рукой зацапал вокруг себя, оружие нашаривал, огляделся, на разутую, на обутую ногу посмотрел. «Где я?» — спросил. «На Украине», — ответили ему. Воздев взор, Артюха Колотушкин простонал: «Господи! Как от Вологды-то далеко-о...»

Не строем — какой уж тут строй? — сбродом поднялись вояки в горку, к столовой, и слышат: «циколки» — так уничижительно почтовики и почтарки звали цензорш, — столпившись на крыльце своей столовой, хохочут, тыкая пальцами на наш солдатский строй. Чем дальше на горку топали бойцы, тем шире разливался хохот, иные «циколки» аж взвизгивали. Цап-царап — хватались бойцы за ширинку, и у кого она не застегнута, на ходу принялись приводить себя в порядок. Однако смех не утихал. И тогда Артюха Колотушкин — отец, командир и защитник солдата — взялся оборонять свое войско:

— Шчё тут смешного? Бойцы на защите Родины изранеты, вот и храмлют.

Тут уж и наши девки, столпившиеся на крыльце почтарской столовки, располагавшейся рядом с цензорской, покатались со ступенек, что переспелые тыквы. А из строя, мелькая кальсонами, метнулся под гору, в общежитие, Толя-якут. Это он до того домиловался со своей Стешей, что от

переутомления продолжал дремать во время подъема — сапоги надел, гимнастерку надел, даже подпоясался, но штаны надеть забыл. В столовую Толя не вернулся, на работу не явился. Было решено выслать в общежитие Стешу. Долго ли, коротко ли она утешала своего кавалера, но привела его за руку в сортировку, поставила среди коридора, сама рядом обороной встала.

— Мы когда демобилизуемся, распишемся, — громко, чтоб по всем купе слышно было, объявила она. — Вот. И нечего! — На этом месте речь Стеши прервалась, она залилась слезами. — Мы с Толей в Якутию поедem, там якутины живут... Оне, как азиаты, мясо сыро едят и... рыбу. Страшно вон как! А вы?!

Девки изо всех клеток повысыпали — утешать и поздравлять Стешу. Мужики били Толю-якута по спине. «С тебя поллитра!» — говорили. Дело кончилось тем, что Стеша и Толя-якут перестали таиться. Демонстрируя дружбу народов, ходили по местечку держась за руки и на работе все чего-то шушукались. Стеша уж и покрикивать на Толю начала, а он, как бы испугавшись, обалделый от счастья, стучал сапогом о сапог и звонко выкрикивал: «Слусаюсь, товарица командира!» Северяне — мужики надежные, не то что их старшие братья-русаки — сходятся да расходятся, сиротят ребятшек. Одной крепкой семьей в Якутии будет больше.

Я, конечно, тоже не хотел угнетаться одиночеством. Высматривал симпатию, внезапно подбортнулся к поварихе Фросе, приносившей обед на конюховку. Она, в отличие от военных почтарок, жила на отшибе скромно, одиноко, грустная, малоразговорчивая, вроде как сытым кухонным паром ее разморило иль угорела она до полусна. Раз, другой, кругами, по садам и закоулкам, проводил я Фросю домой, затягивал ее в затьень. И она давала себя увлечь, позволяла обнимать и целовать. Я уж начал планировать свою жизнь дальше, но Фрося вдруг стала меня чуждаться, опуская глаза, роняла, что ей опять до самой ночи, если не до утра, дежурить на кухне, да и дома дел много.

Я пробовал приклеиться к свободным военным девам, но и они, пройдясь со мной по улице Ольвии, вежливо уклонялись от дальнейших гуляний, особенно по саду. Тогда я подумал, что причиной всему была моя хромота, хотя она почти уже не замечалась, мое будто когтями исцарапанное лицо. Но ведь были среди моих корешков куда более хромые, кто с поуродованным лицом, кто со стеклянным глазом, — и ничего, находилась и им пара. Самоистязание, только оно могло помочь моему горю — я подменял дежурных на конюшне, возил с полей сено, солому, ходил пилить и колоть дрова в хату, где жили Тамара и Соня, чистил конюшню, а в вечернюю пору пел во весь голос прощальные песни, наводя тоску и на себя, и на лошадей; читал книги при свете фонаря и не ведал, какие козни творятся вокруг, какое давление оказывают на девчоночье поголовье тайные силы. И все из-за меня.

Бывшая моя напарница, преподобная Тамара, всё про всех знавшая, могла бы мне кое-что объяснить, но она была так занята своим Мишей-молдаванином, так прыгала на своих мушиных лапках вокруг него, так его стерегла, что уж боялась спугнуть свое нечаянное, оглушительное счастье.

Из-за границы, то ли из Румынии, то ли из Венгрии, а может, из наших ликвидированных воинских частей поступали и поступали в Ольвию лошади. Почему к нам, в почтовую часть, гнали и гнали лошадей — объяснить никто не хотел. Военная, опять же, тайна... Слава Каменщиков, которого чуть не оженили на дочери хозяина, по-нашему, по-конюховски, чуть было не осаврасили, — Слава объявил хозяину и хозяйке, у которых был на постое, что отец его лежит в госпитале, шибко плохой, а семья у Каменщиковых большая — надо ее поддержать, кроме того, он надумал учиться на филологическом факультете. Хозяева зауважали Славу за слово «факультет» и отпустили его на свободу.

Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомства с девушками, кроме того, он был назначен старшим конюхом, меня же



зачислили его помощником. Коляшу Хахалина Слава со смехом назвал заместителем по культуре.

Весело, бесшабашно жили мы до поры до времени. Но день ото дня работы становилось все больше. Днем возили с полей зеленку, овес, косили отаву по речке, ночью один из нас дежурил возле конных дворов с заряженной винтовкой, потому как слухи, пока только слухи, о действиях бендеровцев в здешних местах докатились и до Ольвии. Сколько тоски и страданий вынесло мое молодое сердце, когда я, сидя на копне соломы с зажатой меж колен винтовкой, слушал доносящуюся из клуба музыку, сердце рвущие вальсы, фокстроты и танго. После окончания танцев в клубе, парочками, где и гурьбой, разбредались люди кто куда. Иногда гуляк заносило во двор сортировки, и они там хохотали, пели, свистели, парни взбирались на деревья, трясли груши, к холоду сделавшиеся сахаристыми; шныряли по окрестным садам, хотя особой надобности в том и не было: общественный сад Ольвии гектаров в двадцать и пришкольные сады ломились от яблок, груш и поздней сливы.

Но от жизни куда спрячешься? По Ольвии ездить мне приходилось не только на телеге, на возу, случалось гарцевать и на великолепном жеребце, непринужденно постегивая кончиком ременной узды по сапогу. И только тут мне дано было постигнуть смысл существования конного человека, форс гусара, величие полководца. На коне, и только на коне, а не на обляпанном грязью «виллисе», тем более на суетливой «эмке», может предстать и смотреться по-орлиному военный командир. И хотя я никогда не был командиром, даже в ефрейторы не вышел, жеребец мой в званиях не сёк, он чувствовал человека спиной и всячески старался, подлец, выявить не только свое величие, но умел подчеркнуть значимость и красоту наездника.

По Ольвии он не просто ступал, он, точно балерина, не стуча копытами, то пританцовывал, то сдваивал шаг, то рассыпал его в легком галопе. Голова жеребца гордо взнята, шея выгнута, глаза, в зависимости от того, на что падал его взор, наливались и сверкали красным пламенем или кровью. А уж если встреча попадалась женщина, в особенности молодая, — вздымался ввысь и, конечно же, вздымал вместе с собою и седока. Не скрою, мне передавалось от коня его аристократическое совершенство и достоинство. Я тоже приосанивался, упершись в стремяна сапогами, тоже пытался быть стройнее, выше, чувствовал себя красивым молодцом — в седле ж не видно, что я худ и крепко бит войною. Артист из конского сословия порой заигрывался, войдя на мосток, начинал вдруг пятиться, вроде бы боясь упасть вниз, косил глазом в бездну полувысохшего ручья, давал мне возможность повелительно прикрикнуть: «Н-не баллуй!» — и за мостиком рвал в галоп, чтобы промчаться вихрем мимо помещения цензуры, коли в сторону обратную — мимо сортировки.

Ах, юность, юность, войной спаленная, в боях изжитая, в бредовых госпитальных палатах пропущенная, — никак ты не хочешь сдаваться без веселого баловства, без того, чтобы умчаться навсегда, не сверкнув серебряной подковою.

Заворачивая как бы по некой надобности во двор сортировки, я трепался с ребятами, стрелял глазом в девчонок, заходил «в гости» к своим наставницам, Соне и Тамаре. Улучив момент, Тамара шепнула мне: «Сегодня по корпусу Люба дежурит. Одна! Подчаска не берет, чтобы тебя видеть», — и отскочила, потому что глаза Миши-молдаванина начали наливаться свинцом ревности.

Ну, дела! Видать, на жеребце-то, на высоком кожаном седле я и в самом деле смотрюсь что надо!

Со Славой Каменчиковым мы сдружились так, как могут дружить лишь фронтовики, — по-братски. Обиходили мы помещение, даже украсили его занавесками и заграничными открытками по стенам. Подражая ближнему начальству, тому же лейтенанту Арутюнову и старшине Артюхе Колотушкину, поставили железные кровати, отчего Фрося, стряпка

наша — ничего, правда, не стряпавшая, только разогревавшая еду, принося ее с общей кухни, — зауважала нас еще больше. Ребята зарились на наше помещение. Артюха Колотушкин пробовал было и девок приводить, да Слава осадил Артюху: «Здесь служебное помещение, а не случной пункт!» — и укатился Артюха на кривых своих ногах искать уединение в другом месте.

Я сообщил Славе насчет свидания с Любой, и он охотно согласился дежурить по конюшне хоть всю ночь, если надо, и служебное помещение освободить по первому требованию. В клуб и на гулянья Слава не ходил, и не потому, что напугался, когда его чуть не оженшили, главным образом от горя: в госпитале умирал его отец. Строгий, прибранный, самостоятельный парень Слава Каменщиков.

Я около него тоже подобрался, но, проявляя тонкое понимание момента, волокитство мое Слава терпел и подсоблял как мужику чем мог, хотя порою и ворчал на меня.

Дождавшись темного вечера и опустения улиц Ольвии, подался я кружным путем, через сад, к сортировке. Стегая прутиком по сапогу, беспечно напевал я: «Нет на свете краше нашей Любы, темны косы обвивают стан, как кораллы, алы ее губы, а в глазах лаз-зурный о-ке-ан...»

— Вот так дурень! — сказала из темноты Люба и, поднявшись со скамьи, где сортировка делала перекуры и трепалась; обняла меня, прижалась горячей щекой к моей щеке. Вышло это так ласково, что отпала всякая охота ерничать и выкаблучиваться. Долго мы стояли в обнимку, не шевелились и ничего не говорили.

— Что ж ты бросил меня? — прошептала Люба, не разнимая рук, грея мою щеку и шею своим теплым дыханием. — Я жду, жду...

— Зачем я тебе, Люба?

«Зачем я тебе, такой ладной, многими талантами наделенной молодой, изуродованный, надорванный войной мужичонка, не имеющий ни образования, ни профессии — ничегошеньки-то ничего, кроме надежд на будущее»... Уразумевши, что все эти мои мысли Люба тут же разгадала, я вдруг брякнул, что буду учиться в университете, на филфаке, хотя, чему на этом филфаке учат, даже смутно себе не представлял.

— С семьей-то классами на филфак?! — вздохнула Люба и, отстранившись, дотронулась губами до царапины на моем лице.

— А я справку достану или подделаю.

— Какую справку?

— Что десятилетку кончил.

— Говорю — дурень! — поерошила Люба мои чуть уже отросшие волосы и потянула меня на скамейку.

Мы сели, и нечего стало делать. Мне в голову ударило — держаться на шутилой, дураковатой волне, и я начал рассказывать о единственной пока своей, безгрешной, госпитальной, любви. Но с заданного тона я скоро сбился и повествование закончил грустными словами:

— Я ей даже ни одного письма не написал.

— Все по причине самоуничужения?

— Чувство вины меня гнетет, боюсь, много слез на бумагу накапается.

— Ах ты, дурень, дурень!

— Но она скоро замуж выйдет — чтоб мне досадить.

— Откуда ты знаешь? Вы же, говоря старомодно, в переписке не состоите.

— Я чувствую.

— Гос-споди! Вот ненормальный-то!..

Мы еще посидели. Я достал из кармана по яблоку. Похрустели яблочками. Я бросил огрызок во тьму и рассмеялся, придавая смеху беспечность.

— А знаешь, Слава пообещал нам освободить помещение, если что...

— Что — если что? Не Виталя ль Кукин наплел вам чего, на подвиги надоумил?



— А чё, у тебя было с ним? Или треплются?

— Что было, то сплыло. За войну много чего случилось — все не упомнишь. Хватило ума без глумления рассказать о своей нескладной любви, чего я, откровенно говоря, боялась, так вот и держись благородно и не ляпай грязью святой дар.

— Вот так свидание! Роковое какое-то... — нервно рассмеялся я и придумывал, как дальше-то быть, чего молвить.

— Роковое! Батюшки, слово-то какое старинное и редкое, будто булыжину с военно-полевой дороги выворотил...

— Со мной трудно, Люба. Я ж пригородная шпана: днем, на свету, — удаль, ухарство, показуха; наедине с собой — смирен и почтителен.

— Ты хоть с женщиною-то был?

— Был. В станице одной, кубанской.

— И это тебе далось трудно?

— Да. А откуда ты знаешь?

— Знаю. Вижу.

Люба напряглась и отстранилась от меня, полагая, что уж тут-то я со всей солдатской откровенностью попру. Но в это время в клубе умолк баян. Народ начал разбредаться по садам и хатам. Я хотел окликнуть мимо проходивших корешков, но Люба прикрыла мне рот соленой ладошкой — почта уже не ходит, но девчонки по привычке моют руки соленой водой или керосином.

Во двор сортировки никто не заглядывал, видать, Тамара провела серьезную профилактическую работу.

Прославленная украинская ночь звездным небом укрыла землю так плотно, что кипы дерев за речкою, где тремя-четырьмя окнами светилась цензура, гляделись облаками в небе, и только пики островерхих тополей не теряли своих очертаний, стойко и четко отпечатывались в осеннем, холодом веющем поднебесье, по земле, особенно густо из сада, плыли запахи мреющего листа и подмороженных яблок.

Доходяги наши, проходя мимо сортировки, блажили, свистели и ухали — проводили девок и потопали в общежитие: завтра с утра всем на конюшни — воздвигать пристройку. Арутюнов, кого изловил, гнал домой, тонко выкрикивая: «Прекратите!» Сделалось тихо, и от звезд или от краешечки луны посветлело, желтые поля на холмах за Ольвией тоже посветлели и как бы придвинулись к домам, уже погасившим лампы, дальний лес, обозначившийся по-за полями, похож был на темную тучу.

— Ты знаешь, — после долгого молчания нарушила заволаживающую тишину Люба, — госпитальным сестричкам, няням надо бы посередь России поставить памятник из золота, не только за то, что они лечили, грязь, гной и вшей с вас обирали, но и за то еще, что помогли вам мужчинами стать... — Люба опять чуть отстранилась, вглядываясь в меня из темноты.

— Во! Отморозила! И взаправду ты мудрец!

— Мудрец! Какого же хрена вы презираете своих спасительниц? Мерзости про них говорите? Ах, Слесарев, Слесарев! Пропадешь ты, однако, невоспитанный, от народа отсталый...

— Да ладно пугать-то, — буркнул я. — На фронте пугали, пугали... Теперь ты допугиваешь. — Я снял с себя шинель, укрыл Любу и себя. Шинель объединила нас, ближе сделала. Люба прижалась ко мне, и я прижался к ней. — Ну ее, эту войну. Да и все прочее. Научи лучше меня петь «Камышинку».

Люба не решалась нарушить ночь, помедлила, потом кашлянула в кулак и негромко запела, как бы только для себя. Понятно: если грянет во весь голос — остатные груши в пришкольном саду осыплются, лампы, которые еще светятся в хатах, — погаснут.

Так и я, девица, камышинкой горькой  
На ветру качаюсь и от стужи гнусь,  
На чужой сторонке плачу да печалюсь:  
Кто меня полюбит, кто развеет грусть?

«Не гнись, камышинка, не грусти, девица. Со родной сторонки веет вешний ветер, он тебя согреет, он развеет грусть», — подхватил я, и закончили мы песню в два притаенных голоса.

Тихо. Тепло оттого, что мы греем друг друга. Подмывает сердце. Люба не шевелится. И ей одиноко, и ее сердце болит. Я пробно притиснул Любу поплотнее, давая понять, что люблю сейчас и ее, и эту ночь, и мирно спящую землю, и звезды над головою, и последние огоньки светящегося селения Ольвия, да сказать об этом не смею. Да и надо ли что-то говорить? Я ведь под смертью ходил, убили бы — и ни Любы, ни ночи этой, ни сонной Ольвии, ничего-ничего для меня не было бы...

— Прилетит ли тот теплый ветер? Согреет ли? — прошептала Люба. — Ты про любовь свою вспомнил, да? Не надо. Не думай. Я здесь, я с тобой. Я нашел в темноте руку Любы, благодарно пожал ее.

Долго сидели мы, затем целовались и забыли о всяких горестях, о недавнем отчуждении. И начало у нас мутиться в головах. И начал я шариться по Любе, и дошарился до того, что Люба почти уж опрокинулась на скамейку, как вдруг со стоном отстранилась, зажала лицо руками:

— С ума сошли! О-о-ой, дураки-иы-ы-ы! Оба! Если уж чему быть, так не здесь же... не по-походному... — Когда унялось сердцебиение и немного прояснилось сознание, Люба погладила меня по голове: — Ну, прости! Ну еще раз прошу: не думай о девчонках и обо мне дурно. Конечно, зацепило кой-кого на боевых путях... Но, клянусь тебе, половина, если не больше, наших девчонок таскают свою перезрелую невинность, как чугунную гирю, — не каменные ведь, и любви им хочется, и плоть эта презренная томит, терпят, хотя и блудят в трепотне, в частушках-посказушках, которые онанизмом тешатся, две-три парочки лесбиянством занимаются...

— Это что еще за зверь?

— Это когда женщина с женщиной живут.

— Да ведь срам же!

— Жизнь разнообразна... Ничего-то ты не знаешь. Да и не надо тебе об этом знать. И народ наш пусть не все про войну знает. Крепче духом будет, чище телом.

Свидание наше не получило надлежащего завершения. Оба-два — умельцы наводить тень на плетень. На прощанье Люба чмокнула меня в ухо и ушла спать в сортировку. Закрывши дверь на железный засов, проходя мимо окна, увидела, что я не ушел, резко распахнула раму и облокотилась на подоконник:

— Иди ж, иди.

— Нагрянут бендеровцы, унесут тебя в лесок.

— У меня ружье. Вот! — подняла Люба винтовку из-под окна, будто из-под подола, вынула боевое оружие.

— Откуда винтовка заряжается?

— Раз оружие женского рода, значит, со ствола! — рассмеялась Люба и махнула рукой. — Да ну тебя!

Вместо того чтоб уйти, я приблизился к окну, обхватил Любу и с неуголенной жадой впился в ее губы и чуть не вытащил постового наружу.

— Да иди же ты, иди! — смятым голосом произнесла Люба. — Кажется, губу прокусил. — И с наигранным озорством пообещала, закрывая окно на шпингалет: — Не будет у тебя женщины с именем Люба! Не будет! Попомни мое слово...

И не было. Закон ли природы иль высших сил происки — уж коли по небесному штатному расписанию определено вековать тебе с Зинойчкой, то Зоечки тебе уж не видать. Я вон сколько на своем боевом, курортном, домотдыховском и прочем пути встречал Анечек, но ни одной из них принадлежать мне не дано было, все кренило меня к Дарьям, и прикренило-таки к одной из них, и роптать нечего — с законами природы не заспоришь. Пока вот тискал я да целовал Любу в глуби Украины, Дарья, предназначенная мне, возрастала во глубине России, училась, развивалась и неотвратно надвигалась на меня.



Осень сделалась просторная и прозрачная, к душевному покою она совсем не располагала. Бодрящая осень. Жизнь победоносная.

Вычислив, что соседняя, все еще действующая, часть почти обезбавлась, мужичье там находится в неприбранности и разброде, но к боевым действиям каким-никаким еще годно, цензорши вспомнили об юбилее своего подразделения и по этому случаю затеяли комсомольскую конференцию с гулянкой, по нынешнему, просвещенному, времени называющейся на иностранный манер — банкет, если еще ближе к нашим дням — презентация.

Увы, мне и моему другу Славе Каменщикову не суждено было присутствовать на торжествах. Так и не повидав родного дома и семьи своей, в госпитале скончался Славин отец. Родителями и войной наученный почитать не только свое, но и чужое горе, я друга своего не бросил. Я придумал заделье и увел его от конюховки к общежитскому колодцу — ополоснуться, если же баня, в которой перед юбилейным торжеством омывались «циколки», не выстыла, и постирать кое-что.

Возле общежития с ноги на ногу переступал и громко негодовал сержант Горовой, назначенный Арутюновым дежурить в общаге:

— Во гадство! Повезло так повезло! Сам, армянская морда, гуляет, девок щупает. А я чего щупать буду?! И Колотушкин туда же... Н-ну, друг Артюха! Ну, отцы командиры! Я вам этого не забуду!

Мы с другом вызвались освободить бравого сержанта для более занимательных дел. Он аж подпрыгнул и, заправляясь на ходу, бегом ринулся в гору: «Я вам выпить принесу и закусить принесу-у-у».

Не успели мы замочить в корыте портянки и белье — бац! — гости к нам. Две девицы: миловидная, пышноволосяя шатеночка с улыбчивым ртом, в котором поблескивали два золотых зуба, и ма-аленькая, беленькая, но вся такая решительная подружка ее. К удивлению нашему, они оказались из цензуры, сбежали с праздника. От бега иль от внутреннего возбуждения — у маленькой румянец во все лицо! Попросили попить. Я достал из колодца свежей воды, ковшем разлил по граненым стаканам, случившимся в общежитии по случаю пьянки. Культура! Девицы плюхнулись на скамейку возле стены, обмахиваясь платочками, разговоры разговаривают о том о сем, отчего это мы не на празднике, интересуются. Слава в предбаннике мокрым бельем шлепает, об стиральную доску дерет его, будто сук на сердце тупой ножовкой перепиливает. Это он нарочно — чтоб гости ушли. Последнее время он прямо стервенеет, если я с девками вяжусь, лишь для Любы исключение делает. «Не всей же армии праздновать да веселиться, — отвечаю я так, чтобы в предбаннике слышно было, — кому-то надо и работать, и добро сторожить». Толкую я и вспоминаю, где эту маленькую слышал и даже видел. И вспомнилось: во тьме, среди грязи случилась занятная наша встреча.

Гарцую я, значит, по местечку на своем жеребце, джигитом не джигитом, но выдающимся человеком себя чувствую. Гордо мне и вольно на боевом горячем коне. Хочу — еду шагом, хочу — скачу, да так, что всякая тварь бежит прочь, всякая птица — будь то курица, будь то воробей — с криком разлетается на стороны.

Уж до середины Ольвии я догарцевал, как вижу: тащится через мосток с чемоданом и постелью, завязанной ремнями, крепкая телом женщина, одетая в военное, с погонами лейтенанта. Ну и тащись, мне-то что? Тем более она — не наша, из цензуры тащится.

— Эй, парень!

— Чего тебе, эй, девка?

— Я не девка, я баба. Ну-ка подвези мои вещи!

— Может, и тебя подвезти? — принимая чемодан на седло, игриво хохотнул я.

— Я не умею на лошадях ездить — упаду и тебя уроню.

— На машине привыкла?

— А ты как угадал?

— Зад расплющенный.

— А-а! — пощупала она себя и тут же спохватилась, погрозила мне: — Ты эти вульгарные штучки оставь своим девицам, я — женщина серьезная.

— Ух ты! — Я бесстыдно уставился на встречную и обнаружил, что она совсем не старая и в глазах ее, голубовато-водянистых, окруженных белыми ресницами, бесовство, чуть конопатое лицо дышит бабьей зрелостью и таким самой себе присвоенным чувством превосходства над всеми, кого она зрит.

Звали ее Раей Буйновской. Она переезжала на другую квартиру, так как в хату, где она жила, явился с войны хозяин, и хозяйка попросила квартирантку выселиться, «шоб нэ так тисно було».

Переночевав несколько ночей в цензурной вошебойке, Рая нашла пристанище у одинокой, еще не старой вдовы. Увидев меня, хозяйка заявила, чтоб никаких парубков квартирантка не водила, но, поскольку был я на коне, поинтересовалась, не привезу ли я ей дров.

— Кто ж возит на таком иноходце дрова?

В тот же вечер явился я к Рае в гости, помог ей собрать кровать, прибил над кроватью старый гобелен с оленем, насадил валяющуюся посреди двора секиру, расколол несколько чурок, которые из-за сучков хозяйке не давались, принес с огорода мешок с фруктами, рассыпал их в сенцах на полу — в хате сразу густо запахло яблоками, пообещал бабке привести войско — копать картошку, может, и дров привезу. Хозяйка так расположилась ко мне, что напоила нас с Раей чаем. Сама, допив чай, перекрестилась и ушла за перегородку, пожелав нам доброго вечера.

Мы вышли с Раей на крыльцо, долго, хорошо говорили. Рая — ленинградка, потеряла в блокаду родных, молодого мужа убили на фронте — они и детей заиметь не успели. Когда я уходил, Рая поцеловала меня в лоб, поблагодарила за труды, за добрый вечер, сказала: если я захочу, могу приходить, но не за тем, за чем к девкам ходят, а чтоб душу отвести в приятной беседе.

Возвращаясь в конюховку, что-то я напевал довольно громко, вызывая ответные голоса собак из дворов, сбивал первый сон грамодян в хатах, погасивших лампы. Из переулка вынесло меня на поперечную улицу. Дальше всякое движение застопорилось, грязь, густо замешенная в «корыте» улицы, не просыхавшая меж каменными заборами, тынами и под навесами дерев, кисла тут и летом и зимой, вбирая в себя всякую живность, от мотылька до человека. Я пощупал сапогом дорожную хлябь, сунулся туда-сюда — везде вязко. Но как-то ж люди да и скот ходят, добираются до своих хат и дворов? И не сразу, но понял: скот бродит по пузо в грязи, люди же — где держась за тыны, где за тычины, за жерди, где — за выступы и щели в каменьях. По скользкому раскату меня сносило в «корыто», и я уж прикидывал, что, если надумаю идти к Рае в другой раз, опущусь к ее хате садом — там хоть за стволы деревьев держаться можно.

И только я наметил дальнейший план жизни, как тут же, во тьме, столкнулся нос к носу с человеком женского пола и понял, что женщина меня не испугалась, военная потому что, да и не раз, поди-ка, сталкивалась она так вот, среди грязи, под тенистым забором, со встречными путниками.

— И как же нам теперь быть? — игриво спросила женщина из темноты.

Я намек понял, но от тына не отпускался. Завязался разговор. Меня потянуло — в который уж раз за последнее время — похвалиться своей начитанностью, потому как больше-то хвастаться было нечем. Последняя книга, которую я одолел, была «20 тысяч лье под водой». Я и прежде читал эту книгу, но под менее загадочным названием, там «лье» называлось километрами, и это шибко опресняло название. Стою я, держась за тын, перед незнакомкой в непроглядной ночи и засоряю ей мозги, повторяя: лье да лье, лье да лье. Но на «лье» долго не продержишься, тем паче что я и по сю пору не знаю: длиннее это километра или короче? В разговоре



установилось, что ночная незнакомка из цензуры квартирует неподалеку со своей верной подругой и та ее уже заждалась. Ну да ничего, не каждую ночь на глухой улице удастся повстречать молодого воина и поговорить про литературу. Я развивал мысль о том, что за войну отечественная культура заметно пошатнулась, ее надо укреплять, и как бы между прочим сообщил собеседнице, что после демобилизации поступлю в университет, на филфак. Филфак филфаком, но надо и домой идти, скоро заступать на дежурство. Если опоздаю, Коляша Хахалин или Горовой допрос учинят: на филфачке иль на хохлушке залежался?.. Дался им этот филфак! Девки, которые еще не разъехались, парни, да и сам майор Котлов чуть чего: «Ну, эти филфаковцы!»

Я обреченно отпустился от тына. В конюховке долго отмывал из дождевой бочки сапоги, одновременно докладывая начальнику своему — Славе Каменщикову, — где был, чего делал. Слава не без укоризны молвил:

— Опытный вроде воин, а по площадям бьешь. Тебе, хоть и рядовому бойцу, должно быть известно, что стрельба по площадям малоэффективна. Ну зачем тебе толпа девок? Ты что, султан какой? Ты простой советский калека, и дай тебе Бог с Любой управиться, не пасть в бою. Надо ж кому-то на конном дворе дежурить, животных кормить, поить...

Все время, пока наши гости, девицы из цензуры, охлаждались водичкой, Слава бухал за стенкой корытом, доской стиральной будто пулеметом строчил. И гости не засились, поблагодарили за водичку, удалились туда, откуда доносились звуки музыки.

Нет, сегодня нам решительно не дано было завершить стирку, ополоснуться горячей водой и отдраить друг друга волосяной вехоткой, так как толсто зарастали мы около коней грязью и пылью. Только-только начали мы оба-два разболокаться, чтобы и амуницию, пропахшую потом и назьмом, замочить в корыте, как видим: из-за клуба вывернули и явно к нам спускаются люди военного вида.

— Осмодеи! — слышался наигранно-веселый голос Любы. — По ним девки сохнут, ночей не спят, а они прячутся, сердце ихое рвут на лоскутки и во, — потрясла она подштанниками, развешенными на груше: чтоб скорее сохло, перенесли мы белье с городьбы на солнце, — стирают... Тогда как бабы за счастье сочли бы обиходить спасителей отечества, кальсонину нюхнуть... Ну, здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, орлы-филфаковцы с конюшни, как кличет вас полководец Котлов. — Она поцеловала нас поочередно в щеки и отступила в сторону, разведя рукой, как бы церемонию представления демонстрировала: Мишу-молдаванина и Тамару да в отдалении смущенно теребящую комсоставский пояс военную девушку с волной чисто промытых волос. Белые узенькие погоны со сверкающей эмблемой — змейкой меж двумя полосками и двумя каплями янтарно светящихся звездочек — украшали это милое создание.

— Самые счастливые на сегодняшней день в Ольвии, кубыть и на всем белом свете, супруги Тамара-несмеяна и святой Михаил! — продолжала Люба представление. Тамара, прикрывшись рукой, прыснула. Миша, в одной руке державший бутыль, заключенную в прутяную изгородь, в другой — новый вещмешок, снисходительно улыбался. — А это, ну, подожди, подожди, красавица. Они хоть и конюхи, назьмом пропахшие, — парни славные, книжки читают, на филфаке собираются обучаться конскому делу! А это подружка нашей Сонечки Некрасовой. Заехала вот. А Соня прийти не может.

Мы со Славой на ходу подпоясались, прибрались, сдернули бельишко с груши, снова перевесили за баню, на ограду. Но там, в тени, белье и до ночи не высохнет. Да черт с ним, с бельем! А лейтенантша-то, лейтенантша — можно сдохнуть и не воскреснуть! Вот и ее небось такой же, как я, дурак любил, обнимал и прочее. Где их, умных-то, на всех набраться. Славику, однако, на сей раз несдобровать, хоть он и кремень мужик, хоть и не хочет жениться, хочет учиться... на филфаке. Несдобровать, несдобровать! Тряхни, Славик, тряхни всеми «Славами», всеми «Звездами», всеми

«Знаменами» и медалями, да так, чтоб все наши гости рот открыли, увидев, какой герой перед ними, хотя с виду простой человек, на конюшне работу ломит.

Что-то Люба сегодня очень уж раздухарилась, колоколит и колоколит, накрывая на стол, прыгает, галдит, того и гляди, чего-нибудь на ней из туги ее облегающей одежды от резвости лопнет!..

— Люба! Поди сюда, — поманил я ее на улицу и сказал, что у Славы большое горе и только по этой причине — только по этой! — подчеркнул я, мы не пошли на празднества в цензуру.

— А вас никто и не приглашал! — заявила Люба. — Больно гордые оба и девок боитесь, а их там штук двести. Что предупредил — спасибо.

Общежитский стол накрыт простыней, украшен сорванными возле общежития желтыми подсолнушками-пасынками, оставшимися на обезглавленных будылях. «Как это красиво! — удивился я. — Подсолнухи в виде букета!» Чистые кружки, молдавское виноградное вино, присланное Мише родителями, спирт, выделенный военной медициной на дорогу лейтенантше, курица вареная, опять же молдавская, колбаса американская, помидоры, огурцы, лук, вареные кукурузные початки и хорошо пропеченный ржаной каравай.

— Дорогие подруженьки и друзья, Сережа, Слава! — подняла кружку Люба. — Подписаны документы второй очереди, пора домой Тамаре и Мише, пора мне и Соне. Мы за это и выпить собрались. Но оказалось, что у Славы такое горе... Война продолжается и долго, видать, еще не кончится. Так выпьем стоя за еще одного павшего русского солдата.

— Спасибо! — промолвил Слава, и глаза его наполнились слезами. Он с трудом вытянул из кружки разведенный спирт, сел, укрывши одной рукой глаза, другой начал щипать хлеб.

Миша продекламировал что-то похожее на «Коку маре, маце куру».

— Миша сказал: пусть смерть и горе уходят, жизнь и радость остаются, — пояснила Тамара — она готовилась к жизни в Молдавии, овладевала языком мужа. — Так, Миша?

— Прыблызытэлно.

Выпили еще, потом еще. Славика не пробирало, компания не складывалась, веселья не получалось.

— Вы меня, ребята, простите, — сказал Слава, поднялся и ушел, показав мне глазами, что белье соберет и досушит в конюховке.

Выпивку мы так и не осилили. Миша еще не окреп после госпиталя, захмелел, начал клевать носом. Попытка возбудить в нем энергию бодрой песней про смуглянку-молдаванку успехом не увенчалась. Зато за речкой, на холме, веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. Тамара увела Мишу спать. Лейтенантша сказала, что после дороги хочет поваляться, почитать, да и Соня дома одна.

Дальней улицей мы с Любой вышли за околицу, в поля, местами не убранные. Медленно и молча двигались мы на солнце, клонившееся к закату, брели каждый сам по себе, со своими думами, со своей усталостью, и в то же время объединенные осенней тишиной. Не хотелось нарушать ее. Дорога, выгоревшая за лето, по обочинам снова зазеленела от все чаще перепадающих дождей. К дороге ластились, клонились отяжелевшие овсы. Приветливо желтели ясные полевые цветы осени: куль-баба, яснотка, ястребинка. Сквозь замохнатевший осот на волю выбрался упрямый цикорий. В проплешинах овсов небесно сияли мелкие васильки, если мы задевали сапогами межи, в глуби их начинали потрескивать и порскать черными семенами дикие маки.

— Тебе хоть жаль немножко, что я уезжаю? — наконец заговорила Люба.

Я пожал плечами и вымучил вежливый ответ:

— Немножко жаль.

Мы приблизились к мохнато среди полей зеленеющему, кое-где уже запламеневшему островку, огороженному колючей проволокой. К нему, точнее, в него вела едва приметная дорога. Среди островка, под ореховыми деревьями, опутанные вьющимся растением с черными ягодами, стояли давно не беленные строения, трансформаторная будка без крыши. Кинутая техника, машина без колес, тракторный скелет, теплицы с выбитыми стеклами и водонапорный заржавелый бак. Далее — тоже ржавая сетка. Навстречу нам, громко лая, выметнулась рыжая собачонка. За островом с неухоженным, полуодичавшим виноградом виднелись гряды с вилками капусты и оранжевыми туго налитыми тыквами. Из дощаного строения с провисшей крышей вышла баба в расшитой украинской кофте, с подоткнутым подолом и, подрубив рукою лицо от ослепительно сверкающего уже на кромке земли солнца, настороженно смотрела нам вслед.

— Взял бы да и украл мне кисть винограда, — молвила Люба и, когда я начал озираться, отыскивая лазейку в спутанной проволоке, насмешливо добавила: — Не надо. Настоящий кавалер без раздумья ринулся бы на преграду. Нас-то-ящий! — Она свернула с дороги, спокойно приподняла бухту проволоки, пролезла около столбика в густые заросли. Явилась с двумя увесистыми кистями глянцеви́то-черного винограда. — Мы к самообслуживанию привыкли. Когда-то здесь была опытная станция садоводческого совхоза, дальше — бахчи. При немцах полный порядок соблюдался. Они поставили по краям две виселицы и вроде никого не повесили, но никто не смел сунуться в эти владения, ну а после — виселицы унесли на дрова, а мы ох и полакомились арбузами, виноградом, вишеньем, орешками... Вы в окопах лапу сосали да сухари глодали, а мы тут, ведомые энкавэдэшниками, жировали да пировали. Циколкам, как вы их кличете, всю войну вместо табаку шоколадик выдавали, и я возле них лакомила, гли, какое тело нагуляла!

— Ну и жируй дальше. Чего сгальничаешь-то? — Я отчего-то наедине с Любой снова построжел, напряжение во мне нарастало, выверяться начал. — Кто вам и вашим покровителям указ?

— Совесть!

— Х-хэ, совесть! — Я послушал сам и дал послушать Любе далеко на просторе звучащий баян. — Тела вот много вы тут накопили на шоколадах-мармеладах да на фруктах, но вот насчет совести... Зря фрицевские виселицы спалили, зря!

— Перевешал бы всех?

— Всех не всех, но кой по кому веревка плачет.

— Мало еще вам смертей, мало вам еще крови?..

— Не тебе об этом рассуждать.

— А кто яму для других роет, сам в нее и попадет, как в тридцатых годах было.

— Да ты-то откуда про это знаешь?

— Оттуда! — При этих сердито ею сказанных словах Люба свернула к разоренной скирде, плюхнулась на солому, лежит, ладонью от солнца прикрывшись, виноград зубами рвет, косточки далеко выплевывает и ровно не замечает, что юбка ее военная заголилась так высоко, что уж застежки черных резинок видно и чего-то дальше резинок белеется. Справная! Ляжки ядреные, грудь так ходуном и ходит, того и гляди, гимнастерку разорвет! Нарочно, зараза, так развалилась, нарочно и разговор неприятный завела. Дразнится. Я пошарил по ее телесам и, когда она выпятилась на меня, сердито поддернул на ней юбку и откусил от кисти сразу горсть винограда и захрустел косточками: мне сейчас камень дай — искрошу зубами.

— Ой! — Люба села, вытаращилась на меня и со змеиной усмешкой спросила: — Тебе меня хотца, да?

Я лупанул в нее виноградной кистью:

— Стерва ты, больше никто!

— Хочется, хочется, — продолжала Люба, утирая ладонью лицо, — и не меня персонально, просто бабу. Любую. Ба-бу, ба-бу-бы — первобытно-



го человека первые слова. Все это естественно, требования природы. И на первой встречной бабе ваш изголодавшийся брат и погорит! И ты погоришь, помяни мое слово! Вы, которые конопатые, — самые есть страстные и ревнивые, — щекотнула она меня, отчего я повалился на солому.

У меня, пока Люба предрекала мне ближнюю судьбу, созрело решение тоже ее подколоть: понял я, дескать, понял, на чем вы с начальником сошлись. На демагогии. На дурословии. Виталя если в отставку выйдет, в школе самодеятельностью будет заправлять иль марксизмом-коммунизмом в захудалом вузе, а ты хвостом перед хахалями будешь вертеть...

Но я смирил себя: вечер-то уж больно хороший наплыл и свидание наше, судя по всему, последнее.

— И все-таки ты, Любовь... как тебя по батюшке-то?

— Представь себе, Гавриловна.

— Любовь Гавриловна, все-таки ты есть большая стерва.

— Не больше других.

Солнце уже половиной диска увязло в мутной тине горизонта, вторая же половина светилась красной окалиной, сжигала проступившие соломки, колосья, колючки с черными шишками. Край неба, тоже налитый красным во всю ширь, упорно и зловеще горел, и темень, вдавливающая его в землю, казалась стелющимся по небу дымом.

Установилась наконец полная тишина, вроде даже слышно стало, как в скирде осыпаются зерна с колосьев и под дородным телом Любы, ломаюсь, хрустит солома. Собачонка, обеспокоенная нами, перестала тявкать, и сразу забегали по винограднику птицы, шурша листвой, стуча клювами, они подбирали падалицу винограда на земле. Малая птаха, устроившаяся на ночь в ореховом древе, реденько роняла похожий на кругленькие ягоды голосок с настойчивым призывом всем успокоиться и спать ложиться. Ширился, густел и как бы приближался с полей звук цикад. Мерклый свет одиноко светящегося окна в глуби деревьев и виноградника вовсе запал в кущи и запутался в их переплетении. Меня пробирало ознобом — без белья ведь на randevу попал, а мундир солдатский, бесхитростно-убогий, не греет и не красит человека.

— Пошли давай, чего уж... — буркнул я и от вечерней стыни, не иначе, зазевал во весь рот.

— Да не зевай хоть! — стукнула меня кулаком по башке Люба. — Скажи лучше, как жить-то?

— Чего я тебе, вещун какой иль комиссар, который наперед знает, куда идти, чего делать, как жить. — И не удержался все же от изгальства: — Свали какого-нибудь начальника, лучше генерала — они таких сиськастеньких обожают, — и живи себе в сытости и довольстве.

— Да ты-то, пехтура, откуда знаешь генерала? Небось за версту его зрел и драное галифе со страху обмочил.

— Зато ты зрела всех во всей красе изблизя.

— Н-ну, дурак! О-ох и дур-ра-ак!

— От дуры слышу!

— Если же я хочу жизни другой?

— Какой такой ты жизни хочешь? Я слышал, у тебя мать — известная певица в Москве. Учиться сможешь. Работу по душе найти сможешь. В театры ходить станешь, музицировать, в ресторанах с хахалями пировать!.. Это мне с мазутным рылом по мазутной части служить. Отец у меня — вагонный слесарь, мать — вагонная малярка. Мать держится огородом, ждет домой работника. А что я умею, что могу? Соответствовать фамилии, какую мне ротные писаря изобразили, — Слесарев.

— А как было?

— Слюсарев.

— О-о, мамочки! О-о, ми-ылочки-ы! — Люба поворошила мои волосы, тербнула за ухом: — Сере-ож! А все ж таки и тебе, и мне хочется жизни не жвачной, духовной...

«Я не то хочу, да молчу», — снова потянуло меня уязвить ее — мужика, мол, тебе здорового с жеребьячьей ялдой хочется, а не того, у которого рана сочится.

— Хочется и мне, — переждав приступ раздражения, заговорил я, — чего скрывать, лучшей доли, вольной воли, выучиться бы и тоже в столице иль где дыму и грязи меньше жить, чистую работу править. — Вздохнул: — Бога бы попросить об этом, да ведь богохульниками были и остались. Я уж забыл, с какого плеча крестятся, а ведь мать учила, на колени ставила, лбом в пол тыкала...

— А я, может, уже и молюсь.

— Сектантка, что ли? С комсомольским значком на титке!

На щеку Любы неожиданно выкатилась слеза, зажглась, закровенела, засветилась на исходящем солнце. Люба слизнула слезу.

— До чего ж соленая!..

Я сразу же размяк, погладил Любу ладошкой по голове, прощения таким образом взыскаю.

— Редкие слезы всегда солонны, — почему-то угодливо получилось у меня.

Люба обняла колени и до глухих сумерек, быстро и густо наплывающих с полей, сидела не шевелясь. Я не смел ее тревожить. Мне первый раз пришло в голову, что чем человеку больше дадено таланту, тела и души, тем ему труднее вековать среди людей и вообще тащить себя по этому неприветливому свету, зовущемуся отчего-то белым. Может, Люба предчувствует чего-то? Что наломает она дров в гражданской жизни, я и не сомневался: привыкла жить в родном коллективе, где она не то чтобы царила, обласкана была, всегда на виду, всем необходима, и лелеяли ее, привечали, принимали со всеми загогулинами уже подпорченного характера. Но какая женщина без загогулин?

— Пойдем, Люба, домой, — тронул я девушку за плечо. — Не хочца больше с тобой ругаться.

— Пойдем, пойдем. Ты ж без белья, еще простынешь.

Когда мы миновали островок опытной станции, в глуби которой светилося тусклое оконце, и птичка, разойдясь, уже соединила капельки, рассыпая их звонкими бусинками, начали спускаться к местечку, Люба, явно не желая слышать баян, не желая видеть праздничных людей, предложила:

— Давай постоим еще маленько.

— Давай постоим, чего ж.

— Вот и хорошо. — Люба коснулась моей щеки, задержала ладонь на шрамах. — Хорошо было бы, если б характер твой еще смягчился, чтоб раны твои заросли, сердце ныть перестало... — будто молитву произнесла она и коснулась ладошкой головы: — Вот и волосы твои уж отросли, они мягкие у тебя.

— Раны уже заросли.

— Неправда ваша, — возразила Люба, — штанина желтая от гноя, свищи сочатся, осколки выходят, а ты на конюшне навильники ворочаешь. Если рану засоришь — сдохнуть можешь, и мне тебя жалко будет.

— Раз уж раньше не сдох. Между прочим, ты меня так раззадорила на соломе, что я и про рану забыл, мог бы и умереть на тебе.

— Прекрасная смерть для мужчины. Великий художник Рафаэль, читала я где-то, испустил дух подобным образом. Ладно. Довольно болтать глупости. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга... Какой длинный вечер! Какой тревожный свет все еще прожигает небо. Уж не пожар ли где? Пойдем давай, пойдем.

Зловещим светом налитой, бритвенно острой полоской подрезало холмы, подровняло лес на горизонте. Свет не мерцал, не двигался. Он остывал, погружаясь в темную глубину. Еще не проснулись ночные птицы, еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками — перепутье меж тьмою и светом.

Мы шли на огни селенья, спустились к речке, и когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сомкнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и больно поцеловала, перевела дух, сказала: мол, очень хорошо, что я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний совхоз и не приду ее провожать, — уж так жалки, так утомительны прощальные вздохи, выпрашиванье адресов и фотокарточек, обет писать и помнить друг друга вечно... Зачем?

Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру гнать лошадей; и когда поздней уже ночью я шел из санчасти в конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось побыть одному. Я свернул в сад, долго и неподвижно лежал на остывающей в ночи земле, слушал, как притихает боль после перевязки раны, отходит сердце, защемленное в груди, вроде и поплакал, потому что, когда очнулся, лицо было влажное.

За речкой, в ярко освещенном помещении, в бывшей средней школе, по саду и в ограде сортировки все еще звучали песни — военный народ прощался с войною.

От речки наплывал ознобный воздух, из глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени.

Осень перевалила на исход.

Кони в нашу почтовую часть все прибывали. Военные ведомства, занимающиеся репарациями, не интересовались, есть ли конюшни, корм в данной части, им главное — рассовать трофейное имущество, снять с себя ответственность, переложить ее на другие погоны.

Нестроевики, брошенные на конюшню, не справлялись с работой, поили лошадей из ручья раз в день, а со временем перевели лошадок на самообслуживание — выгоняли их в чистое поле. Крестьянские парни жили при лошадях — в шалашах, среди лохмато колеблющейся кукурузы. К пастухам наведывались пастушки, иные там и закрепились. Арутюнян, Артюха Колотушкин и Горовой — все руководили наиболее боеспособным звеном нашего войска, распоряжались и лошадьми: подвозили дрова, солтому, буряки, отвозили назем в поля, грузы по столовым и ближним деревням. Когда началось распределение лошадей по ближним колхозам и совхозам на зиму, наши начальники взялись именовать себя уполномоченными, подозревалось, пару лошадей, если не больше, наши уполномоченные прогнали мимо цели — уж больно вкусно ели и пили, пастухов с невестами угощали. С полей доносило запахи мясного варева. Маленько перепадало и нам: уполномоченные боялись Славы Каменщикова, умащивали его всячески.

За лошадьми приезжали представители совхозов и колхозов, порою даже сам голова прибывал, с подарками на подводе: самогон, хлеб, сало.

Из совхоза «Победа», куда приказано было отправить пятнадцать лошадей, не приехал никто, лишь пришла в часть телеграмма: «Нетерпением ждем». Кони меж тем начали партизанить, выели все вокруг вплоть до стерни на полях, добрались до опытной станции, до местечковых огородов и дворов, вели себя агрессивно — оккупанты же!

На другой день после большой гулянки по Ольвии стоял стон и плач. На станцию уезжала большая партия демобилизованных, среди них отправлялись на Урал Коляша Хахалин с Женярой Белоусовой и Толя-якут со Стешей — в недостижимо далекую Якутию. Мечтали поехать на станцию провожать своих невест мои помощники, Ермила Головатый и Кирила Чириков. Но их не отпустили. С вечера получил на нас сухой паек наш строгий начальник — Слава Каменщиков, отменяя всяческие сантименты, майор Котлов погрозил кулаком женихам, заодно и мне: «Если лошадей растеряете или пропьете — будет вам трибунал».

Солдаты как миленькие на рассвете погнали лошадок по пыльной дороге снова на Запад. Главное было — поскорее миновать хутора и лес в истоке речки. Но, попавши в лес, лошади встали, начали кормиться тра-



вой, падалицами диких груш, яблок, даже желудями, будто уж и не кони они, а поросята или козлы. Опыт в обращении с лошадьми у меня уже накопился, я велел Ермиле и Кирилу разжечь костерок, ложиться спать. И сам, Любовью Гавриловной измученный до ломоты в костях, собрался вздремнуть, пока табун наш подкопит сил для дальнейшего пути.

И помощники мои совсем сникли — не видать им своих невест. Ермила и Кирила — парни деревенского, обстоятельного ума и склада, как припали каждый к своей девке, без охов и вздохов, без чтения литературы обработали материал — накачали девкам по брюху, однако дали перед этим слово, что распишутся. Но что она, та расписка, тот штампик в красноармейской книжке и бумажка под названием «Прошлюб», — иные бойцы-храбрецы тут же, по отбытии суженых, в жены записанных, выдирали страничку, чтоб не портился облик красноармейского документа, потому как все записи в книжке потом перекачуют в паспорт, рвали ту страничку с регистрацией, пускали клочки бумаги по ветру.

Узнав, что женихи наряжаются в «командировку» перед самой их отправкой, невесты Ермилы и Кирилы посчитали это коварным обманом и происком, коих в последнее время по Ольвии случилось немало, собрались жаловаться командованию. Но какое тут командование? Демобилизованные ж, никому ж не принадлежат, кроме женихов. Ультиматум был: если женихи не явятся проводить суженых, не подтвердят прилюдно, что приедут к ним в качестве мужей, страдалицы покончат с собой — удавятся во дворе сортировки, на старой груше, — пусть полюбуются и командование, и хитрованы женихи, и майор Котлов из окошка кабинета на дела свои, пусть знают, до какой крайности они довели честных девушек, и пусть их жертвы предостерегут доверчивых подруг...

Я всю дорогу измывался над женихами. Они сначала похохатывали, потом вяло отлаивались, зло на конях сносили. У костерка они сидели смиренные, после похмелья лица у них отекали, ели они вяло, а я подзуживал: если они плохо будут кушать, вовсе обессилеют, малосильные мужья кому нужны. И стих Коляши Хахалина припомнил кстати: «С работой колотишься, грешишь — торопишься, ешь — давишься, хрен когда поправишься». Ответом мне были молчаливо-печальные улыбки парней. Костер нагорел, Ермила и Кирила накатали на угли картошек; конь, румынский видать, подкрался, хватить горячую картошку из костра. Работяги мои сгребли по хворостине и так лупили коня, гоняя его по чаще, что он человеческим голосом, по-русски закричал: «Бля буду, больше воровать не стану!»

Я сказал парням, что нехорошо так: животное не виновато в том, что они невест не проводили. Парни мне в ответ: «Твоя зазноба, Любовь Гавриловна преподобная, тоже отбывает домой, и тоже небось сердце болит?» Я им заливаю, что поручил свою зазнобу Коляше Хахалину — с ним никто не пропадет, достал из продуктового мешка бутылку с самогоном, налил им и себе в кружки, брякнул: «Я себе в «Победе» невесту сдобуду, если табун на ход направите, может, отпущу вас с Богом». Парни громко заверили меня, что шкуры с оккупантов спустят, но заставят их уважать дисциплину и ходить строем.

Русские парни, воевавшие в пехоте, не по разу раненные, Ермила и Кирила, в отличие от меня, и к жизни стремились основательной. Соединятся вот со своими сужеными и дальше будут идти по Богом им определенному пути, заниматься крестьянской работой, ребятишек творить, если, конечно, не уморят их, победителей, голодом, не поймают в поле с колосками, с ведром мерзлой картошки и не сгноят в строговоспитательных заведениях спасенного ими отечества.

Кони, пришедшие из-за границы своим ходом, дисциплину знали, к табуну привыкли и, подкормившись в лесу, трусили и трусили себе, по-солдатски, на ходу мародерничали — где с межи, где в перелесках травку состригут, колосок, метелку овса. К полудню была завершена большая часть пути, нарисованного мне на казенной бумаге с грифом и номером

нашей почтовой части. Документы на лошадей, мои документы и всякие сопроводилки были в планшете, уделенном мне майором Котловым. Планшетка, надетая через плечо, била меня по боку, тыкалась в бедро. Жеребец мой возил, видать, командира лихого и форсистого, хлопанье чужой планшетки удостоверяло его, что и сейчас на нем гарцует человек немалого чина...

Достигнув населенного пункта, жеребец снова приосанился, глаза его налились диким пламенем. Приосанился и я. Перегон коней оказался не таким уж трудным делом. Довольный собою, радый за своих помощников, я улыбался в неотросшие усы, вспоминая, как Ермила и Кирила взгромоздили на свои хребты седла, бегом хватили в обратный путь, а я еще и свистнул им вослед.

Кони рысцой и, как мне показалось, охотно миновали в прах разбитое селение. Я еще раз дал лошадям напиться и покормиться на околице мертвого селения, сам маленько подкрепился, настороженно озираясь по сторонам, — в таких вот развалинах, среди ломи кирпичей и головешек, горелых печных труб, хат со спаленными крышами, с выбитыми окнами, сорванными дверьми, подходяще скрываются братьям самостийщикам.

Села, как и люди, оживали от войны по-разному. Иное село тут же после отступления оккупантов начинало струить дымки из печей, возле побитого жилья уже сложены в кучу мало битые кирпичи, древесная ломь на топливо, горелые доски, выпрямленные гвозди и скобы, угольники стекла. Кто мог, копал землянки под жильем. Чумазые ребята просили у солдат хлеба, из сожженного бурьяна выметывался петух, преследуя курицу, — единственная пара, уцелевшая в селе. Петух непременно настигал убегающую курицу и, справив свое петушье дело, привстав на цыпочки, упоенно орал: «Вот так, братья по разуму, надо возобновлять живое поголовье, вот так надлежит порушенную жизнь восстанавливать!»

У этого побитого села ни улицы, ни таблички, хоть бы угольком написанной, ни дымка из печки, ни голоса с подворий. Но жизнь в нем угадывалась, пряталась она в зарослях бурьяна, в одичавших садах и пустых огородах, в дорожках, едва начавшихся и тут же смолкающих.

Одиночный выстрел, затем вялая пулеметная очередь, донесшаяся с полей, добавили хода табуну — коняги-оккупанты многое уже испытали за войну, иные побывали в пристежках и обозах. Одна лошадь заприхрамывала, сбилась с хода и, как ни старалась наддать, отставала от табуна и уже издали подавала обреченный голос.

Начались полуубранные, где и вовсе не убранные поля. Кони снова взбесились, не обращали внимания на плетень, которой я их лупил, на отборнейшие матюки. «Они ж не русские, они ж из-за границы, нашего языка не понимают», — заметил еще Кирила. «Успели парни к проводникам или нет?» — мимолетно подумалось мне. Вплыл табун в поле, погрузился в овсы, кони опять вели себя по-мародерски — выдирали стебли вместе с подгнившими корешками. Черными снарядами выметывались из-под копыт коней тетерева, с клекотом вздымались с земли конюки, отяжелевшие от мышатины, табуны голубей и воронья растревоженно закружились над полем, где животные, не разумеющие моего языка, беспощадно истребляли совхозное добро, и если бы в помощь мне не прибегло несколько увеченных войною мужиков, не знаю, что бы я и делал...

Нахватавшись в дороге пыли, в поле — овса, лошади, почуяв жилье, сами свернули к длинным саманным строениям с неряшливо залатанными пробоинами. На задах конюшни, которую я определил по кучам свежего назьма и по истолченной копытами земле, стояли обгорелые, упочиненные жестью и вновь выдолбленные из осин колоды, наполненные водой. Несколько строений маячило на невысоком, выдутом ветрами холме. Среди горелых, кое-где и кое-как залатанных досками построек красовался барак, собранный из деревянного барахла, со старыми и новыми рамами. Должно быть, общежитие. Редкие столбы с полуобгорелыми проводами, полуочищенные от коры свежие бревна, прутья недавних посадок в за-

сохших лунках, полуразбитая техника. В центре селения осанисто, даже с вызовом громоздился новый комбайн, и возле него возились, чего-то закручивали, били молотками два парня в военном изрядно изношенном обмундировании. Вот, пожалуй, весь пейзаж совхоза «Победа», мимоходно охваченный взглядом.

Однако поля вокруг были вспаханы под зябь, пыльной зеленью светились озимые на лоскутьях пашен. Вызревший хлеб, овсы, кукуруза, подсолнечники — где убраны, где и не тронуты еще. Много не убрано картошки, сахарной свеклы. На скошенных полях паслось стадо коров, овец и коз, оживляя пестротой осенний пейзаж. Среди селения, в глубоко разрытой, полувисокой луже, лежали кабан и чушка, о чем-то умиротворенно похрюкивали. Ключьями бумаги белели курицы, над наново срубленной в центре селения избой струился дымок, наносило пареной капустой — значит, столовая. А где столовая, там и контора, решил я. Из конторы, прихрамывая и улыбаясь, спешил мне навстречу человек в галстук и старой шляпе — директор совхоза, Вадим Петрович Барышников, бывший командир стрелкового батальона, — знал я о нем от наших командиров. Войдя в середину табуна лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по шеям, что-то высказывал им почти с рыданием, затем бросился обнимать меня, будто я пригнал ему в подарок личных рысаков.

— Н-ну, парень! Н-ну, парень! Ты и не представляешь, чего сотворил! Ты же урожай наш спас! Нас спас! Да что толковать? — А сам, будто веслом загребая ногою, спешил уже к соседнему крыльцу, громко звал: — Лара! Лара! Ты посмотри, посмотри, что тут творится!

С крылечка спускалась миловидная женщина с усталым, загорелым до черноты лицом.

— Лариса! — протянула она мне руку. — Жена этого счастливого начальника, по совместительству агроном, счетовод и секретарь комсомольской организации. Партийной у нас пока нет. — Вздохнула: — Ох, как многого у нас еще нет... Пойдемте.

— Гостя накормить, напоить и вообще... — распоряжался начальник нам вслед.

Мы пошли к стоящему на отшибе дому, в одной половине которого жила семья директора совхоза из трех человек: Вадима Петровича, Ларисы и голозадого карапуза. Он ходил возле скамейки и ладошкой прищлепывал свежее собственное добро, чтоб никуда не делось.

— Воло-о-дя-а! — вскрикнула Лариса и бросилась к ребенку. — Ну как не стыдно?! — Володя, сияя глазенками, протянул к матери руки. Она подхватила его под мышки и, держа в отдалении от себя, смущенно говорила: — Извините нас! — унесла его за занавеску и, брякая рукомойником, ворковала: — Дядя вон приехал, лошадок привел, а ты что натворил? Какими подарками его встретил?!

Малый повизгивал от щекочущей воды, радовался тому, что мама пришла, и неожиданно произнес: «Тя-тя!»

— Дядя, дядя, мое золотко, радость моя, мученье мое, — вытерев пеленкой, клюнула Лариса малого в заднюшку и, бросив мне на колени пеленку, подала свое сокровище: — Подержите этого разбойника, а то он не даст мне заняться делом. — Она сразу оживилась, помолодела лицом и, отринув усталость, радовалась вслух: — Это он третье слово сказал! Говорил только «мама», «папа», теперь вот и «дядя»! У-ух ты, умница моя! Ух ты, ушкуйник сибирский! — забирая у меня ребенка, чмокала его всюду, наговаривала Лариса, водворяя малого в неуклюжую деревянную качалку. Малыш ревел во весь богатырский голос, тянул руки к маме.

Я выковырял ревуна из качалки, поглядел на него и сказал, как командир Арутюнов: «Прекратить!» Малец перестал плакать, прижался ко мне. Конечно же ему хотелось к матери, но и дядя, на худой конец, ничего. Поскрипывая пустышкой, Вовка приник щекой к моей груди. Я никогда еще не держал детей на руках и вроде как обомлел. А мальчик усмирился



и начал задремывать. Я слышал, как толчками бьется мое сердце, и подумал: это мешает дитю заснуть. А может, наоборот, привыкший к груди отца, к биению его сердца, малыш чувствовал себя спокойней. Я начал ощущать себя так, будто принял дитя в себя, во мне пробуждалось неведомое доселе томление и умильность — так вот оно как! Внимая доверчивой теплоте малыша, я плохо слышал Ларису, хлопотавшую у плиты за дощаной заборкой. А она рассказывала мне историю совхоза «Победа» и только начавшуюся историю семьи и жизни Барышниковых. Совхоз «Победа» — типичное восстанавливающееся после войны и разрухи хозяйство. Все почти с нуля, все требует рук, силы, хозяйственной смекалки. А где ее набраться вчерашнему офицеру и недавней студентке? Помощи пока ниоткуда никакой. Вот первая ощутимая подмога — лошади. Главное, нет людей. Скота мало. Земли запущены. Машинный парк — старье. Сдали в прошлом году первый урожай свеклы — купили комбайн; у военных выменяли на мясо автомашину.

Вадим Петрович по образованию агроном, но не законченный — с третьего курса сельхозинститута призвали на войну, дважды ранен, в звании старшего лейтенанта демобилизовался по ранениям в 1944 году и направлен на восстановление хозяйства в западные, отвоеванные у врага, районы. Лариса родом из Омска. Папа — речной капитан, мама — учительница средней школы, преподает русский и литературу. Лариса тоже училась на агронома, их институт шефствовал над госпиталем, где лечился Вадим Петрович. Там и скрестились их пути, и дошефствовала она до разбойника этого горластого.

— Пал боец? Положите его, положите. Конечно, очень трудно, — продолжала Лариса разговор, занимаясь у плиты, — но духом люди не падают, надеются на лучшее. Недавно целый отряд девушек прислали, репрессированных. Угоняли их в Германию. Домой отчего-то пока не пускают, да у многих никакого дома и нет — потерялись они в миру. А девушки хорошие, работают безотказно, только очень уж они запуганы. А красавицы, как на подбор! Это ж надо, как фашисты умели сортировать людей! Для тяжелых работ, для оборонного дела, для утех и забав — все расписано, всему нормы и стандарты определены! Хозяйство, конечно, восстановим, жизнь какую-никакую наладим. Но как с девушками-то? Кому они нужны с переломанными-то судьбами, где-то уже и расхристанные. Вечер настанет, запоют в красном уголке, за стенкой, — хоть в лес убегай...

Лариса еще не успела справиться с ужином, как появилась помощница и с порога заявила:

— Меня Вадим Петрович послал, — спинывая с ног старые солдатские сапоги возле порога, объявила она. Вовка, заслышав голос, тут же воспрянул ото сна, сел в качалке и заорал с новой силой. Гостья кинулась к нему, сюсюкая на ходу: — Да сиротиночка ты моя! Да лапонька милая! Бросили тебя родители, бросили! И ты их брось, когда вырастешь! — Наговаривая, она утирала малому слезы, осыпала его звонкими поцелуями.

Мальчонка обхватил девушку за шею, прижался к ней. Лариса бегала с посудой из кухни к столу, раздумывая, в белом платке, и кивала мне — слышали, мол, чего говорит наша няня. Вовка-подхалим тут же взял на слух и выдал четвертое слово: «Ня-ня!»

— Няня, Вовочка, няня, мой миленочек! — подхватила девушка счастливым голосом.

— Изабелла, познакомься с гостем.

Я бросил в таз недокурную сигарку, отмахнул дым к двери и напряженно ждал. Девушка с ребенком на руках приблизилась ко мне. Конечно, я не на Луне рос, не в глухом скиту жил, в небольшом российском городке с узловым железнодорожной станцией зимогорил. Туда на стройку стекался пролетарский народ отовсюду — домну возводить, и уже выработал племя не племя, расу не расу, но народишко крепкой породы, иначе ему было бы не выжить в нашей стране, не заломать фашизм, может, и не шибко выдающийся умом народ получился, но от пестроты наций красо-

ты и стати набрался. Петляя по земле после фронта и госпиталей, вращаясь, так сказать, в массах, немало повидал я красивых женщин, хотя бы на той же Кубани любимая моя медсестра была не последнего ряда, одно время даже самой красивой на всем белом свете казалась. Но то, что я увидел!..

В древности правоверные мусульмане в некоторых странах падали ниц и не смели поднять лица до тех пор, пока не проедет мимо высоко на лошади сидящий ясноликий султан или падишах. Кто смел поднять лицо, тому тут же отрубали голову: не смотри на солнце — ослепнешь!

Это я о госте, об Изабелле, на бумаге речь веду, в натуре-то я тогда онемел, усох и чуть от удивления не сдох...

Она приблизилась ко мне, церемонно присела, вроде бы книксен сделала, я пребывал в столбняке и не сразу ответил на приветствие, для себя неожиданно сунул ей руку и почувствовал маленькую ее, беспокойную, от земляной работы шершавую ладонь. Спекшиеся губы девушки чем-то обесцвечены, тонкая кожа лица иссушена, ныне-то я знаю — пудрой, косметикой, — голова повязана сиреневым лоскутом, концы его обвиты вокруг шеи. Сосущая печаль исходила от увядшего лица, подчеркнутого небрежной сиреневой повязкой с почти стершимися золотистыми скобочками — лоскуту надлежало украсить это блеклое, в печаль погруженное существо. Девушка не хотела, чтоб ее пристально рассматривали, загордилась Вовкой, с хохотом подбрасывала его: «Воты ка-ак! Воты ка-а-ак!» Вовка взвизгивал от страха и восторга, хватался за нянькин нарядный лоскут, но она ловко уклонялась от рук мальчика.

— Кавалер наш с разбором! — выглянув из-за загородки, улыбнулась Лариса. — Не всем руки подает! Предпочитает Беллочку, засыпает под ее песни, песни же у нее, как она утверждает, — режимные. Ну да ничего. Скоро парни демобилизуются, будет и на нашей бедной улице праздник! Будет и у нас много детей! Построим детсад, определим туда работать нашу няню.

Вадим Петрович, шумно, с извинениями ввалившийся в дом, за столом угощал меня буряковой самогонкой, гостью — тоже, говорил и говорил о совхозных делах, перескакивал и на другие темы, на судьбы людей, страны, возрождение мирной жизни — главная это сейчас забота, и разговор везде и всюду одинаковый.

— А что, дорогой наш гость, — захмелев, поинтересовался Вадим Петрович, — скоро ли твоя демобилизация?

Я ответил — вот-вот. Престарелые воины, женщины и необходимые народному хозяйству специалисты — первая очередь. Во вторую пойдут те, у кого три ранения и чей возраст вышел из армейских норм, да и другого разного люда много подпадает под вторую очередь, потом и третья подоспеет, и четвертая — чего ж такую армию зазря кормить? Выпивка и рассуждения мои настолько смелыми меня сделали и уверенность такую вселили в меня, что я уж открыто глядел на Изабеллу, даже предложил выпить за гостью.

— Ой, давайте, давайте! — встрепенулись хозяева. — Она у нас отходит помаленьку.

Я не вник, от чего Изабелла отходит, да и зачем ей куда-то и от чего-то отходить? Перед таким дивом только и остается вздохнуть о несовершенстве слова перед природой: слову-то писчому тысячи лет, природе ж и творениям ее — миллионы.

Всякая прекрасная женщина прекрасна прежде всего глазами — этому женскому «струменту» дано не только светиться на лице, но и проникать в тайну, которой часто и сами-то женщины пугаются, а уж нашему брату мужику, верхогляду, только и остается — отвести глаза в сторону, чтоб не ожечься о встречный взгляд. Глаза Изабеллы, будто на египетском древнем рисунке, унесены почти на щеки, вроде как отстранены от лица. Темный обод глазниц, прячущий глаза взатень, да еще и цвет глаз сумеречного отлива, лампадным желтым светом подсвеченных из глубины, придавали им

запредельное значение. Такие глаза бывают только у колдуний. Бархатные шнурки черных, от висков начинающихся бровей вытягивали и не могли вытянуть глаза на положенное место. Нос с по-зверушечьи чуткими ноздрями, темнеющий пушок над губой, вызывающе вздернутый подбородок со вмятинкой — все как бы рассеяно, разбросано и присутствовало на лице только потому, что согласно природе обязано здесь присутствовать. В просверке молнии, не сгорая, не вздрагивая ресницами, отпечатается в моей памяти этот незавершенный лик вроде как от ацтеков или инков дшшедшего или, уж точнее, долетевшего до нас создания, на котором лежало то же, как у древнего народа, покорное ожидание беды и согласие принять ее безропотно.

— Значит, тебя три раза стукнуло? — услышал я Вадима Петровича и очнулся. — Многовато. Такой молодой. Но мы, старые вояки, жилистые! Выдюжим! Устоим! Поработаем на благо отечества нашего. Ты, дорогой, вот о чем подумай: как демобилизуешься, подговорил бы пяток товарищей, пусть и без профессии, но с руками, с ногами, — и к нам! А?! Мы быстренько вас на механизаторов и полеводов выучим. Сейчас каждому военному скитальцу важно место свое в жизни обрести. Оженит. Вот хотя бы Беллочка наша — работы не боится, детей любит. Ты бы пошла за него замуж? — спросил вдруг Вадим Петрович.

— Я хоть за черта, хоть за дьявола! — с испуганием произнесла Изабелла.

— Ну, Беллочка, зачем же за дьявола-то? За кого попало мы тебя не отдадим! — улыбнулась Лариса, стараясь снять неловкость.

— Ко мне фашисты ночью приходят.

— Все еще!.. — ужаснулась Лариса и плотнее прижала Вовку, присосавшегося к прикрытой платочком груди, посапывающего в ласковом материнском тепле и уюте.

— Да! — еще громче и резче отозвалась Изабелла, поискала глазами стакан с недопитой самогонкой, схватила его и крупными глотками, словно воду, выпила содержимое до дна и тут же со стоном откинулась на стену.

«Видали?!» — взглядом показала хозяйка на Изабеллу и покачала головой.

— Ты все-таки подумай над моим предложением, — гнул свою линию Вадим Петрович, тоже изо всех сил стараясь рассеять неловкость. — Зарботки у нас постепенно стабилизируются, спецовку выхлопочем, общежитие соорудим, но как семьей обзаведетесь, даю слово коммуниста, тут же построим дом, выделим землю.

— Налейте мне еще! — дернулась, отлипла от стены гостя.

— Беллочка! Не надо бы тебе больше, — ласково попросила Лариса и понесла Вовку в качалку. — Дурно будет...

— Еще хочу!

Вадим Петрович, подавив вздох, плеснул в стакан Изабеллы самогонки и в наши кружки ленил по глоточку.

— Тебе, Вадим Петрович, однако, тоже довольно, — негромко, но повелительно произнесла Лариса, задергивая легкую занавеску над Вовкиной качалкой. — Завтра много работы: документы на лошадей оформлять, сбрую где-то доставать или шить, телеги излаживать, волокуши ли для начала в лесу нарубить...

И тут все время вертевшийся вопрос: кого же, кого же напоминают мне Лариса и Вадим Петрович? — разом разрешился: супругов Мироновых, забывенных Ивана Кузмича и Василису Егоровну — обитателей и защитников Белогорской крепости, — я совсем-совсем недавно перечитывал «Капитанскую дочку».

— Ничего, ничего, Ларочка! Все найдем, все изладим, — потирая руки, отвечивал Вадим Петрович, настороженно следя за Изабеллой, которая, не дожидаясь компании, высосала из стакана самогонку и снова ничем не закусила, снова откинулась затылком к стене, погружаясь в бездонное свое одиночество.



— А вы что так мало ели? — вернувшись к столу, спросила меня Лариса. — Правда, разносолы у нас... мясо случается, но рыбы нет. А я так люблю рыбку — привыкла. Папа капитанил на Иртыше, дома у нас всегда была разная рыбка.

— Да уж... Но ничего, ничего, пруд выкопаем, карпов или карасей, на худой конец, разведем.

— Я петь хочу! — встряла в разговор Изабелла.

— Ну и попой, попой, раз хочется. Только не очень громко, Вова уснул. Ох уж эти песни ваши, — со вздохом молвила Лариса. — Лучше б плакали...

Изабелла, прежде чем запеть, демонстративно выдернула заколку, и сиреневая материя опала на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками, голову с едва отросшим, воронью отливающим волосом. Не знала Изабелла, что прическа ее с остро выхваченными клочками волос — прическа невольника — лет через тридцать делается модной и русские дамы и девки, не ведая, чего бы еще с собой сотворить, чем себя выделить, сделаются похожими на недавно выпущенных из тюрьмы зечек.

Изабелла же демонстрировала безобразие свое, совершенное над нею унижение. Уже на наших контрольных пунктах, борясь со вшивостью, обкорнали всех невольниц, «из оттуда» возвращающихся, мстили им за то, что они служили врагу, развлекали в бардаках и казармах гитлеровских молодцов в то время, когда советское воинство истекало по окопам и землянкам спермой от онанизма. Уж унижать человека — так унижать: сперва уничтожить его оболочку, потом и до души добраться. Лесопильное племя гнуло к земле, растаптывало всякие зачатки человеческого достоинства, с особым сладострастием терзало оно беспомощных, несчастных женщин. С каким нетерпением девчонки рвались «домой» из неволи, хотя многие из них и не знали, уцелел ли дом. Остался ли кто в этом доме или хотя бы на этом свете? Но Родина-то, край любимый, люди, русские, украинские, кавказские, — они же есть, и разве они не пожалеют, не простят ни в чем не повинных девчушек, ведь не они бросали армию и Родину, это армия и Родина бросила их на произвол судьбы? Чужеземцы-оккупанты, творя вселюдное зло на завоеванных землях, делали с людьми все, что хотели.

Но на пути к дому встали стеной так называемые органы, где орудовали орлы похлеще гестаповских костоломов. Они раздевали девчушек — для дезинфекции и унижительного осмотра, вытряхивали вещички, отнимали что поценней, дешевенькие украшения, безделушки растаптывали. Врачи и санитары, заранее к этим кадрам враждебно настроенные, бранили их, пинали, гоняли, оскорбляли, после осмотра куда-то уводили больных венерическими болезнями, слухи ходили — расстреливали.

Прошедшие сквозь жалости не знающие контроли и проверки, уже в советских пунктах, на казенных нарах, девчонки «обслуживали» родных хозяев. Сламывались, кончали жизнь под колесами поездов или в петле, но большей частью искупали «вину» трудом, и ладно, если под началом такого вот добряка, как Вадим Петрович. А если энкавэдэшное отродье, привыкшее мясничать в трибуналах, тюрьмах да лагерях, сражаться в цензурах, станет руководить «бывшими», перевоспитывать их? Вадим Петрович и Лариса всячески избегали опасных тем в разговоре, но невозможно легко и быстро излечить больную психику недавних детей, срастить изломанные судьбы.

— Песня тоски по родине. Автор неизвестен, — объявила Изабелла, будто со сцены, и, завывая в конце фраз, речитативом начала выпевать свою боль и ненависть, стуча кулаком по столу:

Где твоя любимая, товарищ?  
На чужой томится стороне.  
Там теперь немецкие солдаты  
Ходят по родной твоей земле.  
И твоя любимая за марку  
Куплена и в дом отвезена.

Стряпкой, полемойкой иль свинаркой  
Трудится с утра и дотемна.  
Рыжая, озлобленная Грета  
Бьет хлыстом, кто под руку попал,  
По глазам, которые ты где-то  
И когда-то жарко целовал.  
Пусть святая месть тебя тревожит,  
Не дает покоя на пути.  
Немца ты обязан уничтожить!  
Немцу ты обязан отомстить!

Примитивная, душу рвущая самодеятельная поэзия невольников. Внемлет ли ей кто? Слышит ли кровью и слезами умытого брата своего? Не слышат! Не внемлют! Исполнительница с мокрыми губами, пьяные слезы размазывающая по лицу, — это вот кому предназначено? К кому обращено?! Да, да, и ко мне, и ко всем нам, умеющим легко друг друга предавать и так же легко забывать предательство.

Лариса не выдержала, бросилась обнимать, целовать девушку:  
— Бедненькая моя! Бедненькая моя!

Изабелла жалости не принимала, она вроде как стервенела и, уже беснуясь, с вызовом выкрикивала еще одно творение, на мотив баллады «Когда я на почте служил ямщиком». Уронив голову на стол, Изабелла выкашливала: «Поганый тот фриц мое тело терзал... он грудь мою белую грыз и кусал и все нехорошее делал»...

Долго содрогалась худенькая спина девушки после того, как она утихла. Так в госпиталях утихали контуженные после припадков.

Вадим Петрович, израненный вояка, задрал лицо, глядел в потолок. Лариса гладила песнопевицу по голове, вела ее к рукомойнику и, умывая, наговаривала: «Не пей больше, моя хорошая, не пей, не терзай свое израненное сердечко».

Отрезвевшая, погасшая Изабелла помогала Ларисе убирать со стола, старушечьей, подшибленной походкой бродила по избе, складывала посуду в новый цинковый таз.

— Ну вот и отужинали. Спасибо, Белла! Спасибо, Лара! — Вадим Петрович поднялся из-за стола и направился к кровати, отделенной занавеской. Склонившись к Вовке, коснулся его личика губами.

Лариса стелила мне постель на полу, в углу возле окна, поясняя:

— Здесь воздух свежее — нажарили печку-то, — и стеснительно промолвила, чтоб укрылся я своей шинелью со вдернутой в нее телогрейкой — больше нечем, и все время с беспокойством взглядывала в сторону Изабеллы, напряженно ждала, когда она кончит мыть посуду. — Беллочка! — не выдержала Лариса. — Ты к себе пойдешь?

— Нет! — резко отозвалась гостя. — Я боюсь темноты.

— Рядом же. Гость проводит, если хочешь.

— Нет! — еще резче возразила Изабелла. — Я хоть с кем боюсь темноты.

— Н-ну, хорошо, хорошо. Вот тебе шинель Вадима Петровича, Вовкино одеялко и половичок. Стелись, где тебе удобней. Командир мой уже готов, и я умыкалась. — Уже за занавеской, пошуршав одеждой, она нежно добавила, укатываясь за спину своего «командира»: — Только донесет голову до подушки — и готов. Ох-хо-хо! Ну, спокойной вам ночи. А Вовка-то разметался, сопит. Му-ужи-ык!..

В незанавешенное окно струилась разжиженная темнота. Изабелла, видел я, приосев ниже окна, снимала через голову кофточку, спускала юбку, вот опала, будто узенький ивовый листок, в душный омут избы.

Сделалось так тихо, что стало слышно, как Вовка во сне терзает пустышку, как вкусно сопит носом Вадим Петрович. Скоро к нему подсоединилось деликатное, в лад вторящее дыхание Ларисы.

— Солда-ат! — послышалось из темноты. — Ты почему меня боишься? — Я притаился, соображая, отвечать или не отвечать. — Не бойся. Я не заразная. Всех заразных отсеяли, лечить погнажи. Может, и уничтожили... Солда-ат! Ты не спишь?

А, батюшки! А, матушки! Что ж делать-то? Вот искушение так уж искушение! Я потянулся к брюкам, за кисетом. И тут же от бокового окна птичкой перелетела ко мне тонкая фигурка, приткнулась рядом и так больно притиснулась коленкой к незасыхающей ране на бедре, что я невольно дернулся и замычал от боли.

— Что? — не поняла Изабелла и вдруг спохватилась: — Ой, прости. Прости, пожалуйста! — припала к моей щеке губами, стала торопливо ее целовать. — Прости! — и суетилась рукою по бедру, нащупала рану, взялась ее гладить, все плотнее приникая ко мне, и будто в бреду что-то повторяла. Я притиснул ее лицо к груди, в которой гулко билось мое сердце, и, не владея уже собой, вроде бы успокаивал ее иль себя:

— Что ты? Что ты? — а сам искал губами ее губы, и когда опалился ее ртом, со мной произошла мужская слабость. Я «поплыл», как говорится среди мужиков. Тело мое, натянутое струной, разом расслабилось. Я почувствовал мокро, и тут же все во мне увяло.

— Что ж ты волнуешься-то? Зачем торопишься? Давай полежим, покурим, и все будет хорошо, все будет хорошо-о, — гладила и успокаивала меня Изабелла. А я отдалялся и от нее, и от себя под этот шепот. Я не просто уснул, я улетел в уютное, птичьим пухом выстеленное гнездо.

Проснулся от солнца, бьющего мне в лицо через стекла окна. В доме никого-никого, даже Вовки, не было. Я вздохнул с облегчением и поспешил к умывальнику. На столе, под полотенцем, был накрыт для меня завтрак. Мухи приникли к теплой кастрюле и заснули. Толченые с молоком картошки и бараньи ребрышки я слопал, даже не присев на табуретку.

Сдача лошадей затянулась, хотя у пленных лошадей в табличках значились всего лишь номера, пол, да и эти краткие биографии были писаны мной и Славой Каменчиковым. Коням предстояло не только обрести хозяев, но также получить имена, конюшню, право на гражданство в совхозе «Победа».

Можно было бы и домой ехать, но Вадим Петрович все еще не терял надежды сагитировать меня и через мое посредничество моих товарищей в совхоз. Взятая показывать земли совхоза, хозяйство, высказывался о больших перспективах. Если по совести, то у него пока одни перспективы и были. Военские части на первых порах забили колья, помогли подготовиться к зиме и к посевной. Но первый, удавшийся, урожай убирать было некому и нечем.

Девчата, одетые большей частью в бывшее в употреблении солдатское обмундирование, трофейное и отечественное, глухо повязанные платками, шарфиками, которые в пилотках, которые в мятых зимних шапках, работали на буряках. Некоторые местные сахарозаводы делали сахар и при немцах, делают его без остановки и сейчас. Они охотно принимали на переработку сахарную свеклу, хорошо за нее платили. Пока это была главная статья дохода в совхозе «Победа». Вадим Петрович нахвалиться не мог своей женой Ларисой, по весне подсказавшей руководству хозяйства как можно больше земель отвести под буряки.

Выводками сидя вокруг костерков, девушки обрезали свеклу, в костерках пеклись картошки и буряки. Одни труженицы тащили за космы плод из земли и бросали его в бурты, другие споро обсекали свеклу, сбрасывали буряки в кучу, ботву кидали в быками запряженную арбу, объезжающую поля, — на корм скоту.

Вадим Петрович ездить на лошади без седла не умел, отбив зад, переводил дух у костерков, беседовал с народом, вздыхал возле нетронутых и почти уже всюду осыпавшихся хлебов, но бодрил себя и свои кадры: «Ничего, ничего, было бы что убирать».

Два пожилых украинца вязали березовые волокуши. Березки привезли они из лесу еще по росе и сообщили директору, что видели в дубраве пьяных вооруженных людей. Одичавшие от безделья и самогонки, чужаки привязывались к совхозным рабочим, угрожали расправой. Вадим Петро-



вич встревожился, но мужиков успокоил: мало ли сейчас шляется по земле всякого люда с оружием, отряды самообороны, может, разнуздавшаяся какая воинская часть, может, и бендеровцы, отжатые войсками, с соседних западных лесов. Доходили слухи о налетах на села. Но слухи всегда были и будут, агентство ОБС — «одна баба сказала» — работало и работает безотказно.

Во время обеда Вадим Петрович предостерег меня, чтоб, если вечер застигнет в пути, ночевал в каком-нибудь укрытии и не двигался в потемках. Из области обещали прислать в совхоз вооруженную охрану — остерегать хозяйство, директор надеялся, что та команда и урожай убрать поможет, и красавиц здешних поразвлечет. В том, что девчата тут были на подбор, я успел убедиться. Изабелла, кроме диковатости, пожалуй, ничем не выделялась среди них, разве что черкесской или элинской породой, потому как выяснилось, что родом она с Южной Украины, а там кто только не обретался: и греки, и сербы, и татары, и молдаване, и бог знает кто еще. Молодость и угнетенную, но не сгубленную до конца красоту девчат не могла скрыть даже грязная, разномастная одежда и чумазые от «печенок» лица. Но при «чужих» держались девушки отчужденно и неприветливо, из мужчин одного только Вадима Петровича и знать хотели.

Есть у великого трагического художника Михаила Савицкого, прошедшего весь ад фашистских концлагерей, страшная картина «Отбор»: лежат кругом голые застреленные женщины. Живые, тоже нагие, в кучу сбившиеся девушки с ужасом смотрят на мертвых и жмутся друг к дружке. На красавиц, плотоядно пялясь, скалятся фашисты с автоматами. Эти вот девчата, и Изабелла тоже, прошедшие подобный «отбор», конечно же, воспринимали человеческую мораль, веру в Бога и любовь к ближнему и доверие иначе, чем все остальные люди. Что же творилось под грязными солдатскими пилотками, под арестантскими суконными шапками в головах этих девушек? Хочу, чтоб все, кто забыл ужасы войны, кто без содрогания взирает на дела вновь возрождающегося немецкого и российского фашизма, тоже почаще смотрели бы на полотна Савицкого из лагерного цикла и попристальней вглядывались в картину «Отбор».

— Ты чем-то обидел Беллу? — отводя взгляд, спросил у меня Вадим Петрович за обедом.

— Нет, — поспешно отозвался я.

— Вот и хорошо. Вот и молодец. Не надо их обижать, они уже так обижены, так растоптаны, что всем миром не избыть, не замолить нам этот грех.

Вадим Петрович помялся, посоображал и постучал в стенку конторы. Явилась Изабелла. Вокруг глаз ее лежали тени, еще темнее, и лампадный желтый свет едва мерцал в глуби глазниц, губы засохли, сморщились, на унылом облике девушки отстраненность или уж отрешение, лишь кокетливый сиреневый лоскут все так же красовался на ее ушастенькой голове. Изабелла остановилась возле порога и, избегая моего взгляда, вопросительно смотрела на Вадима Петровича.

— Лариса в поле. Убери со стола, и пойдем провожать гостя.

За околицей совхозного селения, заметно обнажившегося — кони примяли и выели заросли, догадался я, — Вадим Петрович разохался: уездили, дескать, с непривычки, даже спина «села», — пожал мне руку и отправился в обратный путь. Будто киношная казачка, держалась за стремя Изабелла и какое-то время шла рядом с конем, настороженно прядущим ушами.

— Ну что, солдатик нецелованный, но весь уже израненный? Прощай! Нет, до свидания! Пригоняй еще лошадей. Пешком приходи. — Оглянулась, далеко ли ушел директор, торопливо попросила: — Наклонись! Наклонись! — И когда я свесился с седла, поймала меня за голову и поцеловала в губы опеченными до твердости угольев губами. — Я поняла: тебя никакая девушка не ждет, так я буду ждать, — и, утираясь ладошкой, добавила: — Правда-правда!

Застоявшийся, хорошо накормленный и напоенный жеребец потанцевал, пофасонил и сразу пошел в намет. Изабелла тоненькой, неподвижной былинкой стояла среди сохлого бурьяна отцветшего, лохматого спутника пожарищ — кипрея, среди крапивы, полыни, лопухов. Сиреневый лоскут издали казался цветком. Я приподнялся в стременах, вскинул руку вверх и еще успел заметить, как обрадованно замахала мне в ответ девушка.

Придерживая ретивого рысака, я неторопливо ехал, покачиваясь в седле, помахивая ременным поводком, глазел вокруг — из-за коней вчера некогда было любоваться пейзажем. Среди желтеющих и черно вспаханных полей возникали прозрачные пролески; вдали, по холмам, свежebelенные хатки выступали из зарослей и садов, виднелись желтые, тоже свежей соломой крытые крыши, которые я путал со скирдами, опаханнми плугом. Еще не висел волглый полог тумана над полями и селениями, но все-все вокруг подчеркивало осеннюю грусть на земле. В безголосье погружалось сельское царство, отходило от военных разрывов, от горя, бед и пожаров. В небесах было просторно, прощальные голоса перелетных птиц еще не оглашали небеса, лишь воронье волнами накатывало на поля. Покой селлся всюду. Тихим сном и белым снегом бредил Божий мир.

И я утих в себе. Да и что, в конце концов, случилось-то? Если произошло неладное, так не по моей вине и воле. Я слышал, такое бывает со многими переростками, в первую очередь с теми, кто характером дерган, у кого воображение паче соображения и кто хочет получить от жизни больше, чем она может дать. Вон Ермила с Кирилой не алкали сказочных чудес, не лезли к лакомой и брыкливой Любе иль еще к кому, ей подобному, подсмотрели пару по своему скачку, обработали ее ко взаимному удовольствию, точно украинское родливое поле перед посевом, и укатили в родные места — жизнь налаживать, плодиться. А тут сплошные наваждения: госпитальная сестрица с закидонами, бесовская библиотекаряша, и все на пути сплошь какие-то заговоренные, изуроченные, еще в молочном детстве с печи упавшие...

Жил бы парень тихо, да по люду лихо.

С полей, от недалекого уже леса наплывали сумерки, сгущая и сужая пространство. К ночи мне до Ольвии не добраться — промиловался. В полях и по-за кустами чудилось какое-то движение. По мне, одинокому всаднику, по хорошей цели стрелили. «Дурак стреляет, Бог пули носит», — что-то меня последнее время в народную мудрость заносит — не к добру это. Надо останавливаться, ночевать. Я достиг того самого, в бурьяне утонувшего, селения, где побывал вчера и где, если и захотят, не вдруг меня сыщут вороги всякие.

В глубь селения решил я не забираться. Приподнявшись на стременах, долго озираю в вечер погружающиеся окрестности — ни дымка, ни огонька, но тревога во мне не убывала, чутьем битого фронтовика я осязал скрытую опасность. Близкую.

Крайняя хата, с чуть заметными признаками жизни, была из бедных бедная: с раскрошившимися стенами, с крышей, рухнувшей вместе со стропилами, с черной соломой, мхом и грибковой сыростью превращенной в навоз. Хата и внутри имела вид еще тот: пол не мазан, печь черна, окна забиты где чем. Поначалу мне показалось, что в хате никто не живет, но на холодной, полуразвалившейся русской печи обнаружилась старуха, которая, спустившись на свет, оказалась вовсе не старухой, а женщиной средних лет, но так же, как огород и сад за хатой, до крайности запущенной. Она дожигала сарай и изгородь, рубила, но больше ломала во дворе и в саду все, что могло гореть, и мне велела наготовить дров, сама, держась за поясицу, клохча, словно курица, мокро кашляя, пошла с чугуном — накопать картошек.

Печка с искореженным челом нехотя разгоралась. Я принес из полузавалившегося колодца воды, не чистой, гнильем засоренной, зато холодной, напоил коня и, привязав его за хатой ко кривой яблоньке, натеребил из копешки сена, задал ему на ночь, для себя бросил на пол охапку овся-

ной соломы, принесенной из скирды, кем-то сметанной на скошенном поле — люди все же в селе живут и маленько работают.

— Полыни нарви, а то блохи спать не дадут, — посоветовала мне хозяйка.

Засунув чугунок с картошкой в печь, она под села к печи, сведенные простудой пальцы засовывала в самый огонь — грела. На женщине был растрескавшийся козушок, из щелей которого торчала грязная шерсть. В свете огня, падающего из печи, пляшущего на лице женщины, гляделась она и вовсе запущенно: нечесаная, немытая, вроде как из пещеры явившаяся.

Кроме стола, шаткой скамейки, двух мятых солдатских кружек да нескольких обсохших ложек, в хате ничего не было. Даже привычная скрыня в углу не стояла, не виднелось и иконок, прикинутых расшитым полотенцем, — ничего-ничего не было. Ни солома, ни пыльцу сеющая полынь не заглушали застоялого избяного духа. Свинячья вонь распространялась из таза, в который ходила по нужде хозяйка и, видать, забывала его выносить.

— Надо, так выплесни, — нехотя разжала она рот. — Хлеба и соли у меня нету.

Я с отвращением выбросил таз в бурьян, распахнул дверь хаты, на грязном столе застелил угол вещмешком. Выложил хлеб, соль, говяжьи консервы — свой паек Ермила с Кирилой не съели и до половины, торопясь к своим возлюбленным. Сахарок да банку с повидлом я оставил в доме Барышниковых — для Вовки, все остальное собрался тоже оставить, но Вадим Петрович и Лариса сложили добро обратно в мой вещмешок, сказав, что они при доме, при хозяйстве, а мне — солдату — предстоит путь-дорога.

При виде еды хозяйка воспрянула духом, маленько прибралась, ела торопливо, обжигаясь картофелем. Я вымыл свой котелок и вскипятил чаю, наломав в него одичавшего в саду смородинника, выбрал из сена сухие стебли мяты и зверобоя.

Хозяйка и чай пила охотно, по-ребячьи причмокивая. Согрелась. Отошла, разговорилась. В основном переселенцы из Мордовии живут, точнее, жили в этом селе с названием странным, завозным — Подустонь. Было здесь отделение совхоза «Жовтень», но в войну и сам «Жовтень», и отделение его были разграблены, разбиты, село сплошь выгорело. Мужиков-переселенцев, которые не ушли с Красной Армией, немцы заставили служить в полиции, баб — работать на свекле. Муж хозяйки и старший сын состояли полицаями, и советские каратели их расстреляли. Младших еще двое, не знает, где они, — может, на трудах, может, в тюрьме. Хату эту крайнюю грабили все кому не лень, да и грабить-то особо нечего: что велось в хозяйстве — куры, овцы, корова, швейная машинка, инвентарь, одежонка, — все пропили отец с сыном еще до прихода оккупантов. Хата на отшибе, потому и не сгорела.

Совхоз «Жовтень» — ныне зовется «Победой» — привлекает к работе всех, кто может двигаться. И ей велено привлекаться, да суставы у нее болят и нутро хворое: бил ее муж и сын бил, случалось, палкою бил бригадир — он при Советах начальствовал и при оккупантах старшим полицаем состоял. Немцы? Нет, немцы не били ее и не пользовали. Червоноармейцы тоже не били, но пользоваться пользовали: на отшибе живет, кричи — до кого докричишься?

Помереть бы поскорее, отмучиться, да где-то заблудилась ее смерть.

Что-то вырвало меня из сна, подбросило с подстилки. Я схватил топор, с вечера положенный в головах, под солому, и не сразу понял, где я и что за красный свет ворочается в хате. То разливался он огненной волной до углов хаты, то мелькал в квадратах как попало застекленных рам, то проваливался в заоконье, выхватывая из ночи ветви деревца, дрожащие на нем последние листья и несколько яблок, вроде бы игрушечно



вертящихся, сверкающих в просверках издали мелькающего огня. За стеной хаты храпел и рвался с привязи жеребец. В проеме дальнего окна маячила фигура хозяйки, с завыванием бросавшей кресты на грудь:

— О, Господи! Го-осподи-ы-ы-ы! Милостивец ты наш и вседержитель! Когда же эта проклятая война кончится?

— Она уже кончилась. Не накаркивай! — обуваясь, взревел я испуганно и сердито.

— Вон, смотри! — отодвинулась от окна хозяйка.

— «Победа» горит! — ахнул я. — Совхоз горит!..

— Совхоз.

Я набросил на плечи шинель со вдетой в нее телогрейкой, которыми укрывался, схватил вещмешок с изголовья и, на ходу его завязывая, бросился из хаты. В это время грохнулась вовнутрь дверь вместе с деревянной залсжкой и с улицы раздалась команда:

— Назад! Всем к стене лицом!

Я бросил вещмешок на голос, отпрянул от двери, упал на пол, катнулся к топору. Успел еще заметить, как хозяйка, трудно поднимая неразгибающиеся руки, покорно становится к стене лицом.

Хату, хозяйку, меня, прижавшегося в углу с занесенным над головой топором в руках, осветили пятнышком света.

— Спокойно, солдат, спокойно! — В хату ступили двое военных, держа на изготовку автоматы. Второй военный тут же спятился, вышагнул за порог и остался в проеме двери.

— Где же вы раньше-то были?!

— В другом месте были.

— Не успели? — засветив лампу, выкладывал я на стол документы перед лейтенантом, с головы до ног устряпанным грязью. — Все-то мы опаздываем, все-то у нас делается не к месту да не к разу, — корил я военного.

— Не успели, солдат. К сожалению, не успели, — просматривая мои бумаги, вздохнул лейтенант. — Не скули. Не до тебя.

— Что там? — кивнул я на окно, хотя ответ уже знал заранее, боялся его, но надеялся ошибиться, на чудо опять надеялся.

— Худо, солдат, худо. Совхоз, урожай — все сожжено.

— А люди? Люди-то хоть спаслись, убежали?

— Никто. Ни одна душа не спаслась. Ночь же. Все спали. Все перебиты... Директора с семьей подперли в доме и сожгли живьем.

— И Вовку?! — вскрикнул я. — И малыша?!

— И малыша.

— И девчонок?

— Фрицевских подстилок изнасиловали и тоже перебили, сколько-то увезли с собой в лес. Про запас. И лошадок твоих угнали... — возвращая документы, снова вздохнул лейтенант. — Утром мы эту пададь зажмем в лесу. Они и лошадок перебьют, и девок истребят... Совсем осатанели. Ты вот что. До рассвета никуда. Всюду наши патрули по дорогам и селеньям — еще застрелят, не разобравшись в потемках. Пароль: «Прибой». Ответ: «Жасмин». Если не ответят, значит, под видом патрулей расползаются по углам оборотни лесные. Топчи их лошадью и скачи дальше. Оружие выдать, к сожалению, не можем. — И еще раз осветив хату фонариком, покрутил головой: — Ну и берлогу ты себе выбрал! — и уже с улицы крикнул мне: — Домой подавайся! Домой!

«Сидите по селам! Самогонку жрете! — хотелось заорать мне. — Потом «Жасмин» вам! Домой скачи!» Вовка! Во-о-овочка-а! — успевший сказать миру всего четыре слова, и няня, и мама его Лариса, и добрейший Вадим Петрович, так явственно напоминавшие мне защитников Белогорской крепости и разделившие горькую их участь через сотню лет... Милые мои! Мученики русские. Да когда же судьба-то будет милостива к нам? Ведь совсем недавно, вчера вечером, сидели, гутарили, мечтали о будущем — и вот... Да неужели это правда? Изабелла, бедная девчонка! Небось терзают

тебя в лесу, галятся над тобой пьяные самостийщики?.. За чьи же это грехи тебе такие муки? Разве для этого предназначено было тебе родиться, выжить? Люди! Люди! Разве мало вам того моря крови, того моря слез, что мы пролили за войну?

Мимо хаты в заросшую на всполье дорогу прошел бронетранспортер, легкая самоходная пушка, несколько крытых машин с солдатами, молча курившими или дремавшими под брезентовым тентом.

Утром, еще по росе, я выехал из селения Подустонь и услышал за полями, за обрезом земли, на котором исходным дымом курился совхоз, как гулко ударила раз-другой пушка и донесло издалека звуки разрастающегося боя.

Неспорым шагом ехал я по обочине дороги, сбивая росу с наклонившихся колосьев и кустов, и не чувствовал холодного мокра, глядел, как восходит солнце в той стороне, где утихала стрельба, как плавно и мирно кружится над холмами птица, орет просыпающееся жадное воронье, рассаживаясь по скирдам, как табунки щеглов и овсянок с треском, будто трассирующие пули, разлетаются во все стороны перед конем.

«Господи! — стоном стонало мое сердце. — Если ты есть, как же допускаешь такое? Неужто люди натворили так много худого и страшного, что ты нас уже не прощаешь, иль не успеваешь за нами, говноедками и зверями, углядеть? Но ты же вездесущ! До какого предела, до какой черты ты нас допустишь? Иль кара твоя справедливая уже свершается повсеместно? Но Вовку-то, Вовку-младенца за что, Господи-ы-ы?!»

Я два или три дня лежал в конюховке пластом. Слава Каменщиков отнес на демобилизацию мои документы в штаб части, сдал их, принес еды и бутылку водки. «От самого Котлова!» — сообщил он. Страшная весть уже достигла и Ольвии. Майор Котлов не велел меня трогать, приказал даже выдать какие-то деньги — за командировку. Работы у почтовиков не стало. Река писем иссохла, лишь вялые ручейки заносило еще в пустующий, гулкий зал сортировки. Многие письма уже ехали вдогон солдатам и офицерам, отпущенным по домам. Те письма, у которых не было обратного адреса, актировались и сгорали в костерке за зданием начальной школы. Ветер разносил огарки страниц по косогору, на тех огарках все еще жили, разговаривали с отцами, матерями, братьями и сестрами, с невестами и женами, с заочными симпатиями люди русской земли, посылали еще ответы от мертвых к живым и от живых к мертвым.

Я купил на командировочные деньги водки, пил с друзьями и без друзей, пил до бесчувствия. Убегал за Ольвию, в поля, и кричал, кричал в сторону совхоза «Победа»:

— Во-о-овка! Вовочка-а! Отзовись! Покличь дядю! Беллочка! Простите нас! Простите меня-а...

Майор Котлов признал белую горячку, дал приказание привязать гуляку к койке. Когда я отошел, командир и отец наш велел мне сходить в баню, после чего провел со мной личную беседу с упором на то, что война горя породила много, его ни слезами, ни вином не зальешь! Что нельзя мужику раскисать. В данной ситуации следует рукава засучить — и за дело браться. И назначил меня с реденьким уж отрядом солдат помогать восстанавливать опытную овоще-фруктовую семенную станцию, необходимую сельскому и народному хозяйству.

Виталя Кукин вручил мне письмо.

— От Любы, — по-старушечьи поджав рот, отчего он сделался еще ширше, сказал начальник сортировки. — От Любови Гавриловны — перед отъездом передать велели-с.

В нарядном конверте оказался лакированный квадратик, и на нем одно лишь слово: «Сер-реж-жа-а-а-а!» — ниже — циферки, которые я сперва принял за число и месяц, но то оказался номер телефона. Через Кукина мне была передана просьба: как только я вернусь с отгона, напи-

сать ей письмо, длинное-предлинное. Я, человек отзывчивый, сел во время дежурства и написал Любе письмо, с шуточками, с прибауточками, с попыткой освежить мысли слогом, в котором я так наблатыкался, переписываясь на фронте с заочницами. Вот примерный образец моего фронтового творчества:

«И дни, и ночи в небе гудят наши краснозвездные соколы, а на земле снова весна! Снова цветут сады и где-то заливаются соловьи, томимые любовным призывом. Но у нас поют пули, одни только пули и „до смерти четыре шага“, однако, не глядя на это, мы беспощадно сражаемся с врагом, стремительно идем вперед на запад и твердо помним слова прекрасной песни: „Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди“» и т. д.

Вот и подстерегла меня любовь, да еще и Гавриловна. Хи-и-итрая баба! Умеет тушить пожары без брандспойтов, умеет укрощать сердца одними смехуечками. Ну, на эти штуки и мы горазды, их у нас — что вшей в солдатских кальсонах.

Ответ не заставил себя долго ждать. Люба, тоже в непринужденном тоне, сообщала, что не так уж и страшно в миру, как казалось издавека. Устраивается работать по «прежней линии» — в отделение связи. Пока. А там будет видно, может, и другое что подвернется или она по службе продвинется. Думает поступить на подготовительное отделение в библиотечный институт. И, в чувствах своих поостывши, она разобралась, поняла, что для нее я был как брат (двоюродный, — усмехнулся я). Всю жизнь ей не хватало брата, и она печалилась по нему еще до Ольвии. У местечкового фотографа выпросила она мою фотографию, с уже отросшим чубчиком. Мама сказала: «Такой еще лопухонький мальчик, напрягся перед аппаратом, прячет растерянность или изъян?!»

Ну это уж слишком! Изъян — ладно, но чтоб еще и растерянность?! Да я на переднем крае не часто впадал в растерянность, иначе б погиб.

Письмо в клочки и по ветру.

Начальник сортировки, товарищ Кукин, помогая мне избавиться от наваждения, взял меня однажды за пуговицу:

— Любовь Гавриловна — девица крученая и верченая, она может окончательно запудрить тебе мозги... — Пропагандист Виталя Кукин, чуть было не убитый на войне, впал в привычную нравоучительность. — По секрету, как земляку, — эта особа чуть было не разрушила мою семью. А я ведь и постарше тебя, и... — он покрутил рукою возле головы — и поумней, догадался я.

Письмо от Любы, дурацкий разговор с товарищем Кукиным все же задела меня за живое, заскребло ретивое, навалилась на меня теперь уж как постоянный недуг беспросветная тоска.

Мне все придется собирать заново — начинать жизнь, биографию и даже любовь. Учиться надо. Учиться, учиться и учиться, как завещал Ленин. Не обязательно грамоте, не обязательно в университете, на филфаке, на курсах каких-нибудь, профессии обучиться бы, с помощью которой возможно добывать кусок хлеба. А там время покажет. Жизнь куда следует направит. Глядишь, и до загадочного филфака доберусь...

В предзимье почтовая наша часть ликвидировалась. Последние солдаты были отправлены по домам. Майора Котлова, узнал я, послали в отставку, но тут же назначили на место погибшего директора во вновь из пепла восстающий совхоз «Победа».

Дома лежал отец с осколком в животе и с поврежденным позвоночником — бывший вагонный слесарь, бывший фронтовик. Мать забрала отца из инвалидного дома и не сообщила мне о своем благородном поступке. Она уже устала от страдающего, беспомощного мужа и, само собой, обрадовалась сыну, вернувшемуся с войны, надежде русского дома, избавителю от тяжестей, от полуголодной, бесправной жизни.

А что я мог? Мне и самому надо бы ехать в областной госпиталь: рана на бедре все сочилась, гнило мясо, — но я вынужден был устраиваться на



работу, и раз фамилия моя стала Слесарев, соответственно ей и определился я в слесари, нагадал когда-то в беседе с Любой свою судьбу — и вот, как в чудной сказке, все сбывалось.

Угодил я в обучение к племяннику отца, Чикиреву Антону Феофилактовичу, которого отец в свое время тоже обучил тяжелой и маркой профессии вагоноремонтника.

Антон Феофилактович был славен тем, что бревно автосцепки в сто девяносто семь килограммов поднимал и вставлял в вагонное гнездо самостоятельно, и только тогда, когда попадался вагон со старорежимной дурой автосцепки в двести с лишним килограммов, звал на помощь товарищей по работе. Ну а раз приставили к нему ученика, более он в каких-либо помощниках не нуждался. От тяжелой работы, от мазута и грязи рана моя было загноилась, но потом, с испугу — не иначе, начала засыхать, пошелушилась какое-то время желтой луковой шелухой и затянулась сморщенной бордовой пленкой. Вот что значит стахановский труд! Я и хромать-то почти перестал, на танцы похаживал в горсад, пил там с парнями и дрался в спянной шайке железнодорожного поселка с городскими парнями, дрался, не зная, за что и почему, скорее всего, по звериному инстинкту — за самок, но дрался без лютости, ножей и кастетов не применял, видно, прыть и драчливый зуд укротила во мне война.

Когда я получил разряд слесаря среднего ремонта, теперь уж не наставник, бригадир мой, Чикирев Антон Феофилактович, подвел меня к грубо, в прогонном рубанке вытесанной рамке, крашенной вагонным суриком, которая называлась Доска почета, заявил, что не сходит с нее с начала третьей пятилетки, завсегда имеет больше всех слесарей заработку, из премий и прогрессивок не выходит и мечтает вставить и скоро-таки вставит золотые зубы, купит радиоприемник «Мир». Как бригадир и родич, будет он доволен и рад, коли я помещусь рядом с его фотографией и тоже оттудова никогда не сойду.

Разочарование ждало Антона Феофилактовича: случилось то самое профсоюзное собрание, когда я пролопушил, не назвал раньше себя кандидатуру на неоплачиваемую должность цехового профкомовца, и заделался я как бы шестеркой от рабочего класса, голосующей за все, за что только предложат голосовать.

Мирная жизнь набирала обороты и была отмечена небывалой активностью трудящихся масс: проходили всякие разные слеты, конференции, семинары, совещания, собрания, заседания, и везде, как неугасающий маяк, но если точнее — как огородное чучело, должен был торчать представитель от рабочего класса, стало быть, профсоюзник.

Наставник мой и бригадир Чикирев Антон Феофилактович, вечный ударник и последователь шахтера Стаханова, машиниста Кривоноса, ткачихи Краснощековой и летчицы Гризодубовой, роптал, матерился, но терпел мое частое отсутствие в бригаде, даже не настаивал, чтобы меня прогрессивки и премиальных лишали.

И потянулись день за днем, год за годом. Когда-то мать мечтала: «Нам бы только дожить, чтоб хлеба досыта». Наелись наконец и хлеба досыта. Мать простиралась в мечтах дальше: «Дожить бы, когда женишься, я бы внуков понянчила, да еще бы отца по-божески похоронить. Зажился. Устала я от него», — правда, этого мать не говорила. Но я угадывал, да и слышал, как она ночами просила Господа прибрать страдальца.

Отец и сам вроде как хотел избавить нас от своего присутствия, но это на людях. Когда же оставался с нами наедине, сатанел, матерился, бросал в мать горшком. Две клетушки-комнатки, кухонька с плитой в стандартном деревянном доме, построенном еще в тридцатых годах, размножению не способствовали. Молодые родители когда-то и такой жилплощади радовались, но ныне — одну клетушку предназначили мне, во второй зимогорили мать с отцом, раздражались друг на друга, все чаще и громче ругались так, что мать обреталась больше на кухне.

Отец отмучился в пятидесятых годах. Слабая здоровьем, забитая жизнью, мать, комкая платочек, сказала: «Вот, Сережа, и жилплощадь ослобонилась, можно теперя жену приводить. Дверь в перегородке прорубите, ширше квартера сделается, а я при вас, я на кухоньке, я не помешаю. Мне бы только внуков по головке погладить...»

И я уважил мать, женился; повторяя и дальше путь отца, выбрал малярку из вагонного депо, по имени Даша. Мать опасалась, что я приведу в дом грамотейку, потому как считала меня шибко начитанным и, раз я — профсоюзный деятель, речистым. В войну все грязные и сподручные работы в депо выполняли девчонки, кто из ФЗУ, кто по найму. Дарья моя тут хлеб свой первый добыла, тут выросла, тут и состарится. Обыкновенная русская баба, в меру ревнивая и бранчливая, в меру экономная и обиходная, годная, если нужда заставит, работать день и ночь на свой дом и семью.

Родились дети, девочка и мальчик — больше-то нам не потянуть с нашим слесарско-малярским прибытком. Всех остальных детей Дарья снесла на помойку, сперва тайком на поселковую, а после разрешения абортосбросали их в больничное емкое корыто советской медицины.

Мать души в Дарье не чаяла, до гроба была для нее и для внучат добровольной, покорной рабой.

К этой поре успокоилась и моя память. Переписка с военными друзьями сошла до поздравительных открыток к праздникам. Однажды на открытке-развороте с красным знаменем и красными гвоздиками бывший майор Котлов известил торжественно, что среди нового поселка совхоза «Победа» трудящиеся возвели обелиск и на нем поименно перечислили всех героически погибших тружеников первого послевоенного призыва, только девчонок не перечислили, означили их в конце списка «и др.», потому как справки, им выданные при возвращении из Германии, посланные в область — для уточнения сведений и дальнейшего оформления гражданских документов, — где-то с концом затерялись, вспомнить же и подтвердить имена погибших молодых тружениц некому.

Дольше других велась у меня переписка с Тамарой, которая каждое письмо начинала бодрыми словами: «Привет из Молдавии!» Со Славой Каменщиковым изредка перебрасываемся письмами и по сию пору. Слава заламывал жизнь пожалуй что тяжелее нас всех: поднимал братьев и сестер, лечил мать и все время вкалывал на земляных и бетонных (дорогих!) работах, чтоб заработку хватало на пропитание. Он так и не женился из-за семьи, но мечту о филфаке не оставлял и поступил в Пермский университет, где, между прочим, вместе с ним в аспирантуре набиралась ума Соня, только уже не Некрасова, а Потапова. Лейтенанта своего Соня с фронта дождалась, оба закончили университет, оба в нем и работают — преподают. Растят они девочку, иногда, редко правда, почтовые однополчане встречаются, калякают о прошлом, надеются на будущее, не обязательно светлое, но хотя бы мирное.

Шли годы. Никаких «бурь и порывов мятежных» в моей жизни не происходило. Утром вместе с женой топали мы на работу, о чем-то говорили, чаще молчали. В депо разбегались; я оставался возле ворот, где начиналась раскатка «больных» вагонов. Это значит, матерясь и кашляя, смурные со сна и после пьянки ремонтники, объединенные в бригады, облепив вагон, натужно катили его туда, где определено ему стоять и ремонтироваться.

Чикиреву Антону Феофилактовичу раздавило хрящи меж позвоночником и тазом, но он по-прежнему норовил быть передовиком социалистического соревнования и однажды уронил автосцепку себе на ногу. Долго, чуть не полгода, лечился. Будучи в больнице, свету и отдыха никогда не выдавший бригадир мой огляделся: вокруг люди разные ходят, даже женщины в белом попадают. Как-то разговорился с одной молодой сиделкой в ночное время, улестил ее. Понравилось. Долго он потом, под видом перевязки, хаживал в старый барак иль водил свою зазнобу в лес, по гри-

бы. Инвалидность ему не дали, хотя и оттяпало ударнику половину лапы, лишь перевели на более легкий труд — на текущий ремонт, под крышу. И я за ним туда же: устал, иззяб я на холоду, возле железа.

Но доконали и меня дальний мой родич, Чикирев Антон Феофилактович, и Слава, мой далекий друг, своими жизненными примерами. Я засел за учебники и сперва заочно, затем отучился два года на очном отделении, в железнодорожном институте, получил звание инженера и стал работать сменным мастером в родном депо. Впереди маячила вершина моей карьеры — начальник цеха текущего ремонта вагонов. С молодых-ранних лет запрофсоюзив, я так с профсоюзной линии и не сходил. Это давало мне возможность сблизиться с элитой вагонного депо, присутствовать на разных слетах, собраниях, совещаниях, организовывать спортивные мероприятия.

Ставши инженером, в чистое одетый, часто и при галстуке, я попадал на лекции и селекторные совещания в отделение дороги, где открыл, что более чванливого и спесивого народа, чем железнодорожное начальство, нет на всем белом свете. И это закономерно — железнодорожники забалованы с царских времен: машинист паровоза — фигура, а уж инженер-путеец — вельможа. Вот и я маленьким вельможей заделался. Я был избавлен от многих омрачающих жизнь обстоятельств, хотя бы от получения зарплаты в толпе грязных слесарей, кузнецов, плотников, литейщиков, маляров, в узком и душном коридоре толкающихся возле деревянной бойницы, в которую совали ведомость для росписи и деньги в горсть. Редкая получка тут обходилась без мордобоя. Когда были построены душевые, я ходил уже в отдельную кабину, где всегда велась горячая вода, даже мыльце розовело в отдельной раковинке, тогда как чумазые, усталые работяги, намывлившись, не раз били железом в батареи — требовали горячей воды и справедливости. Иногда, так и не достучавшись ни до кого, смывали работяги грязь холодной водой и, стуча зубами, расходились по домам. Я куда-то писал, хлопотал и в конце концов добился, чтобы душ в депо не только у начальства, но и у работяг действовал нормально.

Все шло тихо-мирно, и вдруг мой бывший бригадир, Чикирев Антон Феофилактович, отмочил номер! До того он окрылился любовью, что неожиданно для всех сделал изобретение: клеткой выложил старые шпалы, и поскольку не мог уже поднять с земли автосцепку, сперва взнимал ее и всякое грузное железо, которого на вагоне, особенно на четырехосном, много, на клетку, с клетки уж плавно, как не знаю что, вводил хобот автосцепки в разверстную железную дыру. Такое ловкое начинание подхватили все слесари нашего депо, о нем писала газета «Сталинская путевка». Я вместе с техническим отделом оформил изобретение своего бывшего начальника документально. Антону Феофилактовичу вырешили премию в размере среднемесячного оклада-заработка. А он возьми да ту премию и утай. Не на пропой, нет. Он брошку с дорогим уральским камнем-самоцветом купил и отнес ее своей шмаре, да у нее навсегда и остался.

Карточку вечного передовика соцсоревнования с Доски почета сковырнули, и долго на ней зияла квадратная дыра. Так как в партии Чикирев не состоял из-за раскулаченных вятских родственников, его прорабатывали на общем профсоюзном собрании, срамили, стыдили, особенно ярились труженицы депо. Антон Феофилактович Чикирев от бабьих речей краснел и потел, мужикам же прямо в лоб закатал: «Сами-то в голове блудите, духу мало потому что, а меня любоф постигла. Я, ежели хотите знать, зубы пастой чистить начал, нашшот табаку и вина воздерживаюсь. Увольнять?! Дак увольняйте! Я хочь в огонь, хочь в само пламя»...

Э-э-эх, как кипело вагонное депо! Какие страсти раздирали его здоровый коллектив на части! И моя Дарья сбесилась, давай следить за мной: Чикирев — родственник, хоть и дальний. А что, если его разлагающий пример заразителен? Чужало сердце вещуньино, что беда иль напасть караулят ее, но за каким углом — угадать не могла.



Да не за углом, не за поворотом — в столице нашей Родины, самом блудливом городе страны, чуть не сгорела наша семья.

Поехал я в столицу делегатом на профсоюзный съезд, тот самый, где один выдающийся подхалим увековечил себя тем, что назвал главного профсоюзника и кукурузника так, как никому еще и никогда никакого вождя назвать не удавалось: «Дорогой товарищ Никита, дорогой товарищ Сергеевич, дорогой товарищ Хрущев!» — сказал и будто спелую грушу с дерева снял — в виде Золотой Звезды!

Уставши от аплодисментов и пустопорожней болтовни, принялся я развлекаться — ходил в театры, на концерты, и не только по приглашительным билетам съезда, но и на свои денежки. Однако мало мне было этих развлечений. Я забрел в большой собор — на службу. Пели в том соборе народные артисты, и так пели, что меня потянуло к чему-то уж и не святому, хоть бы к светлому, душу очищающему. Я испытывал беспокойство, и память моя нашептала мне подходящее для покаяния место. Тот телефон я запомнил наизусть еще в сорок пятом году — о, незабвенные дни, промелькнувшие в благостном местечке Ольвия! Мужская притчеватая душа помнила о тайности. Она, душа моя, ждала ублажения и в то же время пужалась его. Сердце мое скользило обмылком в груди, рука, сжимавшая телефонную трубку, запотела — я бы уж и рад был, если б телефон не ответил, но из запредельности лет, из ветхозаветной тайности, не иначе, раздался голос Любы:

— Слушаю вас!

Во мне все, даже дыхание, заклинилось. Я не мог сказать слова, дыхнуть не мог — нечем дыхнуть мне.

— Слушаю вас! — повторили нетерпеливо.

— Ой, Люба! Постой! погоди! — вместе с пробудившимся дыханием вдруг возник и голос, правда не мой, какой-то чужой, с хрипом и сипом. — Пожалста! — почему-то с кавказским акцентом попросил я.

— Это не Люба, — сказали мне сдержанно, — это ее мать. А вы кто?

Следующим утром я не пошел на съезд. Я пешком топал из гостиницы «Россия» на улицу Неглинную, в гости к Любиной матери. «Вам обязательно надо побывать у меня! — сказала она вчера и, вздохнув, добавила: — А Любы нет, давно уже нет».

Я оказался в старой, запущенной квартире, тут все пронизано было запахом тления и книжной пыли. Трубы в наростах ржавчины, выступавшей из-под толстого слоя краски, по-змеиному опасно шипели по всем углам, в туалете отдаленно рокотала вода. Просторная квартира, заставленная стеллажами с книгами, какими-то этажерками, вешалками, массивными шкафами, столами; на стенах фотографии в резных деревянных рамках; несколько старых картин. В гостиной — письменный стол с потускневшей бронзовой инкрустацией и потускневшие же подсвечники, витые из меди и серебра, подставки, светильники, мраморная пепельница и мраморная же фигурка греческого дискометателя. И много цветов. На столе, на подоконниках, на этажерках. Цветы ухожены, защипаны, политы, цвели радостно и благодарно. В горшках, подвешенных на шнурках, вьющиеся растения опускались кистями до пола.

— Вы, Сережа, осваивайтесь тут, фотографии смотрите — в этой древней кладовке много занимательного, есть кое-что и любопытное. А ястряпней займусь. Я вас скоро не отпущу, до тех пор не отпущу, пока не наговорюсь.

Наталья Дмитриевна похожа на дочь и в то же время отдалена от нее, как бы недопроявлена. Все, что в Любе цвело, румянилось, рвалось наружу, в пожилой женщине было уже успокоено, если не усыплено. Сочиненные как бы из одного металла, струганы были эти люди разными инструментами. Обширная в кости Наталья Дмитриевна как бы сплюсцилась телом. Она перехватила мой взгляд и тут же с маху отгадала, о чем я думаю:

— Я, как и многие певицы, дородна была, да вот убыла... — Ямочки на ее щеках цвели, раздвигая морщинки, делали лицо приветливым.

Я с пристальным вниманием и неразумным любопытством провинциала рассматривал в гостиной картины, фотографии, книги, благоговей перед святой стариной, даже руки убрал за спину, чтоб нечаянно чего не тронуть, и вдруг замер, увидев портрет Сергея Яковлевича Лемешева, еще того, молоденького и звонкого, времен фильма «Музыкальная история». По углу фотографии размашисто, но разборчиво написано: «Натуся! Какое счастье петь на сцене этого великого театра! Большой театр, 20 ноября 1940 года».

«Господи! Куда я попал-то!» — в жар меня бросило, восторгом кожу на спине скоробило. Дыхание придержав, я заглянул в следующую комнату. Там, в переднем углу, под иконостасом, сверкающим золотом и серебром, горела тихая лампада, и я, как всегда при виде икон и негасимого огня, притих в себе. Среди комнаты стоял рояль, на рояле — фотокарточка, по уголку затянута черным крепом. Непривычно кроткая, застенчиво улыбающаяся девушка в темном платье с кружевным воротничком глядела на меня, и в этой девушке я едва узнал Любу. Может, оттого, что видел ее только в военной форме.

— Первая и последняя гражданская фотография Любы, — сказала неслышно вошедшая в комнату Наталья Дмитриевна. Ни обычного простолюдного всхлипа, ни враз возникшей слезы, рукой или платочком вытираемой, лишь бездна скрытого страдания в голосе.

Моя мать, слезой-то облегчаясь, обсказала бы, что и как было, как мучился человек, как она терпелива, бережна была к нему, как Бога молила избавить страдальца от болестей, а ее от горестей — и услышал милостивец ее тихую молитву, прибрал сиротинку, взнял на небо душу его, косточки же в земелюшке остались — чтоб оплакивали, не забывали любезного друга своего богоданная жена и родной сын.

Тут ни стоны, ни вздоха. Интеллигенция! Все же простолюдинам легче живется на этом сером свете, из горя да бед сотканном.

— Что ж случилось-то? — не выдержал я.

— Ямщик, не гони лошадей, — пропела Любиным, все еще густым и низким голосом Наталья Дмитриевна и, подхватив меня под руку, повела в прихожую, молча кивнула на туалет и ванную. В туалете унитаз был в середке зачинен серебряной пластинкой, мне показалось — расплюснутым портсигаром. В ванной раковина склеена сикось-накось, зато вешалок, полотенец и тряпиц на стенах — не перечесть. Возле зеркала на подставке — флаконы с духами, пенальчик с кисточками, щеточки, пилочки, дорогая, подсохшая косметика, бижутерия и разные женские штуквинки; когда-то трудилась в доме домработница, скорее всего из бедных родственниц. Без нее у знатной певицы все, кроме цветов и кухни, пришло в запустение.

Кухня, видать, была самым жилым, душу успокаивающим местом, потому здесь, словно в цирке, радостно и пестро: деревянные квадратички-подставки, прихватки, симпатичная кукла на чайник-заварник, медный, до яркости начищенный самовар, горшки, колотушки, сковородники, связки луковиц и красных перцев и множество разных забавных безделушек. И цветы, цветы...

В зеленых куцах я едва различил деревянную иконку, треснутую по-вдоль.

Стол был заставлен по давней российской хлебосольности мясными закусками, рыбой, соленьями, моченьями, кувшинами с напитками, бутылками иностранными и русскими. Наталья Дмитриевна, прежде чем сесть, перекрестилась на иконку, пошептала молитву, искоса глянув на меня, как бы сказала: «Лоб-то перекрестить рука отвалится?» Мать еще и добавила бы, если не в настроении: «Он, Он ведь, Творец наш, подарил тебе жисть, два раза...»

— Н-ну, — потирая руки и поигрывая заискрившимися глазами, молвила хозяйка, осветившись ямочками на щеках. — Я не пьяница, я — за-

москворецкая хлебосолка. Как, смею думать, вы заметили по фото — работала я в Большом театре. А в Большом и поют, и пьют по-большому. — Наталья Дмитриевна наговаривала и разливала водку и напитки. — По обычаю старорусскому помянем близких, — опустив глаза, вымолвила она и с неподдельным изяществом выпила рюмку до дна. — А-ах! — выдохнула она. — Погубительница ты наша! — и, проморгавшись, налила по новой из квадратной хрустальной бутылки. — Теперь за вас, гость мой нечаянный!

После обеда расположились мы с Натальей Дмитриевной за журнальным столиком в средней комнате. Никаких магнитофонов и проигрывателей, никаких пластинок, ни лент — ни в кухне, ни здесь я не заметил, даже радио выключено.

— Ну что ж, Сережа, слушайте — за тем ведь и пришли. История семьи нашей, как и многих русских семей, и затейлива, и горька. Муж мой, Гавриил Панкратыч Шарахневич, родом из Белоруссии. Объемный, крепкий добряк, он и инструментом владел объемным — играл в оркестре нашего театра на контрабасе. На гастролях, еще будучи студентом Московской консерватории, в знойном Черноморье, поднял он однажды меня вроде бы шутливо в воздух и, тут же опустив на бережок, подмял всерьез, за тот подвиг я его потом всю дорогу подминала по-бабьи весело и беззаботно. После консерватории я попела в хоре, в массовках поучаствовала, арию пажа «Сеньор, извольте одеваться» исполняла, затем поучаствовала в конкурсе Большого, и, представьте себе, не без успеха. Дочку мы с Гаврилой сотворили сдуру, еще будучи стажерами театра, сотворили мимоходом, играючи. Наши полубеспризорные театральные дети большей частью росли за кулисами в театре. Отец безмерно любил и баловал Любу, но в годы всеобщего затмения, когда дочка была еще школьницей, забрали моего Гаврилу... по национальному признаку: фамилия еврейская, говорит — белорус, имя русское, а начальник у него — дирижер, да еще и по фамилии Гаук. Я думаю, под дирижера иль под руководство театра и рыли яму — зачем им сдался контрабас Гаврила. В шутку я называла его «бандурист Гаврила». Был силен и упрям, поклеп делать не хотел, на допросах, догадываюсь я, вел себя «неправильно». Может, кому по мужицкой простоте и по морде дал, его и затоптали сапогами иль живьем изжарили. Нянька — двоюродная сестра мужа — сбежала обратно в деревню. Девчушка наша околачивалась где попадя. Летом, на время гастролей, Любу отправляли в лагерь, в пионерский, подросла — в юношеский. Меня не тронули и дочь мою не водворили в спецлагерь, думаю, из особого почтения вождей к нашему театру.

В поле да на воле подмосковных лесов возростало, набиралось мудрости наше дитя. Мама пела, резвилась, романы крутила — чего уж там! На войне, среди девчонок из крестьянских и рабочих семей, чадо мое, конечно же, выделялось умственностью и нахватаанностью от культуры, точнее, от культурных коридоров, от захлавленного закулисья. В части была она постоянно в центре внимания, явилась, голубушка, из дружного коллектива в столицу — никого кругом и мама почти чужая, даже и к ней надо привыкать. А прилаживаться-то она не приучена. Надо, чтоб к ней прилаживались, — это да, это пожалуйста! И ничегошеньки за душой: ни образования, ни профессии, ни настоящей культуры, ни умения ладить с людьми. Сырой человек, но с претензиями ко всем людям, ко всему миру. Шибко ругались мы с нею на первых порах, прости меня, Господи! Начала она и от меня отдаляться, не успевши привязаться. Поступила на почту,дохнула почтарского, привычного, воздуха, ожила, записалась в хор работников связи — хор не с миру по соломке, почти академический. И жить бы тихо, да, как говорится, от людей лихо. Мужики ж треклятые вьются вокруг — меду им хочется. Кстати, благодарите Бога, что вас она не запутала, позавлекала — и оставила. Норов! Норов мой, фактура папина. Встречались мужики и достойного уровня, на все готовые ради такой крали, но... у крали-то будущее украли. Я уж спустя много времени узнала



о ее в боевом походе совершенном подвиге. Это угнетало ее. Постоянно, неотступно. И почту, и хор она бросила — прискучили. Перешла в органы, пригревшие ее еще на войне, — вес-селяя работка. Мрачнела. Возлюбила одиночество.

Вдруг загуляла! Да как загуляла! Будто с возу упала. Ночами где-то шлялась. Появились у нее деньги. Попивать стала. К пьяной-то к ней и прилепись военный, опять же из органов, по роже — вурдалак, по натуре — насильник. У него на холостяцкой квартире она и кончила себя. Застрелилась.

Наталья Дмитриевна рассказывала и все наливала да наливала в рюмки. Закончив повествование, ослабела, свернулась на диване, натягивая на себя плед, бормотала:

— Я счас, Сереженька, счас, подремлю минуту, и мы еще... мы еще погутарим... Не уходите, пожалуйста. Не уходите!

Спала Наталья Дмитриевна долго и тяжело. Проснулась уже в сумерках, вскрикнула: «Кто здесь?» — вспомнила, ссохшимся голосом проговорила:

— Больше эту окаянную водку пить не будем. Наладим часк. Ча-ае-ок. Вы на меня не сердитесь? — заглядывала она виновато снизу вверх.

— Да что вы, Наталья Дмитриевна?! Что вы? — Я обнял ее осторожно, поцеловал в голову. Она приникла ко мне, обхватила слабыми, вздрагивающими руками, и я вдруг, сминая слова, торопясь, рассказал ей о совхозе «Победа», о встрече с Беллой, которую я оставил среди дороги, о том, как страшно все погибли...

— Ни следочка, ни памяти! — плакал я, и теперь уж Наталья Дмитриевна утешала меня:

— Ах, Сереженька, Сереженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, такие неприкаянные, такие спозаброшенные... За что судьба так немилостива к нам? У вас есть дети? Я все болтала, болтала, соскучившись по собеседнику, и не спросила вас ни о чем. Простите меня. Любите их, детей-то, жалеите. Может, хоть они не повторят судьбу нашу, может, милосердней будет время к ним.

Поздним вечером, перед уходом, я спросил:

— Что такое обертон, Наталья Дмитриевна?

Она не глядя, через плечо, сунула руку в стеллаж, вынула из толщи книг том энциклопедии с отгоревшим золотом на корочке и корешке, полистала и прочла: «Обертон — ряд дополнительных тонов, возникающих при звучании основного тона, придающих звуку особый оттенок или тембр...»

Наталья Дмитриевна, человек проницательный, деликатный, не спросила, зачем мне это знать.

Я заторопился в гостиницу «Россия», собрал вещишки и первым же самолетом улетел домой, не дождавшись конца профсоюзного съезда и попустившись банкетом — главным событием любого российского общественного мероприятия.

Овсянка — Красноярск.

1995 — 1996.



---

---

АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН



## КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Мне все ж улыбнулось попасть в разрекламированный рейс.  
Хотя и не с билетом первого класса.  
На белоснежном картоне с тисненой голубкой,  
запутавшейся в вензеле золотой каймы.

Громада в семь тысяч локтей от кормы до форштевня.  
Зимние сады, вольеры для случки автомобилей,  
небоскребы надстроек.

Даже почта, конверты с голубкой.  
Росплесками марша встречает джаз-банд всходящих на борт.  
Старый Ной в белой тройке, улыбаясь приветливо,  
протирает роговые очки.

Семь палуб для чистых и семь для нечистых.

Путешественники из любопытства и по делам.  
Богачи.  
И те, кто даже не умеет написать слово «деньги».  
Совершенно юная пара с одинаковыми улыбками,  
один саквояж на двоих.

Китаец с учебником английского.  
Седой отдувающийся банкир, тайный банкрот, с новенькой женой  
прямо с витрины универмага, еще завернутой в целлофан.  
Пучеглазые мулатки, большие ноздреватые русские, японцы  
с выбритыми черепами.

Жизнерадостные итальянцы в тяжелых синих пальто.  
Эмигранты и беженцы из Содома и Гоморры с одеялами, в третий класс.  
У поляка шесть пылесосов в коробках, он везет их  
в новую жизнь.

Князь Мышкин, с которым мы в «Склифе» лежали в соседних  
палатах, когда он изрезался бритвой.

Чернобородый француз с «Фигаро» и адресочком в записной  
книжке.

Тело нефтяного шейха, по обычаю предков завещавшего похоронить себя  
вместе с любимым «роллс-ройсом», опускается в трюм.

Собиратели марок торопятся прямо к почтовой конторке,  
проштемпелевать до отплытья.

Первый гулкий гудок.

Распаковка вещей, эта первая радость дороги, еще до ударов винта.  
Будто вскрываешь подарок.  
В нем стол для письма, на никелированном позвоночнике лампа,  
о какой я мечтал.

Ковер, вентилятор, мрамор полки под зеркалом в ванной,  
чтобы дамам расставить флаконы.







---

---

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ



## ДОМ И ХРАМ



*Павлу.*

Это просто гибель «Титаника» —  
и не надо очень шуметь,  
надо только мужаться и тайненько  
все прибрать, все пересмотреть.

Помнишь фильм и ту мудрость высшую,  
что с экрана сошла на нас?  
Помнишь пару: банкир с банкиршею  
как вели себя в страшный час?

Отшатнулись от вакханалии  
(выживай — это значит бей!)  
и в каюту сошли, усталые,  
как в последнюю колыбель.

Пусть спасутся ростки весенние,  
им еще зеленеть и цвести.  
И учти: на Небе спасение  
означает не то, что здесь.

### Памяти о. А. Меня

Среди долины ровныя  
был храм и рядом — дом.  
Молитва чудотворная  
струилась в храме том.  
И, пролетая в облаке,  
посланец высших сил  
черты их видел в облике  
того, кто здесь служил...  
А в доме, в нищей тесноте,  
все книги, словари.  
Здесь разворачивались те  
пространства, что внутри —  
внутри у каждого из нас.  
Да будь ты мал и прост,  
первотолчок хозяин даст —  
и дух пускался в рост...  
В ночь погружались дом и храм,  
и делалось темно.

Но огонечки тут и там  
мелькали все равно.  
И не решался враг достать  
тот огонь, ту мощь, ту крепь,  
и не могла земля всосать  
священный этот Кремль...  
Однажды я пришла сюда,  
отбросив дребедень,  
в неделю Страшного Суда,  
в пустой воскресный день.  
Мой духовник трубил как в рог,  
глядел, как Божий зрак:  
— Мы думаем, что Суд далек,  
а он уж при дверях. —  
...Стряслась беда народная.  
Суд есть, да нет истца.  
Одна долина ровная  
без края и конца.

### Часовня

Между дубом и елью —  
 горше места не вспомню —  
 к годовщине успели  
 воздвигнуть часовню,  
 чтоб молиться за душу  
 убиенного... Отче!  
 Твой порядок нарушу:  
 молиться нет мочи...  
 Здесь его подловили  
 и терзали. На травах  
 были знаки насилья  
 среди пятен кровавых.  
 Порешили не сразу —  
 дали жизни кусочек  
 согласно приказу.  
 Как знаком этот почерк!  
 Верный Богу и долгу,  
 он поднялся, не зная,  
 что земную дорогу  
 продлит неземная...  
 Пусть в ажурных окошках,  
 малой церковке ровня,  
 подняла свой кокошник  
 соляная часовня, —  
 здесь, вблизи поворота,  
 где зло окопалось,  
 мне супругою Лота  
 она показалась.

9 сентября 1994 года.

\* \*  
\*

Красота красуется,  
 суета тусуется,  
 слепота выискивает,  
 пустота витийствует,  
 чистота подрагивает,  
 мелкота поддакивает,  
 лимита расталкивает,  
 правота помалкивает.

### Конец сезона

Позаброшенные дачи,  
 запустение внутри.  
 Домовые наудачу  
 поднимают фонари:  
 никого... Гниют стропила,  
 прах и тлен берут свое,  
 а когда-то это было  
 лауреатское жильё.

Все в инфляции сгорело,  
 что копил для внуков, псих.  
 Главное же — было дело!  
 Оказалось: дело — пшик.  
 Все разъехались, лишь галки,  
 слышно, каркают вдали.  
 А кого-то на каталке  
 в морг и дальше повезли.



\* \*  
\*

Верони́ка, веро́ника,  
как мала твоя чашечка,  
но под нею схоронена  
в непогоду букашечка.  
В наше лето короткое,  
на земле загазованной,  
лист — меж божьей коровкою  
и дырою озоновой...  
Не субтильная женщина,  
помолюсь пред иконами,  
чтоб раз в двести уменьшиться,  
вровень стать с насекомыми.  
Скрыться в травной обители,  
где живые — не лишние,  
только б очи не видели,  
только б уши не слышали...  
Люди добрые, хуже вас  
нет, наверное, в Космосе!  
Уж давно «фильмом ужасов»  
окрестила я «Новости».  
Не на зеркало гневаюсь,  
а на жизнь злополучную,  
где ведущая — ненависть,  
а пройдохи — подручные,  
где ни Фета, ни Моцарта  
не хотят: «вот пристали еще!»,  
где для тела не мертвого —  
никакого пристанища...  
В эмигрантки и беженки  
горько метить по осени.  
Да и всюду есть бестии:  
заманили и бросили.  
Убегу без оглядки я  
в колокольчики сладкие,  
схоронюсь остороженько  
под листом подорожника.



---

---

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ



## СОРОК ЛЕТ ЧАНЧЖОЭ

Роман

19

**П**олковник Шаллер закончил читать страницы, расшифрованные Теплым, и находился в состоянии смятения.

Что это за текст? — думал он. Профаназия или бред сумасшедшего? Как воспринимать прочитанное? Как отнестись ко всему?

Генрих Иванович потер виски и услышал трещанье пишущей машинки, доносящееся из сада.

Что же она там еще нацелкивает? Над чем трудится?

Шаллер спустился в сад и, хрустя осенними листьями под ногами, подошел к жене. Он некоторое время смотрел на нее, на сомнамбулическую, пишущую, с истончившейся кожей на висках, затем рукой поворошил ей волосы на затылке и на некоторое время замер, рассматривая белые перышки.

Надо искупаться, подумал Генрих Иванович и, отстраненно поцеловав жену в макушку, отправился к китайскому бассейну.

Он разделся и сошел в воду. Поплавав самую малость, от бортика до бортика, заплыл в угол, прислонил голову к изразцам и закрыл глаза.

Какие странные записи, думал он. Как все странно записано. Какое-то море несоответствий и неточностей!..

Полковник напряженно думал над прочитанным, слегка шевеля в воде ногами, отыскивая по памяти в летописи ошибки.

События на десяти страницах охватывают лишь три первых года чанчжозэйской истории, говорил про себя Шаллер. Что же получается? Все дети, рожденные мадемуазель Бибигон в нэвостройках, были недоношены по меньшей мере на половину положенного срока!.. Мысль скакнула... Значит, моя жена приходится сестрой детям губернатора Контаты и детям доктора Струве! — внезапно заключил Генрих Иванович. Дилемма во всем этом только одна — доверять записям или нет!

Полковник окунулся с головой и просидел под водой целую минуту, каждые десять секунд выпуская из себя большой воздушный пузырь.

Кто же такая мадемуазель Бибигон? — задумался Шаллер, вынырнув. Помнится, ни отец Елены, ни сама Белецкая никогда не говорили о ней, и Генрих Иванович полагал, что мать жены умерла слишком рано и воспоминания о ней доставляли родственникам невыносимую боль.

Полковник вновь нырнул, а когда вынырнул, настроенный продолжать свои думы, то услышал над собой наглое «эй!».

Шаллер вывернул голову и увидел стоящего на краешке бортика давешнего мальчишку с синяками под глазами. Сейчас, правда, синяки выцвели, как хорошо стиранный сатин, и уже не поражали своей величиной.

— Эй! — повторил мальчишка. — Могу я поплавать? Ты же меня сам приглашал! Помнишь?

Глядя на Джерома, полковник вспомнил Франсуаз Коти, ее влажную грудь и крепкие бедра, сделал над собою усилие, отгоняя эротические картинки, и покашлял для закрепления достигнутого эффекта.

— Ты меня слышишь? — спросил мальчишка.

— Слышу, — ответил Генрих Иванович.

— Так могу я поплавать? Бассейн ведь не твой!..

— Конечно, можешь.

— Ну вот и спасибо, — поблагодарил Джером и стал медленно раздеваться. Он аккуратно сложил шорты и рубашку, оставшись в купальном костюме мышинного цвета, закрепленном на груди помочами.

— Холодная вода? — спросил он.

— Теплая.

— Глубоко?

— Не мелко.

— Значит, можно нырять?

— Можно.

— Сначала просто поплаваю, а потом уже нырну, — решил Джером и медленно сошел по ступеням в пузырящуюся воду. — Действительно теплая, даже горячая.

Он оттолкнулся от дна ногами и поплыл по-собачьи, задрал высоко подбородок и щуря глаза. Ему понадобилось достаточно времени, чтобы доплыть до бортика, возле которого стоял Шаллер, и он, задыхаясь, даже протянул тому руку навстречу, чтобы здоровенный мужик помог ему добраться до мелкого места.

— Давно не плавал, — сказал Джером, встав рядом с полковником. — Сноровку потерял.

— Да, — согласился Генрих Иванович, разглядывая его намокший купальник с двумя горошинами сосков. — Плаваешь ты неважно. Но дело это наживное.

— Чего грустишь? — спросил мальчик.

— Я не грущу.

— Грустишь, грустишь! Вон как морщины вздыбились на лбу!.. Неприятности?

— Да нет. От неприятностей Бог миловал.

— Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Дело твое. А где женщина твоя?

— Не знаю.

— Я тут подумал на досуге — красивая она! И автомобиль у нее красивый!

— Как успехи в учебе? — перевел разговор на другую тему Генрих Иванович.

— Успехи неважные.

— Что так?

— Переходный возраст. Другие интересы.

— Какие же, если не секрет?

— Не секрет. Размышляю о смысле жизни.

— И какие выводы?

— А выводы такие, что смысл моей жизни лежит в области чужих интересов. В моих интересах смысла нет.

— Какие же у тебя интересы?

— Хочу стать патологоанатомом.

— Почему? — удивился Шаллер.

— Потому что мертвый человек возбуждает во мне интерес. Глядя на мертвеца, ощущаешь себя живым, тогда как, глядя на живого, ощущаешь себя никаким.

— Где же ты видел мертвецов? — спросил Генрих Иванович.

— У учителя Теплового.



— Что же они, прямо у него в квартире лежат?

— Да нет же! — Джером поморщился. — Он собирает атласы судебной медицины. У него их целая библиотека. Вот я и смотрю их на досуге. А ты видел когда-нибудь мертвецов?

— Приходилось, — ответил полковник, вспомнив мать, придавленную обломками дома во время чанчжойского землетрясения. — Я видел мертвецов.

— А ты видел, как купец Ягудин упал мордой на булыжники?

— Видел. А почему ты спрашиваешь?

— Уж больно у него голова крепкая была! Другая бы разбилась, как арбуз, от такого удара, а от ягудинской даже булыжник треснул! Может быть, он мутант? Как ты думаешь?

— Может быть. — Шаллер поглядел мальчику в глаза — большие, с черными зрачками во все глазное яблоко. В них, подернутых влагой, он разглядел свое отражение, искаженное, как будто полковник смотрел на себя с обратной стороны подозрительной трубы. — Может быть, и мутант, — еще раз повторил Генрих Иванович.

— Проплывусь, — сказал Джером и слегка оттолкнулся от бортика ногами. Он придавал телу ускорение, но при этом слишком низко опустил подбородок и всем ртом хлебнул воды. Мальчик закашлялся, замолотил руками по воде, развернулся лицом к Шаллеру и протянул ему ладонь. Полковник опять помог обрести Джерому почву под ногами и, не сдержавшись, заулыбался.

— Что ты смеешься? — спросил мальчик. — Разве тебе не известно, что каждый человек что-то делает хорошо, а что-то плохо? Так вот, плаваю я плохо. Что в этом смешного?

— А что ты делаешь хорошо?

— Пока я еще не знаю... Слишком мне мало лет... Хотя нет, одно дело я делаю прилично. Но тебе не скажу, какое.

— Секрет?

— Наверное. Я не знаю, как ты к этому отнесешься, а потому не скажу.

— Не говори, твое право... Но может быть, ты мне скажешь, откуда на твоём лице синяки?

Джером задумался.

— Синяки на моем лице — дело частое, — сказал он. — Почему-то многим доставляет удовольствие бить меня по лицу. Видимо, в конструкции моей физиономии есть что-то притягательное для ее набития. Я так полагаю, что это то же самое, как голое женское тело кого-то притягивает для объятий. Кстати, не можешь ли ты мне объяснить, что движет тобою, когда ты целуешь женские груди и живот? Ведь все это может быть не совсем чистым? Например, для меня эта область человеческого общения не представляется привлекательной.

Почему-то этот вопрос Джерома прозвучал для Генриха Ивановича самым естественным образом, он даже не почувствовал смущения, возможно из-за того, что сам мальчик не видел в этом вопросе ничего скабрёзного; а потому спокойно на него ответил:

— В жизни каждого человека, в определенном возрасте, наступает момент, когда он чувствует влечение к противоположному полу. Это абсолютно нормальный физиологический процесс. Когда-нибудь и ты почувствуешь влечение.

— Какого рода это влечение?

Шаллер хмыкнул.

— Знаешь, это очень трудно объяснить...

— Попробуй.

— Ну, бывает момент, когда влечение заставляет тебя забыть обо всех проблемах, когда тело дрожит от желания разрядиться.

— Чем разрядиться?

— Семенем для продолжения рода.

— Как будто бы мы это в интернате проходили.

— Тогда тебе все известно, — облегченно вздохнул Генрих Иванович. — Это называется инстинктом продолжения рода.

— Для этого в женский организм суется штука, из которой обычно писают?

— Можно и так сказать.

— А у меня есть семя?

— Когда вырастешь, семя будет и у тебя.

— И инстинкт продолжения рода?

— И инстинкт в тебе проснется.

— А что главное — инстинкт или сознательное продолжение рода?

— И то и другое главное.

— А мне кажется, что не будь инстинкта, то не будет и сознательной надобности продолжать род. Я думаю, что инстинкт подменяет сознание, а человеку кажется, что делает он все осмысленно.

— Ты не прав. Для взрослого человека очень важно увидеть свое продолжение в детях.

— Во мне инстинкт не проснулся, а потому то, что ты проделывал со своей женщиной, не представляется мне привлекательным. Добровольно я бы никогда этого не стал делать. И я бы не хотел видеть своего продолжения. Мне и так не слишком радостно. Кстати, у тебя есть дети?

— Нет.

— Ты тоже не хочешь видеть своего продолжения?

— Хочу. Но не все, что хочется, случается. Зачастую наоборот: то, чего ты особенно желаешь, становится невозможным.

— Твоя женщина тебе родит ребенка.

— Дело в том, что это не моя женщина.

— Как это? — не понял Джером. — Ты же делал с ней то, что обычно делают только со своими женщинами.

— Бывают исключения. — Генрих Иванович замялся. — Понимаешь, существуют вещи, которые не просто объяснить. Например, у меня есть жена.

— И что?

— Детей полагается иметь от жен и мужей.

— Тогда пусть тебе жена родит.

— Она не хочет.

— Вот видишь! — обрадовался Джером. — Значит, у нее, как и у меня, отсутствует инстинкт продолжения рода... Но ведь это не беда! Плюнь на условности и попроси красивую чужую женщину родить тебе ребенка!

— Я же тебе объяснил, что так не полагается.

— Но ведь можно развестись со своей женой и жениться на красивой женщине. Она станет твоей и родит тебе мальчика... Или чего ты там хочешь?

Шаллер запутался в этом разговоре, а потому просто сказал:

— Хорошо. Я подумаю над твоим предложением, — и оттолкнулся от бортика ногами, окатив мальчика фонтаном брызг.

— Эй, подожди меня! — крикнул Джером. — Я плыву с тобой!

Генрих Иванович свободно лежал на воде, поддерживаемый мириадами пузырьков, и умилялся, глядя на тщедушное тельце, колотящее что есть силы руками и ногами.

— У меня уже лучше получается, правда? — спросил мальчик, схватившись за бугрящееся мышцами плечо полковника.

— Да, у тебя безусловный талант к плаванию.

— Значит, скоро у меня появится еще одно дело, которое я делаю хорошо. Оно не будет секретом, а потому я смогу о нем рассказывать.

Генрих Иванович поплыл к противоположному бортику, увлекая за собою Джерома. Мальчик скользил по воде без малейшего усилия, а потому наслаждался водной стихией, заключенной в китайскую ванну.

Шаллер выбрался из бассейна, взял за руку Джерома и, запросто, без напряжения вытащив его из воды, поставил рядом с собой на мраморную плитку.

— Ну-с, молодой человек, мне пора. Приятно было с вами пообщаться. Если у вас на досуге будет время, приходите искупаться еще.

— Передавайте привет чужой красивой женщине, — в свою очередь сказал Джером. Он прыгал на одной ноге, ковыряя в ухе пальцем, освобождая торчащий древесным грибом отросток от воды. — И жене теплый привет. Она у вас на тощую курицу похожа. Вы, наверное, ее обедаете!

— Вы и жену мою видели! — воскликнул Шаллер, поражаясь точности сравнения.

— Пришлось как-то...

— Да! — вспомнил полковник, натягивая галифе. — Передайте господину Теплому, что господин Шаллер навестит его в конце недели.

— Всенепременно, — пообещал мальчик, выжимая купальный костюм себе на ноги.

Генрих Иванович посмотрел на тощие ягодички Джерома, кивнул ему на прощанье и скрылся за кустами боярышника.

## 20

Гаврила Васильевич Теплый с утра до ночи расшифровывал летописи Елены Белецкой, покрывая чернильной вереницей одну страницу за другой. В его учительской душе не осталось более места светлым чувствам, он негодовал на то, что ему приходится за какие-то ничтожные сто рублей расходовать свой безмерный гений.

Славист почти не думал над смыслом расшифрованных страниц, все его существо захватила злоба, заставляющая деревенеть мышцы тела и работать со сбоями мочевой пузырь.

Если я что-нибудь не предприиму, то сойду с ума, думал Гаврила Васильевич, кладя очередной лист с расшифровками в пачку. Как посмел этот ничтожный человек усомниться в подлинности моего открытия! Недаром говорят: «У кого сильно в мышцах, у того слабо в голове!» Я бы с удовольствием разделал его тушу по всем правилам мясницкого искусства! Сначала бы шкуру снял, затем вырезал бы сердце и смотрел, как оно, бычье, трепыхается беззащитно в моих ладонях, плача кровью...

Гаврила Васильевич опять испытал желание убить. На сей раз это чувство было непреодолимым, мутящим сознание, мешающим сосредоточиться на работе.

Славист отложил бумаги в сторону. Пойду прогуляюсь, решил он, поднявшись со стула и пройдя в кухню. Там он зачем-то взял длинный изогнутый нож, взрезал им подкладку пиджака и уложил тесак между двумя тканями, осторожно прижимая прощупывающееся лезвие рукой. Затем учитель снял со стены веревку, на которой обычно сушилось его нижнее белье, смотал ее в клубок и засунул в карман брюк. Он коротко взглянул на часы с кукушкой, отметив, что время уже позднее, к двенадцати, и вышел на улицу.

Идти было некуда, а потому Гаврила Васильевич в странном забытьи остановился возле входа в интернат, укрывшись от фонаря в тени старой липы. Так, замерев, он простоял некоторое время, пока его глаза не различили в лунном свете фигуру подростка, спешно приближающегося.

Джером, подумал учитель, щупая сквозь подкладку лезвие ножа.

Когда подросток приблизился, славист резко шагнул из тени и лицом к лицу столкнулся с Супониным.

— Супонин? — удивился он.

— Господин Теплый! — Подросток от неожиданности икнул и вытаращил на учителя глаза.

— Так-так!.. — протянул Гаврила Васильевич. — Позвольте спросить вас, откуда вы прибываете в столь поздний час?

— Я... Да я, это... — замялся Супонин. — Понимаете ли...

— Не мямлите, Супонин! Я же понимаю, что вы старше своих соучеников на два года, а потому у вас желания отличные от них. Вы почти уже

взрослый человек. Будь другой на вашем месте, я просто бы дал ему линейкой по голове и лишил бы ужина!.. Вам уже исполнилось пятнадцать?

— В прошлом месяце, — ответил подросток, еще не понимая, минула его кара Господня или над головой все еще вознесен меч возмездия.

— Вы — взрослый человек, поэтому я разговариваю с вами по-другому. Расслабьтесь! Я не буду вас наказывать.

— Спасибо.

Гаврила Васильевич взял подростка под руку и неторопливо зашагал с территории интерната, увлекая в доверительной беседе Супонина за собой.

— Вы, наверное, думаете, что я старый и не понимаю интересов вашего возраста?

— Что вы! Вы совсем не старый!

— На самом деле вы так не считаете. Я вспоминаю время, когда мне было пятнадцать лет. Все старше двадцати пяти казались мне увядшими стариками, не способными понять моих страстей и желаний. В пятнадцать лет я в первый раз влюбился и так же, как вы, бегал по ночам на свидание к предмету своей страсти... Вы были на свидании?

— Ага, — ответил Супонин.

Гаврила Васильевич втянул в себя воздух.

— Какими духами вы пользуетесь?

— «Бешеный мул», — ответил подросток, радуясь, что наказания не последует и что учитель Теплый оказался на поверку не таким уж и мерзким, каким слыл в интернате.

— Приятный запах. Наверное, вашей подруге он нравится. Как ее зовут, если не секрет?

— Анжелина.

— Как?! Неужели Анжелина?

— А что такое? — испугался Супонин.

— Не может быть! Такое совпадение! Да знаете ли вы, что, когда мне было пятнадцать лет, мою возлюбленную тоже звали Анжелиной!

— Здорово! — обрадовался подросток и вдруг внезапно ощутил, как под сердцем у него беспричинно засосало. Какая-то тоска вошла во все члены.

— опишите мне ее, — попросил славист и оглянулся на здание интерната, оставшееся далеко позади и целиком закрытое густой зеленью. Он все крепче сжимал руку мальчика, не чувствуя, как из-под мышц поливает потом. — Расскажите мне о ней скорее!

— Я не знаю, что и сказать, — растерялся Супонин.

— Сколько ей лет?

— Наверное, семнадцать.

— Она красива?

— Вроде ничего...

— А где вы познакомились?

— В кондитерской.

— Вы первый с ней заговорили или она с вами?

— Кажется, я.

— И что потом?

— Мы гуляли с нею, зашли на карусель.

— Вы угощали ее мороженым?

— Нет. Мы ели воздушную кукурузу.

— И что потом?

— Потом наступил вечер.

— И вы, конечно же, целовались... Не стесняйтесь, Супонин! Это вещи естественные, о них не стыдно говорить.

— Да, мы целовались. И я совсем не стыжусь этого. И еще мы занимались самым интересным...

— Чем же?

— Мы занимались любовью на берегу реки.

— Вот как! — Пальцы Теплого потрогали лезвие ножа. — Как интересно!.. Она была вашей первой женщиной?



— Нет.

— Сколько же было до нее?

— Кажется, четыре... Или пять...

— У вас уже есть опыт. Они все были девственницы?

— Все, кроме одной — первой.

— Она, наверное, была много старше?

— Ей было сорок три.

— А вам?

— Тринадцать.

— Вероятно, она была хорошей учительницей... — Указательный палец Теплового слишком сильно уперся в лезвие тесака, подкладка рассеклась, и сталь порезала подушечку возле ногтя. Гаврила Васильевич вскрикнул, выдернул руку из-под пиджака и засунул палец в рот.

— Что с вами? — спросил Супонин.

— Нет-нет, ничего!.. Напоролся на булавку!.. Продолжайте!

— А что говорить?

— Скажите, в каком случае вы больше испытывали возбуждение: когда ласкали опытную женщину или невинную девушку? — Теплый отсасывал из пальца кровь и от ее сладкого вкуса чувствовал, как по телу растекается блаженное тепло, а сердце стучит уверенно и гулко.

— Не знаю. Мне кажется, что это разные ощущения...

— Конечно, разные, — подтвердил Гаврила Васильевич. — Невинность манит, а зрелость расслабляет. Зрелость — бесстыдна, тем и привлекает, а сжатые от страха ножки, коленками стерегущие лоно, руки, старающиеся защитить ладошками наготу, губы, то ласковые и страстные, то каменные от страха, — все это ужасно воспаляет тело! Ничто не приносит такого удовлетворения, как совладать с чужой слабостью и страхом! Победа над сильным есть радость избегнувшего смерти! Вы понимаете меня?

— Не совсем, — ответил Супонин. Он чувствовал, как правая рука учителя все крепче сжимает его талию. — А куда мы идем?

Гаврила Васильевич, казалось, не слышал вопроса и продолжал развивать тему:

— Как это ни парадоксально звучит, в слабом гораздо больше жизненных сил, чем в сильном. Сильный затрачивает слишком много усилий на то, чтобы быть сильным, а слабый духом и телом с бесконечными жалобами на свою маломощность зачастую живет гораздо дольше, чем могучий организм. Поэтому победа над слабым дает возможность продлить собственную жизнь. Животные никогда не питаются равными себе по силе! Инстинкт движет ими, дабы черпать силы от слабого! Поэтому в Спарте убивали калек и слабых, чтобы не видеть, как хромые и увечные переживают мужественных и сильных!

— Уже поздно, — неожиданно заныл Супонин. Ему стало больно от впившихся спицами в бок пальцев учителя. — Я хотел бы отправиться в свою спальню. Уже совсем ночь, и я не понимаю, куда мы идем!

— Ты боишься? — Теплый наклонился, заглядывая в глаза подростку. — Скажи, тебе страшно?

— Я не знаю... Мне непонятно то, что вы говорите... Вы больно сжимаете мой бок, и я не знаю, куда мы идем!..

— Хорошо! Дальше мы не пойдем. Мы остановимся здесь. В этом месте нас никто не увидит!

Гаврила Васильевич отпустил мальчика, посмотрел на луну и грустно вздохнул.

— Сейчас ты ощутишь себя слабым и беззащитным, как те девочки, которых ты любил. Ты испытаешь страх и ужас! — Глаза Теплового сверкнули лунным светом, он распахнул полу пиджака и вытащил из-под подкладки нож.

— Зачем вам нож?! — вскрикнул Супонин и заикался быстро и громко.

— Ну вот ты и боишься! Твое сердце стучит быстро-быстро, ноги подгибаются и руки дрожат. Ты ослабел. — Гаврила Васильевич стал медленно приближаться, сжимая в руке нож. — Сейчас я тебя убью.

— За что? — спросил Супонин, с ужасом глядя на приближающегося учителя.

— Я уже тебе все объяснил. Разве ты не понял?

— Нет.

— Ничего не поделаешь! — посетовал Теплый. — Уже нет времени объяснять тебе все заново.

— Пожалейте меня. — Супонин заплакал. — Я не хочу умирать.

— Никто не хочет умирать, — сказал Гаврила Васильевич и, коротко взмахнув ножом, перерезал подростку горло.

Супонин упал в пожухлую траву. С минуту он еще шевелил ногами и удивлялся кровавым пузырям, прущим из рассеченного горла. Через две минуты его юная душа, оторвавшись от всего земного, воспарила над телом, мельком огляделась и устремилась в бесконечные просторы, пытаясь изведать пути Господни.

Грянул гром, и, несмотря на поздний час, в ночном небе запылало огнем и закружило звезды в ошеломительной выси огненными струями Лазорихиево небо.

— Лазорихиево небо-о-о! — закричал Теплый. — Лазорихиево не-е-бо!..

Через час Гаврила Васильевич Теплый сидел в своей интернатской квартирке и неумоимо, одну страницу за другой, расшифровывал творение Елены Белецкой.

## 21

«В начале четвертого года чанчжозьского летосчисления в город со стороны юго-запада въехал ослик, неумоимо тащивший за собой повозку с поклажей и ее хозяйкой, — читал Шаллер присланное Теплым продолжение чанчжозьских летописей. — Хозяйка являла собой молодую женщину в черных пыльных одеждах, с огромной печалью на лице и тоской, изогнувшей спину. Она сидела на чемодане с потрескавшейся от солнца кожей и без интереса разглядывала проплывающие мимо городские окрестности. Во взгляде женщины притаилась какая-то пустота и обреченность, которую можно было списать на то, что приезжая была беременна и живот ее находился на крайних сроках наполнения.

Подъехав к главной городской площади, молодая женщина неожиданно потеряла сознание, а умный ослик, почувствовав это, остановился посреди мостовой и заорал во все горло.

Иа-а! — кричал он, призывая на помощь. — Иа-а!

На крики животного из окон высунулись любопытные физиономии, а особо любознательные даже вышли наружу и скоро определили, что произошло неладное. Послали за доктором Струве. Со своим неизменным саквояжем медик явился быстро и определил у приезжей родовые схватки. Женщину доставили в дом доктора Струве, где он раздел ее, обмыл тело водой и обмазал чресла йодом. Весь подготовительный этап роженица находилась в глубочайшем обмороке, не реагируя даже на пары нашатыря. Лишь инстинкт заставлял напрягаться ее бедра, а ступни ног уперлись в стену, стараясь сдвинуть ее с места.

— Ах, какой будет чудесный ребенок! — приговаривал доктор Струве, оглядывая огромный живот. — Богатырь готовится явиться на свет!

На помощь доктору пришла мадемуазель Бибигон, имеющая достаточный опыт в таких делах, сама познавшая всю нелегкость воспроизводства новой жизни. Она вскипятила воду, а затем долго что-то шептала на ухо роженице, стараясь привести ее в чувство. Наконец веки будущей матери дрогнули, она открыла глаза и огляделась.

— Где я? — спросила приезжая красивым, но очень печальным голосом.

— Все в порядке, милая! — сказала мадемуазель Бибигон, утирая своей пухлой ладошкой пот со лба роженицы. — Ты в надежных руках! Все произойдет наилучшим образом!

— Уж будьте покойны! — подтвердил доктор Струве. — Как вас зовут?

— Протуберана.

— Как, простите?

— Протуберана, — повторила роженица и вздрогнула от боли.

— Тужьтесь, милая, тужьтесь! — подбадривала мадемуазель Бибигон.

— Откуда вы родом? — поинтересовался доктор, натягивая перчатки.

— Ничего не помню! Не помню!..

— Такое бывает. Вот родите богатыря — и все вспомните.

Тело женщины дернулось в схватках, она засучила ногами по простыням, закатила глаза, и в ту же секунду отошли воды. Запахло осенним дождем.

— Началось! — проговорил доктор Струве и приблизил свое лицо к лону роженицы. — Держите ей ноги!

Мадемуазель Бибигон, однако, не подчинилась приказанию, а, находясь в изголовье, все поглаживала щеки будущей матери своими пухлыми пальчиками и приговаривала:

— Он сейчас появится на свет, первый раз вздохнет и начнет расти — сильным и смелым. Он будет твоей гордостью! Твой сын!

— Держите ей ноги! — повторил доктор Струве.

— Незачем! — резко ответила мадемуазель Бибигон. — Природа сама разберется, без чужого вмешательства!

Доктор поглядел на часы и покачал головой.

— Пора бы ребенку и появиться, — сказал он, стараясь заглянуть в самое нутро живота.

— Сейчас, сейчас.

Между тем тело роженицы сокращалось, как будто через нее пропускали ток. Губы ее высохли и стали похожи на печеную картошку, только что выбранную из золы. Сосуды в глазах полопались, а из набухших грудей от напряжения сочилось молоко, стекая к животу.

— Не хочет выходить! — констатировал доктор Струве. — Вполне вероятно неправильное положение плода! — И он осторожно ввел правую руку в лоно. — Ничего не понимаю!

— Что такое? — заволновалась мадемуазель Бибигон.

— Никак не могу нащупать плод!

— Может быть, послед мешает?

— Странное дело, моя рука глубоко в матке, а плода нет!

— Не говорите глупостей!

— Да так и есть. Хотя постоит!..

— Ну?!

— Что-то нащупал, ужасно холодное!

Доктор Струве почти выдернул руку и посмотрел на нее, посиневшую, всю в инее.

— Господи! Что это?!

Тело роженицы еще раз вывернуло, она закричала и закусилась до крови губы.

— Рожает! — громко сказала мадемуазель Бибигон и взяла в руки чистую пеленку.

В этот миг живот приезжей вздыбилось, она вцепилась руками в матрас, опять закричала, и плод пошел.

То, что появилось из ее лона, привело в оцепенение как доктора Струве, так и мадемуазель Бибигон, которая только и сделала, что всплеснула руками и оттопырила нижнюю губу.

Незнакомка в нечеловеческих муках родила небольшой вихрь, который завис посреди комнаты, втягивая в свою воронку мелкие предметы. Вихрь постепенно двигался к стене, кружа своим нутром пинцет и сумочку мадемуазель Бибигон. Затем воздушная воронка приблизилась к лицу рожени-

цы, перебрала ее слипшиеся волосы, прошлась по грудям, втягивая в себя молочные струи, потом резко метнулась к окну, с жутким грохотом выбила оконные рамы и устремилась в поднебесье.

— Где мой ребенок? — спросила Протуберана, слегка отдышавшись.

Доктор Струве и мадемуазель Бибигон переглянулись.

— У вас была... э-э... ложная беременность, — соврал доктор. — Но теперь все кончилось, и вы скоро придете в себя. Так, знаете ли, бывает...

— Не расстраивайтесь, милая! — поддержала доктора мадемуазель Бибигон. — Всяко в жизни бывает...

На следующее утро жители Чанчжоэ проснулись и обнаружили в природе некоторые изменения.

В городе появился ветер. Легкий, он трепыхал листву деревьев, сдувал с фасадов домов пыль, теребил волосы прохожих и рождал на городских прудах мелкую рябь.

— Она родила ветер, — прошептал доктор Струве, разглядывая в восстановленное окно качающиеся верхушки деревьев. — Теперь у нас есть ветер!

«А что такое ветер? — размышлял про себя г-н Контата. — Ветер — это поля пшеницы, которая с помощью него будет опыляться. Ветер — это мельницы, перемалывающие зерно в муку. Значит, у нас появится свой хлеб!.. — Г-н Контата сидел в кресле возле своего дома, с удовольствием подставляя лицо свежим порывам молодого ветерка. — А мы прогнали мельника Иванова! Эка недалёковидность! А ведь он обещал подсоединить к ветряку динамо-машину и обеспечить город электричеством!.. Следует выписать с большой земли другого мельника!» — решил г-н Контата и, успокоенный найденным решением, задремал на солнышке...»

Генрих Иванович читал новую порцию страниц, расшифрованную учителем Теплым и присланную им с оказией. Он уже закончил знакомиться с рождением в Чанчжоэ ветра, как услышал треньканье телефона.

Звонил доктор Струве. Он поинтересовался здоровьем Елены Белецкой, но что-то было в его голосе странное и поспешное, из-за чего Шаллер понял, что цель звонка эскулапа совсем другая, а вопросы о здоровье жены лишь обычная дань вежливости.

— Что-нибудь случилось? — спросил полковник.

— Не буду от вас скрывать! — затараторил доктор. — Произошло нечто ужасное! Прямо в голове не укладывается! Просто ужас какой-то!

— Так что же случилось?

— В городе прошлой ночью произошло убийство! Представляете, я только что оттуда!

— Откуда?

— С места происшествия. Убит пятнадцатилетний подросток! И знаете, что самое ужасное в этом деле?

— Что же?

— Из тела подростка вырезано сердце и печень! По всей видимости, мы имеем дело с маньяком! Со страшным маньяком! Вся общественность возмущена! Последуют газетные публикации!.. Шериф обещал бросить все силы на поиски убийцы, и наш долг — помочь ему в этом!

— Где было совершено убийство? — спросил Генрих Иванович и вдруг вспомнил, что вчера перед сном, закрывая окно от сквозняка, различил в ночном небе редкостное сияние, которое звал про себя Лазорихиевым небом.

— Неподалеку от Интерната для детей-сирот имени графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть. Там много густого кустарника... Лицо подростка обезображено до неузнаваемости! Но я полагаю, что это дело не рук убийцы, а рук... Господи, что я говорю! По моему мнению, это куры постарались. Они выклевали мальчику глаза и объели все мясо со щек и подбородка! Надо что-то делать с дикими курами! Нужно принять какое-то решение и всем городом бороться с ними!



— Сначала нужно поймать преступника!

— Да-да, конечно, — согласился доктор. — Самое поразительное, что внутренние органы вырезаны из тела мальчика самым профессиональным образом!

— Значит, нужно искать убийцу среди медиков и патологоанатомов.

— Вы ведь знаете, что я единственный доктор в городе! Я и патологоанатом!

— А приезжие?

— Это не исключено. Я поделюсь с шерифом вашими соображениями!.. Мне еще нужно писать заключение о вскрытии, так что, дорогой Генрих Иванович, я прощаюсь и обещаю информировать вас о ходе следствия.

— Буду вам весьма признателен, — поблагодарил полковник, повесил трубку на рычаг и придвинул к себе листы с расшифровками...

«...В последующие десять лет, — прочитал Шаллер, — в город прибыли: Андриано Питаев со своей семьей, семейство Грыжиных, потомственных сапожников, Ключевы, Лупилины, физик Гоголь с собачкой по кличке Брызга, военный Бибииков, Степлеры, Гадаевы, Миттераны, господы Мировы, чета Коти...»

Генрих Иванович перелистнул страницу. Далее также шел список приезжих:

«Ягудин, Преславлин, Слухов, Чикин, Концович...»

Шаллер еще поворотил страницу, но список из верениц имен и фамилий не кончался. То же самое продолжилось и на тридцати других страницах. Лишь на последней, в самом ее конце, начинался другой перечень.

«В последующие десять лет в городе родились:

Елизавета Мирова, близнецы Сухомлинские, Евстахий Бутаков, Иван Иванов, Елена Гоголь, Пласидо Фальконе, Андрей Степлер...»

Генрих Иванович внимательно вчитывался в список рожденных, разместившийся на пятидесяти трех страницах. Он не упускал ни одного имени и фамилии, произнося их вслух четко и отдельно, как будто ему необходимо было заучить все наизусть.

— Где же моя фамилия? — произнес полковник, когда перечень закончился. — Где же мое имя?

Он отложил прочитанное в сторону, зашагал взад-вперед по комнате, удрученный и расстроенный, размышляя судорожно; то и дело высывался в окно, рассматривая сквозь опадающую листву силуэт жены, склоненной над пишущей машинкой.

— Чертовщина какая-то! — произнес Генрих Иванович вслух. — Мне сорок шесть лет! Я тоже живу в этом городе! Тогда почему моего имени нет в списках прибывших или рожденных?! Господи, абсурд какой-то!

Шаллер с силой ударил кулаком по столу так, что опрокинулась чашка с недопитым чаем, вывалив горку размоченных чайнок на пачку листов.

— Да в этой писанине ничего не сходится! Здесь все вкривь и вкось! Все расплзается по швам! — Полковник смахнул разбухшие чайники прямо на пол. — Это мистификация! Ни одна дата не сходится с официальной! Почти все дети рождены гораздо раньше положенного срока, и чрево, из которого они вышли, принадлежит какой-то плодовитой, мистической мадемуазель Бибигон! За исключением ветра, который родила неизвестная Протуберана!

Мысли Генриха Ивановича были прерваны появившейся в окне головой Джерома, который скалился во весь рот, показывая зубы и свое хорошее расположение.

— Эй! К тебе можно? — спросил мальчик, забрасывая ногу на подоконник. — Я не помешал тебе?

— Помешал, — ответил Шаллер, раздосадованный тем, что, вероятно, подросток слышал те мысли, которые он в волнении высказывал вслух.

— Экий ты не приветливый! Ну, раз уж я пришел, то зайду. Не уходить же мне обратно!

Джером ловко закинул на подоконник вторую ногу и через мгновение уже был в комнате. Он неторопливо огляделся, как будто ему предстояло прожить здесь всю жизнь, даже подпрыгнул несколько раз на одном месте, словно проверяя, не прогнили ли доски пола и не пора ли их перестилать.

— Знаешь новость? — спросил мальчик, удостоверившись, что пол не провалится, по крайней мере сегодня.

— Какую?

— Помнишь, я рассказывал тебе про своего соседа, Супонина?

— Не помню.

— Ну, который старше меня на два года и которому нравилось проделывать с женщинами то же, что и тебе.

— Ах да, что-то припоминаю.

— Так вот, его вчера убили, — с каким-то удовлетворением произнес Джером. — Представляешь, вырезали сердце и печень!

— Значит, это был твой сосед?

— Так ты уже знаешь... — разочарованно протянул Джером.

— Да, мне звонил доктор Струве.

— Жаль! Мне хотелось донести до тебя эту новость первым.

— Почему? — удивился Генрих Иванович.

— Потому что я люблю приносить новости. И плохие, и хорошие.

— Странное удовольствие.

— Не думаю, что в этом вопросе я исключение. Ведь тебе уже позвонил доктор Струве. Ему совсем необязательно было тебе звонить. Ты же не следователь. Просто человек любит приносить новости первым. Ему нравится потрясти, послушать в ответ — «да что вы! не может быть! как это произошло?..».

Шаллер не мог отказать мальчику в наблюдательности и вследствие этого не нашелся, что ответить, а потому лишь улыбнулся и предложил Джерому чаю.

— К сожалению, ничем не могу тебя угостить. Есть только варенье и хлеб. Зато варенья много. Грушевое, яблочное, вишневое, клубничное... Какое хочешь?

— Всего понемногу попробую, — скромно ответил Джером и уселся за стол.

Генрих Иванович запалил самовар, вставил трубу в печное отверстие и, пока тот гудел, разогревая воду, выставил на стол банки с вареньем.

— Как ты думаешь, — спросил мальчик, — если Супонина убили, а он был моим соседом по комнате, могу я его вещи забрать себе? Как бы в наследство?

Шаллер перенес самовар, густо пахнувший сосновыми шишками, на стол, закрыл трубное отверстие медной крышкой, чтобы не коптил, и заварил в китайском чайничке чай.

— А у него больше никого нет? — спросил полковник.

— Кого? — не понял Джером.

— Разве у Супонина нет родственников?

— Мы все — сироты. А я с Супониным прожил в одной комнате три года. Я его родственник. Даром, что ли, нюхал испорченный воздух! У него с желудком было не в порядке, — пояснил Джером. — Так что, могу?

— А велико ли наследство?

— По тебе, может, и ничтожно, а по мне — велико.

Мальчик запустил ложку в банку с вишневым вареньем, потом отправил ее в жадный рот, при этом чавкая и цокая, как бы стараясь лучше распробовать, затем повторил ту же самую процедуру с остальными банками и запил проглоченное глотком душистого чая.

— Хорош-ш-шее варенье! — сладко проговорил Джером, закатывая глаза. — И чаек неплохой.

— Угощайся, угощайся! — подбодрил полковник.

— Я угощаюсь, угощаюсь... Знаешь, сегодня утром встретил учителя Теплового, — сказал мальчик, глубоко зачерпывая из банки с клубничным. — Ты его знаешь... Так вот, от него пахло духами. «Бешеный мул» называются.

— И что же?

— Да ничего особенного. Просто этими духами пользовался мой сосед, родственничек Супонин. Они мне так осточертели, что я их за версту чую. Не «Бешеный мул», а бычья моча! Едкие-едкие! Раз помажешься — неделю воняешь!

Неожиданно в голове Шаллера все сложилось. Несколько картинок мгновением пронеслись перед глазами: убогая комнатенка Теплового, стеллажи с атласами по судебной медицине, сам славист с престранным взглядом, рассказы Джерома — все вдруг всплыло воздушным пузырем в мозгу Шаллера.

— Я знаю, кто убил Супонина, — произнес полковник тихо и так же тихо опустил на стул.

— Не может быть! — деланно воскликнул мальчик, облизывая ложку. — Ты великий Пинкертон! Кто же этот злобный маньяк?! Поделись своими выводами, ты же друг мне!

— Подожди, подожди! — ответил Генрих Иванович, пораженный открытием. — Тебе незачем это знать!.. Как-нибудь потом...

— Кто-нибудь из приезжих?

— Возможно... — механически ответил Шаллер, не замечая пары хитрых глаз, уставившихся на него, и этих вздернувшихся в ехидстве уголков губ, еще липких от варенья. — Тебе пора идти.

— Гонишь?

— Мне нужно еще поработать.

— А над чем ты трудишься?

— Слушай, — разозлился полковник. — Сначала ты приходишь незваным гостем, а теперь не хочешь уходить! Выкинуть тебя в окно?

— Ты обещал меня не бить.

— О Господи!..

-- Ну ладно, уйду... — Джером поднялся со стула, погладил свой вздувшийся живот, гулко рыгнул, а затем зевнул протяжно и со слезой. — Скучновато с тобой.

— Что поделаешь, — развел руками Шаллер.

— Ну, я пошел...

— Давай.

— Пока.

— Счастливо.

Джером уселся на подоконник и крутанул ногами в сторону сада. Он было уже собрался спрыгнуть, как вдруг обернулся и сказал:

— Куры обожрали все лицо Супонину!

— И это знаю, — ответил Генрих Иванович.

— И отклевали то место, которым писают! — добавил мальчик и, спрыгнув в заросли лопухов, скрылся из виду.

Генрих Иванович остался один и лихорадочно думал, что ему делать. Он был уверен, что зверское убийство, совершенное накануне, — дело рук Гаврилы Васильевича Теплового, а не кого-то заезжего, и самое главное доказательство тому — факт с духами, невзначай подсказанный Джеромом.

Но как же так, думал Шаллер. Неужели Лазорихиево небо может зажигаться и злодею, поддерживая его своим сиянием! Ведь недаром при первой встрече с полковником Теплый намекнул ему, что небеса горят не только для добрых полковников!

С ним нужно покончить, решил Генрих Иванович. Его прилюдно казнят на площади!

Шаллер подошел к металлическому рожку, висящему на телефонном ящике, как вдруг вздрогнул, словно вспомнил что-то очень важное.

А как же расшифровка бумаг?!

Рука замерла в воздухе, так и не дотянувшись до телефона.

Если его арестуют, я никогда не узнаю, почему моего имени нет в летописи города! И вообще я ничего не узнаю!..

Лоб Генриха Ивановича покрылся испариной. Он все еще держал руку вытянутой, но уже понимал с ужасом, что не позвонит шерифу, по крайней мере сейчас.

Надо успокоиться, решил Шаллер. Взять себя в руки!

Полковник дернулся, опустил руку к бедру и пошевелил пальцами, разминая, словно они затекли. Затем посмотрел на двухпудовые гири, стоящие в углу, и было подался к ним, но вмиг передумал, развернулся и быстрыми шагами вышел из дома... Он почти добежал до китайского бассейна, скинул с себя одежду и, мощно оттолкнувшись ногами, нырнул в пузырящуюся воду. Генрих Иванович коснулся дна грудью, даже слегка поцарапался о какой-то камушек, затем также мощно оттолкнулся от дна и вылетел на поверхность, захватывая ртом воздух.

— Бред какой-то! — сказал он вслух и, доплыв до бортика, замер.

Духи «Бешеный мул» продаются в любом корейском магазинчике и стоят двугривенный!.. Если человек интересуется судебной медициной, это еще не значит, что он убийца!.. Разве может этот тщедушный человечешко, в котором душа держится чудом, таким жесточайшим образом зарезать подростка, чьим учителем он был?.. Не может! — сделал вывод Генрих Иванович и почти поверил себе.

Он успокоился и даже немного поплавал в удовольствии, решив непременно завтра же проведать слависта, отдать ему положенную сотенную и еще раз заглянуть в самую душу своими пронизательными глазами.

Конечно же, нет, сказал себе Генрих Иванович. Лазорихиево небо зажигается только для добрых полковников!..

## 22

Гаврила Васильевич Теплый решил купить себе новый костюм. Нужно признаться, что это решение было вынужденным, так как старые пиджак и брюки окончательно износились и вдобавок были безнадежно забрызганы кровью Супонина.

Отправившись в корейский квартал за обновой, славист всю дорогу ковырялся в памяти, восстанавливая до мелочей события минувшей ночи. Каждая деталька, каждая мелочишка, вспомненная им, доставляла сладчайшее чувство удовлетворения проделанным, и от этого учительский шаг становился шире и уверенно чеканил стоптанными каблуками по бульжной мостовой.

Уже входя в границы корейского квартала, Гаврила Васильевич разорился на еженедельник «Курьер» и прямо-таки зачитался броским заголовком на первой полосе: «Зверское убийство сироты под сенью опадающих каштанов!»

Ничего не скажешь, подумал Теплый. Красивое название. Только в нашем городе каштаны не растут...

Гаврила Васильевич замедлил шаг и вскоре окончательно остановился, прислонившись к углу какого-то дома, спеша прочесть статью.

«...Подросток лежал абсолютно голый под сенью каштанов, сквозь листья которых лился холодный лунный свет на его вскрытую грудную клетку с вырезанным сердцем, — читал Теплый. — Что же чувствовал юноша в свой последний час, когда безжалостная рука убийцы вознесла над ним остро отточенное лезвие ножа?»

— Ужас, — ответил вслух Гаврила Васильевич. — Ужас.

— И не говорите! — неожиданно услышал учитель из-за своего плеча. — Жуткое убийство! Прямо-таки зверское!



Он обернулся и увидел за своей спиной физика Гоголя, смотрящего сквозь толстые очки на газетный лист.

— Беспрецедентное убийство!

— Да-да, — буркнул Теплый и, оторвавшись от стены, быстро зашел за угол дома. Там он сел за столик возле китайской чайной и подозвал корейца-официанта.

— Маленький чайник с жасмином.

— Плосу минуту здать, — поклонился официант и исчез в потемках чайной.

В ожидании чая Гаврила Васильевич продолжил чтение статьи:

«...Перевернув труп на живот, доктор Струве также обнаружил глубокий разрез в поясничной области, констатируя отсутствие у тела печени...»

Славист механически сунул руку в сахарницу, выудил оттуда кусок и принялся его грызть.

«...По первым признакам доктор Струве определил, что подросток не был подвергнут сексуальному насилию, так как половые органы и анальное отверстие убиенного не несли на себе каких-нибудь видимых повреждений».

Сахарная крошка попала на обнаженный нерв гнилого зуба, и славист вздрогнул от боли. В эту же секунду появился улыбающийся официант. Поставив перед клиентом чайник, он ловко налил жасминовый напиток в чашку, пуская струю аж с полуметровой высоты, и сказал «спасибо». Гаврила Васильевич отпил из тонкого фарфора и пополоскал больной зуб. Боль отошла.

Славист вспомнил темно-багровый цвет печени Супонина, металлический блеск ее оболочки в лунном свете и почувствовал, как по телу, от паха к плечам, поползли приятные мурашки. Мелкие и быстрые, они достигли ноздрей слависта, и Гаврила Васильевич чихнул с брызгами.

— Будьте здолы! — сказал услужливый официант.

— Благодарю, — ответил Теплый и зачитался статьей дальше.

«...Следствие возглавил Иван Фредович Лапа, который поклялся, что сделает все возможное, чтобы отыскать убийцу в кратчайшие сроки. Также г-н Лапа заявил, что уже сложилась версия, по которой убийца — приезжий и, вероятно, имеет отношение к медицине. В свою очередь, на заседании городского совета губернатор Контата назначил премию в сто тысяч рублей тому, кто даст информацию, помогающую изобличить преступника. Церковь в лице Его Святейшества Митрополита Ловохишвили благословила шерифа Лапу на следствие и выразила уверенность, что силы Добра в конечном итоге победят силы Зла».

Гаврила Васильевич закончил чтение статьи и откинулся на спинку стула.

Сколько же было здоровья в этом мальчишке, подумал он. Его вырезанное сердце стучало во внутреннем кармане пиджака всю обратную дорогу. Вот интересное ощущение — как будто у тебя два сердца!

Однако надо покупать костюм.

В корейской лавке он долго ходил вдоль вешалок с костюмами, разглядывая скорее бирки с ценами, нежели качество ткани. Цифры на ценниках ранили его в самое сердце, а оттого все удовольствие от прочитанной статьи улетучилось, уступив место жабе, сидящей на кадыке и мешающей сглатывать.

Промучившись таким образом с полчаса, Гаврила Васильевич нашел наконец то, что искал. В дальнем углу лавки висел с виду приличный черный костюм с приемлемой, по мнению слависта, ценой, втрое меньшей, чем за другие пары. К костюму также прилагалась белая рубашка и черные лакированные ботинки, что тоже устраивало учителя.

— Беру, — сказал Теплый хозяину и вытащил деньги, тщательно разглаживая купюры.

Хозяин тотчас сделал скорбную физиономию, и Гавриле Васильевичу показалось, что на глаза корейца навернулись слезы.

— Искленно сочувствую васему голю! — тонким голосом произнес хозяин.

— Какому горю? — не понял Теплый.

— Похолоны — всегда голе.

— Какие похороны? — удивился Гаврила Васильевич.

— Да как зе, вы зе костюм для покониьска покупаете, — пояснил кореец.

Ах вот оно что, понял славист. Вот почему цена столь невелика.

— А чем же этот костюм от обычных отличается?

— Да, в обсем, нисем. Нитоська похузе, ботиноськи на клею, лубасечка плохо стилается... В обсем, дянь костюмстик!

— Скидку дадите?

— Лублик.

— Три.

— Два, — торговался хозяин.

— Да побойтесь Бога! Сами говорите, что костюм дрянь! Так дайте приличную скидку!

— Это для зывых дянь, а для мелтвых обнова холоса!.. Два лублика и гливеннисек!

— Ладно, — согласился Теплый, отсчитывая деньги. — Только дайте к костюму пуговицы запасные.

— Гливеннисек.

— Да как же гривенничек! — озлился славист. — Вы обязаны давать к костюму запасные пуговицы.

— Не обясан, не обясан! Мелтвес аккумулятно носит костюмстик, мелтвесеу запасные пуговисы не нусны!

— Заворачивайте! — распорядился Теплый и отдал хозяину деньги.

Уже идя обратно и тиская в руках сверток с обновой, Гаврила Васильевич поминал добрым словом купца Ягудина, при котором корейцы имели хоть какое-то уважение к аборигенам, опасаясь погромов.

Скоты, подумал про корейцев учитель. Форменные скоты!

Придя домой, Гаврила Васильевич примерил костюм. Пара смотрелась неплохо. Хотя брюки были чуть велики, зато пиджак сидел как влитой, а верхняя пуговка рубашки не давила на кадык, как обычно это бывает.

Свой старый костюм Теплый связал в узел, засунул в печь и, обильно полив керосином, поджег...

Гаврила Васильевич снял с гвоздя сковороду, поставил ее на печную конфорку и, когда она разогрелась, плеснул на чугунное дно подсолнечного масла. Закипая, масло распространило по кухоньке семечковый запах. Славист пошевелил ноздрями, втягивая его — приторно-сладковатый, затем выудил из большой кастрюли завернутое в тряпочку сердце и, порезав его на мелкие кусочки, бросил на сковороду.

— Пусть моя жизнь продлится на жизнь убиенного, — тихо произнес Теплый.

В дверь постучали.

Гаврила Васильевич вздрогнул, выругался про себя, сдвинул сковороду с огня и пошел открывать. На пороге, облаченный в чистую рясу, стоял отец Гаврон.

— Здравствуйте, — как-то робко проговорил монах. — Могу ли я войти?

— Войдите, — удивленно ответил Теплый.

Монах вошел в комнату и, не оглядываясь по сторонам, остановился посередине, опустив голову, словно смотрел на свой крест, металлом лежащий на груди.

— Прошу прощения за беспокойство, но меня к вам привела не праздность, а дело.

— Я вас слушаю, — сказал Гаврила Васильевич и спохватился: — Да вы садитесь! — подвинул гостю табурет.

— Благодарю!

Отец Гаврон сел, расправил на коленях рясу и понюхал воздух.

- Мясным пахнет.
- Да вот обедать собрался.
- Однако, постный день сегодня.
- Запамятовал.
- Грех.
- Грех, — согласился учитель.

Отец Гаврон уложил свои большие руки на колени и посмотрел Гавриле Васильевичу в глаза.

— Я вот зачем к вам, — начал он. — Вы занимаетесь делом, угодным Богу. Вы воспитываете в детских сердцах понятия о нравственности и начинаете их добром, а также знаниями, данными Господом. Что поселилось в детском сердце, то и останется в нем до последнего причастия... Правильно ли я говорю?

- Правильно, — поддержал Теплый.
- Так вот, есть у вас ученик, Джеромом зовут.
- Есть такой, — подтвердил славист.
- Столкнула меня с ним мирская суета, и заметил я в мальчике жестокость необычную.
- В чем это выразилось?
- Мальчик убивает кур.
- Кур?!
- Он считает, что куры заклевали его отца, капитана Ренатова, а потому мстит, безжалостно сворачивая им головы. И дело не в том, что мальчик заблуждается, относясь к Ренатову, как к отцу (Ренатов вовсе ему не отец), а в том, что он убивает. Сегодня он лишает жизни птицу, а завтра... Согласны вы со мною?

- Конечно.
- Наша с вами задача сейчас — не упустить детскую душу, а направить ее совместными усилиями на путь истинный.
- Спасибо, отец, за своевременный сигнал. Трудно уследить за всеми сразу. Есть и в моем деле упущения.
- Вот все, что хотел вам сказать...

Отец Гаврон встал с табурета.

— Прощайте, — поклонился он.

— До свидания.

Когда монах ушел, Гаврила Васильевич вернулся на кухню и, передвинув сковороду обратно на огонь, подумал: ишь ты, кур убивает!.. Вот странность какая!..

Еще Теплый с удовольствием подумал, что сегодня после обеда ему будет особенно хорошо работаться над расшифровкой рукописи Елены Белецкой: все-таки любая обнова создает приподнятое настроение.

## 23

Хотя после изуверского убийства подростка-сироты город охватила волна протеста и ужаса, эта волна скорее была показушной, нежели истинным накатом народного страха. У народа своя логика: если существует город, то в нем должно найтись место всем — и святому, и маньяку. Святых в Чанчжоэ за все времена было предостаточно, а вот маньяк завелся в городе впервые. В необъятной душе народа теплилась невысказанная надежда, что убийство сие не последнее и что если маньяк настоящий и решится на серию ужасных кровопролитий, то Чанчжоэ встанет в один ряд с известными городами Европы, родившими джеков-потрошителей и всякую прочую нечисть.

Впрочем, сегодняшним днем народ более всего волновала не смерть подростка, а полет на воздушном шаре всеобщего любимца, ученого и общественного деятеля физика Гоголя.

После падения с башни Счастья купца Ягудина все человечество Чанчжоэ ожидало от Гоголя выполнения обещанного — то есть выстроить

для всех воздушный шар и улететь на нем к всеобщему счастью. Наконец этот светлый день настал.

Вернее, это было свежее утро с ласковым ветерком, трепыхавшим шелюры горожан, собравшихся в полном составе на главной городской площади.

Уже установлен был шар и зажжена горелка. На возведенной трибуне в зеленом смокинге, слегка бледный, стоял сам герой дня физик Гоголь. Почти все отметили в выражении его лица трогательную печаль и неподдельный налет героизма.

Предстояло выслушать вступительную речь.

— Сограждане! — начал Гоголь. — Соотечественники!

В толпе притихли...

Несмотря на полное понимание городскими властями всей абсурдности происходящего, губернатор города Контата, стоящий здесь же на трибуне, вдруг ощутил прилив патриотизма к своей груди, а оттого сложил ладони вместе и потряс ими в сторону физика, показывая ему тем полную свою поддержку.

— Соотечественники! — продолжил Гоголь. — Настал день, который мы так все ждали! Он действительно настал. То, что вы видите за моей спиной, не просто воздушный шар, а шар Счастья!

Стоящий слегка в стороне Генрих Иванович Шаллер разглядывал сооружение, наполняющееся теплым воздухом, и, не будь он передовым человеком, не считай себя образованным по-европейски, вероятно, его естество поверило бы, что на такой штуковине можно улететь к неведомому. Воздушный шар, его конструкция действительно внушала трепет и вызвала из недр душ что-то первобытное, первородное. Переливаясь всеми цветами радуги, волнуясь своей ненаполненностью, шар достигал в диаметре четырехсот футов. Корзина, прикрепленная к нему, была столь вместительна, что, казалось, способна действительно вознести в поднебесье все городское население. От вознесения сие сооружение удерживала дюжина канатов толщиной в человеческую руку, которые сторожили крепкие мужики с топорами в руках.

Шаллер оглядел толпу и заметил Франсуаз Коти, стоящую рука об руку со скотопромышленником Туманяном. Полковник подумал, что все это время не вспоминал о девушке, и ему почему-то стало грустно. Чуть бледная, со слегка растрепавшимися волосами, она была прекрасна. Еще более прекрасна она была тем, что стояла почти обнявшись с членом городского совета Туманяном, глаза которого то и дело страстно глядели на девичью шею.

Все это собственничество, подумал Генрих Иванович и заставил себя смотреть на трибуну.

— Друзья! Мы полетим к счастью! Мы вознесемся все! — вещал Гоголь. — На моем шаре хватит места для всех!

— Из чего корзина сделана? — раздался голос из толпы. — Выдержит ли?

— Корзина сделана из виноградной лозы и панциря майского жука! Обмазана гречишным медом!

— А сам шар? Из чего пошил?

— Кожа дикого голубя.

— А что такое воздушный шар? — спросил другой голос.

В толпе засмеялись.

— Прошу занимать места! — возвестил физик.

— Предлагаю к вознесению сначала увечных, слепых, горбатых и слабоумных! — выкрикнул человек, когда-то летавший на аэроплане. — Пусть они уподобятся птицам! А мы пока поглядим и все взвесим!

В толпе опять засмеялись.

— Да как же! — захолопал глазами Гоголь. — Я же для всех старался!

— Да подожди, Моголь! Мы же еще недвижимость свою не реализовали!



— А зачем вам деньги, когда мы летим к счастью! — закричал в отчаянии Гоголь.

— А чтобы еще более счастливыми быть! — резонно заметил кто-то.

— А ты, Гоголь, корейцев с собою возьми!

На глаза физика навернулись слезы. Потерявший самообладание, он закрыл ладошками лицо и всхлипывал.

— Не для себя я старался... — слышали стоящие рядом. — Не для себя...

— Не плачь, Моголь! Мы тебя уважаем!

Физик открыл заплаканное лицо и в надежде спросил:

— Ну что, полетите?

В толпе молчали, понутив головы.

— А как же труд мой, как старания?!

Гоголь был столь трогателен в своем детском отчаянии, что горожанам стало неловко, а некоторые особенно сердобольные зашмыгали носами. На помощь согражданам пришел человек, имевший летный опыт:

— Не обижайся на нас, Гоголь. Мы слабые по сути своей. Мы боимся лететь! А вдруг там нет счастья?!. Тогда шар упадет на землю и мы все разобьемся!.. Может быть, ты первый полетишь?.. Только обещай нам, что вернешься, если счастье отыщешь. Тогда мы точно с тобой вознесемся...

— Обыватели мы! — поддержал летуна кто-то. — Мещане!

Гоголь простер руки к какой-то голове, выделяющейся лысиной из толпы.

— Может быть, вы полетите? — с надеждой спросил герой.

Лысая голова грустила и отрицательно покрутилась в накрахмаленном воротничке, покраснев ушами.

— А вы? — обратился физик к толстой бабе с ужасными бородавками на лице. — Там ваше лицо станет прекрасным!

— А не с лица воду пить! — нашлась уродина.

Глаза Гоголя отыскиали в толпе безногого инвалида, сидящего на доске с колесиками. Инвалид внимательно слушал оратора и, казалось, мучительно раздумывал над чем-то.

— А вы?.. Вам-то что здесь делать? Сидите целыми днями на паперти в ожидании копейки! Полетели со мной, и там вы будете счастливы!

— А действительно! — поддержал кто-то. — Лети с ним, Петрович! Чего тебе здесь делать! Может, бабу там какую сыщешь!

— А я-то чего! — испугался калека, сжимая в руках два увесистых пресс-папье.

— Да надоел ты всем здесь! Проваливай на небеса! А то клянчишь все, а после пьяный валяешься!

— Там водки море разлитое! — со смехом сказал кто-то. — И ноги там вырастут новые! А может, и еще кой-чего!..

— Чего пристали-то! — зашипел Петрович и, отталкиваясь пресс-папье от мостовой, потихонечку стал выкатываться из толпы. — Ишь нашли дурака! А нужны мне эти ваши ноги!..

Остатки мужества покинули Гоголя, и он, еле удерживаясь от обильных слез, отворачивая лицо от соотечественников, полез в корзину.

— Прости нас, Гоголь! — слышалось из толпы. — Прости!

И тут же со всех сторон от молодых и старых посыпались низкие поклоны в сторону воздушного шара, сопровождаемые возгласами «прости!».

Настал прощальный миг. Наполнившись теплым воздухом, шар рвался к облакам, словно ядро из пушки. Гудели от напряжения канаты, и казалось, что они вот-вот лопнут, не выдержав такого могучего влечения.

— Прощайте, — прошептал Гоголь, оборотив лицо к согражданам. — Не поминайте лихом! — и махнул рукой.

В ту же секунду стоящие наготове мужики взмахнули топорами, блеснув солнцем в металле, и радостно опустили чугунные языки на канаты. Шар дрогнул, качнулся, как будто не веря в свою свободу, затем выпрямился и поплыл потихоньку к небу.

— Лечу! — крикнул Гоголь. — Улетаю!

Толпа рухнула на колени, а митрополит Ловохишвили затянул «Отче наш»...

Проводив взглядом шар, величественно уплывающий в поднебесье, Генрих Иванович в смятении покинул городскую площадь и направился к Гавриле Васильевичу Теплому.

На стук учитель ответил не сразу. Лишь после того, как Шаллер заколотил в дверь кулаком, из квартирки донеслось какое-то шебуршание, и недовольный голос слависта спросил:

— Кто там?

— Я это, я. Кормилец ваш! Открывайте!

Дверь тут же открылась, и в ее проеме появилось заспанное лицо Гаврилы Васильевича.

— Ах, это вы! А я тут после обеда задремал!.. Что ж вы в дверях-то, проходите, не обижайте меня!

Первым делом, пройдя в комнату, полковник осмотрел письменный стол Теплового, затем уселся на табурет, пригладил волосы и спросил:

— Что ж вы на проводах Гоголя не были? Весь город собрался!

— Все улетели? — ехидно поинтересовался славист.

— Да нет. Все героями быть не могут.

— Значит, физик в гордом одиночестве?

— Так точно.

— Ну ничего, полетает — и вернется. Будьте уверены... Денежки принесли?

— А есть за что?

— А как же! Тружусь не покладая рук. Так сказать, в обильном поте лица!

— Покажите!

— Пожалуйста! — Теплый вытащил из-под еженедельника «Курьер» пачку листов и протянул их гостю. — В последнее время мне особенно хорошо работалось! Пожалуйста сотенную.

Глаза полковника бегали по строчкам, он машинально вытащил из кармана портмоне и отсчитал из него сто рублей десятками.

— Получите!

Гаврила Васильевич аккуратно сложил деньги и спрятал их в ящик стола, заперев его на ключик.

— Посидите еще? — спросил он.

— Что?

— Может быть, чайку?

— Да нет, надо идти.

— Ну что ж...

Шаллер скрутил в трубочку рукопись и направился к двери. Там он неожиданно остановился и оборотился к Теплому:

— Скажите, это вы убили Супонина?

Гаврила Васильевич вздрогнул и сжал кулаки.

— У меня есть неопровержимые доказательства.

Лицо учителя побледнело, он сделал быстрый шаг вперед, затем так же быстро отступил.

— Есть свидетели!

— Не может быть! — зашептал славист. — Вы врете!..

— Вас видели.

— Кто?

— Не важно.

Полковник вернулся в комнату и вновь сел на табурет. Теплый отступил к окну и устроился за спиной Шаллера, трясаясь всем телом.

— Вас казнят прилюдно.

— Не докажете.

— Какими вы духами пользуетесь?

— Что?

— Или одеколоном?

— Я ничем таким не пользуюсь! Что за дурацкие вопросы! — Теплый осторожно снял с гвоздя нож и накрепко сжал его, стараясь совладать с трясучкой.

— Жаль. Парфюмерия могла бы вас спасти!.. Знаете, какой вы ужас испытаете перед смертью, когда на вас будут смотреть тысячи глаз, а палач начнет отсчет последней минуты?.. У вас расслабится кишечник, и вы будете вонять, как ассенизатор, провалившийся в дырку. У вас пропадет голос, вы будете хрипеть от страха, а глаза начнут бессмысленно вращаться, потеряв фокус!

Гаврила Васильевич медленно приближался к полковнику, вознося над головой нож.

— Потом не выдержит мочевой пузырь, и струя потечет из штанин на ботинки, а толпа будет улюлюкать, приветствуя ваш бесконечный ужас!

Теплый почти вплотную подошел к Шаллеру, собираясь с силами на удар.

— А потом палач начнет разделывать со всем искусством. Пристроит узел на шее сбоку, чтобы невзначай не сломать вам ее веревкой, когда выбьет ящик. Чтобы помучились подольше. Вы будете болтаться на ненамышленной веревке, перебирая ногами, словно при беге на короткую дистанцию. Вы будете задыхаться при полном сознании, прикусывая раздувшийся язык. Затем лопнут глаза, как тухлые яйца, свалившиеся со стола... Но вас вовремя снимут с веревки, дадут отдышаться и потом повторят процедуру снова... Не ожидали-с от меня таких фраз?..

— А-а-а!!! — отчаянно закричал Теплый и опустил нож на спину Генриху Ивановичу.

В самый последний миг тренированное тело полковника увернулось из-под смертельного жала, лишь слегка поцарапавшись о него, могучие руки ухватили в объятия щедушную грудь учителя и сжали ее чугунными тисками. В груди Гаврилы Васильевича несколько раз треснуло, он обмяк и соскользнул бессознанным на пол.

В течение получаса Генрих Иванович сидел над телом убийцы и наблюдал за сменой красок на лице Теплого. Щеки Гаврилы Васильевича, словно небо, то алели предзакатно, то становились мертвенно-серыми, как перед зимней непогодицей. В уголках губ пучилась слюнявая пенка, а слипшиеся ресницы подрагивали жидкой крысиной шерсткой. Наконец сознание постепенно вернулось в учительскую душу, славист жалобно заскулил и зашевелил по полу ногами.

Глядя на Гаврилу Васильевича, Шаллер испытывал невероятное чувство омерзения. Но самое странное, что омерзение транспонировалось и на него самого. Причины этого явления были не совсем понятны полковнику, а оттого было зло на сердце, и Генрих Иванович с трудом сдерживался, чтобы не ударить Теплого ногой по лицу.

— Как больно!.. — протянул учитель, с трудом открывая глаза. — Как же больно!..

— Отчего же вам больно? — поинтересовался Шаллер.

Гаврила Васильевич было попытался приподняться с пола, но в груди у него вскипело лавой, глаза закатились, и, вновь теряя сознание, он глухо стукнулся головой об пол.

Удивительно, как быстро теряют от боли сознание слабые люди, тогда как сильные мучаются при полной яви, подумал Генрих Иванович, сбрызгивая лицо учителя теплой водичкой, взятой из питьевого ведра.

— Что вы со мной сделали!.. — запричитал Теплый.

— А что такое?

— Вы сломали мне все ребра!..

— Неужели?!

— Я совершенно не могу дышать!

— Мне, право, неловко!..

Гаврила Васильевич медленно перевернулся на бок. При этом на его лице отобразились все муки ада; он плакал мелкими слезами.

— Как больно, Господи!!!

— Страдания облегчают душу, — поддержал дух Теплового Генрих Иванович. — Они облагораживают и подтверждают, что человек еще жив. Вы живы, и вас можно с этим поздравить!

Славист осторожно ощупал свою грудь и, увидев, что она совсем мягкая и проминается аж до самых легких, зашипел от ужаса, хватая ртом воздух:

— Моя грудная клетка!.. Вы изуродовали ее!.. Я при смерти!..

— Нет-нет! Вы ошибаетесь!.. Вы будете жить, так как вас ждет последняя миссия!

— Какая? — теряя силы, спросил учитель.

— Как, вы уже запомнили?.. А прилюдная казнь?

— Да что же это такое, Господи Боже мой! — вскричал Теплый. — Что же за издевательство такое, в самом деле! Перестаньте говорить мне гадости!

— Бедный Супонин! Что он вам сделал?

Гаврила Васильевич с невероятным трудом, охая и ахая, приподнялся на локтях и прислонился к стене, всей своей мимикой выказывая непомерные муки.

— За что вы убили подростка?

— Ах, вам не понять!.. Ой, какие боли!

— Отчего же! А вы попробуйте!

— Напрасные труды!

— Все же!..

— Мне нужен доктор!

— Я вас слушаю.

— Дайте воды.

— Хорошо.

Шаллер поднялся с табурета и зачерпнул ковшиком из ведра. Стуча о щербатый край зубами, Гаврила Васильевич стал судорожно втягивать в себя воду. Напившись, он оперся затылком о стену и шмыгнул носом.

— Хотите знать, зачем я убил Супонина?

— Прелюбопытно.

— Из-за вас.

Генрих Иванович опешил:

— Что значит — из-за меня?

— А то значит!.. Вы поручили мне работу... Работа эта требует не только способности, но и некой гениальности, иначе ее не сделать. Согласны?

— Допустим.

— Гениальность просто так не дается, она из чего-то черпается! Кому-то она дается в ущерб каких-то недостатков. Кто-то лишен здоровья или ума... Вы отдаете себе отчет, что гений — совсем не обязательно ум?! Множество гениев были крайне ограниченными людьми во всем, что не касалось области их деятельности!.. — Теплый охнул, схватившись за грудь. — Сейчас я продолжу, отдышусь только!..

Генрих Иванович терпеливо ждал, уже предчувствуя, к чему клонит учитель.

— Кто-то лишен любви и способности к продолжению рода... Есть и другие формы... Кто-то, творя, прибегает к паренью ног в тазике с добавками наркотических веществ, кто-то усердствует, экспериментируя с алко-голем... Кто-то неумеренный сладострастец...

— Я бы уточнил: извращенец!

— Пусть так, — согласился Гаврила Васильевич. — Но в чем вина этого субъекта?.. Он же не виноват, в конце концов, что его одолевают непомерные страсти! Это болезнь своего рода, неподвластная контролю!

— Если болезнь не поддается лечению и опасна для окружающих, то больного необходимо изолировать!



— Вот-вот! — обрадовался Теплый. — А вы говорите — казнить! Прилюдно!.. Это то же самое, что умерщвлять больного сифилисом, который, зная о своей болезни, продолжает заражать окружающих. Несоразмерна ответственность!

— Вы — убийца! Вы — извращенец! Вы лишаете жизни человека, дабы потрафить своим страстям! Вас надо уничтожить лишь только для того, чтобы ваша казнь стала предостережением для других, таких, как вы!

— Вы от чьего лица говорите? От своего или от лица государства?

— А какая разница?

— Преогромная!.. Передовая и образованная личность не может добиваться смертной казни кого бы то ни было! Гуманизм — вот что отличает цивилизованного человека от варвара! Отвечать смертью на смерть — против любых религиозных канонов!.. Другое дело — государственная машина. Она подчинена законам, она безлика! Она отделена от церкви, в конце концов!..

Генрих Иванович слушал слависта и вспоминал, что те же самые мысли он когда-то высказывал губернатору Контате. Сейчас, столкнувшись с практикой, а не с теорией, эти мысли казались ему ошибочными, но тем не менее полковник отдавал должное умственным способностям Теплового, которому удалось заронить в его душу зерна сомнения. Шаллер не любил, когда его убеждения менялись на противоположные...

— Пусть меня карает государство! — продолжал Гаврила Васильевич. — Но пусть оно сначала определит, болен я или все же способен адекватно оценивать свои поступки! Пусть меня засадят в дом умалишенных, если я сумасшедший, и пусть вздернут, если я здоров, как вы!

От столь длительной речи Теплый закашлялся и скривился от боли.

— Все же зачем вы меня так сильно ранили?! — опять заскулил славист.

— Вы хотели меня убить. Вон и орудие ваше валяется!

— Вы меня приперли к стенке! Мне ничего другого не оставалось делать! К тому же вы специально сели спиной, видя мое отражение в окне и провоцируя на попытку, дабы пресечь ее и нанести ответный удар! Не так ли?

Полковник промолчал.

Неожиданно во взгляде Гаврилы Васильевича что-то переменилось, как будто он, проигравшись в карты в пух и в прах, нашел в кармане денег еще на одну ставку и получил при раздаче выигрышную комбинацию.

— Я в самом начале нашего общего труда, — проникновенно проговорил он. — Я же работаю на вас и создаю, вполне быть может, произведение, равное которому сложно сыскать в мире. И потом, в первую очередь, оно более важно для вас, чем для меня. Вам хочется ужасно разглядеть сокровенное. Ваша жена творит, являясь проводником божественного. И неизвестно еще, кому предназначено это послание!.. А если меня казнят, то уже вряд ли кому-то удастся найти ключ к шифру!..

— Шантажируете?

— Нет. Просто привожу разумные доводы.

— Вы что же, считаете, что я буду вас покрывать?

— А зачем?.. Разве я что-то совершил?

— Что вы имеете в виду? — не понял Генрих Иванович.

— От чего вы меня будете прикрывать?.. Разве я украл что или убил кого?

— Ну, вы наглец! — изумился Шаллер.

— Я цепляюсь за жизнь. А вы вцепитесь в свои интересы! Поможем друг другу!

Полковник от возмущения не нашелся, что ответить, а Гаврила Васильевич, поняв, что хватил лишку и перебрал, пытался восстановить утраченное равновесие:

— Я не убивал Супонина! Кто может доказать это? Кто меня видел?!

— От вас пахло духами «Бешеный мул», которыми пользовался подросток!

— Такие духи продаются в каждой лавчонке! — парировал учитель.

— Найдутся следы и на вашей одежде.

— Пусть ищут, — ответил Теплый, припоминая, выгреб ли из печки золу, оставшуюся от сгоревшего костюма.

— В вашей библиотеке только атласы по судебной медицине, а органы, вырезанные из тела мальчика, были удалены самым профессиональным образом.

— Каких увлечений не бывает у человека!.. Если у вас в доме хранится топор, это еще не значит, что вы палач!

Следующие пять минут Шаллер просидел молча. Затем он встал, ничего не сказал, просто кивнул Теплому и вышел из комнаты, унося с собою странички, свернутые в трубочку.

Гаврила Васильевич остался лежать на полу с приятным чувством миновавшей опасности. Особенно приятно было, что опасность отведена благодаря его выдающимся способностям. Неприятной была только боль в груди...

## 24

«Незнакомка, родившая ветер, отлежалась несколько дней и ушла из дома доктора Струве в город, где сняла небольшую комнатку в доходном доме и стала жить незаметной жизнью.

Если в природе что-то появляется, то этому обязательно найдется применение.

Услышав страстные молитвы г-на Контаты, в Чанчжоэ появился некто г-н Климов, оказавшийся агрономом и прекрасным организатором дела. Привезя с собой несколько повозок с зерном, он распахан степь и засеял ее пшеницей, так что через четыре месяца благодаря естественному опылению в городе появился свой хлеб. На вырученные от реализации мучных изделий деньги г-н Климов нанял рабочих, выстроил мельницу, выписал из столицы электромеханика и обустроил электричеством весь город.

Став вполне богатым и респектабельным человеком, г-н Климов женился на мадемуазель Бибигон, лелея ее пышное тело изысканными шелковыми блузками и горностаевыми накидками. Благодарная жена через пять месяцев родила агроному сына, которого кормила обеими грудями, чтобы он вырос крепким и был похож на своего родителя.

Именно в это благодатное для города время, когда каждый мог побаловать себя горбушечкой свежееиспеченной булки, когда исправно трудились динамо-машины, вырабатывая электричество в натянутые провода, когда свет сделал безопасными самые ужасные городские закоулки, — именно тогда в город пришли корейцы.

Они прибыли целым эшелонном повозок, нагруженных всем необходимым, чтобы начать независимую жизнь.

Желтолицы освоили еще не распаханые степи, возведя на крепких травах свои жилища и народив в короткое время целое полчище косоглазых детишек.

По этому поводу г-н Контата, посоветовавшись с влиятельными горожанами, решил провести перепись населения, дабы иметь над ним государственный контроль. Повсюду были разосланы общественники, которые неутомимо трудились, считая головы проживающих. К концу второго месяца перепись была закончена, и оказалось, что в Чанчжоэ к настоящему времени проживает шестнадцать с половиной тысяч человек, считая корейцев.

— А немало нас уже! — возрадовался Ерофей Контата на городском совете. — Немалый у нас уже городишко!

— Надо к православию инородцев привести! — рек митрополит Ловохишвили. — Защитить их, неразумных, крестом!

— Вам, ваше святейшество, и знамя в руки. Крестите корейцев в православие!

— Это мы разом! — пообещал посланник Папы.

Но разом великое дело не случилось. Корейцы были готовы на все — и платить прогрессивные налоги, и жертвовать средства на церковные нужды, однако креститься ни в какую не хотели.

Никакими церковными радостями — ни пасхальным яичком, ни куличиком, ни божественным воскресением — не мог завлечь митрополит косяглазых в лоно Божье. Как ни трудился проповедник в поте лица, корейцы вежливо отказывались.

— Экие неразумные! — жаловался Ловохишвили. — Ничего не понимают! Даже русского языка не понимают!..

Со временем посланник Папы смирился со своим поражением, и корейцев так и оставили жить в городе не защищенными от бесовских сил...

К концу шестого года чанчжозэйского летосчисления в город прибыли новые поселенцы. Их насчитывалось более тысячи...»

Генрих Иванович поворотил страницу, за которой начинался список вновь прибывших. Он не стал вчитываться в фамилии, а, отделив листочки с алфавитным указателем, продолжил чтение непосредственно рукописи.

«В гостинице Лазорихия процветал бизнес. Все комнаты были заняты, а со временем их, и так не очень просторные, перегородили фанерными стенками, чтобы увеличить количество спальных мест, а вместе с тем и доходы.

С утра до вечера Лазорихий вместе с матерью, братьями и сестрами неутомимо трудился, обеспечивая клиентам хороший сервис. Они скоблили полы и круглосуточно стирали постельное белье, кухарили всяческие разносолы и создавали культурный досуг, напевая вечерами азиатские песни у камина.

— Как хорошо, мама, что мы открыли гостиницу! — радовался Лазорихий.

— Да, сынок! Очень хорошо!

— И люди рады, и у нас благополучие!..

— Да, сынок...

— Только вот что меня беспокоит, мама!.. — Лазорихий замолчал, наморщив лоб.

— Что же, милый?

— А как же мои философские изыскания?.. Я заметил, что чем больше у нас постояльцев, тем меньше я размышляю о парадоксах бытия, не задумываюсь о смерти вовсе, да и причины жизни от меня ускользают!.. Как с этим быть?!

— Ах, сынок... — загрустила мама. — Так оно в жизни и бывает. Чем больше повседневной рутины, тем жизнь беззаботней! А для философских мыслей нужна скука отчаянная! От скуки и мысли все светлые... Так-то, сынок...

— Что же мне делать, мама?.. Ведь я — философ, пустынный!

— Отъединись от жизни повседневной. Запрись в комнате и скучай отчаянно! Лежи сутки напролет в мучениях, гляди на солнце и луну — думай и страдай за все человечество! Тогда придут мысли о смерти!

— А как же вы, мама?! Как же вы без помощи моей?

— Да как-нибудь, — улыбнулась мать. — Найдем помощников. Чай, не бедные уже...

Лазорихий был растроган такими словами матери. Он нежно обнял ее, поцеловал в лоб и не теряя времени удалился в свободную комнату, заперся и начал думать о таинствах бытия.

В гостинице проживало огромное количество детей. Они шумели круглые сутки, беспричинно плакали, выводя из себя нервных родителей.

Как уже отмечалось, стены в гостинице были в большинстве фанерными, а потому Лазорихий слышал все, что происходит даже в дальних номерах, и от этого не мог сосредоточиться на своих мыслях.

Как-то ночью, в плохом расположении духа, измученный всеразрушающим шумом, пустынный выбрался из заточения и спустился в кухню, где

вытащил из мешочка пару крупных фасолин, которыми, возвратясь в свою келью, накрепко заткнул уши. И — о, чудо! — на следующее утро философ проснулся от абсолютной тишины. Фасолины помогли!.. Лазорихий обрадовался и через некоторое время заскучал, что позволило ему родить философский афоризм:

— Философия — это мысль! Но не всякая мысль — философия!..

Приблизительно в это же время в городе появился новый поселенец. Он въехал на чанчжойскую окраину на белом коне, злобно скалившем зубы. Конь был приземист и мускулист, с крупными шрамами на лоснящемся крупе, оставленными, судя по всему, сабельными ударами. Полковничий мундир седока блестел на солнце необыкновенным количеством орденов, медалей и всевозможных подвесок. Ноги, обутые в великолепные сапоги, прищпоривали бока коня, заставляя животное двигаться иноходью. Лицо полковника украшали пушистые усы с обильной сединой и степной загар, прибавляющий всаднику мужественности.

Полковник не торопясь проехал из одного конца города в другой, давая возможность жителям хорошенько его разглядеть. Сам же он, казалось, не смотрел по сторонам вовсе, как будто все в этом населенном пункте было ему знакомо с детства. Он остановил коня возле казарм, легко спешился и приказал доложить генералу Блужанову о прибытии полковника Бибикова.

— Если в город вошел еще один военный — быть войне! — решил доктор Струве, углядевший в окно проезжающего мимо полковника. — Надо готовить полевой госпиталь!

— Монголы сосредоточивают свои силы на северо-западе, в тридцати верстах от города, — докладывал Бибиков генералу. — В основном это конные соединения Бакшихана, вооруженные «фоккель-бохерами». Судя по всему, они будут готовы к вторжению в самое ближайшее время. Вот поэтому я и прибыл к вам.

— Все, что вы рассказываете, — печально, — ответил генерал Блужанов. — Но что делать, мы с вами люди военные и должны защищать свое Отечество, сколь ни малы наши силы. — Генерал хлебнул вина. — Как вы думаете, каковы причины вторжения?

— Монголы считают, что эти степи издавна принадлежат им. Они крайне раздражены, что на их территории кто-то выстроил город и благоденствует!

— Причины веские!.. Что вы предлагаете в этой ситуации?

— Полную мобилизацию! Другого выхода нет! Мы должны защищаться, даже если нас ожидает поражение!

— О поражении не может быть и речи!

— Я тоже так считаю, — согласился Бибиков.

— Монголы — отсталая нация, они не владеют военными науками, тогда как мы закончили военную академию.

-- Согласен.

— С другой стороны, монголов много, они злобны, как бешеные собаки, и не остановятся перед выбором между насилием над мирным населением или просто ведением военных действий.

— Да, это так.

— Во всяком случае, нужно обо всем немедленно оповестить главу города и совместными усилиями выработать решение по возникшей проблеме...

Вечером состоялось заседание городского совета.

— Не можем ли мы решить конфликт мирным путем? — поинтересовался г-н Контата. -- Скажем, материально возместить монголам моральный ущерб?

— Думаю, что нет, — ответил полковник Бибиков. — Азиаты попросту хотят отобрать у нас город. Они специально ждали, пока мы закончим строительство всех инфраструктур, чтобы прийти на готовое, истребив сначала все городское население.

— Так-так.



— Можем ли мы обратиться к российским властям? — спросил генерал Блужанов.

— Думаю, что нет, так как эта территория действительно является спорной. Нам предстоит выпутываться из этой ситуации своими силами, как ни печально! — ответил Контата.

— Мы должны защитить свой город! — с пафосом заявил скотопромышленник Туманян. — Я выделяю средства из собственных капиталов и первым встану на защиту Отечества!

— Можете рассчитывать и на меня! — поддержал Туманяна г-н Бакстер.

— Я прекрасно стреляю! — с достоинством произнес г-н Мясников.

— Я могу быть санитаром, — скромно сказал г-н Персик.

— Благословляю вас на святое дело! — перекрестил собравшихся митрополит Ловохишвили.

— Я так понимаю, что мы пришли к единому мнению! — резюмировал губернатор. — Итак, господа, война! Мы не сдадимся!

На следующий день в городе была назначена полная мобилизация. Сначала в строй встали все мужчины старше семнадцати лет. Затем к ним присоединились подростки. Сияя глазами от восторга, они целыми днями отработывали стрелковые упражнения и учились пользоваться штыками в рукопашном бою.

Не желая оставаться безучастными к происходящему, к своим мужьям и сыновьям присоединились их жены и матери. Они изорвали свои старые платья на бинты, сменили юбки на брюки и поклялись не беременеть, пока не кончится война.

Таким образом, весь город от мала до велика встал на защиту Отечества.

Единственным жителем, который не ведал о происходящем, был Лазорихий, проводящий месяцы напролет в своей добровольной тюрьме. Лежа на рваном тюфяке, размышляя о вечном, панически боясь мирского шума, он не вынимал из ушей фасолин, которые настолько прижились в ушных раковинах, что вскоре дали ростки, распутившись затем кустиками...

В этой ситуации случилось так, что великий астрологический тезис «Звезды предполагают, а человек располагает» перевернулся с ног на голову. Все казалось наоборот. Человек предположил, а звезды устроили все по-другому.

Монголы не стали нападать на город. Они просто взяли Чанчжоз в кольцо блокады и стали ожидать капитуляции.

— Захотят кушать — на коленях приползут! — здраво полагал Бакшихан. — И женщин своих раздетыми и мытыми приведут.

Город перешел на режим строжайшей экономии. Каждому жителю выдавалась крошечная пайка хлеба на день и флакон растительного масла, дабы не умереть с голода.

Вечерами на город опускались сладкие ароматы костров, на которых монголы готовили свой плов и прочую вонючую пищу. В такие часы весь город мучился желудочными резами и с трудом справлялся с обильным слюновыделением.

— Ах, подонки! — ругался генерал Блужанов. — Ах, мерзавцы!

Столь же голодный, как и остальные, злой, как отощавший волк, полковник Бибииков рвался в бой.

— Ваше высокородие! — умолял он. — Разрешите мне с моими людьми устроить набег на монгольское становище! Они сейчас обожрались своей конины и потеряли бдительность! А мы их шашками, да по мордасам!

— Нет, Валентин Степанович! — запрещал генерал. — Нет и еще раз нет! Уймите свою горячность, а то сложите голову, да и людей погубите!

Осада длилась уже три месяца. Запасы продовольствия успешно подходили к концу, а новый урожай обещал созреть лишь через два месяца. В городе были съедены все собаки и кошки, весь скот г-на Туманяна пошел под нож, настал черед г-на Белецкого резать своих племенных крейцеров.

— Режьте лучше меня! — взмолился коннозаводчик. — Да как же такую красоту — и под нож!.. Это же слава нашего города!.. Не могу!..

— Люди гибнут от голода, пухнут на глазах, словно пышки на сковородке! А вы — красота! — укорял Белецкого губернатор.

— А что же мы сидим на месте?! Разве мало у нас отважных воинов, чтобы добыть продовольствие в бою для женщин и детей?! Да я первый возьму в руку шашку и — в бой!

— Вот-вот! И я о том же! — поддержал коннозаводчика полковник Бибииков.

— А я запрещаю вам это делать! — закричал генерал. — У нас всего-то солдат пять тысяч, а у нехристей — двести. Режьте жеребцов — и дело с концом!

Г-ну Белецкому ничего не оставалось делать, как собственноручно резать лошадям горла. При этом он плакал и просил у них прощения. Лошади, казалось, понимали, для чего их лишают жизни, а оттого не сопротивлялись, лишь ржали жалобно.

Впрочем, Белецкий пошел на хитрость: спрятал пару самых породистых лошадей в собственном доме, выделив для них бальную залу. Чтобы не ржали, коннозаводчик обвязал им морды одеялами, а навоз выносил ночами, тайком, в интимном горшке.

Конину съели быстро, даже кости перемололи в муку и спекли из нее лепешки. Город погрузился в еще большую тоску, и некоторые жители уже поглядывали на своих соседей как на калорийный продукт, который можно съесть. Вдобавок произошло самое ужасное. Диверсанты, невесть каким образом проникшие в город, сожгли на корню будущий урожай и спалили амбары с семенным зерном. Будущая еда сгорела быстро и справно.

Полковнику Бибиикову пришлось лишиться жизни своего верного друга, вышедшего невредимым из многих военных схваток, — мускулистого коня. Одним движением остро отточенной шашки он срубил ему голову и подставил ведро под бьющее черной кровью горло поверженного животного.

Конь был съеден в одно мгновение, поделенный по справедливости между всеми городскими жителями. По тридцать граммов на душу. По шестьдесят граммов было выдано лишь двум особам в городе — лейтенанту Ренатову и мадемуазель Бибигон, которые решили в эти сложные времена пожениться. Двойная пайка конины стала им свадебным подарком.

Только один Лазорихий не ведал, что творится в миру. Отягощенный гипотетическими проблемами бытия, он не нуждался ни в пище, ни в воде. Его мысли, предельно ясные как никогда, выстраивались в парадоксальные цепочки прозрений, а фасолевы кусты, разросшиеся из ушей по всей комнате, уже дали свои первые плоды — маленькие зеленые барабульки.

— Жизнь происходит из ничего, — понял Лазорихий. — Ничего вбирает в себя все! А все — это такое же ничего!

Одним из голодных дней мать Лазорихия, готовящаяся от истощения отдать Богу душу, нашла в себе силы, чтобы доползти до комнаты сына и попрощаться с ним навеки. Она с трудом смогла открыть дверь, прикипевшую к косяку от нечастого использования, и втащила свое немощное тело в келью отпрыска. И каково было ее изумление, какой крик вырвался из ее истрадавшегося сердца, когда она увидела заполняющие всю комнату заросли фасоли с десятками тысяч плодов, созревших к употреблению!..

— Мы спасены! — закричала азиатская мать. — Мы будем жить!

На крики сбежались постояльцы гостиницы, бурно разделившие радость хозяйки. Фасолины были осторожно срезаны, уложены в мешок и перенесены к полю, в плодородную землю которого их и высадили всем городом. От такой нечаянной радости горожане на время забыли о голоде и запаслись силами, чтобы дождаться фасолевого урожая.

А Лазорихий по-прежнему не ведал, что происходит в городе, в котором он почитался первым жителем.

Его мозг работал на полную мощность, уши были заткнуты разросшейся фасолью, а глаза, закрытые за ненадобностью веками, покрылись паутиной, в которой жил паук, питающийся мухами.

Самое главное — земля родящая! — думал Лазорихий. Землею могу быть и я. Я могу быть почвой родящей! Должен ли я умереть для этого?..

Первые всходы фасоль дала уже через три дня. А к концу недели урожаем созрел. Он оказался столь велик, что мог кормить город несколько месяцев, да еще хватало и на следующую посадку.

Глядя в подзорную трубу на неожиданное веселье в городе, Бакшихан удивлялся и злился.

— Похоже, они не собираются раздевать своих женщин! — жаловался он приспешникам. — Надо готовиться к штурму!

В это время в Чанчжоэ усилиями военных контрразведчиков были изобличены диверсанты-предатели, спалившие запасы зерна в самое тяжелое время. Пятерых выродков четвертовали прилюдно на площади, затем хотели было их съесть, но вспомнили, что в городе достаточно фасоли.

Самое неприятное, что в числе изменников оказался один из братьев Лазорихия, продавшийся монголам за фунт бараньей требухи.

Мать философа от такого выверта судьбы тронулась мозгами. Она круглыми сутками напевала песню об Иване Сусанине и косо смотрела по сторонам. Ей стало казаться, что все в городе шпионы. Достав где-то цианистого калия, она в безумии своем перетравила всех постояльцев гостиницы и в придачу оставшихся сыновей и дочерей. Выжил только Лазорихий, который не потреблял ни пищи, ни воды.

Его, умиротворенного мыслительным процессом, потревожили городские власти, выковыряв насильно из ушей застарелую фасоль.

— Ваша мать — преступница! — кричал шериф Лапа в самое ухо Лазорихию. — Она убила пятьдесят человек!

— Что?! — не расслышал Лазорихий, отвыкший слышать.

— Она перетравила всех постояльцев вместе с вашими братьями и сестрами! Все умерли в одно мгновение!

— Не может быть! — испугался философ.

— Сами убедитесь, — предложил шериф. — Трупы еще не успели остыть!

Трясущегося отшельника провели в столовую, где вповалку лежали несчастные, отравленные цианидом. Их лица были перекошены предсмертным недоумением, и среди них Лазорихий различил своих братьев и сестер.

— Дело рук вашей мамы! — пояснил Лапа. — Вот такое безобразие!

— Да как же это могло произойти?! — вскричал пустынный. — За что?!

— Война, понимаете ли, многих с ума свела.

— Какая война?!

— Как, вы ничего не знаете?

— А что я должен знать?!

Шериф в недоумении развел руками, но ему тут же объяснили, что этот самый Лазорихий — философ, находился многие месяцы в уединении, вдобавок спас весь город от лютой смерти, прорастив на своем теле фасоль.

— Понятно, — ответил Лапа и, умерив свой пыл, рассказал герою, что Чанчжоэ уже почти год находится под гнетом монгольской блокады. — А вы знаете, что один из ваших братьев оказался предателем? — добавил шериф и тут же спохватился: — Ну да, вы же ничего не знаете!

— Как — предателем?

— Сжег наши продовольственные запасы, помогая врагу.

Лазорихий заплакал от такого количества несчастий, внезапно свалившихся на его голову.

— Он в тюрьме?

— Его казнили, — ответил шериф и почесал от смущения шею. — Крепитесь!

— А где мать моя? — шепотом спросил философ.

— Заперта в одном из номеров.

— Могу я повидать ее?

— Вообще-то не положено, — засомневался Лапа. — Если в виде исключения только...

— Да-да, конечно...

— Только учтите, что она не в себе...

— Я понимаю...

— Что ж, проводите господина Лазорихия! — распорядился шериф.

Когда философа впустили в комнату, где находилась его мать, он нашел ее привязанной к креслу и поющей песню о смерти предателя. Родительница не обратила ровным счетом никакого внимания на последнего своего отпрыска, а с его приходом лишь добавила торжественности своему голосу.

— И потому что ты — иро-од... — пела она, — казнил тебя твой наро-од! Лазорихий уселся в ногах матери, погладил их нежно и сказал:

— Что же ты, мама, наделала!

— Ты корчился в муках предсмертных и видел ты небо в огне!.. — зывала душегубица.

— За что ты их жизни лишила?

— Мы смертью отплатим неверным, и будешь ты плавать в г...не!

— Ох, мама, мама! — грустил Лазорихий.

Он оторвался от материнских ног, обнял ее за плечи, погладил волосы, провел пальцами по сухим глазам, затем обнял шею и сдавил ее до хруста.

— Прощай, мама!

Из материнского горла вырвался глухой хрип, она недоуменно вытаращила глаза и, казалось, все пыталась допеть песню о возмездии предателю.

Услышав странные звуки, в комнату ворвался шериф Лапа со своими помощниками, но было уже поздно. Душегубица по-прежнему сидела привязанной к креслу, только шея ее была сломана и голова болталась на груди. Ее мертвое тело сжимал в объятиях Лазорихий, утирая сочащуюся из носа матери кровь.

— Мамуля, мамуля!.. — шептал он.

Философа оторвали от трупа, надели наручники и сопроводили в тюрьму.

На следующий день состоялся суд, рассмотревший дело о матереубийстве. Присяжными заседателями было принято во внимание, что преступник спас город от голодной смерти, что он — первый житель Чанчжоэ и что до сего времени это был человек социально не опасный. Также было принято во внимание, что Лазорихий убил мать, не выдержав груза ее вины.

— Преступник лишил жизни свою мать! — говорил обвинитель. — Самое дорогое, что есть в жизни человека! Мать — понятие святое! Женщина от горя потеряла рассудок! Ее нужно было не казнить, а лечить! Вместо этого родной сын свернул ей шею! Никто не вправе, кроме суда, вершить акт возмездия! А потому, делая вывод из всего вышеизложенного, требую для Лазорихия смертной казни!

Присяжные заседатели были абсолютно согласны с обвинителем и вынесли суровый приговор: смертная казнь через отделение головы от туловища, хотя как индивидуумы они сострадали смертнику и по-человечески были готовы простить ему убийство матери.

Откладывать казнь не стали и ночью наскоро соорудили эшафот, затянув «вокзал на тот свет» черным бархатом.

По такому экстраординарному случаю собрался весь город. Уже подходя к главной площади, народ проливал слезы и шептал в едином порыве слово «святой».



Лазорихия вывели под руки. Он был бледен, но сохранял выдержку, руководствуясь своим же философским постулатом, что «все — это ничего». Стать из всего ничем представлялось для отшельника переходом от теории к практике. Одно лишь внушало опасение: если вывод ошибочен, то он уже никогда не сможет его пересмотреть.

Губернатор Контата сказал заключительную речь, смысл которой сводился к прощанию как с героем, так и с иродом, но с человеком, достойным сожаления. Митрополит Ловохишвили прочел прощальную молитву, дал смертнику облобызать крест, а палач, закутанный в черное, сделал приглашающий жест, указывая безволосой рукой на деревянную чурку.

Лазорихий печально улыбнулся на все четыре стороны, поклонился согражданам и поудобнее уложил голову на плаху.

— Прощай, народ русский! — негромко прокричал он.

Взметнулся к небесам топор и упал из-под небесья... Голова Лазорихия выпрыгнула лягушкой с плахи и закрыла свои азиатские глаза. Из места отсечения, из горла, вместо ожидаемой крови выскочило что-то розового цвета и, колеблясь в атмосфере, потянулось к синему небу.

— Смотрите — душа! — заорал кто-то.

— Святой, святой! — зашелестело в толпе.

Спустя минуты что-то в небе сгустилось, заволновалось и запыхало всеми цветами радуги, словно это душа убиенного окрасила пуховые облака.

Губернатор и митрополит плакали вместе со всем отечеством, а в уме Контаты уже зарождались мысли об учреждении почетного ордена Лазорихия и о сооружении мемориального памятника на месте его землянки.

Таким образом, «Куриный город» распрощался со своим первым жителем, со своим первым героем, со своим первым философом, а взамен всего этого приобрел Лазорихиево небо...»

## 25

Генрих Иванович закончил читать очередную порцию рукописи и вернулся к страницам, на которых излагался перечень имен и фамилий переселенцев, прибывших в город в тот период... Но, к превеликому ужасу, троекратно его перечитав, он не обнаружил в нем ни себя, ни даже упоминания о своих родителях.

Оттолкнув бумаги, Шаллер откинулся на спинку кресла, стараясь совладать с нервами. Но закудахтала жирная курица, запрыгнув на подоконник и стуча о него клювом. Полковник в сердцах запустил в птицу подстаканником и пожалел, что ранее не согласился на предложение Контаты возглавить охрану куриного производства. Уж он бы их охранял, уж он бы им посворачивал головы!

Я не мог так поздно родиться! — говорил себе Генрих Иванович. Это идиотизм какой-то! Мне уже почти пятьдесят лет, а городу всего лишь сорок!.. И потом, получается так, что почти всех детей в городе родила мадемуазель Бибигон! И почему-то все недошены!.. К тому же я никогда не слышал, чтобы Чанчжое находился в монгольской осаде! Где монголы, а где мы!..

Все эти записки — бред! — решил Шаллер и немножко успокоился.

Он еще посидел в кресле, затем вышел в сад проведать жену. К своему изумлению, он обнаружил ее бездвижно сидящей перед машинкой. Исписанные листы лежали рядом, сложенные в аккуратную стопку. Белецкая в недоумении хлопала глазами, как будто сама не понимала, почему ее пальцы более не бегают по клавишам машинки.

В первый миг Шаллеру показалось, что Елена пришла в полное сознание, но, позвав негромко, а затем поведив ладонью перед ее глазами, он убедился, что жена по-прежнему находится в эмпиреях, но в этом, другом, измерении что-то у нее сломалось, разладилось.

— Елена! — еще раз позвал он. — Что же это такое получается!..

Полковник вплотную подошел к жене, приподнял с плеч волосы и поглядел на белые перышки, ровным рядом пробивающиеся у основания черепа. Перышки изрядно подросли, закудрявились на кончиках и волновали Генриха Ивановича чем-то сладостным, запретным.

— Что же это такое получается, Елена?! — заговорил Шаллер негромко. — Что же я — без роду, без племени? Откуда, по-твоему, я взялся? Каким образом я появился на свет?!

Генрих Иванович перебирал перышки пальцами, затем ухватился за одно и дернул его. Перышко легко поддалось, проскользнуло между пальцев и, медленно кружась, стало падать на осенние листья. Полковник подхватил его возле самой земли, сжал в ладони, а затем, бережно расправив, спрятал в портмоне между бумажных денег.

— Из-за этих твоих бумаг я пошел на преступление! — продолжал Шаллер. — Я покрываю убийцу! Я покрываю его только потому, что он единственный может расшифровать все то, что ты написала!.. Ответь мне — что происходит?! Ради чего ты все это пишешь?! Ведь я мучаюсь в недоумении!

Белецкая не отвечала. Она сидела все в той же позе и кукольно хлопала глазами.

— Ответь же мне! — закричал Генрих Иванович. — Ответь, сука!!! Я воткну тебе в спину длинную спицу, чтобы она убила твое сердце!!! Ответь же!

Полковник схватил жену за плечи и в отчаянии стал трясти ее так, что голова Елены стучалась о ее же плечи.

— Ответь!!!

Неожиданно Белецкая заплакала. Она завывала так отчаянно, что полковник испугался и отпрянул.

— А-а-а-а! — голосила Елена.

Шаллер стоял чуть в стороне и, оцепенев, смотрел на рыдающую жену. Чем больше он ее разглядывал, тем более испытывал желание. Одновременно он анализировал причины возникновения эротического настроения в столь неподобающее время, в столь необыкновенной ситуации.

Генрих Иванович медленно приблизился к Елене, положил свои большие ладони ей на плечи и стал поглаживать их, с каждым разом все напористее, с моложавой страстью. Его пальцы проникли под выцветшее платье со стороны подмышек, слегка царапнувших его кожу порослью, ухватились за маленькие грудки, сжали мягкие соски...

Елена перестала завывать и просто сидела с чуть приоткрытым ртом, уставясь большими глазами в пустоту.

Генрих Иванович подхватил жену на руки и положил ее тут же, на ворох кленовых листьев, мумифицированных в своем многоцветии. Белецкая не сопротивлялась, но и никак не реагировала на ласки мужа, глядя на лунную половинку, повисшую между корявых яблоневых веток.

Шаллер задрал платье жены до самого подбородка и проник в ее бесцветное тело с напором молодого жеребчика...

Позже, сидя на веранде, хлебая липовый чай и просматривая газеты, полковник наткнулся на маленькую заметку в еженедельнике «Курьер», рассказывающую о странном пациенте доктора Струве. Молодой кореец обратился к врачу с жалобами на то, что у основания его черепа выросли перья, похожие на куриные. Доктор Струве не смог прокомментировать этот факт, ссылаясь на то, что науке такие прецеденты неизвестны.

Генрих Иванович отставил чашку с чаем и, сняв телефонный рожок, попросил телефонистку соединить его с г-ном Струве.

— Да мало ли чего с корейцами бывает, — сказал медик. — Это же корейцы — таинственный народ!.. Впрочем, факт, так или иначе достойный любопытства!.. Как себя чувствует госпожа Елена?

— Спасибо.

— Старайтесь ее беречь. — И мысленно добавил: для меня.

Все последующие дни Шаллер усиленно размышлял над тем, как так могло случиться, что его фамилия не фигурирует в списках Белецкой. У него подчас возникали любопытные теории, например, что он человек Вселенной и поэтому его душа не зафиксирована в мирских списках, а значится где-то в космических анналах. В такой момент к Генриху Ивановичу возвращалось спокойствие, и он подолгу играл двухпудовыми гирьками, подбрасывая их к потолку, а затем подставляя спину так, чтобы железки приземлялись между лопаток.

Но иной раз полковник вдруг пугался, что его теории ошибочны, что этот волюнтаризм жены лишил его фамилию права на существование в летописи или что он, Генрих Иванович Шаллер, вовсе не существует в этом мире, что он нечто сродни Летучему Голландцу: вроде видим, а на самом деле — оптический обман. В такие минуты, лелея свое депрессивное состояние, он уходил к китайскому бассейну и часами сидел в нем, словно кабан, загнанный в воду кусающимся гнусом.

В один из таких дней, напоенных меланхолией, около бассейна появился Джером. Он сел на корточки возле самой головы Шаллера, покоящейся на бортике, и долгое время молча наблюдал, как минеральные пузырьки щекочут тело полковника.

— Фигово? — спросил подросток, разглядывая гениталии Генриха Ивановича, искривленные слоем воды. Они казались мальчику втрое меньше обычного.

— Что? — спросил полковник.

— Плохое настроение?

— Ты давно здесь?

— Я?.. Минут пять сижу.

— Я не слышал.

Джером не спеша разделся и спустился в воду рядом с Шаллером.

— Никак не могут найти убийцу Супонина!

Генрих Иванович ничего не ответил.

— Тебе не скучно?

— Почему ты спрашиваешь? — удивился полковник.

— Потому что мне кажется, что тебе не скучно.

— Да, я не скучаю.

— Как ты думаешь, скучают ли животные?

— Право, не знаю.

— Я не спрашивал, знаешь или нет, мне интересно, что ты думаешь.

Вот лоси, например?

— Думаю, что нет, — ответил Шаллер.

— И я так думаю. Грустить могут, а вот скучать — нет. Ты бы хотел стать лосем?

Генрих Иванович расхохотался так, что к противоположному бортику пошла волна от его сотрясающейся груди.

— Ты чего ржешь?! — обиделся Джером. — Чего смешного?!

— Прости меня, это я так! — сквозь смех отвечал полковник. — Лосем, говоришь!..

— Почему люди бывают иногда такими омерзительными?

— Прости!.. Ну а чего, можно и лосем... Лосем даже интересно!..

— Ты похож на борова! — сказал сердито Джером. — Тебе никогда не стать лосем! — и, оттолкнувшись ногами от дна, поплыл по-собачьи на середину бассейна.

— Будешь тонуть — не спасу! — со смехом пригрозил Шаллер.

— Да пошел ты! — огрызнулся мальчик и, всем ртом хлебнув воды, заколотил руками по поверхности.

Полковник поймал его за ногу и притянул обратно к бортику:

— Не суетись.

— Чего хватается!

— Могу отпустить, — сказал Генрих Иванович и отпустил. Джером тут же пошел ко дну.

— Да ты меня утопишь! — закричал мальчик, выныривая.

— Как котенка, — подтвердил полковник и слегка ткнул ладонью макушку Джерома, словно мячик.

Мальчик вновь погрузился под воду, а вынырнув, что есть мочи заорал:

— Да ты чего!!! Совсем озверел, боров проклятый!

— А ты не груби! — И вновь по голове, как по мячику...

Позже, когда мальчик окончательно отдышался, они беседовали, упершись спинами в стенку бассейна.

— Я не боюсь смерти, — говорил Джером.

— Потому что она далека от тебя, как... — Генрих Иванович запнулся. — Как Млечный Путь от Земли.

— Никто не знает, как далека от него смерть, — возразил Джером.

— Это — философия. Вероятность того, что ты проживешь намного дольше меня, гораздо выше, нежели то, что твоя смерть придет раньше моей.

— Ты ошибаешься.

— Почему?

— Ты же знаешь, кто убил Супонина?

— Тебя не убьют.

— Откуда такая уверенность?

— Потому что я не позволю этого.

— Ты самонадеян.

— Нет, я уверен.

— Ты зависишь от него?

— От кого?

— От убийцы.

— ...

— Ты чего-то ждешь от него. Он что-то делает для тебя. Я чувствую...

И пока он не доделает этого, ты в его власти. Я прав?

— Ты не умрешь.

— Он недавно опять избил меня.

— За что?

— Ведь я убиваю кур. Пришел отец Гаврон и пожаловался на меня. Он меня и избил.

— Почему ты убиваешь кур?

— Честно?

— Хотелось бы.

— Понимаешь, я сам не знаю... Какое-то влечение... Я сам сначала боялся, что это нездоровое чувство. Но потом я представил, что убиваю кошку, собаку, человека... Ничего такого приятного... Только куры... Я их ненавижу! Сворачиваешь голову — и облегчение...

— Поплаваем?

— Не хочется что-то... Ты знаешь, когда я сегодня пришел сюда, мне показалось, что в бассейне убывает вода. Видишь полоску темную на бортике?

— Вижу.

— В прошлый раз вода доходила до нее. Это ее след.

— Сухо. Вода и испаряется.

— А как твои женщины?

— Никак.

— Что, старый стал?

— Наверное.

Они некоторое время помолчали, щуря глаза от солнца.

— Кого он убьет следующего? — спросил Джером.

— С чего ты взял, что он будет убивать?

— Это ты ему ребра сломал?

— Было такое.



— В его глазах — желание...

Генрих Иванович ничего не ответил, выбрался из бассейна, растерся полотенцем, махнул Джерому рукой и пошел своей дорогой.

— Испаряется бассейн, — сказал Джером, глядя на полоску, свидетельницу предыдущего уровня...

## 26

Лизочка Мирова собиралась ложиться спать. Она сидела перед зеркалом в шелковом пеньюаре, подаренном ей г-ном Туманяном, и неторопливо расчесывала волосы. Она делала это уже сорок минут и размышляла по-девичьи.

Как все в жизни переплетено, думала девушка. Ах, какие витиеватости уготовливает судьба! Ждешь одного, а случается другое. И подчас это другое гораздо приятнее и лучше, нежели то, чего ты ждала. Причудлива жизнь!

Лизочка наконец отложила в сторону гребень, полюбовавшись пушистостью своих волос в зеркале, скинула с себя пеньюар, оставаясь в ночной рубашке, и легла в постель.

Генрих Иванович Шаллер ласкал ее на этой кровати. Здесь, в этой комнате, он сделал ей впервые больно, отобрав то, без чего девушка становится женщиной. В этой же комнате он причинил ей еще большую боль, отвергнув любовь.

А была ли любовь? — задумалась Лизочка. Поди разберись сейчас!..

После, в этой же комнате, уже совсем по-другому, купец Ягудин любил ее тело, клялся душными ночами, что любит и душу. Но строитель счастья Ягудин разбился в своем единственном порыве взлететь и, вероятно, любил этот порыв гораздо более, чем Лизочку.

Интересно, как же будет с господином Туманяном? — прикинула девушка. Как долго продлятся их отношения и к чему они приведут?.. Ах, он очень мил и, вероятно, мог бы стать приятным мужем!.. Да что об этом думать! Сколь ни думай, жизнь все равно распорядится по-иному... Девушка зевнула, прикрыв рот розовой ладошкой. Г-н Шаллер ласкал Франсуаз Коти, г-н Ягудин ласкал Франсуаз Коти, г-н Туманян наслаждался ею, и все трое также питались ее, Лизочкиным, телом. Плохо ли это?.. Наверное, не плохо и не хорошо. Так, вероятно, в жизни всегда. Жизнь, она как роза ветров. Есть юг и север, как Добро и Зло. Но есть и восток и запад, есть юго-запад и северо-восток. Скорее всего, нет абсолютного Добра и нет абсолютного Зла. Есть юго-запад и северо-восток. Ну и другое в таком же духе!.. А что же другое? — спросила себя Лизочка и не нашлась, что ответить. Ах, я окончательно запуталась в географических понятиях!

Девушка еще раз зевнула — протяжно и сладко, закрыла глаза и почесала перед сном грядущим свою нежную шею возле основания черепа. Она почесалась — и тут же решила, что с кожей что-то не то. В том месте, где обычно пробивались самые нежные волоски, которые любил перебирать полковник Шаллер, сейчас нащупывалось что-то постороннее.

Еще не слишком волнуясь, Лизочка выбралась из постели, включила ночник и вновь села перед зеркалом. Она забрала в кулак волосы сзади и приподняла их к макушке, стараясь заглянуть на затылок. Ей это не удалось... Как бы она ни поворачивала шею, все видела только свой профиль... Пришлось взять в помощь зеркальце на длинной ручке, поднести его к затылку и повернуть голову так, чтобы отражение на ручном зеркальце попало на зеркало трюмо.

— Ах! — вскрикнула Лизочка, рассмотрев свой затылок. — Ах! Ах! Ах! — вскрикнула она троекратно от ужаса.

В беспомощности своей девушка перебудила весь дом, бегая по коридорам и крича так отчаянно, как будто за ней гнался нечеловек. Ее вскоре поймали и всяческими снадобьями пытались успокоить. Девушка и подышала нашатырем, и глотнула отвара мяты. Но лишь обильные слезы с частичками души сделали свое дело и лишили ее сил.

Лизочка сидела в спальне матери, опухшая от слез. Ее тело содрогалось от спазмов, а ночная рубашка, разорвавшаяся где-то от безумного бега, обнажила вздымающуюся грудь.

А у нее одна грудь меньше другой! — заметила Вера Дмитриевна, мать Лизочки. Господи, о чем же я!.. У нее перья на шее растут, а я про грудь.

— Успокойся, милая! — строго произнесла она. — Сейчас приедет доктор Струве и во всем разберется!

— В чем разберется? — истерично спросила Лизочка.

— Ну, в этих, как их... — не решалась произнести вслух мать. — В перьях!

От этого мерзкого слова девушка опять зарыдала что есть мочи.

— Перестань! Перестань рыдать и возьми себя в руки! Ничего страшного не происходит!

— Ничего страшного! — возмутилась Лизочка. — И ты, моя мать, считаешь, что не произошло ничего страшного?!

— А что, собственно, страшного такого? — повысила голос Вера Дмитриевна. — Подумаешь, перышки! Эка невидаль!.. А ты знаешь, дорогая, что у многих женщин на ногах волосы растут!.. Да что на ногах! И на груди тоже!.. А у тебя вон какая славная грудка!.. Если доктор Струве не поможет, попросту сбреешь свои перья, и дело с концом! Нечего истерики разводить, не девочка уже!

— Что ты несешь, мама!

— А что?! Я с восемнадцати лет ноги брею, если ты уж так хочешь знать!

— Дура!!! — в сердцах вскричала Лизочка. — Какая ты, мама, дура!!!

Вера Дмитриевна поняла, что перебрала со своими успокоениями, и решила помолчать в ожидании доктора Струве. Она взяла со столика поэтический сборник какого-то французика, раскрыла его наугад и погрузилась в зарифмованные слюни романтизма.

Вскоре приехал доктор Струве и немедленно прошел на женскую половину.

Все время в ожидании врача Лизочка провела в оцепенении и была похожа на насекомое, усыпленное эфиром и приколотое булавкой.

— Закройся! — мягко сказала Вера Дмитриевна дочери, когда доктор Струве вошел в спальню.

Девушка как бы нехотя, словно ее нагая грудь была чем-то само собою разумеющимся и незначащим, запахнула рубашку и посмотрела на врача рассеянно.

— Ну-с, дорогие дамы, что стряслось? — спросил эскулап, стараясь придать выражению своего лица этакую добродушность и иронию человека, повидавшего на своем веку многое. Впрочем, так оно и было.

— Ничего особенного не произошло, — ответила Лизочка. — Просто я превращаюсь в курицу.

Доктор с недоумением посмотрел на Веру Дмитриевну.

— Ну, перышки у нее выросли на шее, — пояснила мать. — Несколько маленьких мягких перышек. А она так разволновалась, как будто пожар в доме!

— Позвольте-с поглядеть.

Доктор Струве зачем-то раскрыл свой саквояж и, покопавшись в нем, вытащил пузырек со спиртом, потом спрятал его обратно и подошел к Лизочке. Он осторожно приподнял волосы девушки, любясь ими — тяжелыми и красивыми, затем коротко взглянул на основание черепа, кивнул головой и опустил волосы на плечи.

Однако, она не кореец! — подумал про себя врач, а вслух сказал:

— И ничего-с страшного! Обыкновенный атавизм! Знаете ли, так бывает, что человек иной раз рождается с хвостиком или со сросшимися пальцами на ногах. Это означает, что мы произошли от животных и природа напоминает нам об этом! Так что нечего волноваться!

— И я говорила — ничего страшного! — обрадовалась Вера Дмитриевна, подошла к дочери и обняла ее. — Я твоя мать и обязательно бы почувствовала, что происходит что-то нехорошее. А я этого не почувствовала!

Лизочка от слов доктора, казалось, очнулась. Она хлопала глазами и смотрела на Струве, ожидая, что тот еще что-нибудь скажет успокаивающее и ее страх рассеется окончательно.

— Это еще что! — начал эскулап, почувствовав важность минуты. — Был у меня пациент, простите меня за подробности, с шестью сосками на теле. Вот это было горе! И то помогли — удалили с помощью хирургического вмешательства.

— Ах, бедный! — посочувствовала неизвестному Вера Дмитриевна.

— А еще бывают люди с двойными половыми признаками! — добавил доктор.

— Это как это?! — спросила Вера Дмитриевна, слегка покрасневшись.

— Есть и мужские половые органы, и женские! Вернее, зачатки их. Гермафродитами называются такие особи!

— Ужас какой!

— Так что, Елизавета Васильевна, ваши перышки — сушая пустяковина по сравнению с тяготами человеческими!

— А что мне с ними делать? — спросила Лизочка, испытывая к доктору почти родственные чувства.

— Забудьте о них! Они же вам не мешают?

— Вроде бы нет.

— Ну так и нечего волноваться!

Лизочка хотела было спросить, как объяснить г-ну Туманяну такой пернатый атавизм, но не решилась афишировать свою личную жизнь скорее перед матерью, нежели перед доктором, а потому промолчала.

— Ну-с, а теперь позвольте откланяться! — поднялся из кресла доктор Струве. — Насыщенный был день, а потому смерть как хочется спать!

— Не знаем, как вас и отблагодарить! — сказала Вера Дмитриевна в дверях.

— Не мучайтесь, я пришлю вам счет, — улыбнулся эскулап и ловко сбежал по ступеням к своему авто.

В первой половине следующего дня доктор Струве принял трех пациентов, которые были крайне встревожены проросшими у оснований их черепов перьями. Они настаивали на том, что медицина обязана дать ответ, как излечить этот странный недуг, но вместе с тем просили не раскрывать их фамилий общественности, дабы не стать гонимыми. Во второй половине дня доктор обследовал еще шестерых с теми же самыми симптомами. Среди заболевших была одна женщина, которая истерично требовала немедленно удалить эту гадость с ее шеи, а иначе она покончит с собой, кинувшись с башни Счастья на головы прохожим. Доктор, как мог, успокаивал бедную женщину, уговаривая ничего такого смертельного не предпринимать, а просто обождать с неделю, так как, по его мнению, перья должны вскоре отвалиться сами. В конце рабочего дня опытный врач признался себе, что в городе имеет место быть начало эпидемии. Чем грозит эта эпидемия населению, каковы будут ее последствия — ничего этого г-н Струве прогнозировать не мог. Он заметил, что сам то и дело трогает свой загривок, ужасаясь обнаружить на нем куриные перья.

Утром следующего дня доктор Струве был вызван в дом губернатора, где обследовал главу города на предмет прорастания перьев в области шеи.

— В городе эпидемия! — сообщил врач губернатору Контате, закончив осмотр. — Вы тоже больны.

— Сколько мне осталось? — спросил Контата, и в голосе его слышалось мужество.

— Дело в том, что я еще ничего не знаю об этой болезни. Вероятно, это заболевание не грозит самой жизни, а носит лишь внешний характер, проявляясь только прорастанием перьев. Будем надеяться, что это так. Во всяком случае, с момента начала эпидемии прошло слишком мало време-

ни, чтобы сказать что-то определенное... — Доктор пожал плечами. — Наберитесь терпения, я буду делать все возможное.

Гораздо болезненнее воспринял случившееся с ним митрополит Ловохишвили. Он метался по комнате и причитал:

— Это кара Господня!.. Где же я согрешил, где виноват перед Господом?!

— Не стоит так себя бичевать! — успокаивал доктор Струве. — Почему кара Господня?.. Может быть, это испытание?!

— Ах, оставьте!.. — всплеснул руками митрополит. — Бог уже испытал человека! Уж он знает, на что способен гомо сапиенс! Это — кара! Я вам говорю! Поверьте мне! Кара!!!

В последующую неделю к доктору Струве обратилось сто шестьдесят три пациента с симптомами «куриной болезни». Половина из них, простой люд, реагировали на обрастание перьями довольно спокойно, не пняя на Бога, а лишь просили врача скорее разобраться с проблемой, стимулируя мозг г-на Струве денежными ассигнациями. Другая половина, более состоятельная, отнеслась к эпидемии как к национальному бедствию или катастрофе, а потому денег доктору не платила. Г-н Персик, например, произнес перед эскулапом целую речь, смысл которой сводился к тому, что он непременно будет ходатайствовать перед городским советом о выделении средств на локализацию эпидемии, так как не может спокойно взирать на тяготы народные.

Безусловно, информация об эпидемии просочилась в газеты, которые стали выходить с сенсационными заголовками, такими, как: «Мы превращаемся в кур» — или: «Опалите свою шею над газовой горелкой!» Газета поручика Чикина «Бюст и ноги» опубликовала ряд материалов эротического звучания. Один из них, под названием «Девушка в перьях», рассматривал проблему эпидемии как нечто новенькое в сексуальном обличье человека. «Ах, как приятно ласкать шею любимой, чувствуя под пальцами шелковистые перышки! — писал поручик. — Но насколько было бы приятнее, если бы перья проклюнулись и на груди! Ах, ах, ах!.. Верхом же блаженства случилось бы то, если бы и на лобке прекрасной одалиски вместо черных кудрявых волос произросли чудесные белые крылья, унося в поднебесье одинокий несчастный член!»

За эту скабрезную статейку поручика Чикина избили его же читатели, прежде с удовольствием смаковавшие фантазии журналиста. Но в этой ситуации, когда «куриная болезнь» с каждым днем роднила все большее количество пуритан с развратниками, касаясь всех без различий, статейка вызвала взрыв возмущения, и поручик был жестоко побит камнями. Затем его обмазали дегтем и изваляли в куриных перьях. Мол, нечего измываться над больными! В течение последующих двух дней обесчещенный поручик бегал нагишом по окрестным холмам и усиленно кукарекал.

Мучения Лизочки Мировой оказались напрасными. Через две недели после начала болезни она встретила с г-ном Туманяном и в момент соития нащупала на его шее точно такие же белые перышки, как и у нее самой. В самый ответственный для г-на Туманяна миг девушка неистово захохотала, ее лоно сжалось в судорогах, и скотопромышленник испытал невероятное наслаждение.

Какая девушка! Какая удача!.. А не жениться ли мне? — подумал он, чувствуя скользкие ноготки на своей груди.

Лизочка испытывала по отношению к судьбе чувство благодарности, а потому с душой ласкала своего любовника. По телу г-на Туманяна бежали мурашки блаженства...

Гераня Бибииков возвращался в интернат украдкой, вглядываясь в темноту. Несмотря на некоторую боязнь ночи, настроение его было приподнятым. Сегодня ему удалось проследить за Джеромом, и теперь он спешил



поделиться увиденным с г-ном Теплым. Бибииков предвкушал, как учитель выйдет из себя, немедленно вызовет Ренатова и на его, Герани, глазах произведет экзекуцию ремнем, а еще лучше — кулаками в самую морду. От представленной картины Бибииков ускорил шаг, а затем и вовсе пошел вприпрыжку, блаженно улыбаясь.

Неожиданно возле самого интерната мальчик споткнулся о какой-то корешок и упал лицом в сырую землю. Впрочем, он не очень от этого расстроился, а постарался скорее подняться на ноги и продолжить свой путь.

— Бибииков? — услышал Гераня за спиной вопрос, заданный почему-то шепотом. — Ах, Бибииков!..

Мальчик испугался так, что подкосились ноги, а в животе шарахнуло холодом. Он повернулся на голос и узнал своего учителя.

— Ох! — произнес Гераня. — Господи, ну и напугали вы меня!.. Ох!.. Фу!.. Чуть струю не пустил!..

— Чем же это я вас напугал? — спросил Теплый, подходя вплотную к мальчику.

— Да это я от неожиданности!.. Вообще-то я не трус, вы же знаете, мой отец — герой войны! Но и герои иногда боятся!.. Я, кстати, вас ищущу!

— Меня?! — удивился Гаврила Васильевич.

— Ага.

— Зачем?

— Надо что-то решать с Ренатовым! — деловито сказал Бибииков. — Это уже ни в какие ворота не лезет, в самом деле!

— Да?.. А что такое? — участливо поинтересовался славист и, взяв его под руку, повел от интерната в сторону самой глубокой темноты.

— Ну, я все могу понять, все простить! — с пафосом продолжал Гераня. — Но садизм, простите меня!

— Так-так! — поддержал Теплый.

— Этот Ренатов сегодня на моих глазах свернул шею дюжине кур! Как это, по-вашему, называется?!

— Да-да...

— За это нужно карать, немилосердно искоренять такие вещи! — почти прокричал Бибииков, но тут почувствовал на своих губах учительскую ладонь, пахнущую какой-то гадостью. Его глаза недоуменно раскрылись, он замычал что-то нечленораздельное, стараясь вздохнуть, и в ту же секунду понял, что смерть совсем уже рядом и что он вскоре встретится со своим отцом, героем войны, павшим в боях за Отечество.

— Геранечка, ах, Геранечка!.. — страстно зашептал Теплый. — Да что же ты так перепугался? Не надо так меня бояться. Разве я страшный такой? Да ты посмотри на меня внимательнее!

Силы оставили Бибиикова. Он безмолвно вращал глазами, пуская слюни между пальцев учителя, накрепко сжимавших его пухлый рот.

— Ну что же ты, милый мой, так колотишься? — с неистовством шептал Гаврила Васильевич. — Взгляни, какое красивое небо! Какое безмерное количество звезд смотрит на тебя!.. — Теплый склонился к самому уху Бибиикова, почти касаясь его губами. — А насчет Ренатова ты абсолютно прав. Садистов надо искоренять безжалостно! Ишь ты, курам шею сворачивает! Поверь мне, я тебе клятвенно обещаю принять меры!.. Можешь умереть спокойно, я расправлюсь с Джеромом!

Тело Герани слегка дернулось, он совсем обмяк в учительских объятиях, смирившись с обстоятельствами, но тут в его мальчишеском мозгу возник славный образ отца-героя, чья грудь, от погон до ремня, была забронирована орденами и медалями. Бибииков-младший собрал все свои силы и, напрягши ляжку, пнул мыском ботинка под самое колено слависта. От неожиданности и резкой боли в ноге Гаврила Васильевич взвыл, клацнул зубами и чуть было не выпустил мальчишку из своих объятий. В бешенстве он вырвал из кармана нож и отчаянно полоснул им по толстой шее Герани, рассекая горло от одного уха до другого. Хлынула кровь, разбрызгиваясь в разные стороны, как вода из лопнувшей трубы, труп мальчика рух-

нул в траву, а Теплый стоял над ним, широко расставив ноги, и трясся в гневе оттого, что все так быстро кончилось...

Все же ему особенно хорошо работалось в эту ночь. Мысль протекала спокойно и плавно, а количество исписанных листов аккуратной стопочкой ласкало глаз. В кухне, на полке в миске, лежали сердце и печень, а также куриные перышки, выдранные в сердцах Теплым из затылка Бибикова.

Позже, лежа в своей постели, Гаврила Васильевич вдруг отчаянно загрустил. То ли боль в ноге, то ли еще какой дискомфорт заставил его почти заплакать. Теплый вдруг задумался, отчего он всю жизнь гоним, отчего так не любим окружающими и почему ему ломают ребра, а также бьют под коленную чашечку. Ответ пришел скоро: страдают лишь те, кому положено страдать. Муки, они, как разные химические жидкости, слившись воедино, дают свой результат. Результат моих мук, решил славист, — это вспышки прозрений, мое Лазорихиево небо, мой гений. Теплый заплакал, осознав, что за гений нужно платить страданиями.

— Я не хочу быть гением! — зашептал он, садясь в кровати. — Я хочу быть обычным человеком! Я не хочу страдать и мучиться ради двух строчек откровений, которые нужны вовсе не мне, а кому-то другому, кого я не люблю, кого я отчаянно ненавижу!..

Слезы заливали лицо учителя, он размазывал их по щекам и смотрел в потолок, стараясь получить какой-нибудь знак, какое-нибудь успокоение оттуда, откуда к нему приходили страдания.

— Ах, я хочу быть пахарем! Вставать ежедневно в пять утра, запрягать лошадь и идти за плугом навстречу солнечному дню. Я хочу так уставать в работе, чтобы испытывать физическое изнеможение, засыпать как убитый!..

Слегка успокоившись, Гаврила Васильевич решил, что работа пахаря не лучший выход из положения. Славист также признался себе, что желание быть землепашцем — все же кокетство перед самим собой, быть гением, хоть и непризнанным, гораздо приятнее, чем копать в черноземе.

— Я докажу вам! — затряс кулаками Теплый. — Вы у меня все поймете, кто я таков! Время всех расставит по своим местам! Уж поверьте!..

Он вскоре заснул сном пахаря. В эту ночь ему ровно ничего не снилось. Но в это же время, быть может, небеса готовили ему новые страдания, новые и изысканные мучения души, дабы стимулировать то дарование, которое Гаврила Васильевич называл гением.

## 28

«Во времена монгольского нашествия, кольцом блокады сковавшего Чанчжоэ, городское население потеряло от голода половину своего живого веса. Особенно тяжело недоедание сказалось на Протуберане. Только что родившая и нуждающаяся в усиленном питании, она очень мучилась и страдала от отсутствия пищи. В ее грудях кисли капли калорийного молока; она решила его сцеживать и, преодолевая отвращение, пивала дважды в день из маленькой кружечки. В эти минуты ее лицо, волосы, плечи ласкали порывы прохладного ветерка, забиравшегося через отворенную форточку. Свежие и чистые, они несли с собою запахи далеких стран, с их цветами и фруктами, с криками базарных торговки, мангальщиками, крутящими шампуры с дымным шашлыком, морем, накатывающим на белый песок, вздохами влюбленных, прячущих свои обнаженные тела за скалами, со всем тем, что способно вызвать в человеке чувство ностальгии по безвозвратно утерянному прошлому. В такие мгновения из глаз Протубераны катились слезы, которые, впрочем, тут же испарялись благодаря все тому же ветерку; молодая женщина безмерно грустила, не понимая своего предназначения и недоумевая, чья же воля забросила ее в этот город.

Шло время. Обстановка не менялась. Монгольское войско по-прежнему окружало город, и каждый выживал, как мог. Из грудей Протубераны

исчезли последние капли молока, соски истрескались, и молодая женщина поняла, что скоро наступит ее конец.

Нарядившись в платице, которое она носила будучи беременной, Протуберана вышла из дома и побрела на окраину города. Там, на холме, за которым маскировалась в тумане монгольская орда, она встала на самую высокую его точку, оперевшись спиной о высохший дуб, и протерла руки к небу.

— Ты мой сын, — тихо сказала она. — Любим ты мною или не любим, долгожданный ты или ненужный, но я твоя мать, и ты должен помочь мне. Я страдаю, и со мною мучаются тысячи людей. Это нужно изменить!

Протуберана увидела, как после ее слов возле самых ног закружился маленькой воронкой песок.

— Помоги! Ценою моей жизни — помоги!

Ветерок забрался по ее ногам под юбку и надул платице колоколом. Он безобразничал, словно подросток, — терся об ягодицы, холодил впадный живот и забирался в самое лоно, как будто желал укрыться в нем от жизненных невзгод. Протуберана не сдержала улыбки и хлопнула ладошкой по животу, выгоняя из себя шаловливые порывы.

— Так можешь ты помочь мне?! — спросила она. — Или ты еще настолько глуп, что способен лишь на баловство?! Есть ли в тебе силы, чтобы разогнать наших врагов?!

После своего вопроса Протуберана вдруг почувствовала, как завибрировал за ее спиной ствол старого дуба, как напряглась его вековая кора. Она успела только шарахнуться в сторону и едва не сорвалась с холма.

Какая-то могучая сила вырвала столетний дуб из земли, словно сорную траву, закружила его цирковым эквилибром, затем кинула в поднебесье играючи, а после отпустила в свободном падении на землю. Сухое дерево с грохотом рухнуло и расколосось на части, взметая взрывом комья чернозема. Полетели в разные стороны щепки, и одна из них, самая маленькая, самая ничтожная, вонзилась острием в висок Протубераны. Молодая женщина потрогала голову, увидела на пальцах капельки крови, опустилась в сухую траву, легла и, произнеся слово «ребенок», умерла.

На какое-то мгновение все в природе замерло. Смолкли птичьи голоса, полегшая от ветра трава выпрямилась, даже плывущие по небу облака остановили свой бег. Возле головы мертвой Протубераны крутился волчком маленький вихрь. Он засасывал в себя пряди материнских волос, лаская их, спутывая и распутывая, как будто хотел разбудить случайно заснувшую женщину. Скользнула в завихрение маленькая капелька крови с виска Протубераны и закружилась в воронке, уходя в самое ее основание. Движение вихря замедлилось, он улегся возле бледной щеки матери и тонко запищал, будто плакал.

Прошло еще несколько времени. Тело Протубераны остыло, отдав все свое тепло земле. Вихрь оторвался от материнской щеки и, убыстряя свое кружение, взлетел ввысь. Что-то треснуло в поднебесье, разорвало тишину грохотом, и жители Чанчжоэ увидели, как в предместье города, между небом и землей, образовался длинный стержень смерча. Черный своим нутром, пугающий безмолвной заветью, он двинулся на становище монгольского войска и разметал его по бескрайней степи.

— На все нужно везение! — сказал Бакшихан, предводитель монгольский, взлетая выше самых высоких деревьев. — Нам не повезло! — и рухнул замертво на землю, расколов себе череп о камни.

Но на том дело не кончилось. В глупости своей смерч налетел на город и покалечил в нем многих, поломав и залив селевым потоком множество строений. Среди погибших оказался и полковник Бибилов. Его нашли бездыханным в какой-то яме, с проткнутой копьем грудью.

— Копье — монгольское! — определил генерал Блюянов. — Видать, лазутчика прозевали!

После ураганного ветра, когда все успокоились, в городе запахло пряным.

— Чувствуете, сладким пахнет! — сказал прохожий прохожему. — Так пахнет только в свободном городе! Мы — свободны! Провидение помогло нам, потому что правда была на нашей стороне!

В Чанчжоэ в тот же вечер прошли праздничные гуляния. И хотя в городе практически не было еды, всем было весело, и заснули горожане только на рассвете.

— А все-таки мы победили! — сказал сам себе перед сном губернатор Контата. — И воздух напоен победой!

— Ладаном пахнет, — определил наместник Папы митрополит Ловохишвили, снимая с себя церковные одежды. — Божественное провидение!

Булочками медовыми пахнет, подумал про себя г-н Персик, засыпая.

Когда в городе все заснули, когда отлаяли за победу собаки, сладкие запахи в атмосфере сгустились и, разносимые легким ветром, попали в ноздри каждого жителя, спящего в своей кровати или на сеновале, каждой твари, задремавшей под изгородью.

На следующее утро все жители Чанчжоэ, разбуженные солнцем, потеряли способность вспоминать. Не то чтобы они лишились памяти, нет, просто воспоминания не тревожили их души. Они помнили, что нужно починить забор, пойти на работу, напоить молоком ребенка, но то, что еще вчера город находился в осаде, что когда-то они кого-то любили, сгорая в страсти, горевали, теряя близких, — никто не вспоминал.

Из лексикона горожан исчезли такие вопросы, как: а помните ли вы, десять лет назад?.. а помнишь ли ты, моя любимая, как я тебя обнимал в вишневом саду?.. помнишь ли ты, мое сокровище, когда тебе было всего два годика, ты написал генералу на сапоги?..

В публичной библиотеке перестали спрашивать старые газеты. Они лежали на полках запыленные, желтея от ненужности. Уроки истории проходили в школах по-прежнему, но это была мировая история, в которой не оказалось места истории Чанчжоэ. Город забыл свою историю.

Накануне сладкого ветра мадемуазель Бибигон родила лейтенанту Ренатову ребенка, но, так как мальчик появился в пограничное с воспоминаниями время, мать и отец забыли о нем, оставив в родильном доме. Таких «сирот памяти» впоследствии оказалось множество, и через некоторое время власти приняли решение открыть сиротский дом-интернат, которому позже было дано имя графа Оплаксона, павшего в боях за собственную совесть.

Как-то в субботу мадемуазель Бибигон молилась в Чанчжоэйском храме и задержалась в нем допоздна, прося Бога о снисхождении ко всем ее будущим грехам.

— Бог простит! Бог великодушен! — услышала она за своей спиной голос митрополита Ловохишвили. — Но Бог-то православный, и слышит Он голоса лишь православных.

— Я — православная, — ответила мадемуазель Бибигон.

— А имя у тебя иностранное, — огорчился наместник Папы. — И мадемуазелью ты называешься! Нехорошо!

— А что же делать?

— Менять! И тогда Бог услышит тебя.

— Я согласна.

Митрополит Ловохишвили обрадовался столь легкой победе и предложил своей прихожанке имя Евдокия.

— Хорошее имя.

— Ну и славно! Будешь теперь Евдокией. Дусей сокращенно!

— Тогда и отчество мне нужно.

— А как отец твой звался?

— Не было у меня отца.



— Ну что ж, — задумался митрополит. — Дам тебе имя моего отца. Красивое имя! Отца моего звали Андреем, и отныне ты будешь зваться Евдокией Андреевной!

Таким образом и произошла Евдокия Андреевна, жена лейтенанта Ренатова, впоследствии капитана в отставке».

## 29

— Вот оно что! — воскликнул Генрих Иванович. — Ах, вот почему моего имени нет в летописях! Это ветер! Ветер, принесший дурман забвения!.. Господи, какая простая причина! А я мучаюсь, как глупый ребенок.

Полковник Шаллер ласково погладил страницы, присланные славистом Теплым, и в первый раз за долгое время расслабился.

Он ощутил блаженство человека, чей смертный приговор, вынесенный врачами, не подтвердился. Генрих Иванович с умилением разглядывал березовый лист, прилипший к оконному стеклу, любовался его медленным движением к карнизу и неумоимо повторял про себя: как прекрасна жизнь!

В приподнятости своей Шаллер даже испытал сексуальное желание и искал в воображении объект, которому это желание наиболее соответствовало.

Лизочка Мирова, прикинул полковник. Глупое и милое создание! Как хорошо, что ее жизнь обустроилась!.. А этот Туманян вовсе не промах! Как хорошая гончая, идет по моему следу. Сначала Франсуаз, а теперь Лизочка!..

При воспоминании о Коти, ее крепком теле и природном бесстыдстве, Генрих Иванович определил предмет своих эротических фантазий. Впрочем, он не спешил совершить какое-либо действие, чтобы удовлетворить их. Ему и так было приятно, что живое всколыхнулось в нем и ищет своего выхода. На всякий случай Шаллер вообразил Елену Белецкую и, как человек особенно тонко чувствующий, крепко пожалел ее, но и испытал к жене чувство благодарности за то, что все наконец прояснилось и что теперь он точно знает, почему его фамилия не значится в списках проживающих в Чанчжоэ...

Чуть позже, наслаждаясь теплой водой в китайском бассейне, Генрих Иванович опять задумался о вечности. Он вспомнил свою давнюю теорию о бесконечно малых величинах и сейчас опять уверился, что человеческая жизнь бесконечна.

— Ах, как это здорово — быть в чем-то уверенным! — громко сказал он. — Поистине здорово!

— Нельзя быть в чем-то уверенным! — услышал полковник голос Джерома.

— А, это ты.

— Я, — подтвердил мальчик.

— Так полезай в воду.

Джером не спеша разделся и спустился по ступенькам в бассейн.

— Видишь вторую полоску? — спросил он, указывая на противоположную сторону. — Вода опять убывает. Мельчает бассейн.

— Ты прав, — согласился Шаллер и подумал, что, если бассейн пересохнет, жизнь станет менее приятной.

— Так в чем ты уверен? — спросил мальчик.

— Да так, это я о своем.

— Понятно... Знаешь новости?

— Смотря какие.

— У меня в городе нашлась масса сподвижников!

— В чем?

— Люди стали с удовольствием сворачивать курам шеи.

— Причины ясны.

— Почему ясны?

— Потому что если у людей стали расти перья, то они не хотят, чтобы такие же перья были у кого-то еще!

— Это шутка?

— Совсем нет. Человек — существо высшее, и он совсем не рад, что произошел от обезьяны. И если бы не было религии, то он бы ее обязательно выдумал, чтобы сочинить другую легенду о своем происхождении. Лишь бы не произойти от обезьяны. Так и в этом случае с перьями. Может напроститься мысль, что мы произошли от кур!

Генрих Иванович заулыбался своей сентенции и, пряча улыбку, окунулся в воду с головой.

— Ты же знаешь, что я убиваю кур по другой причине! — сказал Джером, когда полковник вынырнул.

— Кстати! — воскликнул Генрих Иванович. — Я совсем забыл тебе сказать! Сегодня я получил доказательства, что ты действительно сын капитана Ренатова!

— Да? А ты в этом сомневался?

— Больше того, я знаю, кто твоя мать!

— Да?.. Интересно...

— Твоя мать — вдова капитана Ренатова, Евдокия Андреевна Ренатова. Ты совсем не сирота, твоя мать жива!

— Хотелось бы узнать доказательства.

— К сожалению, пока я не могу тебе их привести. Но будь уверен: доказательства веские.

— Нет доказательств — нет уверенности! — сказал Джером, на некоторое время задумался и добавил: — Мать только та, которая воспитывает своего ребенка!

— Она бы тебя обязательно воспитала, но произошли такие обстоятельства, что у нее не было на это возможности!

— Какие такие обстоятельства?

— Я тебе скажу о них, как только смогу.

Джером опять замолчал. Он вспомнил толстую бабу, к которой его когда-то приводили на опознание и которая жалела его со слезами на глазах, предлагая усыновить. Конечно же, она не моя мать, решил мальчик и успокоился. На кой хрен мне нужна мать!

— У меня есть еще одна новость! — сказал Джером, решив для себя неожиданную проблему.

— Хорошая или плохая?

— Смотря для кого.

— Для тебя.

— Для меня хорошая.

— Говори.

— Был у меня одноклассник. Бибиков была его фамилия. Очень я его не любил!.. Так вот, Бибиков лежит сейчас в морге с перерезанным горлом и выпотрошенный, как рыба перед жаркой. И перья ему выщипали с затылка. Вот такая новость!.. Как эта новость для тебя? Хорошая или плохая?

Джером увидел, как лицо Генриха Ивановича побагровело, как сжалось в пружину могучее тело атлета.

— Скоро и моя очередь.

— Откуда ты это знаешь? В газетах ничего не было!

— Будет... Спальня Бибикова находилась рядом с моею... К тому же я побывал в морге, конечно нелегально. Надеюсь, ты меня не выдашь? — спросил мальчик и, получив в ответ утвердительный кивок, продолжил: — Я нашел холодильник, в котором он лежит. Он весь такой синий, у него вспорот живот до самых яиц. Мне даже стало его чуточку жалко. Но когда я представил, что то же самое вскоре будет со мною, то перестал ему сострадать... Кстати, у тебя растут перья?

— Что?.. Ах нет, не растут.

— И у меня не растут. А у других почти у всех проклюнулись.

Неожиданно полковник в одно движение выскочил из бассейна, натянул на мокрое тело мундир и обратился к Джерому:

— Не бойся, с тобою ничего не случится! Я тебе обещаю! Ах ты, Господи, что творится!

— А я и не боюсь. Чего мне бояться!..

Но Генрих Иванович уже не слышал своего приятеля. Он торопился по очень важному делу.

Оставшись один, Джером не спешил вылезать из теплой воды. Он с удовольствием следил за газовыми пузырьками, отрывающимися от его живота и всплывающими на поверхность.

Все-таки он боров, подумал про Генриха Ивановича мальчик. Как медлительна его мысль. Ишь какой он сегодня был самодовольный! Есть некоторая радость лишать человека уверенности в себе. Это как удар под дых...

Джером проплыл до середины бассейна, а затем обратно.

Однако пора посмотреть, что будет дальше, решил мальчик, точно зная, куда направился его великовозрастный приятель. То-то будет развлечение!..

— Гаврила Васильевич?..

— Кто там?

— Это я... Генрих Иванович, — ласково сказал полковник Шаллер в щель двери квартиры Теплового. Хотя тело его дрожало от возбуждения и ненависти, он все же старался придать своему голосу доброжелательность, дабы не спугнуть слависта.

— А разве вам не передали рукопись? — спросил Гаврила Васильевич. — Я послал ее с нарочным.

— Передали, передали. Просто я кое-что не сумел разобрать!..

— Странно... Что, почерк непонятен?

Генрих Иванович тихонько выругался.

— Почерк понятен, но смысл ускользает.

Наконец замок на двери щелкнул, и в проем, защищенный цепочкой, высунулась голова Теплового.

— Вы один? — спросил славист.

— Один, — подтвердил Шаллер и улыбнулся. — Я хотел бы просить вас ускорить работу. Если нужно, я заплачу двойную ставку.

Упоминание о деньгах лишило Гаврилу Васильевича бдительности. Он поспешно снял с двери цепочку и посторонился, пропуская полковника в комнату.

— Это крайне сложно — ускорить работу, но я постараюсь сделать...

Теплому не удалось досказать конец фразы. Кулак Генриха Ивановича угодил ему прямехонько в зубы, превращая их в крошево. Гаврила Васильевич рухнул на пол срубленным деревом. Голова его каким-то образом оказалась под креслом, а руки и ноги подрагивали в такт бьющемуся сердцу. Он был далек от своего сознания.

— Скотина! — шипел Шаллер. — Выродок! Мразь!

В какой-то исступленной радости он наступил Теплому на дергающуюся ногу и покрутил по ней каблуком сапога. Учитель не реагировал.

— Сучье вымя! — еще раз выругался Генрих Иванович, наконец уразумев, что Теплый лежит без сознания и не чувствует боли. — Не рассчитал! — огорченно проговорил он и сел в кресло, под которым лежала голова слависта. — Ничего, я дождусь, пока ты начнешь соображать снова! Надеюсь, это твой последний день!

Прошло несколько минут. Теплый не шевелился.

Полковник сидел в полной тишине и прислушивался к ней, улавливая ухом детские голоса, еле слышимые, доносящиеся как будто из другой жизни.

Теплый живет в интернате, подумал он. Интересно, сколько детей в интернате?.. Сто? Двести?

Наконец Шаллеру надоело ждать, когда учитель обретет сознание. Он схватил его за ногу и выволок из-под кресла. Затем плеснул пригоршнями из питьевого ведра в развороченное лицо и криво заулыбался, наблюдая, как к Теплому возвращается сознание.

— Добро пожаловать в ад! — приветствовал он.

Теплый сел, ощупал свое окровавленное лицо и, уставившись на Генриха Ивановича, шепеляво сказал:

— Все-таки вы грубая скотина, Шаллер!

— Молчать!

— Вы выбили мне зубы!

— Сейчас я вам заново сломаю ребра! А потом руки в нескольких местах!

— Я закричу так, что сбежится вся округа!

— Ну что ж, тогда вас казнят прилюдно!.. И поверьте, казнь будет изощренной!

Теплый размазал кровь по лицу и сплюнул сукровицей прямо на пол.

— Я не буду скрывать, что вы с самого начала знали, что я убил Супонина! Интересно, как отнесется к этому общественность?.. Думаю, вам дадут еще один орден за героизм!.. — Гаврила Васильевич перевел дыхание. Ему трудно было говорить. — К тому же вы предполагали, что Супонин будет не последней моей жертвой! Не так ли?

— Гнида!

— Ругайтесь, ругайтесь!

— Недоумок!

— Это я-то недоумок?! — сквозь боль улыбнулся славист. — Господи, да вам бы хоть чуточку моего ума!.. Поди, вы такого высокого мнения о себе!.. А что вы, собственно говоря, из себя представляете такого?!!

— Ну и что же?! — с угрозой в голосе спросил полковник.

— Будете бить?

— Непременно.

— Тогда мне терять нечего!

Охая и ахая, Теплый с трудом поднялся с пола и доковылял до стула. Он некоторое время устраивался на нем, а потом с минуту смотрел пронзительно в глаза Генриху Ивановичу. Полковник выдержал этот взгляд.

— Вот вы считаете себя передовым человеком. Передовой человек, по моему мнению, это тот, кто мыслит по-новому, кто приносит пользу обществу! Пользу реальную, позвольте заметить. Быть передовым — не значит посещать балы и вечеринки, на которых так легко задурить высокопарными фразами девичьи головы!.. Поди, вы сами восторгаетесь своей способностью говорить умно! Наверняка вас посещают мысли о таинствах мироздания, от которых вы сами получаете наслаждение! Не так ли?.. Вы надеетесь, что ваши теории гениальны, что они позволят вам стать бессмертным, тешите себя надеждами, что какая-то неземная сила заметит ваш мыслительный прорыв и причастит вас вечности!.. Да фиг вам на постном масле!

Гаврила Васильевич сложил дулю и с наслаждением потряс ею возле физиономии полковника.

— Не дождетесь!.. Все ваши мысли гроша ломаного не стоят! Все это детские бредни — о бесконечности человеческой жизни, о Лазорихиевом небе, которое сопутствует величайшим открытиям! Никакой дверки вам не откроется! И не надейтесь!

— Откуда вы об этом узнали?! — закричал Шаллер.

— Да не надо быть телепатом, чтобы узнать это! Так думает каждый мещанин, каждый обыватель! Вы всю жизнь просидели в ожидании чуда — и вот, казалось бы, чудо произошло! Ваша жена промыслом Божьим создала величайшее произведение! Этакую летопись нетленную!.. Ха-ха-ха!.. Хрена лысого вам под мышку! — воскликнул Теплый, и лицо его растянулось в надменной улыбке. — Ничего ваша жена не создала великого! Она просто тронулась умом и щелкает по клавишам пишущей машинки,



как обезьяна, — бесцельно и тупо! Никакого шифра в ее записях нет! Одна сплошная галиматья! ШШШ, МММ, да и только!.. Что вы на меня так смотрите!.. Надо же, три тысячи страниц чушью защелкать!

— Как же вы тогда перевод сделали? — спросил Генрих Иванович растерянно.

— Попытался, попытался я это сделать!.. Да повторяю вам: расшифровывать там нечего было! Пришлось самому писать летопись! Уж больно деньги нужны были! Так-то вот!..

— Сейчай я вас убью! — тихо сказал Шаллер.

— А какая вам, собственно говоря, разница! Жена ваша написала летопись или я! Главное, что летопись написана! И она самая что ни на есть настоящая!.. Можете, конечно, пристукнуть меня, но вам легче от этого не станет! От этого вы не будете гением! А я, убивая, питаю свой гений!.. Вам, видать, никогда не узнать того наслаждения, когда садишься за чистый лист бумаги, а кто-то через форточку диктует тебе чернильные мысли! И такие они умные, такие неординарные, что сам подчас удивляешься, как мог сочинить такое! А может, и вправду что-то сверхъестественное диктует! — Теплый перевел дыхание. — Так что не сомневайтесь, летопись самая подлинная! Не моей рукой писанная!.. Я так, проводник!..

В каморке Теплого стало тихо. Сам Гаврила Васильевич отдыхивался после своей тирады, а Генрих Иванович сидел и чувствовал себя так, как будто его разобрали на составные части. Оба не замечали, как сквозь грязное окно, выходящее на интернатский двор, за ними наблюдает пара глаз, принадлежащих Джерому. Мальчик испытывая некое чувство удовлетворения от увиденного, хотя и не знал пока, как использовать это увиденное.

— Я не знаю, что мне делать! — печально произнес Шаллер, и из его правого глаза выскользнула слезинка. Капелька прокатилась по щеке, затем съехала к носу и застряла в уголке губ. Полковник почувствовал во рту соль, почмокал губами и понял, что плачет. От сознания того, что он, пятидесятилетний военный, умудренный жизнью и невзгодами, плачет, как ребенок, возбудило в нем еще большую жалость к себе, в груди защипало, и слезы покатались по его мужественному лицу свободными потоками, заливая рубленый подбородок.

— Я не знаю, что мне делать! — всхлипывал Генрих Иванович. — Что происходит?!

Его гранитные плечи тряслись словно в лихорадке. Рыдания захватили его организм от макушки до ляжек, холодных и сжатых друг с другом огромной силой. Он целиком отдался истерике, выплескивая вместе со слезами свою драму, смешивая ее со сладостью бессилья перед сложившейся ситуацией.

— Что это с вами? — спросил потрясенный Гаврила Васильевич, никак не ожидавший такого поворота событий. — Что это вы плачете?

— Что же мне делать?! — бубнил полковник. — Что делать?

— Может быть, вам водички?

Теплый поднялся со стула и зачерпнул кружкой из ведра.

— Натек-ка, глотните!..

Шаллер в отчаянии оттолкнул руку слависта, и вода из кружки выплеснулась на пол. Учитель пожал плечами:

— Как хотите!

Он снова уселся на стул и все смотрел, смотрел, как Генрих Иванович обильно плачет. На мгновение в его душе шевельнулась жалость к этому сильному человеку, но она тут же замерла, когда Теплый вспомнил о своих выбитых зубах.

— Да кончайте вы, в самом деле! Ишь нюни развели!.. Мне больше по душе, когда вы кулаками машете! Перестаньте рыдать и подумайте лучше, как из этой ситуации выбираться!

— Да-да... — согласился Генрих Иванович. — Я сейчас...

Он утер рукавом лицо и стал глубоко дышать, чтобы подавить слезные спазмы.

— Может быть, все-таки воды?

— Нет-нет, — отказался Шаллер. — Я уже все...

Он еще раз глубоко вдохнул и стал смотреть куда-то в угол.

— Ну вот и хорошо, — подбодрил Гаврила Васильевич. — Всяко в жизни бывает!

— Почему все-таки моей фамилии нет в летописи? — спросил полковник.

— Не знаю. Я же говорил вам, что писал по наитию. В рукописи нет ни одной строки, сочиненной мною. Все написано помимо моей воли!

— Может быть, это ветер с дурманом?

— Все может быть.

— Или, может быть, я вовсе не существую?

— Прекратите вы эти бредни! Вот он вы, сидите в кресле и плачете! Вы существуете, как и все остальные!

— Вы так считаете? — с надеждой спросил Генрих Иванович.

— Да что с вами?! — воскликнул Теплый. — Возьмите же наконец себя в руки!

— Все-все! Все в порядке!

— Вот и хорошо.

— Что бы вы сделали на моем месте в такой ситуации?

— В какой?

— Ну, если бы вы знали, что я убиваю подростков и что я одновременно делаю для вас нечто очень важное... Вы не решились выдать меня властям после первого убийства, а после второго уже стало поздно. Вы сами стали соучастником убийства! Что бы вы сделали в такой ситуации?

— Хотите, я уеду куда-нибудь?.. Завтра же?

— А как быть с совестью?

— А очень просто!.. Вы будете всю жизнь мучиться, а вследствие мук родите что-нибудь достойное! И черт его знает, может быть, тогда вам зажжется Лазорихиево небо по праву! Живите и мучайтесь!

— Дайте мне слово, что не тронете Джерома!

— Ренатова?.. — удивился Теплый. — Я не собирался трогать его!.. Он мне родственная душа! В его глазах бьется мысль, и он поддерживает ее кровью! Вы что, в самом деле думаете, что мальчик убивает кур, мстя за своего отца?.. Чушь!.. Это все отговорки, самообман!.. Ну, конечно же, я не трону Ренатова! О чем речь!..

— Спасибо.

— Да, — вспомнил славист. — Но у меня, к сожалению, нет денег на отъезд.

— Я вам дам.

— Спасибо.

— Куда поедете?

— А вам есть до этого дело?

— Да нет. Это я так, из вежливости.

— А-а, понятно...

Генрих Иванович поднялся из кресла.

— Я пойду. Деньги вам пришлю с посыльным. Тысячи хватит?

— Крайне признателен.

— Откройте мне дверь.

Теплый отпер дверь и открыл ее перед Шаллером.

— Прощайте! — кивнул головой полковник, вышел из комнаты и протянул руку Гавриле Васильевичу. Тот с охотой откликнулся на пожатие, укладывая свои сухие пальцы в широкую и теплую ладонь полковника. Генрих Иванович улыбнулся и сжал руку учителя с такой ужасной силой, что четыре пальца тут же с треском переломились, и славист взвыл от боли.

— Это вам на память обо мне!

Садясь в свое авто, Генрих Иванович вспомнил покалеченную руку Теплового, и на мгновение ему показалось, что на ней не пять, а шесть пальцев.

Что-то я совсем расклеился! — подумал Шаллер. Надо взять себя в руки! — и нажал на педаль газа...

Джером осторожно спрыгнул с карниза учительского окна и пошел своей дорогой.

Ах скотина! — думал он. Это же надо — назвать меня своей родственной душой!.. Сам садюга — и меня туда же! Ишь ты, кур убиваю не ради мести, а ради поддержки своих мыслей! Это надо же такое удумать!.. Все-таки как хорошо живет лосям!

Джером ускорил шаг.

Видать, полковник поверил этому ублюдку, что он гений свой питает кровью! Ладно, мы с этим разберемся! — решил Джером и отправился к чанчжойскому храму пострелять кур.

### 30

Второе убийство вызвало гораздо меньший ажиотаж среди городского населения. И хотя все газеты поместили сообщение о жуткой смерти воспитанника Интерната имени графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть, Герани Бибикова, сына героя, куриная эпидемия куда больше занимала воображение чанчжойцев. Они посчитали так: в городе объявился маньяк ничуть не хуже Потрошителя, а потому можно заняться другими проблемами. Следствие идет, шериф работает, выискивая чудовище, а невиданная болезнь касается всех лично.

Ежедневно доктор Струве принимал в своем кабинете до ста пятидесяти пациентов. Бегло осмотрев перья больного, тратя на всю процедуру не более минуты, он смело ставил диагноз — куриная болезнь.

На вопрос пациента: «А что мне с ними делать?» — врач обычно давал два совета:

— Хотите — брейте, хотите — так ходите!

— И это все? — спрашивали больные.

— А что еще?

По подсчетам эскулапа, к этому дню девяносто пять процентов городского населения страдали куриной болезнью, а надежды на скорое изобретение вакцины не было.

Ночи напролет, единственное свободное от приема время, доктор Струве проводил в своей лаборатории, где безжалостно препарировал кур, сливая из них кровь, на основе которой пытался создать вакцину. С чем только он ее не мешал: и с блюминицилом, и с щелочным фусицином, прибавлял ко всему этому муравьиную кислоту, — но все было тщетно. Влитая в вену добровольца жидкость лишь горячила кровь, но от перьев не избавляла.

Доктору даже не удалось выяснить, каким образом болезнь передается другим. Переносится ли зараза воздушно-капельным путем или еще как — все это было неизвестно.

Сам Струве каждое утро трогал свой затылок, но, к удивлению своему, перьев на нем не обнаруживал.

Что же это я не заболеваю? — думал эскулап. Намного легче бы стало экспериментировать с вакциной на себе!

Но болезнь не приходила.

Ежедневно во всех вечерних газетах публиковался короткий отчет об изысканиях медицины, о всей тщетности которых с неудовольствием читал народ.

То и дело возникали стихийные митинги возле здания городского совета. Митингующие требовали от властей немедленного решения проблемы, а иначе они примут свои меры.

Успокаивать демонстрантов удавалось лишь одним способом: члены городского совета поочередно выходили на балкон и демонстрировали собравшимся свои затылки, украшенные точно такими же, как у собравшихся, перьями.

Народ успокаивался, раздумывая, что если и у сильных мира сего на головах растут крылья, то чего уж говорить о них, о смердах.

— Так что же, господа, будем делать? — спросил губернатор Контата у собравшихся. Он стоял возле зеленой гардины и, слегка отодвинув ее, разглядывал через окно копошащийся внизу народ. — Ну-с, что же вы молчите, господа?

Все члены городского совета молча жевали бутерброды и запивали их кто чаем, кто кофе. Каждый из них уже множество раз передумал про себя, как решить создавшуюся проблему, но и бесполезность этих попыток была написана у всех на лице.

— Как вам удастся производить такую вкусную ветчину? — спросил г-н Персик у г-на Туманяна. — В каких только городах и весях я не едал ветчины, но ваша — самая превосходная! Этакая жирненькая, розовая!.. — Г-н Персик взял с подноса еще бутербродик и с наслаждением откусил от него кусочек.

Скотопромышленник Туманян натянуто улыбнулся и, поднявшись со своего места, сказал:

— Надо нам принять в члены городского совета кого-нибудь из народа!

Все с удивлением посмотрели на него, и каждый отметил, что у скотопромышленника по-прежнему красивые глаза.

— Это успокоит население, — пояснил он. — Разрядит наэлектризованную обстановку.

— У нас уже есть представитель народа! — заметил г-н Мясников. — Господин Персик... Если только заменить его!..

— Свинская шутка! — возмутился представитель обывателей. — И достаточно жлобская!

— Кто же шутит!.. Вы, господин Персик, дорого обходитесь казне! Я заметил, что вы уже съели шестнадцать бутербродов сегодня! — сказал г-н Мясников. — Объявим народу, что вы растратчик, и переизберем вас! Налогоплательщики любят, когда низвергаются авторитеты!

— Да вы!.. Да знаете что!.. Я вам! — От возмущения г-н Персик заверещал что-то нечленораздельное, но по-прежнему держал в руке надкусанный сэндвич.

— Господа, господа! — недовольным голосом попросил Ерофей Контата. — Прошу вас, прекратите!.. Вы в самом деле как малые дети!.. Надо решить серьезный вопрос! Так давайте его решать!

— А мне, например, нравятся мои перья! — сказал г-н Бакстер. — И жене моей они по вкусу. Все лучше, чем лысина! — Он сделал большой глоток из чашки с кофе. — Да и мне интересно перебирать перышки супруги. Все-таки хоть какое-то чувство новизны!

— Скажите, ваше преосвященство, что нам нужно делать в этой ситуации? — спросил Контата, закрываясь зеленой гардиной от улицы. — Мы нуждаемся в вашем совете.

Митрополит Ловохишвили позвякивал четками и, казалось, не слышал вопроса губернатора. Он сидел склонив голову, уткнувшись густой бородой в колени, этаким мыслителем, и присутствующие подумали, что наместник Папы отыскал выход в сложном лабиринте и сейчас возглаволет истину.

— На все воля Божья! — рек митрополит. — Отдадимся промыслу Божьему и потечем в потоке Его воли. Река всегда впадает в еще большую реку, а та, в свою очередь, оплодотворяет своими водами океан!

После высказывания Ловохишвили все присутствующие притихли. Сам митрополит с удвоенной силой защелкал четками.

— Знаете, — не выдержал г-н Бакстер, — иногда кто-нибудь скажет что-нибудь эдакое умное, так что оскомина на зубах, как будто лимон целиком сожрал! И в харю хочется такому умнику дать!..

— Все!!! — вскричал митрополит, вскакивая со своего места. — Больше я не могу этого терпеть! — и принял боксерскую стойку. — В харю мне хотите дать?! Извольте попробовать!



Г-н Бакстер тоже вскочил со своего кресла, но его полная фигура проигрывала на взгляд внушительной конституции Ловохишвили.

— Ну те-с! — шипел наместник Божий. — Вот моя харя! Дайте по ней! Ну же!..

— Как-то рука не поднимается бить попа! — отвечивал г-н Бакстер, отступая к окну. — Вот когда Папа Римский даст вам пинка под зад!..

— Это я поп?! — заорал в бешенстве митрополит. — Да я тебе, жирный ублюдок, все перья повыщипываю! — и, раскинув руки, стал надвигаться на противника.

— Давай-давай! — подзуживал Бакстер, готовясь провести борцовский прием, виденный им когда-то в заезжем цирке. — А я воткну твои перья тебе же в зад!

Все остальные члены городского совета с огромным интересом наблюдали, чем кончится этот долгожданный поединок. Лишь губернатор Контата, сознавая свою ответственность перед судьбами мирскими, решительно шагнул на середину залы, вставая между коллегами.

— Прекратите! — оглушительно сказал он, так, что зазвенели хрусталем подвески на люстре. — Всем сесть!

— Ну уж нет! — процедил сквозь зубы митрополит. — Сначала дело закончим, а потом уже сядем!

И вот на этом самом интересном месте дверь в залу неожиданно открылась и в нее вбежал запыхавшийся юноша-курьер.

— Там... это!.. Там кур!.. — никак не мог выговорить курьер. — Ух!..

— Что там? — переспросил губернатор. — Вы что врываетесь во время заседания? Вы в своем уме?

— Да там!.. Там такое!..

— Говорите яснее, черт побери!

— Там кур уничтожают! — наконец сформулировал юноша.

— То есть как уничтожают?!

— А так!.. Убивают их по всему городу! Головы отрывают! Жгут огнем и автомобилями давят!

— Вот это да! — протянул г-н Персик.

— Бунт, что ли? — спросил г-н Туманян.

— Ага, — радостно подтвердил курьер. — Народный бунт!

— Проваливайте отсюда! — заорал Ерофей Контата.

— Что? — не понял юноша.

— Вон отсюда! — завопил губернатор.

В ту же секунду курьер исчез. Митрополит Ловохишвили и г-н Бакстер расселись по своим местам. Все члены городского совета выглядели удрученными.

— Вот и выход из сложившейся ситуации, — подвел черту г-н Мясников. — Жизнь сама ответила на наш вопрос.

— Кстати, господа! — вспомнил митрополит. — Новый урожай синих яблочек! Отец Гаврон дарует, — и достал из-под кресла корзинку. — Не изволите попробовать?

Ловохишвили не поленился обнести присутствующих фруктами, не обойдя своим вниманием и г-на Бакстера.

Члены городского совета захрустели дарами природы.

— Что будем делать? — поинтересовался Контата.

— Армия? — предложил г-н Туманян.

— Против своего народа? — спросил г-н Мясников.

— Не выход, — подтвердил губернатор.

— Полиция! Народные дружины! — затараторил г-н Персик. — Пресечь беззаконие! Немедленно!

Ерофей Контата снял с телефонного аппарата рожок и попросил телефонистку связать его с шерифом.

Иван Фредович Лапа разъяснил, что волнения происходят по всему городу, но полиция принимает повсеместно меры.

— Меры эффективны? — спросил губернатор.

— Мы делаем все возможное! — отвечивал шериф. — Но народ разъярен, и ему нужно куда-то девать свою ярость!

— Спросите его, — зашептал г-н Персик, — как там наши предприятия?

— А как ситуация на «климовском» поле? — поинтересовался г-н Контата.

— В этом районе все спокойно.

— Ну и слава Богу.

— Мы выслали в районы производства усиленные наряды полиции и народной дружины.

— От лица всего городского совета вам большое спасибо!

— Да не за что! — отмахнулся шериф Лапа. — Это моя прямая обязанность. Я с вашего позволения отключаюсь. Ситуация требует моего постоянного контроля.

— Да-да, конечно!..

Ерофей Контата повесил рожок на рычаг и вновь подошел к окну.

— Итак, господа, пока нашему бизнесу ничего не угрожает! Но кто знает, как ситуация будет разворачиваться дальше!

Губернатор бросил яблочный огрызок в урну, тогда как г-н Персик обсыпал свой с особой тщательностью, сплевывая лишь косточки.

— Как сладок плод любви! — произнес он возвышенно. — Бедный отец Гаврон!.. Он что, так и не знал женщины в своей жизни?

— Он истинный монах! — с чувством произнес митрополит.

— Надо охранять производство! — сказал г-н Персик. — Иначе мы останемся с голым задом!

— Вам к этому не привыкать! — ответил предводителю мещанства г-н Мясников. — Хотя ситуация и вправду очень опасная! — и почесал свой затылок. — От этих проклятых перьев голова чешется!

Все дружно почесались, заразившись примером г-на Мясникова.

— Ишь ты!.. А у меня перышко вылезло! — удивился Ловохишвили, держа перед своим носом куриное перо. — А раньше сколько ни дергал!..

— Смотрите-ка! — обратился к губернатору г-н Туманян. — У вас на пиджаке тоже перья лежат! — Он скосил глаза на свой сюртук. — И у меня тоже!

Г-н Бакстер, поглядев на коллег, с каким-то воодушевлением ухватился за свой затылок и с отчаянием дернул себя за волосы.

— Ой! — вскрикнул он, разглядывая зажатые в руке волосы вместе с пучком перьев. — Вырвались! Все вырвались!

В последующие десять минут члены городского совета с особой тщательностью ошпыльвали себя, разбрасывая вокруг птичью гадость, которая, медленно кружась, падала на персидский ковер.

— Это Гавроновы яблоки! — молвил митрополит Ловохишвили. — Это яблоки нам помогли!.. Вот вам и лекарство от куриной болезни!

— Немедленно раздать всему населению синие яблоки! — вскричал Ерофей Контата. — Сей же час!

— Ага, как же! — потряс бородой митрополит. — Яблоч-то всего одно дерево, да и то половину съели!

— Как — одно дерево?

— Да так. Выросло одно, с него и питаемся по осени!

— Господи, да что же это такое! — схватился за голову губернатор. — Так пусть отец Гаврон засаживает этими яблонями целый сад! Да что там сад — поле!

— И что дальше?.. Ну, засадит он, а плодоносить деревья начнут не раньше чем через три года. А за эти три года знаете сколько воды утечет!..

— Господи, что же делать! Казалось бы, вот он, выход, ан нет, сквозь пальцы выскользнул!

— А не надо, не надо этому печалиться! — с какой-то внутренней радостью заявил г-н Персик. — Нам повезло! И этому надо радоваться!.. Что поделаешь, если яблочек мало. Такова воля Божья. И этой волею Божьей

целебные плоды были посланы нам!.. Правильно, ли ваше преосвященство, я рассуждаю?

Митрополит поглаживал свой ошипанный затылок и наслаждался гладкостью шеи.

— Яблоки не Господом нам посланы, а отцом Гавроном, — ответил наместник Папы. — Он их вырастил во имя любви — он им и хозяин!

— Да они же растут на территории чанчжойского храма! — не унимался г-н Персик. — А следовательно, принадлежат церкви! Монахи не имеют собственности! Я это наверное знаю!

— Все-таки надо переизбрать Персика! — с уверенностью произнес г-н Мясников. — Мерзкая, ничтожная личность! Мещанин всегда останется мещанином, живи он хоть в Лувре! Давайте, господа, голосовать за мое предложение. Вношу его официальным образом. Кто за переизбрание Персика?..

— Пойдите! Пойдите! — внезапно осипшим голосом заговорил Персик. Лицо его при этом спустило всю естественную краску куда-то в атмосферу и стало мертвенно-серым. — Вы неправильно поняли меня, господа! Я вовсе не собирался пользоваться сам этими яблочками! У меня серьезная мысль имеется!

— Какая же у вас мысль? — поинтересовался г-н Бакстер, ковыряя куриным пером в зубах.

— Я... я... — Персик с трудом брал себя в руки. — Я предлагаю собрать все оставшиеся яблоки и сварить из них компот!.. Вот...

— Компот? — удивился г-н Туманян. — Зачем?

— Сколько яблочек еще осталось, уважаемый митрополит? — спросил г-н Персик, и в его глазах засверкали искорки надежды. — Ну же, сколько?! — Ну... — задумался Ловохишвили. — Ну, этак штук сорок или что-то возле этого...

— Я думаю, хватит! — кивнул мещанин. — Не всем, так многим!

— Да чего хватит! -- не выдержал Контата. — Говорите яснее, в конце концов!

— Мы соберем все оставшиеся яблоки и сварим из них компот. А затем напоим им всех больных и страждущих! Таким образом мы справимся с эпидемией!

На некоторое время в зале заседаний воцарилось гробовое молчание. Каждый продумывал про себя идею, рожденную во спасение свое г-ном Персиком.

— А что, пожалуй, это выход! — разрушил тишину Ерофей Контата.

— Мысль интересная! — поддержал г-н Бакстер.

— Это единственный выход! — не унимался г-н Персик. — Надо немедленно послать за отцом Гавроном!.. Или нет, лучше выслать в чанчжойский храм охрану, чтобы уберечь дерево от опасности!.. И ищите повара, который сварит вакцину!

— Моя жена может сварить компот! — предложил г-н Бакстер. — У нее это неплохо получается!

— Нет уж! — пресек предложение г-н Персик. — Нужен независимый повар, который не знает о целебном свойстве яблочек! Не дай Бог...

— Вы на что это намекаете?! — зарычал г-н Бакстер.

— На том и порешили! — подвел черту губернатор. — Будем варить компот и лечить народ! На этом считаю наше заседание закрытым! Прошу всех разойтись и заняться текущими делами!

Члены городского совета покинули административное здание, расселись по дорогим авто и поспешили каждый в свою сторону. Несмотря на, кажется, найденный выход из сложившейся ситуации, в их душах было крайне беспокойно, и тоска завладевала их сердцами.

— На всякий случай будь готова к отъезду! — сказал г-н Бакстер своей жене.

То же самое сказали своим женам и остальные. У кого жен не было, начали готовиться к отъезду самостоятельно.

Взгляд Генриха Ивановича Шаллера наткнулся на клубок синей шерсти, который лежал на шкафу. Из клубка торчали вязальные спицы, блестящая в лунном свете.

Полковник был подавлен свалившимся на его голову. Всегда сильный, источающий мужественность, сейчас он походил на старика, измученного головными болями. Глаза подернулись мутным, а обычно тщательно выбритые щеки чесались от клочкастой седой поросли.

Хочу сойти с ума, подумал Шаллер, глядя на спицы. Сойдя с ума, я оправдаюсь перед самим собой... А может быть, я уже сошел с ума?..

Неожиданно полковник услышал жалобный вой, доносящийся из сада. Вой был протяжным, как будто кто-то умирал под вишневыми деревьями и просил о помощи.

Елена, понял Генрих Иванович, не в силах оторваться от вязальных спиц. Уж она точно спятила!

Шаллер тяжело поднялся со стула и доковылял до шкафа. Он приподнялся на цыпочки и дотянулся до клубка шерсти. Двумя пальцами вытащил одну из спиц и выпрямил ее, слегка погнутую. Затем порылся в комод и нашел в нем напильник.

— Вжик, вжик! — ласково приговаривал полковник, натачивая острие. — Вжи-и-ик!

Ах, как он прав, этот Теплый! Господи, как он прав! Что моя жизнь? Зачем она прожита?! Что я сделал такого важного, зачем дышал все это время!.. Вжик! Я — обыватель! — подвел черту полковник. Я — мещанин! Лазорихиева неба не существует, так же как не существует открытий, сделанных мною!.. Вжик-вжик! Как же он сказал мне?.. Мучайтесь всю жизнь — и вследствие этого, может быть, родите что-нибудь достойное!.. А если нет сил мучиться своей подлостью?!

Шаллер попробовал подушечкой большого пальца острие спицы и разглядел на коже капельку крови.

Как странно, я не чувствую боли! — удивился Генрих Иванович.

Из глубины сада опять донесся вой Белецкой, на сей раз более короткий, но и более отчаянный.

Вот как бывает, продолжал раздумывать Шаллер. Вот так поставишь на одну карту — и проигрываешь все свое состояние! До сего момента был уважаемый член общества — и в секунду опозорен. Честь потеряна, презрительные взгляды, позорный долг и пистолет во рту корябает десны!.. Лучше действительно сойти с ума. С сумасшедшего другой спрос! Его больше жалеют, нежели бичуют! — Лицо полковника искривилось. — Господи, я первый раз в жизни пожелал, чтобы меня пожалели!.. Это я-то, сильный и мужественный человек!.. Эка, как меня скрутило!..

Генрих Иванович отложил в сторону напильник, встал со стула и, расправляя мышцы, напряг их так, что треснула под мышкой нательная рубашка. Сжимая в руке спицу, он вышел в сад и в полной темноте на ощупь направился к беседке, где в безумии своем выла Елена.

Что же у нее в голове? — задал самому себе вопрос Шаллер. Какая такая жизнь происходит под черепной коробкой безумцев, если они так целенаправленны в своей галиматье? Счастливы они или страдают отчаянно?..

Неожиданно Генрих Иванович испугался, что вместо своей жены обнаружит за пишущей машинкой тощую курицу, кудахтающую, с красными глазами. Он перевел дыхание и сделал еще несколько шагов вперед. И замер, напрягая зрение, стараясь получше разглядеть свою жену.

Вроде бы все в порядке, успокоился он, наблюдая спину Белецкой, которая искривилась уродливой веткой и размеренно покачивалась взад-вперед.

— Елена! — шепотом позвал Генрих Иванович. — Елена! Ты слышишь меня?



— У-у-у! — завывала Белецкая так жалобно и одновременно страшно, что Шаллер содрогнулся и судорожно сглотнул.

— Да не вой ты так! — сдавленно сказал он. — Сил моих больше нет!

— У-у-у! — продолжала Елена все громче и ужаснее.

— Заткнись!!! — закричал Генрих Иванович в отчаянии. — Не могу больше!!! — и изо всех сил с крутого размаха нанес удар спицей в спину жене. — Вот тебе, вот!!!

— У-у-у!!! — Вой Елены достиг апогея.

Шаллер все втыкал спицу в спину жене, раз за разом, пока не понял, что спица от ударов согнулась спиралью и более не достигает цели.

А Елена все продолжала выть, надрывая душу полковника потусторонностью.

— Да когда же ты сдохнешь?!! Что же это такое, в конце концов!

Он обхватил спину Елены руками, пытаясь нащупать раны, оставленные спицей, кровь, сочащуюся сквозь материю, но платье, надетое на Белецкую, было совершенно сухим, да и ран на теле не было вовсе.

Силы оставили Шаллера. Он с трудом повернул жену к себе лицом и стал смотреть в ее глаза.

— Ты уничтожила меня! — зашептал он. — Ты лишила смысла мою жизнь! Я ненавижу тебя! Я проклинаяю тот день, когда ты прельстила меня своим рыжим телом! Я проклинаяю твоего отца, чьих лошадей сожрали во время войны! Я всю жизнь хотел любить другую женщину! Такую, как Протуберана! Она погибла, а я все еще ее хочу, ее люблю!

На миг в глазах Елены родилась мысль. Она резво взмахнула рукой, стараясь попасть Шаллеру в лицо. Ее отросшие ногти, поломанные и кривые, чиркнули Генриха Ивановича по щеке, оставляя на ней кровавые царапины.

— Пшел вон! — с ненавистью сказала Елена и завывала на всю округу так, что загавкали собаки. Мысль ушла из ее глаз так же быстро, как и пришла.

Этой ночью Шаллер первый раз в жизни напился. Он выпил все, что имелось в доме, — графин водки и бутылку миндального ликера. Его могучее тело рухнуло на пол, рюмка скользнула из пальцев, он несильно ударился головой о кресло и заснул.

## 32

На главной площади города усиленно митинговали. Лица ораторов были искажены злобой, а слушатели громко выражали им свое одобрение.

— Немедленно уничтожить всю эту мерзкую и вонючую курятину! — кричал на всю площадь плюгавый мужичонка в кепке с помпоном. — Морить ее, жечь, ломать кости и отрывать гребешки!

— Правильно! — поддерживали из толпы. — Давить их, не зная пощады!

— Это же надо — такое творится! — продолжал надрываться мужичонка. — Это мы, люди, высшие существа, должны из-за этих пернатых покрываться перьями! Да так мы скоро начнем кудахтать и кукарекать! Над нами будет потешаться весь цивилизованный мир! Предлагаю немедленно отправиться на куриное производство и уничтожить этих тварей!

— Дави их, круши! — завизжала какая-то баба. — А-а-а, суки позорные!

Толпа заулюлюкала, воинственно настроенная, и, переминаясь с ноги на ногу, ожидала конкретного приказа.

— Стойте! Стойте! — раздался над толпой голос. — Подождите!

Люди обернулись и увидели самого губернатора Контату, который вместе с митрополитом Ловохишвили тащил огромный чан. Со лбов обоих катил обильный пот, а лица были красны от натуги.

— Подождите! — кричал Ерофей Контата. — Мы принесли вам компот!

В толпе опешили.

— Какой такой компот? На кой хрен он нам, твой компот!

— Они на нас миллионы делают! — с удвоенной силой заорал мужичонка в кепке. — В кур нас превращают, чтобы еще больше денег нажить, а теперь компотом хотят отделаться!

— Да послушайте же! — потряс кулаками митрополит.

— И слушать не будем! — завизжала баба. — А ну, за мной, на климово поле!!! Сейчас мы покажем, кто курица, а кто человек!

В толпе поднялся такой гвалт и карусель, что слова Ловохишвили, что это не просто компот, а вакцина против болезни, потонули в нем, как чириканье птенца во время пушечной канонады.

— За мной! — призывала баба, выпячивая грудь. — Дави! Су-у-у-ки-и!

Наконец толпа в последний раз качнулась и хлынула с площади свободной рекой, сломившей дамбу нерешительности.

Митрополит и губернатор еще пытались что-то сделать, кого-то удержать, кому-то подставить подножку, но все было тщетно. Народ обрел единое сознание и единую цель, а потому устремился в слаженном порыве учинять бойню.

Пробегая мимо отцов города, плюгавый мужичонка в кепке со всех сил пнул чан с компотом, криво улыбнулся и побежал дальше. Сладкая вакцина выплеснулась на бульжную мостовую и в мгновение ушла сквозь щели под землю.

— Ах!.. — сказал губернатор.

— Ох!.. — вторил ему митрополит.

Уже через мгновение площадь опустела.

— Я уезжаю, — сказал губернатор митрополиту.

— Куда?

— Куда-нибудь в среднюю полосу. Стану просто помещиком. Денег хватит.

— А я отбываю в Ватикан за новым назначением. Еще много мест на земле существует, где язычество господствует.

— Кстати, — поинтересовался губернатор. — Вам чан не нужен?

— К чему он мне?

— Ну, тогда, с вашего позволения, я себе его возьму. Знаете, очень удобно для варки варений.

— Да ради Бога.

— Поможете донести?

— Нет. Я в другую сторону.

— Тогда ладно. Как-нибудь сам...

Толпа стремительно направлялась к «климовскому» полю. В ее слаженном беге было что-то от первобытного племени, загоняющего стадо мамонтов.

По пути к куриному производству погромщики давили и топтали диких кур, проходясь коваными сапогами по их кладкам. Во все стороны брызгал яичный желток, напоминая выплеснувшиеся с небес лучи солнца, кружилось разноцветное перо и стоял над городом истошный надрывный птичий крик.

— Ах ты, Господи, что происходит! — всплеснула руками Вера Дмитриевна, глядя из окна на пробегающую толпу. — Куриный погром!.. Лизочка! Лизочка!.. Пойди погляди скорее! Наконец-то они решились!

Лизочка и так все прекрасно видела, сидя на подоконнике в своей комнате. Рядом с кроватью стояли чемоданы и тюки с вещами, собранные по настоянию г-на Туманяна.

Несмотря на поспешный отъезд, Лизочка Мирова была счастлива. Накануне скотопромышленник сделал ей предложение, и она не раздумывая согласилась. Ее воображение волновал отъезд в столицу, в которой

она никогда не бывала, но о которой ей столько грезилось еще в девичьих снах.

— Ах! — сказала Лизочка. — Да пропади эта дыра пропадом!

— Ну вот и началось, — прошептал доктор Струве, заслышав народный вопль. — Вот и конец наступает.

Он оглядел свою уютную лабораторию и чуть было не заплакал о том, что все это придется оставить. И дом, и практика — все коту под хвост.

А ведь я был почти первым жителем города! — вдруг вспомнил эскулап, но, подавив волевым усилием сантименты, сложил в саквояж врачебный инвентарь.

— Господи, что там?! — Отец Гаврон напряг зрение. — Люди, что ли, бегут? — Монах перекрестился. — Никак громить производство собираются!

Он ничуть не испугался, а откупорил бутылку с формолью и сделал из нее глоточек, потом взял «фоккель-бохер» и передернул затвор.

Наконец толпа достигла «климовского» поля, окружив его плотным кольцом. Самое большое гнездо заразы отделяла от народа бетонная стена высотой в два человеческих роста. Единственный вход — ворота, обшитые листовым железом, были накрепко заперты изнутри.

Народ шумно и злобно дышал, встретив неожиданное препятствие. Слышалась матерная брань.

Отец Гаврон свесился с наблюдательной вышки:

— Эй, вы чего там?

Народ задрал головы.

— А ты чего? — спросил плюгавый мужичонка. При этом с него свалилась кепка и измазалась в курином помете.

— Я ничего, — ответил монах. — Я сторожу.

— А ну слезай! — рассердился предводитель, брезгливо разглядывая кепку.

— Открывай ворота! — закричала баба. — Сейчас такое начнется!..

— Слушайте-ка меня внимательно! — миролюбиво начал отец Гаврон. — Ворота я вам не открою. Да и вам пробовать не советую! — Он приподнял ружье и уложил его на перекладину, так что ствол смотрел прямо в гущу толпы. — Лучше охолодите-ка свой пыл и ступайте по домам. Правда лучше будет.

— Да ты чего — против народа?! — взвизгнула баба. — Да мы тебя, сука в рясе!!!

Предводитель кивнул нескольким молодцам, которые тут же отправились на поиски бревна, чтобы соорудить из него таран и взять производство приступом.

— Не хочешь по-доброму открывать, — сказал мужичонка наверх, — мы силой возьмем. А только тебе от этого плохо будет!

— А нечего меня пугать, — ответствовал монах. — Я одного Бога боюсь. А тобой, прыщ гнилой, только комаров пугать!

Лицо предводителя набрякло кровью, от возмущенья он потерял дар речи и лишь погрозил наверх костлявым кулачком.

— Да ты что, монах! — заголосила баба. — Ты что же, не знаешь, сколько мы от этих кур натерпелись?!

— Да-да! — поддержали в народе.

— Все пострадали! — продолжала баба. — Мужа моего во время нашествия куры разодрали на кусочки! Вдова я по милости этих тварей!

Неожиданно под сердцем отца Гаврона екнуло.

— Как звать тебя? — осипшим голосом спросил он.

— А тебе что?!

— Да так просто...

— Евдокия. Евдокия Андреевна от рождения, — ответила баба удивленно.

— Вот как бывает, — проговорил отец Гаврон. — А меня не помнишь?

— Да нет вроде. Или плохо вижу снизу...

— Андреем меня звали в миру. Андреем Степлером. Не помнишь?

— Андрюшка?! — изумилась баба.

— А я все-таки синие яблоки произвел. Только ты не дождалась, замуж вышла! А я мужа твоего отпевал. Помнишь?

В этот момент подоспели молодцы, притащившие огромное бревно.

— Последний раз спрашиваю! — обратился к монаху мужичонка. — Откроешь ворота?

— Не открою, — ответил отец Гаврон. — Не рви глотку понапрасну!

— Прости меня, Андрей! — крикнула баба снизу.

— Да чего уж там, — махнул рукой монах.

— Не сложилось у нас с тобой!..

— Всяко бывает.

Их разговор перекрыл глухой звук бьющего о металл дерева.

— Раз-два, взяли! — командовал мужичонка. — Навались!

— А ну-ка подожди, Дуся! — крикнул монах и тщательно прицелился из ружья. Раздался хлопок, и предводитель, вскинув руки, удивленно взглянув на все, упал на землю, затерявшись у кого-то в ногах.

— У-у-у! — негодуяще завывла толпа. — У-гу-гу!..

А кто-то, особо неприметный, достал из кармана пращу, не торопясь зарядил ее свинцовым грузилом и, покрутив ею для разгона, выстрелил в ответ.

Грузка угодила монаху в левый висок, раздробив кость. Монах был крепок и, прежде чем умереть, схватился рукой за бутылку с формолью, затем оттолкнул ее, вдруг вспомнил своих предков, царскую благодарность, молоденькую Дусю, Бога и уже после всего этого перевалился через перекладину вышки и рухнул в толпу осаждавших. Вслед за ним скатилась и бутылка с формолью, разбившись вдребезги и окатив людей едкой жидкостью.

— А все-таки не надо было монаха убивать! — сказал кто-то.

Наконец дверь после многотрудных натисков поддалась и, жутко заскрежетав, распахнулась, впуская очумевших погромщиков.

Толпа, вопя и гогоча, устремилась внутрь куриного производства. Каждый старался обогнать другого и первым обагрить свои руки кровью.

И только Евдокия Андреевна осталась за воротами. Она присела возле мертвого монаха и погладила его волосы.

— Андрюшка. Андрюшка Степлер! — сказала баба и вдруг вспомнила, что и у нее когда-то было другое имя. — Какое же?.. Ах да, мадемуазель Бибигон. Или пригрезилось мне это?.. — Баба прикрыла монаху глаза, попыталась было заплакать, но не получилось. — Прощай, Андрей Степлер.

Она поднялась с корточек и медленно пошла прочь от куриного производства. Почему-то ей вспомнился капитан Ренатов. Он выплыл из памяти жалкой своей персоной, греющей ладони о бока горячего самовара.

Надо уезжать, решила баба, отгоняя от себя видение, и ускорила шаг...

Кур лишали жизни кто чем и как мог. Их рвали на части голыми руками, резали кухонными ножами, сворачивали головы.

Кто-то из особо отчаянных крикнул:

— Пали огнем! Жги их!

Завывало пламя, расплескиваясь по территории. Куры пытались спастись бегством, но повсюду натыкались на засады погромщиков. Над «климовским» полем поднялись густой смрад и копоть от паленого пера и горелого мяса. Все это еще более распалило нападавших, и они без устали убивали. Трех миллионов кур, а по уверениям счетной комиссии их было примерно столько, ожидала неминуемая гибель.

Кипела кровь, смешанная с бензином, бегали по чернозему птичьи тела с оторванными головами. Толпа вдыхала кровавые ароматы и была пьяна.



Но неожиданно что-то изменилось в поведении кур. Они перестали беспорядочно бегать по загону и сгрудились в один громадный клин. Ни одна из особей этого многомиллионного птичника не издала ни звука. Ни «ко-ко», ни «кукареку».

Погромщики, почувствовав перемену в поведении кур, на какой-то момент остановили свою пьяную резню, пытаясь сообразить, что бы это могло значить. Они тоже сгрудились в одну кучу. Запыхавшиеся и восторженные, люди ждали продолжения.

Над «климовским» полем воцарилась абсолютная тишина. Молчали куры, тихо дышали люди. Стенка на стенку.

Во главе куриного клина, переминаясь с лапы на лапу, стояла большая серая курица. Ее красный гребешок, украшающий голову, слегка дрожал, а клюв был приоткрыт.

Серая курица дернула головой, изогнула тело и вдруг побежала в сторону людей. Спустя мгновение за ней двинулись и остальные куры. Многомиллионное стадо кур, эта разноцветная туча перьев и мяса, в тихом беге надвигалось на погромщиков. А те в свою очередь, зачарованные этой картиной, стояли на прежнем месте, как бычки на заклании.

Многие в толпе, наблюдающие этот могучий бег, вдруг вспомнили день куриного нашествия, а от этого им стало страшно.

А куры все бежали, склонив свои головы к самой земле. И когда, казалось, столкновение стало неизбежным, когда люди отпрянули в страхе, сбивая друг друга с ног, большая серая курица вдруг оттолкнулась от земли, расправила свои крылья и взлетела круто к небесам. За ней взлетели и остальные, взмывая огромной тучей над землей.

Птицы поднимались неуклюже, чересчур часто взмахивая крыльями. Но они все же летели, выстраиваясь в длинный куриный клин.

Как рассказывали очевидцы и со всех других окрестностей, птицы, разбежавшись, взлетали под облака, пристраиваясь к своим собратьям, распределяясь в клине по весу и величине.

Через считанные секунды все куры Чанчжоэ поднялись в воздух.

— Смотрите, куры летят! — кричали погромщики. — Вот это диво!

— Да и черт с ними!

— Да пусть улетают к каким-нибудь французам!

— Но все-таки это чудо!

Через минуту куриный клин закрыл солнце, и наступило солнечное затмение. Кур было такое великое множество и улетали они так долго, что после того, как последняя тварь скрылась за горизонтом, наступила ночь...

### 33

Этой же ночью уезжал из города г-н Теплый. Все его пожитки уместились в картонный чемодан, на боку которого давно выцвела наклейка «Венский университет». Неся его легко в левой руке, правую он оберегал от всевозможных колебаний и сотрясений. Сломанные пальцы, перетянутые куском сукна, ныли и напоминали обо всех муках, перенесенных Гаврилой Васильевичем в этом городе.

Наклеечка с сохранившейся позолотой напоминала о днях юности, о студенческой скамье и мечтаниях о блестящем будущем.

Был бы я сейчас специалистом по России при японском императоре, думал славист. Или переводчиком при герцоге Эдинбургском!.. Как бы тогда сложилась моя жизнь?

Теплый одернул себя.

Зачем грезить о том, чего не случилось!

Гаврила Васильевич вспомнил об университетских друзьях.

Где они сейчас? Так же ветрены и увлечены необыкновенными идеями? Или же все наоборот — остепенелись, нарожали детей, читают обыкновенные книги?.. Интересно было бы поглядеть на них!.. Теплый дотронулся больной рукой до груди, нащупывая в пиджаке пачку денег, при-

сланную г-ном Шаллером. А почему бы и не навестить товарищей? — подумал он. Что мне мешает? Сяду на поезд — и в Вену! Деньги у меня есть!

От одного только представления, от открытия, что он может через несколько дней, ну, пускай, через неделю, оказаться в самом сердце Европы, Гаврила Васильевич ошалел от радости. Он припрыгнул на дороге, взметая пыль, и почти побежал, как будто до цивилизации осталось всего лишь несколько шагов. Прыгая, он вспоминал венские улицы с их бесчисленными кафе, с запахами кофе и подогретых булочек с маслом.

— А Венская опера! — воскликнул учитель. — Ложи и балконы с прекрасными дамами!

Голова у Гаврилы Васильевича слегка кружилась, как от доброкачественного шампанского, и он то и дело произносил какую-нибудь фразу вслух:

— Гаудеамус игитур! — пропел он из студенческого гимна. — Только в спальном вагоне!.. Буду давать уроки!.. Буду расшифровывать старинные рукописи! Буду славен и богат!..

— А костюмчик на вас для покойника! — неожиданно услышал Гаврила Васильевич откуда-то сбоку.

От внезапности он споткнулся и чудом удержался на ногах. Лишь чемодан уронил в пыль.

— В таких костюмах обычно хоронят!.. Это я, Джером! Я справа от вас!

— Ах, это ты! — протянул славист, разглядев невысокую фигурку в стороне. Настроение у него почему-то испортилось. — Чего тебе?

— Уезжаете?

— Уезжаю. А тебе что?

— Чего ж не попрощались?

Джером стоял в двух метрах от учителя. Если бы было чуть светлее, то можно было бы увидеть, что вся одежда мальчика, от воротника рубахи до ботинок, сплошь вымазана кровью. Глаза его блестели, как от болезни, он слегка дрожал — то ли от возбуждения, то ли действительно от жара. А правую руку держал за спиной, сжимая какой-то предмет.

— Все-таки надо было попрощаться! — сказал Джером. — Столько времени вместе провели! Учитель и ученик!

— Извини, не успел.

— Ладно, прощаю... Куда едете?

— Пока не решил.

— Понятно... — Джером сделал шаг вперед. — Видели, как куры улетают?

— Видел.

— Вы туда же уезжаете?

— Куда? — не понял Теплый.

— Ну, куда куры летят.

— А куда они летят?

— Вот и я вас спрашиваю, куда это они упорхнули!

Теплый наклонился и поднял из пыли чемодан.

— Слушай, у меня так мало времени! — сказал он. — Ты меня прости! Не поминай лихом и все такое! — и пошел.

— А я никому не сказал, что вы Супонина с Бибиковым замучили! — Джером шагнул следом. — Только одному человеку намекнул.

Славист вздрогнул и остановился.

— Какому человеку?

— Сами знаете.

— Кто же это?

— Подумайте.

Гаврила Васильевич обозлился:

— Какому человеку, я спрашиваю?

— Сами догадайтесь!

Теплый поглядел по сторонам — нет ли за ним погони. Удостоверившись, что дорога пуста, учитель опустил чемодан на землю. Выбралась на

небо луна, делая дорожную пыль почти белой, и у чемодана появилась тень.

— Подойди ближе, — попросил славист.

— Зачем? — удивился Джером.

— Я хочу с тобой поговорить.

— А разве вы меня отсюда не слышите?

— Все-таки подойди ближе.

— Ну хорошо. — Джером подошел к Гавриле Васильевичу почти вплотную и стал смотреть на него снизу вверх, по-прежнему держа правую руку за спиной.

— Чего?

— Кому ты рассказал о своих догадках?

— Разве это важно?.. Вы уезжаете... Погони за вами нет. Просто интересуетесь из любопытства?

— Ты правду мне говоришь?

— Я вас когда-нибудь обманывал?

Гаврила Васильевич еще раз коротко оглядел окрестности, затем схватил здоровой рукой мальчика за горло и стал душить его, комкая кадык тонкими пальцами.

— Глупец! — шипел он, брызгая слюной. — Я дал тебе шанс остаться на этом свете! Придурок!

Теплый извивался всем телом, стараясь вложить в здоровую руку как можно больше силы. При этом он не забывал глядеть в глаза Джерому, стараясь насладиться предсмертным страхом подростка.

— Тебе не надо было говорить, что ты обо всем догадался! — шептал Гаврила Васильевич. — А теперь придется умирать в жутком страхе!

Но мальчик не был напуган. Он чувствовал на горле сухую клешню, отчаянно задыхался, но не боялся...

— Страшно тебе?!

Нужный момент наступил тогда, когда Джером понял, что, оттяни он еще мгновение, — будет поздно. Язык просился изо рта, ни вдохнуть, ни выдохнуть не было возможности. Джером высвободил из-за спины правую руку, сжимавшую самострел, направил ствол в Теплого и выстрелил. Он попал учителю в ляжку, в мягкое место возле самого паха.

Гаврила Васильевич еще мгновение сжимал горло мальчика, затем хватка ослабла, он вдруг осознал, что в него выстрелили, понял, в какое место попали, ощутил жгучую боль, нога подломилась, и Теплый с удивлением рухнул в пыль.

— Ну что, господин учитель! — растирая шею, произнес Джером. — Ситуация изменилась. Не правда ли?

Из пулевого отверстия небольшим фонтанчиком била кровь. Славист попытался зажать рану большим пальцем, но штанина все равно быстро намокала.

— Рана пустяковая! — продолжал Джером. — Единственная опасность от нее — кровопотеря. Так в ваших атласах написано. Но и от потери крови можно умереть!

— Ты в меня выстрелил! — изумился Теплый.

— Так точно.

— Ты меня ранил!

— Правда.

— Зачем ты это сделал?!

— Я хочу, чтобы вы испытали страх, — ответил Джером и, взведя курок самострела, направил дуло в глаз учителю. — Сейчас я выстрелю в вас еще раз. Дробь пробьет роговую оболочку глаза, взорвет зрачок, и белок выплеснется вам на щеку. Возможно, сразу вы не умрете, но я выстрелю еще раз — во второй глаз.

— Ты что! — отшатнулся Теплый. Его спина уперлась в чемодан с венской наклейкой, он вздрогнул всем телом и заколотил здоровой рукой по колену. — Ты не должен этого делать! Ты не можешь этого сделать!

— Почему?

— Потому что ты еще ребенок! Ты не получишь от этого удовольствия!

— Я получу удовлетворение, — пояснил Джером и приблизил дуло самострела к лицу учителя.

— А-а-а! — закричал Теплый так, что, казалось, задергалась в небесах луна. — Да что же это такое! Что же это меня все мучают! Дайте же мне, в конце концов, убратся из этого проклятого города на все четыре стороны! Не надо меня мучи-и-и-ть!!!

На исходе последнего крика Гаврилы Васильевича послышалось тархтенье автомобиля. В глазах Теплого образовалась надежда, он пополз навстречу шуму, воодушевленно шепча:

— Возьмите меня!.. Возьмите!..

Авто приблизилось и остановилось, освещая фарами ползающего в пыли учителя. Щелкнула дверь, и на дорогу выбрался доктор Струве.

— Господин учитель?! — удивился эскулап. — Что вы тут делаете?

— Меня... Я...

Из темноты в луч света вышел Джером.

— На нас напали разбойники, — пояснил мальчик. — Меня пытались задушить, а господина учителя ранили в ногу. Он истекает кровью.

— Ай-яй-яй! — запричитал доктор. — Ах, времена!.. Ах, нравы!.. Подождите, я возьму из кабины свой саквояж.

Пока доктор рылся в автомобиле, Джером встал над сидящим в пыли учителем, широко расставил ноги и смачно плюнул слависту на голову.

— Я вас не буду убивать, — сказал он. — Мне достаточно вашего страха...

Гаврила Васильевич утер с волос слюну и жалобно заскулил.

Джером оглядел авто доктора, и, несмотря на затемненные стекла, ему показалось, что внутри есть еще кто-то.

Не мое дело, решил мальчик.

— А рана-то пустяковая! — обрадовался доктор Струве, разрезав штанину Теплого. — Одна дробишка всего!.. Даже зашивать не надо. Наложим пластырь — и делов!.. Ваш чемоданчик?

— Что? — переспросил Гаврила Васильевич.

— Уезжать собрались?

— Да-да, конечно, уезжаю! — согласился славист, подтягивая к себе пожитки.

— А что ж на ночь глядя?

— Так вышло. — Теплый поднялся на ноги и охнул. — Однако болит.

Спасибо вам, доктор.

— Не за что. Теперь займемся молодым человеком.

— Мною не надо, — отказался Джером. — Я в порядке.

— И все же! — настаивал доктор Струве, подходя к мальчику. — Встаньте-ка вот сюда. Так мне вас лучше будет видно!

Эскулап оглядел Джерома в свете фар.

— Да вы весь в крови! — всплеснул руками доктор.

— Это не моя кровь.

— А чья же? Учителя?..

— Нет.

— Ах да-да-да!.. — догадался г-н Струве. — События минувшего дня... И вы тоже, молодой человек, принимали в них участие? За что же вы птичек-то?

— Не ваше дело! — огрызнулся Джером, отталкивая руки доктора от своего горла. — Я же сказал: со мною все в порядке!

— Не хотите — как хотите! — обиделся врач, выходя из света фар. — В общем, мне пора ехать! Уже поздно!..

— Возьмите меня с собой! До ближайшего населенного пункта только! — затараторил Теплый. — Умоляю вас! Если нужно денег, я пожалуй-ста! — Славист полез было в карман пиджака, но сделал это больной рукой и лишь отчаянно вскрикнул: — Весь больной! Весь раненый!



— Да ради Бога. Садитесь, конечно! Не брошу же я вас, пострадавшего, на дороге!.. А вам куда вообще надо?

— В Вену.

— Ого! — удивился доктор. — До Вены далеко! Туда не довезу, но до какого-нибудь населенного пункта доброшу!.. Только прошу простить за неудобства. У меня в салоне еще один пассажир.

— А кто?

— Пассажир пожелал путешествовать инкогнито...

Автомобиль тронулся, оставляя Джерома на дороге одного. Впрочем, авто через несколько метров затормозило, и из него высунулась голова доктора Струве:

— А вам, молодой человек, я советую поскорее вернуться в город!

— А я чего, твоего совета просил?! — крикнул вдогонку вновь тронувшемуся автомобилю Джером. — Уроды!

Когда автомобиль исчез из виду, Джером пошел по дороге по направлению к Чанчжоз. Он не думал о господине Теплом, а вспоминал куриный клин, растянувшийся в небесах на многие версты. Он вспомнил, как убивали отца Гаврона, как над ним склонилась Евдокия Андреевна и как она гладила мертвому монаху волосы.

Неужели она моя мать? — думал мальчик. Или все это фантазии Шаллера?.. И куры улетели! — пожалел Джером. Делать мне больше не фига! Не кошек же стрелять, в самом деле!.. Жаль монаха, хороший человек был!

Он вытащил из кармана самострел, понюхал напоследок дуло и со всех сил забросил оружие в поле.

Понадобится, еще сделаю! — решил мальчик и трусцой заспешил к городу.

### 34

Все последующие дни город митинговал.

— Нехороший знак! — кричали наперебой митингующие. — Улетели куры — быть беде!

— А что в этом плохого? — спрашивали из толпы.

— Ну вы и идиот! — отвечал вопрошающему самый умный. — Вы где-нибудь видели, чтобы куры летали?!

— Нет.

— Ну вот видите!

— А я все равно не понимаю, почему быть беде! — не унимался кто-то.

— А вы что, не помните эпитафию на могиле старика Мирова?

— Не припоминаю.

— Так вот, для забывчивых. На надгробном камне начертано: «Те, кто полз по земле, — взлетят, те, кто летал в поднебесье, — будут ползать, как гады. Все перевернется, и часовая стрелка пойдет назад!» Не улавливаете смысла?

— Ах вот оно что?! — неожиданно снизошло на непонятливого.

— То-то и оно! Одна часть уже сбылась! — Оратор сощурился и драматично возвысил голос: — Те, кто ползал, уже взлетели! Вы чего, хотите ползать, как гады?

— А мы чего, летали? — спросил еще кто-то.

— И этот — идиот! — развел руками самый умный. — Ну что за народ! Это же иносказательно говорится! Человек — высшее существо, значит, он летает душевно — или духовно. Как хотите!.. Отупеем мы, вот что! Вот что подразумевать надо под словами старика Мирова! Скотами станем неразумными!.. Хотите стать скотами?!

— Нет, — ответила толпа дружно.

— И я не хочу!

— А что делать?

— Собирать манатки и драпать отсюда! Завтра-послезавтра грянет какая-нибудь катастрофа, поздно будет!

— И уйдем отсюда! — закричал какой-то купчишка. — Построим где-нибудь новый город! Без всяких кур! Где наша не пропадала!

— Правильно! — поддержали купца. — Русский челсвек нигде не пропадет! Нас трудностями не испугаешь! Знали и пострашнее времена...

Глядя из окон здания городского совета на митингующих, слушая их эмоциональные речи, губернатор Контата думал, что все это неспроста, не будет речка прокладывать нового русла без веских на то причин. Народ не дурак, зря тревожиться не станет. Пусть нет у народа академического разума, зато смекалка имеется. Стадо человеческое, как барометр, способно ощущать приближение катастрофы.

Ах, надо уезжать, уверился Ерофей Контата.

На следующий день вышел в свет последний выпуск газеты поручика Чикина «Бюст и ноги», целиком посвященный отлету кур. Поручик считал, что за всю историю Чанчжоэ не было более эротичного события, чем массовый вылет кур в другие края.

«...Вместе с курами, — писал Чикин, — город утерял свою эротичность, и потому надо немедленно отыскать куриный клин, дабы обрести уверенность в своем эротическом будущем. У меня, например, — пускался в откровения поручик, — когда я увидел в небе парящих кур, напряглось мужское естество. Я испытал такой подъем эротизма, какого не помню с одиннадцати лет! Напряжение продолжалось почти восемь часов, и было такое ощущение, что я могу оплодотворить Вселенную... к сожалению, на следующее утро у меня не случилось обычной эрекции, и что бы я ни делал, как ни манипулировал своим предметом, он так и остался безучастным к окружающему миру. Все последующие дни я безуспешно пытался вернуть своего друга к жизни, но увы!.. Поэтому я смело делаю вывод, что куры унесли на своих крыльях наш чанчжоэский эротизм. А потому есть только один способ вернуть его — последовать за курами!»

Далее во всю страницу была напечатана карикатура: в небе летят куры. Их гузки ошипаны и представляют собою голые женские зады. Все мужское население, задрав головы, со слезами на глазах смотрит под облака и в отчаянном порыве мастурбирует. И подпись под карикатурой: «Последний раз — самый грустный!..» И еще: «Да здравствует Ван Ким Ген — великий каженик всех времен и народов!..»

Еженедельник «Курьер» поддержал нацеленность народа на отъезд, вселяя в людские сердца оптимизм — надежды на лучшее будущее. Главный редактор издания прощался со своими читателями, обильно плача словами на газетных страницах.

В эти же дни в последний раз собрались члены городского совета. Встреча старых соратников была поистине грустна. Они прихлебывали сладкий кофе, мешая его с горечью слез.

— Уважаемый митрополит! — проговорил г-н Бакстер. — В эти печальные для всех нас минуты я хотел бы принести вам во всеуслышанье свои извинения. Все эти долгие годы я был предвзят и доставлял вам множество неприятных моментов. Но поверьте мне, что это не от злобы, а от нервного состояния моей души. Прошу вас простить меня и не помнить зла!

— Ну что вы, дорогой Бакстер! — умилился наместник Папы. — Это вы меня простите за мою излишнюю горячность. Это я во всем виноват. Это мне следовало быть более терпимым!

Они поднялись со своих мест, бросились друг другу навстречу, обнялись и горячо поцеловались.

Глядя на эту душещипательную картину, не выдержали и остальные. Все повставали со своих мест и принялись тискать друг дружку, расцеловывать, заливая дорогие костюмы слезами.

— А все-таки мы были командой! — воскликнул г-н Персик. — Командой с большой буквы!

— Да-да! — согласились остальные.

— Мы много сделали хорошего! — прибавил г-н Мясников.

— Да-да!

— Ой, как грустно! — прошептал г-н Туманян, утирая свои красивые глаза.

— Господа! — с надрывом, в котором было лишь естество, произнес г-н Контата. — Давайте же немедленно разойдемся! А то мое сердце не выдержит этого!

— Да-да!

Они разошлись в этот вечер, унося в своих душах любовь. И хотя их любовь была грустна, каждому хотелось сделать в жизни что-то возвышенное и подарить это возвышенное всему миру.

### 35

Генрих Иванович пьянствовал, не выходя из дома, несколько дней. Он лишь звонил в близлежащий магазин и заплетающимся языком просил доставить ему побольше водки.

Слух о том, что самый сильный человек города неудержимо пьет, распространился на все окрестности.

В один из дней запоя, шестой по счету, Шаллера навестила Франсуаз Коти. Она застала полковника в невменяемом состоянии и, преодолевая некоторое отвращение к заросшему щетиной мужику, пахнущему перегааром, стала приводить его в чувство.

Она волоком перетасила громадное тело в ванную, раздела его и принялась поливать из кувшина холодной водой.

Через полчаса процедур Генрих Иванович стал подавать признаки жизни. Он что-то бессвязно замычал, попытался было обнять девушку за талию, но рука подвела, соскользнула и ударилась о чугун ванны.

-- Что же это вы, Генрих Иванович, так расклеились? — спросила Франсуаз, с какой-то грустью разглядывая голое тело полковника. — На что вы стали похожи! Подышите нашатырем!

Коти сунула Шаллеру под нос пузырек, полковник нюхнул, вздрогнул, и в глазах у него прояснилось.

— Франсуаз! — пьяно улыбаясь, вскричал он. — Я счастлив вас видеть!

— Мне тоже приятно!

Полковник оглядел себя и радостно констатировал:

— Я голый! Между нами что-то было?

— Посмотрите у себя между ног! Разве с этим может что-то быть?!

Шаллер посмотрел туда, куда указывала девушка, и скривился.

— Вы правы, — согласился он, стыдливо прикрывая свою наготу руками. — Отвернитесь! Я вылезу.

Коти отвернулась и стала прибирать волосы на затылке.

Вылезая из ванны, Генрих Иванович отметил, что на шее девушки нет перьев, только нежные завиточки.

— Я заварю вам крепкого чаю! — предложила Франсуаз и вышла в комнату, оставляя после себя запах собственного тела с примесью каких-то духов.

Полковник заволновался, шагнул следом, но в слове у него что-то ударило, трепыхнулось в груди сердце, и он решил, что эротические действия сегодня преспокойно могут отправить его на тот свет.

— Для вас тут письмо! — услышал Генрих Иванович.

— Да-да, сейчас.

Он обмотал бедра полотенцем и, ступая мокрыми ногами, вышел в комнату.

— Где письмо?

— На столе, — указала девушка, заваривая крепкий чай прямо в чашке. — Пейте!

— Что-то не могу разобрать, что здесь написано, — пожаловался Шаллер. — Я немного не в форме! Поможете?

— Похоже, что это что-то личное, — сказала Франсуаз. — Удобно ли?

— Читайте! — уверенно ответил полковник и смачно хлебнул из чашки.

Девушка развернула вчетверо сложенный лист, еще раз взглянула на Генриха Ивановича и начала:

— «Уважаемый Генрих Иванович! Хотел лично с вами поговорить, но, к сожалению, не вышло по причине вашей неожиданной «болезни». Откладывать более не могу, так как уезжаю сегодняшним вечером, а потому пишу вам, надеясь на понимание, а в конечном счете и прощение.

Так уж случилось в моей жизни, что я издавна испытывал интерес к вашей жене как к особе поистине незаурядной. Поначалу мой интерес сводился лишь к уважению ее личности, но потом с течением времени, в особенности с момента вашего семейного разлада, я стал испытывать к Елене влечение другого рода. Не буду распространяться, каким образом ко мне пришло понимание, что я люблю вашу жену, но сегодня я доподлинно знаю, что это так.

Ваша самовлюбленность, словно шоры, застила вам глаза на события, происходящие вокруг. Ваша жена — гений. Все это время она писала чанчжойские летописи, самоотверженно трудясь, отключившись от внешнего мира. Вы, как человек достаточно тонкий, чувствовали, что Елена творит великое, но не могли внутренне справиться с некоторой завистью по отношению к ее таланту.

В те дни, когда вы отсутствовали, я навещал Елену, поддерживая ее организм насильственным питанием. Неужели вы действительно думали, что человеческий организм может столь долгое время обходиться без пищи?!

При моих посещениях ваша жена часто приходила в себя, и со временем между нами установились доверительные отношения. Елена сама расшифровывала для меня свои записи, отсекая тысячи бессмысленных страниц, за которыми она пыталась укрыть истинный смысл рукописи.

Не буду долго распространяться о том, как в конечном итоге мы пришли к решению, что остаток жизни проведем вместе. Самое главное, что мы пришли к согласию, а потому сегодняшним вечером покидаем Чанчжое навсегда.

Прошу простить меня еще раз за то, что высказал это в письменной форме, но другого выхода у меня не было, так как вы были не в форме.

Клятвенно обещаю вам, что смогу уберечь Елену.

Ваш доктор Струве.

*P. S.* Я знаю, что убийцей подростков был г-н Теплый, учитель Интерната для детей-сирот имени графа Оплаксона, погибшего в боях за собственную совесть. Для такого вывода у меня есть веские основания. Подозреваю, что и вы это знаете. Пока не понимаю, что заставило вас сокрыть столь важные для следствия факты! Полагаю, что не соучастие, а заблуждения слабого человека. А потому вас от собственного сердца прощаю. Уверяю, что преступник понесет заслуженное наказание».

Франсуаз Коти положила письмо на стол и уселась в кресло. Прерывая драматическую паузу, она спросила:

— Вы хоть знаете, что куры улетели?

— Нет... Что значит улетели?

— Народ не смог смириться с перьевыми придатками и решил извести весь куриный род. А они, спасаясь бегством, улетели. Сейчас в городе не осталось ни одной курицы! Слышите, какая тишина!

Генрих Иванович с подавленным видом сидел на стуле. Полотенце сползло с его бедер, обнажая мускулистый живот.

— Мне вас жаль! — искренне сказала Коти. — Так бывает, когда все наваливается разом!

— Я совершенно запутался, — обреченно вздохнул полковник. — Мне из всего этого не выбраться.

— Вы ее любили?



— Она всегда чем-то меня притягивала. За долгие годы совместной жизни я так и не понял, чем... Да-да, я ее любил! — страстно произнес Генрих Иванович.

— Вы говорите так, потому что она от вас сбежала! — улыбнулась девушка. — Не уйди она от вас, вы бы ее, может быть, завтра убили от ненависти. Зарезали бы или задушили!

— Почему вы так решили? — вздрогнул Шаллер, вспоминая свою безуспешную попытку проткнуть спину Елены спицей.

— Есть в ваших глазах что-то такое... И потом, мне кажется, что вы ее вовсе не любили. Просто вас терзала мысль, что в вашей жене, возможно, есть большой талант, больший, нежели в вас. Доктор Струве прав. Это — ревность, иногда напоминающая любовь... Вы меня понимаете?

— Зачем вы пришли?

— Попрощаться.

— Вы уезжаете?

— Да. Сегодня вечером.

— Надолго?

— Скорее всего, я больше не вернусь в Чанчжоэ. Я одна, а в мире есть столько мест, которые стоит посмотреть!

— Возможно, вы и правы... Вам действительно кажется, что я из всего этого выпутаюсь?

— Муха не бьется в паутине вечно. Она либо выпутывается из нее, либо погибает.

— Веселенькая перспектива!

— Ну что ж, Генрих Иванович. — Девушка встала из кресла и оправила платье. — Прощайте! И знайте, что вы были мне милее, чем все мужчины этого города! Постарайтесь поскорее прийти в себя и ни о чем не жалейте! Каждая минута нова, и с каждой новой минутой в нас рождается новый человек!.. Прощайте, мой милый Шаллер!

Франсуаз Коти обняла полковника, ласково провела ноготками по его обнаженному животу и поцеловала в подбородок.

— Ах, Франсуаз! — растрогался Генрих Иванович. — Вы — единственная, кто меня понимает! Не уезжайте! Прошу вас! Я люблю вас! Дорогая!..

Он крепко обнял ее за талию, прижался лицом к груди и по-детски громко вздохнул.

— Ну вот, — с сожалением произнесла девушка. — Две минуты назад вы с пылкостью говорили, что любите сбежавшую от вас жену! А сейчас так же пылко говорите, что любите меня!

Генрих Иванович попытался было что-то ответить, но Коти встряхнула волосами и закрыла ему рот ладонью.

— Вы не любите меня. Просто вам нужно было немножко нежности, и я вам ее дала. И не спорьте! Это так на самом деле!.. А теперь прощайте!.. Хотите, чтобы я вам написала?

— Конечно!

— Я вам напишу... И передавайте привет вашему мальчишке!

— Какому?

— Который за нами подглядывал. Помните?

Генрих Иванович с какой-то обреченностью кивнул головой и выпустил Франсуаз из объятий.

— Не грустите, — сказала девушка напоследок и ушла, унося с собой навсегда всю эротическую сладость Чанчжоэ.

Я совсем старый, подумал Шаллер и облизал губы. Надо приходиться в себя...

Почему улетели куры? — думал Генрих Иванович, направляясь к китайскому бассейну. А зачем они приходили?.. Может быть, есть вещи, над которыми не нужно думать? Что-то происходит в жизни, и вовсе не надо размышлять, почему это случилось и зачем. Пришли куры, ушли, пошел снег, дождь... Человек полюбил, человек умер... Нуждаются ли эти вещи в

осмыслении?.. Мысль сбилась и пошла по-другому руслу: значит, Лазорихиево небо зажигалось вовсе не для меня, а для Елены. И на нее снизошло, и для Теплового засверкало! А я лишь только свидетель!..

Полковник Шаллер стоял над бассейном и с грустью смотрел в него. Китайский бассейн был пуст. Вернее, на дне его поблескивала лужицами вода, но ее было достаточно лишь для купания каких-нибудь головастиков.

— Я же тебе говорил, мельчает бассейн, — сказал Джером, похлопывая Генриха Ивановича по боку. — Ушла водичка!

— Ты был прав. А что теперь делать?

— Господи, вот проблема! — удивился мальчик. — Будем купаться в речке!

— И то верно, — согласился Шаллер.

— Пойдем?

— Не сегодня.

— Ну, как хочешь.

Генрих Иванович сел на край бассейна, свесив в ванну ноги.

— Давай просто посидим.

— Если тебе хочется.

Джером сел рядом.

— Ты знаешь, — сказал он, — я сегодня выбросил из окна ренатовский сапог.

— Почему?

— Мне показалось, что настало время заняться чем-то другим. Можно о чем-то всегда помнить, а заниматься другими вещами.

— Может быть, ты и прав.

— К тому же и куры улетели.

— Я знаю.

— А эту новость ты не знаешь!

— Какую?

— В пятнадцати верстах от города нашли труп Теплового.

— Не может быть! — изумился Шаллер.

— Да-да! — подтвердил мальчик. — Это верно. Причем его убили. И знаешь как?.. Точно так же, как он кончил Супонина и Бибикова. Перерезали горло от уха до уха и затем выпотрошили с особым профессионализмом.

— Вот это новость!.. Кто же это сделал?

— Убийцей мог стать я. Но у меня получилось только ранить его. Одно дело — сворачивать шеи курам, а другое — вырезать у человека печень. — Джером усмехнулся. — Мне кажется, что Теплового убил самый добрый человек города...

— Кто же?

— Доктор Струве.

Генрих Иванович кивнул головой:

— Конечно, конечно.

— Ты что, знал об этом?

— Догадался. Доктор увез мою жену.

— Так вот кто был третьим в машине!

— Ты видел их?!

— Ага. Они взяли в попутчики учителя и, вероятно, где-то в дороге прикончили его.

— Ну и хорошо, — уверенно сказал Шаллер. — Так, наверное, и должно было случиться!..

Они некоторое время посидели молча, смотря, как булькают на дне пересыхающего бассейна пузырьки.

— В городе говорят, что куры улетели не к добру. В данной ситуации куры, как крысы, первыми сбежали с тонущего корабля. Говорят, что с городом случится какая-то катастрофа!

— Глупость какая!

— Глупость не глупость, а люди уезжают из Чанчжоэ. Бросают все — и дома и пожитки! Боятся кары Господней!

— А кара-то за что?

— Не знаю. Так митрополит Ловохишвили говорит... Может быть, пойдем посмотрим, как разъезжается город?

— Ну что ж, пошли. А лучше поедем в авто...

Заводя автомобиль, Генрих Иванович в недоумении покачал головой и пробормотал себе под нос:

— Черт их разберет! То говорили, что нашествие кур — кара Господня, то их исход — наказание! Бред!.. Как пришли куры, так и ушли!.. Чего срываться с насиженных мест?! Что это на всех нашло?

Полковник нажал на газ, и машина выехала со двора.

### 36

— Аминь! — твердо сказал митрополит Ловохишвили и, троекратно перекрестившись, поднялся с колен.

Наместник Папы в последний раз оглядел чанчжоэ́йский храм изнутри и, отгоняя грусть, вышел на свежий воздух. Возле каменной ограды его поджидал груженный всякой утварью автомобиль.

— Эй! — обратился Ловохишвили к пожилому монаху. — Саженцы от синей яблони погрузили?

— Так точно, — ответил монах.

Вот и славно, подумал про себя митрополит. Всяко в жизни может еще случиться, а у меня яблочки наготове!

Митрополит втиснулся на заднее сиденье и, перекрестив сквозь открытое окно храм с его окрестностями, велел шоферу трогать.

Уже выезжая за город, митрополит разглядел в веренице всяческих подвод и повозок авто губернатора Контаты. Автомобиль главы города часто тормозил, загораясь задними фонарями, стараясь не наехать на пеших мигрантов.

— Смотри-ка! — воскликнул Ловохишвили. — И чан с собою прихватил!

И действительно, на крыше машины, к багажнику, был намертво привязан чан, в котором еще несколько дней назад варился целительный компот из синих яблок.

— Варенье будет варить в отставке!..

В свою очередь, губернатор Контата наблюдал впереди себя машину г-на Персика. Отчего-то на душе бывшего главы было радостно, несмотря на то что, по сути дела, он покидал свое детище — славный город Чанчжоэ.

Г-н Персик переключал рычаг скоростей, говоря себе, что жить нужно только в столице. И не обязательно в российской!

Г-н Туманян путешествовал с семейством Лизочки Мировой. Сама Лизочка находилась в машине вместе с ним, своим будущим мужем, и папенькой, а будущая теща Вера Дмитриевна наслаждалась отдельным автомобилем, в котором, однако, было тесновато от всяких баулов и чемоданов. Чуть впереди двигался автомобиль, набитый поклонниками Лизочки, и Вера Дмитриевна не совсем понимала такое их влечение.

— Ведь девушка выходит замуж! — удивлялась она. — Прилично ли это?

Про себя Вера Дмитриевна решила, что, когда жизнь наладится вновь, она весь ее остаток посвятит игре на бирже.

Если бы было возможно взглянуть на чанчжоэ́йскую дорогу с высоты птичьего полета, то представилась бы такая картина. Тысячи человек с ручной кладью, сопровождая повозки, нагруженные скарбом, двигались в

одном направлении. Между пешими сновали автомобили, принадлежащие высшим слоям чанчжозэйского общества. Над дорогой поднялось огромное облако пыли, и все мечтали о дожде.

Шериф Лапа, одуревший от толчеи и напряжения, по неосторожности наехал своим «флешем» на какого-то мещанина и сломал тому руку. Мещанин отчаянно завопил на всю округу, был взят шерифом в салон авто, да так и пропутешествовал с блюстителем закона всю дорогу.

В колонне также можно было различить автомобили г-на Бакстера, генерала Блуянова, четы Смит, зажиточных купцов, редакторов газет и прочих личностей, спешащих добраться туда, кто куда для себя определил.

И только корейцы не путешествовали вместе со всеми. Они дождались, пока последний из русских скроется из виду, и только тогда вышли. Стройными колоннами, соблюдая порядок, в полной тишине колония корейцев покинула город. Они оставили после себя убранные дома и начисто вымытые квартиры. Корейцы не громили того, что не могли увезти с собой, а, наоборот, всюду оставили записочки тем, кто, может быть, поселится в их жилищах. Текст записочек был повсеместно одинаков: «Пользуйтесь всем имуществом по своему усмотрению!» В магазинах, на прилавках, остались продукты длительного хранения, в ателье висели недошитые костюмы, а в пустых чайных все было готово к приему посетителей.

Корейцы ушли достойно, и было в их исходе что-то торжественное и печальное.

Весь вечер этого дня Генрих Иванович проездил с Джеромом по Чанчжозэ. Они частенько останавливались возле какого-нибудь дома и стучались в парадные двери. Им никто не открывал, и тогда они входили внутрь, оглядывая брошенные жилища. В домах мещан они видели одну и ту же картину: сломанная мебель, разбитые светильники и посуда.

Уже совсем поздним вечером они заметили идущую по дороге женщину.

— Мама, — сказал Джером.

— Значит, не все уехали. Хочешь, остановимся? — предложил полковник, а про себя подумал, что вот она идет, Евдокия Андреевна, мадемуазель Бибигон, мать дюжины детей, лишенная памяти.

— Нет, — отказался мальчик. — Останавливаться не будем.

— Как знаешь.

Они еще немного поездили по городу, так больше никого и не встретив.

— Ночевать будешь у меня? — спросил Генрих Иванович.

— Нет... Знаешь, мне всегда хотелось проснуться как-нибудь утром и обнаружить, что город пуст. Так интересно — никого нет, иди куда хочешь, бери что хочешь!

— Где тебя высадить?

— А прямо здесь.

Шаллер остановил автомобиль и высадил Джерома на главной площади.

— Приходи завтра. Пойдем на речку купаться.

Мальчик кивнул и пошел своей дорогой не оглядываясь.

Генрих Иванович ездил по городу почти всю ночь. Было невероятно тихо и тепло. Полковник не понимал, что заставляет его с таким упорством кататься по пустому городу. Он ничего и никого не искал, просто объезжал улицу за улицей, испытывая в груди какую-то сладость, легкую истому, которая могла пролиться двумя-тремя слезами грусти.

Генрих Иванович вернулся домой почти на рассвете. Он заварил себе чаю и уселся на веранде.

А в летописи ничего не говорится о чанчжозэйском землетрясении, подумал полковник. Значит, его не было. А если не было землетрясения, значит, не погибли мои родители, а следовательно, их тоже не было на этом свете. А значит, не было меня. Я никогда не существовал!.. Если я не существовал, то, значит, у меня не было жены!

Он вспомнил Белецкую, и ему вдруг показалось, что все это было так давно — их первая близость, феминизм Елены, коннозаводчик Белецкий,



погибший от удара копытом любимого жеребца, и пожар, унесший все сбережения Шаллера.

А может, этого всего и не было? — подумал полковник.

Он задремал, сидя в кресле, и приснился ему силач Дима Димов, говорящий: «Это не просто гири, это гири Димы Димова! Это гири Димы Димова!!! Слышишь, Димова!!!»

Генрих Иванович проснулся от грохота. Сначала он не понял, что происходит, вскочил с кресла, заметался со сна, а когда взглянул на небо и увидел в нем, во всех его просторах, сияние, трепещущее и огнедышащее, вдруг в голове прояснилось, он рухнул на колени и закричал под облака:

— Лазорихиево небо! Возьми меня! Не оставляй меня здесь! Прошу же тебя!

В небе раскатисто загремело, полыхнуло пожаром, и пошел дождь.

Генрих Иванович бежал по дороге, освещенной сиянием, и шептал:

— Возьми меня! Я буду твоим учеником! Я буду твоим послушником! Я ни на что более не претендую! Возьми же меня!

Запыхавшийся и обессиленный, он остановился возле мемориала святого Лазорихия, продолжая шептать:

— Да что же это делается, что происходит?..

Ноги внесли его внутрь землянки, он упал на какие-то тряпки и потерял сознание.

А между тем небо все более разгоралось, полыхая плазмой и плюя огнем. Где-то в его огненных недрах зарождался ураган. Он уже не был, как когда-то, юным и тупым. Он возмужал в своем одиночестве и вечном скитании. Он выл под черными тучами, и, казалось, слышалось в его вое:

— Протубера-а-на-а!

Ураган обрушился на город в его предрассветный час. В нем была такая могучая сила, такой напор, что стены построек не выдерживали и обваливались, превращаясь в песок и пыль. Все в природе стонало и выло, перемешиваясь крышами домов и деревьями, кирпичами от рухнувшей башни Счастья и выплеснувшейся из берегов речкой.

— А-а-а! — закричала в ужасе Евдокия Андреевна, погибая под обломками собственного дома.— А-а-а! — пронесся над городом крик самой великой жены всех времен.

Все корпуса куриного производства рухнули в одно мгновение и были спрессованы с глиной и черноземом. Погибающий город скрежетал и корчился в последней своей агонии, и не было в этом мире ничего, что могло его спасти.

Ураган бушевал двое суток. И когда он, обессиленный разрушениями, закрутился в последнем штопоре и убрался куда-то в недра Вселенной, над местом, на котором стоял город, пролился в последний раз дождик... В степи редко идут дожди...

Легкий ветерок, кружащий над песками, пах какой-то сладостью. Дурманящая сладость распространялась повсюду, забираясь под каждую песчинку, под каждый камушек.

Генрих Иванович проснулся в землянке святого Лазорихия, и голова его была чиста и легка. Он впитал в себя сладость забвения и теперь пытался вспомнить, кто он такой.

Кто же я? — задавался вопросом полковник. Как меня зовут?.. Ах, ничего не помню! Совсем ничего!..

Он встал на четвереньки и обшарил землянку. В самом темном ее углу он наткнулся на какую-то книжицу, схватил ее и вылез наружу. Там он зажмурился от солнца и бескрайней степи. Привыкнув к свету, он открыл книжицу и прочел на титуле начертанное карандашом: «Принадлежит Мохамеду Абали-пустыннику!»

Ах да! — вспомнил Шаллер. Меня зовут Мохамедом Абали. Я — отец-пустынник, отшельник.

Мохамед Абали успокоился оттого, что все встало на свои места, вновь забрался в землянку и вылез оттуда уже с кружкой. Сыпанул в нее горсть песка и поставил на камень, ожидая чудесного появления воды.

Неожиданно пустынный услышал чье-то почавкивание. Абали обернулся и увидел лося. Юный лось жевал сухую траву, не обращая внимания на человека.

— Ну вот и хорошо! — обрадовался отшельник. — Все-таки живое существо рядом.

Он полюбовался красивым животным и вновь ушел в землянку, теперь уже надолго, чтобы обдумать проблемы бытия.

— Бытие есть обратная сторона небытия! — рек Мохамед Абали и, довольный началом мысли, закрыл глаза.

Над степью плыл воздушный шар. Он был сделан из голубиной кожи, потрепанной от времени.

Из корзины, сплетенной из виноградной лозы, на степные просторы с удивлением взирал физик Гоголь. Он то и дело сверялся с компасом и ничего не мог понять.

— Да где вы, черт возьми?! — вопрошал с высоты физик. — Куда вы запропастились?! Есть здесь кто-нибудь?! — закричал Гоголь. — Я, кажется, счастье наше-е-е-л!..

Юный лось безразлично задрал к небу голову, а потом вновь опустил ее к земле.



---

---

## ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ



### ПО БЫЛИНАМ СЕГО ВРЕМЕНИ

#### Среди снегов

После заключения я прибился к молодым ребятам,  
промышлявшим поиском икон и прочей старины,  
вдруг ставшей в наше время товаром красным.  
Делом этим я занялся не оттого, что объелся белены, —  
обрыдло сидеть за кражи.  
Мои новые напарники заколачивали хорошую капусту<sup>1</sup>,  
хотя, важничая, заливали:  
— Мы ищем свои корни! —  
Не вдохновленный столь высокими чувствами,  
я тем не менее натаскался вскоре.  
Мы лазали по российской глубинке,  
по ее райцентрам, весям.  
Скупая у забулдыг серебро, обманывали простаков  
в весе,  
так и не погружаясь в кичливо заявленные глубины.  
...Этих двух выпивох мы вытащили из пивной  
небольшого села,  
выглядев их среди пьющих как наиболее толковых.  
Разжевали, с каким мы тут ветром и что водки  
будет до горла.  
И, как фантиков, целковых.  
Легкие деньги и выпивка заставили пьянчуг  
просиять,  
но мигом погаснуть потерянно:  
мол, ваших хреновин навалом, во всех углах  
висят,  
да не проехать — в суметах деревня.  
Мы бросили машину и двинулись пешедралом,  
по пояс утопая в сыпучем, неприлипчивом снегу.  
Вспомнился лагерь, как я драпал  
в слепую, выкатившую бельма пургу.  
Бежал из рабзоны, с повала:  
случай пофартил — сиганул в метель.  
Хотелось дерябнуть, пожрать до отвала.  
А чего хочу теперь?..  
...В избе было темно, и слабый свет исходил  
от инея,  
утыкавшего черные стены блескучими иголками.  
Мы кинулись протирать образа, спеша узнать,  
что выменяли  
у деревенских алкоголиков.

---

<sup>1</sup> Капуста — деньги.





Ты дружила с мальчишкой не с нашей улицы.  
 Вытуженный, вылизанный,  
 он приходил к тебе по вечерам,  
 и вы бродили вдвоем.

Не знаю,  
 был ли он изрядный умница,  
 или его родители имели такой же  
 большой и добротный дом.

Я рос без отца, на картошке с сольцей,  
 не рассчитывая на подмогу ни спереди, ни с тыла.

И, глядя на тебя, свое место под солнцем  
 я видел жалким и стылым.

Ты была для меня недоступной планкой  
 успеха в этом суровом мире.

И я иногда от бессилья плакал  
 в пропахшей примусом квартире.

Я не любил тебя — хотел только достать,  
 не отбить — утереть нос твоему

лощеному ухажеру.

Это желание было, как удав, прожорливо,  
 и я кроликом лез к нему в пасть.

Отныне — встревал ли я в драку, в другую

кутерьму —

всех моих мыслей и поступков ты стала

движителем.

Это из-за тебя угодил я в тюрьму,  
 это ты помогла мне там выжить...

### Отдых на ипподроме

Завсегдатаи ипподрома появляются на его территории  
 задолго до начала бегов —

приглядываются к разминающимся на дорожках лошадям,  
 к настроению наездников.

Они знают, что каждый из ездоков

не без грехов —

способен на любой трюк за деньги.

И вообще конное ристалище — это

уйма всяческих финтов, подвохов;

здесь жест, перемиг участников состязаний

всегда о чем-то говорит, что-то значит.

Или, например, появившийся в кассах тотализатора

незнакомый лох<sup>4</sup>

и поставивший кучу билетов на дохлую клячу...

Я прихожу на ипподром не играть — отдохнуть,  
 сбежав с городских улиц, как со стрельбища.

И, устроившись вдали от трибун, наслаждаюсь  
 чистым воздухом, доносящимся до меня

горячим лошадиным храпом.

И лишь однажды иду поглазеть на зрелище —  
 когда объявляют гит с секундным гандикапом<sup>5</sup>.

...Красивая, сильная рыжая кобыла,

отливая медью мускулов,

напористо обошла своих соперников,

будто под копытами у нее порох.

<sup>4</sup> Лох — человек, не сведущий в чем-либо.

<sup>5</sup> Гит с секундным гандикапом — один из заездов в конно-спортивных соревнованиях с уступкой во времени для лошади с меньшим показателем резвости.

И, сбрасывая с губ жаркую, крупную пену,  
мыльными коконами
оседающую на грязных лопухах вдоль штакетника,  
первой пришла к финишу под звяканье судейского колокола.  
Но все хвалы достались довольно заурядной коняге,  
пересекшей заветную черту спустя несколько секунд;  
ее бросились обнимать, трепали ей холку,  
одобрительно хлопали по крупу.
Душа противилась такому порядку вещей — получившая победу лошадь  
имела значительную льготу и бежала с прохладцей,  
тогда как лишенная лавров сивка  
выказала на дистанции весь свой пыл и задор.  
Но кого тут бульчили правдолюбивые резоны —  
праздник справлял куш:  
— Получка! Получка! —
плясали и прыгали вокруг принесшего выигрыш скакуна.  
Глядя на ликующий шабаш,  
я вспомнил лагеря особого режима, — двадцать зим  
отпотел я в том отвратительном человечьем отстойнике.  
И меня беспрестанно мучила загадка: чем берет  
тот или иной мерзавец, постоянно оказывающийся  
в выгодном положении
и мало-помалу приобретающий власть над себе подобными?  
Посмотришь на такого искусника — и ума небольшого, и мозглявый.  
А попробовал с ним тягаться — ан его взяла!  
Над головоломкой этой я корпел долгие лета.  
И вот прояснило с непредвиденной стороны.  
Оказывается, там, где другой держал слово,  
зоновская гадюка забывала его тут же;  
где другой не мог обделить своего кореша,  
поганец это делал запросто; кондовые воровские правила  
были не для него — для меня.  
Получалось — он бежал по одной со мной дорожке  
с секундным гандикапом!  
...Я сидел на излюбленной скамейке под старыми  
липами,
неволью прислушивался к истошным крикам  
тотошников<sup>6</sup>,
понукающих бегущих в очередном заезде рысаков,  
на которых они сделали ставки, поддать прыти.  
И мерекал над неожиданным озарением...  
И что же?
Поспешать за лагерной бестией? Освоить его приемы,  
хватку?
Или быть вечной жертвой?  
Тюфяком, тютей?..
Я чуял, что ипподромное открытие не принесет мне  
облегчения.

Тверь.

<sup>6</sup> Тотошник — ярый игрок в тотализатор.

---

---

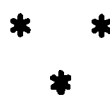
## ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ



### ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО

#### Радиосвобода

И чего только они не говорили о нем, Гутенберге,  
называли невеждой, нуворишем, образованщиной.  
У них, мол, пальцы длинные, ногти точеные.  
А что у него? Обрубки...  
Говорили, мол,  
на пятки аристократической культуры манускриптов  
наступает печатный плебс.  
Как я их понимаю,  
учась дигитальной компьютерной  
системе радиозаписи.  
Неужели никогда больше  
в моих пальцах не затрепещет  
магнитная ленточка,  
лягушачья спинка,  
собачий хвостик?



Почему стрекозы?  
Да потому,  
что их смысл прозрачен.  
Потому,  
что они на зависть мухам и бабочкам  
перелетают моря,  
ловко подогнув длинные ноги,  
покрытые щетинкой  
и увенчанные трехчленистыми лапками.  
Да хотя бы потому,  
что одну из них можно схватить  
брюшными придатками за шею  
или за голову  
и летать с ней до тех пор,  
пока она не подогнет  
кончик своего брюшка  
к нужному — тебе — месту.  
Да в конце концов потому,  
что с такой можно пролетать  
всю жизнь...

\* \*  
\*

Он просит официанта  
принести бокал коньяку.  
Официант приносит.  
И тогда он просит меня:  
— Подержи бокал в ладони. —  
Я отказал ему во всем;  
неужели снова?  
Его замшевые влажные глаза  
висят где-то рядом.  
Ладно, что я,  
зверь?!

### Памяти тети Нюси (А. А. Ковалевой)

Под «тетей Нюсей» я имею в виду  
мою тетю.  
Я не имею в виду демократизма,  
который вкладывают в «бабу Таню» или «деда Грыця»  
городские поэты.  
Моя тетя не нуждается в покровительстве, в любви свысока.  
Так вот, тетя Нюся умирала от рака  
в бедности,  
и моя мать  
носила ей котлеты и помидоры.  
В знак благодарности тетя Нюся сказала:  
— Галочка, тебе нравилась моя коса.  
Чем я еще тебя отблагодарю? —  
И она отрезала свою косу,  
густую, стальную,  
и отдала матери.  
Это — все.

### Уроки музыки

Вроде бы ничем не отличались.  
Нет, вру: еврейских детей  
учили на аккордеоне,  
а нееврейских — на баяне.  
Скажем, в культпросвет еврейские не шли —  
там был только баян.  
Нет, вру:  
случались и музыкальные выкресты.  
Надо сказать, в грязь не ударили.  
Но все же почему-то  
баян считался простецким.  
А аккордеон — вульгарным,  
т. е. тоже простецким, но в латинском смысле.  
Да, мой-то,  
Галина Ивановна и Яков Израилевич,  
нашли компромисс:  
пристроили по классу фортепиано.



---

---

ЮРИЙ БУЙДА

\*

## ТРИ РАССКАЗА

### СИНДБАД МОРЕХОД

**П**еред смертью Катерина Ивановна Момотова велела позвать доктора Шеберстова, у которого лечилась всю жизнь и который давно находился на пенсии. Она вручила ему ключ от своего домика, свернутый вчетверо листок бумаги и попросила сжечь этот листок вместе с остальными.

— Они у меня дома, — смущенно пояснила она. — Только никому не говорите, пожалуйста. Я бы и сама... да видите — как все обернулось...

Доктор вопросительно поднял бровь, но старуха лишь виновато улыбнулась в ответ. Она была совсем плоха: умирала от саркомы. Лечащий врач сказал Шеберстову, что до утра она вряд ли дотянет.

На лавочке у входа в больницу покуривал участковый Леша Леонтьев, казавшийся рядом с громоздким Шеберстовым подростком в милицейском мундире. Его фуражка с выгоревшим околышем лежала в мотоциклетной коляске.

— Не желаешь прогуляться? — поинтересовался доктор, глядя поверх головы Леонтьева на мошек, круживших возле бледного уличного фонаря, вознесенного на позеленевший от сырости деревянный столб. — К Момотовой Кате.

— К Синдбаду Мореходу? Или она умерла?

— Нет. — Шеберстов показал участковому ключ. — Просила к ней заглянуть. Я прохожий, а ты все же власть.

Леша бросил окурок в широкую каменную вазу, заполненную водой, и со вздохом поднялся.

— Скорей бы зима, что ли...

И они неторопливо зашагали по плитчатому тротуару в сторону мельницы, рядом с которой и жила Катерина Ивановна, известная всему городку своей образцово не задавшейся жизнью.

Сюда, в бывшую Восточную Пруссию, она приехала с первыми переселенцами. Муж ее работал на бумажной фабрике, а Катерина Ивановна — прачкой в больнице. У них было четверо детей — двое своих да двоих взяли в детдоме. Маленькая сухонькая женщина тянула большое хозяйство — огород, корова, поросенок, два десятка овец, куры да утки, — ухаживала за прибалливавшим мужем (он был трижды ранен на фронте) и детьми. В пятьдесят седьмом лишилась ноги по колено: попала под поезд, когда встречала с пастбища телку. Из прачечной пришлось уйти. Устроилась сторожихой в детском саду. В том же году утонул в Преголе старший сын Вася. А через три года отмучился и Федор Федорович: не перенес операции на задетом осколком сердце. Дочери выросли и разъехались. Младшая Верочка вышла за пьяницу, вора и бродягу, с которым однажды, оставив сына бабушке, укатила на заработки в Сибирь и словно сгинула. Чтобы вытянуть мальчика, Катерина Ивановна бралась и за вязанье на заказ, пока пальцы артритом не скрючило, и за стрижку овец и на все лето нанималась в пастухи. На деревянном протезе ей было нелегко угнаться за скотиной, но платили неплохо, да еще кормили иногда в поле — она и не роптала. Мальчик вырос и ушел в армию, после женился и лишь изредка — к Новому году да к Первому мая — присылал бабушке открытку с по-

желаниями успехов в труде и счастья в личной жизни. Пенсия была крошечная. Как-то незаметно для себя Катерина Ивановна втянулась в сбор пустых бутылок — по пустырям, закоулкам, у магазинов, — вступая в ссоры с мальчишками-конкурентами, при виде ее оравшими: «Почем фунт старушатины!» — и перехватывавшими добычу. Катерина Ивановна сердилась, ругалась, но надолго ее гнева не хватало. В конце концов она нашла выход. С утра пораньше с мешком за плечами отправлялась за город в поисках бутылок, валявшихся по кюветам да в придорожном лесу. Преодолевая боль в ноге, она каждый день проделывала многокилометровые походы, возвращаясь поздно вечером с богатой добычей, вся в горячем поту и с запавшими глазами. Накрошив в глубокую миску хлеба, заливала его водкой и хлебала ложкой. Изредка после этого начинала напевать что-то тихим дребезжащим голоском. «Другая на ее месте давным-давно померла бы, — говорила известная городская царица Буяниха. — А эта еще и не чокнулась по-настоящему». За свои бутылочные походы и получила Катерина Ивановна прозвище Синдбад Мореход.

Оглядевшись зачем-то по сторонам, доктор Шеберстов отпер входную дверь и жестом приказал Леше идти вперед. Леонтьев включил свет в прихожей и кухне.

— А чего она хотела? — крикнул он из комнаты. — Чего ищем-то?

Шеберстов не ответил. Он развернул сложенную вчетверо бумажку, которую ему дала вместе с ключом Катерина Ивановна, и лицо его побагровело и набрякло. В сердцах швырнув бумажку на кухонный стол, он пригнулся, чтоб не стукнуться головой о притолоку, и с шумным сопением остановился за спиной Леонтьева. Участковый задумчиво разглядывал обстановку второй старухиной комнаты. Неяркая лампочка без абажура освещала громадную грудку бумаги, занимавшую едва ли не все свободное пространство.

— Она романы, что ли, сочиняла? — недовольно пробурчал Леонтьев. — Глянь-ка... — Он поднял с пола листок бумаги. — Я вас любил: любовь еще, быть может... — Недоуменно посмотрел на доктора: — И чего это, а?

Шеберстов переложил палку в другую руку и решительно отодвинул Лешу в сторону. Отдуваясь, втиснулся в узкую щель, где стоял стул с гнутой спинкой, и сел. Выдернул из бумажного вороха пачку листков и принялся читать.

— Да что же это такое? — повторил Леша, растерянно глядя на исписанный старухиными каракулями листок. — Неужели она...

Шеберстов сердито посмотрел на него снизу вверх:

— А ты думал, что душу черт выдумал?

До самого утра они разбирали бумаги, которые Синдбад Мореход просила уничтожить и почти пятьдесят лет таила от чужих глаз. Каждый день, начиная с 11 ноября 1945 года, она переписывала от руки одно и то же стихотворение Пушкина — «Я вас любил...». Сохранилось восемнадцать тысяч двести пятьдесят два листа бумаги разного формата, на каждом — восемь бессмертных строк, не утративших красоты даже без знаков препинания — ни одного из тринадцати старуха ни разу не употребила. Она писала, видимо, по памяти и делала ошибки: например, слово «может» непременно с мягким знаком в конце. Слово же «Бог» — вопреки тогдашней советской орфографии — всегда с большой буквы. Внизу каждого листка она обязательно ставила дату и — очень редко — прибавляла несколько слов: 5 марта 1953 года — «помер Сталин», 19 апреля 1960 года — «помер Федор Федорович», 12 апреля 1961 года — «Гагарин улетел на Луну», 29 августа 1970 года — «Петинька (это был внук) родил дочку Ксению»... Несколько листков были обожжены по углам, некоторые — порваны, и можно было только гадать, в каком душевном состоянии она была в тот день, когда в очередной раз писала «Я вас любил...». Восемнадцать тысяч двести пятьдесят два раза она воспроизвела на бумаге эти восемь строк. Зачем? Почему именно эти? И о чем она думала, дописав стихотворение — «как дай вам Бог любимой быть другим» — и аккуратно выводя «помер Сталин» или «помер Федор Федорович»?

Под утро Шеберстов и Леша растопили печку и принялись жечь бумагу. Уже через полчаса печка нагрелась, в комнате стало жарко. Оба чувствовали себя почему-то неловко, но когда Леонтьев пробормотал: «А какая разница,

человека жечь или вот это...», доктор лишь сердито фыркнул. Один листок — тот, который дала ему Катерина Ивановна, — Шеберстов все же сохранил, хотя и сам не понимал, зачем и почему. Быть может, лишь потому, что на нем — впервые — старуха не поставила дату.

## КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Он оделся потеплее, проверил, все ли пуговицы застегнуты, достал из стоявшего в углу старого валенка спрятанную от внучки бутылку водки и осторожно приоткрыл дверь. Предусмотрительно смазанные с вечера петли не выдали его.

В темной гостиной пахло неряшливой женщиной, перегаром и особенно мерзко — апельсинами, в жирной мякоти которых тушили окурки.

Мишутка, уже одетый, сидел бочком на низкой табуретке в прихожей, спрятав лицо за полый материнского пальто.

Овсенька натянул рыжий брезентовый плащ, убедился, что шапка сидит ровно, и не глядя взял Мишутку за руку, привычно подавляя вздох: пальцы мальчика были пугающе холодны.

Вниз они спустились по лестнице: старик боялся лифта.

Они прошли вдоль стены дома — быстро, вжимая головы в плечи и не оборачиваясь, чтобы не приманить недобрый взгляд.

Узкая улочка вывела их к платформе пригородной электрички. Ездили они всегда бесплатно, и контролеры их не трогали: старику прощали безбилетность по возрасту, а с глухонемого мальчика — какой спрос? Мишутка всю дорогу дремал, притулившись плечом к окну и спрятав зябнувшие руки в рукава.

Сын привез Овсеньку в Москву лет тридцать назад. Тогда здесь была горстка бараков вокруг военного завода, которую столица вскоре втянула в себя. Спустя год после переезда старуха умерла, и сын уговорил Овсеньку обратиться в крематорий. Старику выдали урну. Он не знал, что с нею делать. Засунуть в дырку в стене и запечатать табличкой с именем? На это не решился. Отвезти в деревню и похоронить как полагается? Да узнай деревенские, что в гробу банка с пеплом, — сраму не оберешься...

Когда умер и сын, Овсенькино одиночество стало полным. Пившая запоями внучка раз-другой в месяц устраивала ему выволочку, убирая в его комнате и гоня шваброй валяющуюся под койкой старухину урну. Овсенька никогда ни с кем не спорил. Внучку это раздражало: ей нужен был противник, а не это безответное костлявище. «Ты потому такой, что у тебя ничего своего нету, кроме прозвища! — в сердцах заключала внучка. — И не было». Овсенька легко соглашался: и не было.

Прозвище же свое он получил в детстве, когда в компании однолеток бегал под Рождество по домам и кричал: «Овсень! Овсень! Подавай нам всем! Открывайте сундучки, доставайте пяточки!» А поскольку кричал он звонче и веселее всех, то и прозвали Евсея — Овсенькой.

Когда внучке надоело держать припадочного Мишутку на цепи, она разрешила Овсеньке брать мальчика с собою в Москву, куда старик наладился ездить почти каждый день. С утра до вечера они бродили в районе Каланчевки, и так уж как-то само собой выходило, что добрые люди совали Мишутке то пирожок, то конфетку, а старику иногда наливали стаканчик водки. Вечером они отправлялись на Казанский вокзал, на платформу, у которой ждал отправления поезд на Вернадовку. Овсенька с умилением рассказывал проводникам о том, как замечательна трехчасовая стоянка в Шилове, где можно и дешевых яблок купить, и выпить рюмку, и даже в кино сходить, пока перецепляют вагоны, формируя состав на Касимов. Он подходил к окнам и спрашивал у пассажиров, куда они едут, некоторые отвечали, другие же даже не смотрели на него: мало ли сумасшедших на столичных вокзалах. К полуночи он возвращался домой, иногда за компанию с отдежурившим милиционером Алешей Силисом, который жил по соседству. Стараясь не шуметь, Овсенька и Мишутка пробирались в свои углы — в последнее время мальчик укладывался у прадеда в ногах — и замирали до утра.

Они вышли на Каланчевке и спустились к Плешке. На широком тротуаре лежал скрюченный бродяга по прозвищу Громобой. В подпитии он любил потешить компанию историей своей инвалидности: совесть не позволяла ему изображать калеку, и чтобы не обманывать людей, этот правдолюб оттяпал себе ступню мясницким топором. И вот сейчас он неподвижно лежал на стылом асфальте, выставив из-под кавалерийской шинели «честно отрубленную ногу», через которую переступали самые нетерпеливые из прохожих.

Овсенька присел на корточки рядом с Громобоем и тронул его за плечо:

— Вставай, служивый, сдохнешь ведь!

Издали, от железнодорожного моста, под который уносился автомобильный поток, за ними скучливо наблюдал постовой милиционер. Старик попытался поднять Громобоя, но тот был слишком тяжел для него.

— А может, помер? — К ним подшаркала одетая в свои сто одежек Тамарища с десятком пустых бутылок в авоське. — Эй, хенде хох, руссише собака!

Громобой не шелохнулся.

Овсенька взял бродягу двумя пальцами за шею: пульс не прощупывался. Вытерев руку о штаны, старик поднялся с колен.

— Сержанту, что ли, сказать...

— Он и сам не дурак, — возразила Тамарища, беря Мишутку за руку. — Или тебе с ребенком охота в свидетели? Пошли. Шнель, шнель!

Заглядывая по пути во все урны, они пересекли Плешку подземным переходом и вышли на перрон под крышу Казанского вокзала.

Сбившиеся в кучу татары-носильщики молча покуривали в ожидании поезда. Овсенька поздоровался с ними, приложив к шапке-ушанке твердую, как кость, пятерню. Татары засмеялись. Молодой носильщик со щегольскими черными усиками над капризно вырезанной губой дал Мишутке бутерброд с сыром. Мальчик посмотрел на старика.

— Я сытый, — сказал Овсенька. — Ешь, пока не взопрешь.

Они пробились через густую толпу, миновали ларьки с ярким разноцветным товаром, нырнули в щель между штабелем ящиков с пивом и бетонным забором и спустя несколько минут оказались у вагончика Пиццы. Этот домик на колесах, когда-то служивший строителям бытовкой, время от времени перетаскивали с места на место, чтобы не мозолил глаза разным начальникам, но вскоре он возвращался к облупившейся стене, на пяточок, давно известный вокзальному люду. У Пиццы можно было выпить и закусить на свои, погреться, взять напрокат костыли или ребенка для сбора подаяния. Сходились здесь, разумеется, свои — чужим, особенно ночью, сюда было лучше не соваться.

Сухая и желчная Пицца при виде Мишутки заулыбалась.

— Золотой мой пришел! — Она сняла с электроплитки кружку с бульоном и налила мальчику в пластмассовый стаканчик. — А вам особое приглашение требуется?

Овсенька с многозначительной миной выставил на стол бутылку.

— Что праздновать будем? — равнодушно поинтересовалась Пицца, доставая из шкафчика тарелку с хлебом и стаканы.

— Мое деньрождение, — объявил старик.

— Сто лет, что ли? — осведомилась Тамарища. — Ну, тогда — хайль Гитлер, Евсей Овсеньич!

Скосив от напряжения лицо, Пицца — «по такому случаю» — открыла банку шпрот. Овсенька бережно разлил водку, чокнулся с женщинами. Выпили. Пицца и Тамарища принялись закусывать. Старик прислонился спиной к стене, закрыл глаза. Ему стало тепло, и он лениво расстегнул плащ и снял шапку...

Согревшись и подремав, Овсенька с Мишуткой отправились в метро — кататься: это было их любимое развлечение. Старик плохо разбирался в хитросплетении линий и переходов метрополитена, но твердо знал главное: вернуться надо на «Комсомольскую». Оба любили подолгу ездить в поезде, станцию «Площадь революции» с ее бронзовыми ружьями, курами и пограничными собаками — и не любили эскалаторы, на которых у старика кружилась голова, а Мишутка, когда лестница шла вниз, ни с того ни с сего начинал мычать и хвататься за Овсенькино пальто.



Они вышли на «Тургеневской»: старику захотелось по нужде.

Темнело. В холодном воздухе пахло снегом и бензиновой гарью.

Взяв мальчика за руку, старик протолкался через толпу, колготившуюся вокруг ларьков на углу Мясницкой, напротив Главпочтамта, — «Сушеного рыба к пивку задаром! Куплю золото, радиодетали желтые, ветхую валюту! Если ты, сука, еще раз...» — и через несколько минут нырнул в подворотню. Поглядывая то на бегущих по тротуару прохожих, то во двор, где однообразно взреывал автомобильный двигатель, он расстегнул штаны и закричал от удовольствия, освобождаясь от горячей тяжести в мочевом пузыре. Негромко пукнул. «Как девушка, — с умилением подумал он, вдруг вспомнив деревенскую подружку, которая всякий раз, пукнув, со смехом закрывала лицо платочком. — Шутница была... Ньюрой, что ли, звали?»

Мишутка дернул старика за рукав, но Овсенька и сам уже услышал приближающуюся со двора машину и, торопливо застегивая штаны и жмурясь от яркого света фар, прижался к стене.

Автомобиль вдруг остановился. Из него выбрался рослый парень в долгополом пальто.

— В сортир Москву превратили, — проговорил он, смерив Овсеньку взглядом. — Огнеметом надо выжигать, как тараканов...

«Лик-то у него какой... Иисус Христос прямо, и строгий такой же, — подумал старик. — Чего это он про тараканов?»

— Ваша правда, — согласился на всякий случай Овсенька. — Ну, так мы пойдем...

Первый удар пришелся в ухо — шапка слетела наземь, второй в грудь — старик ударился боком в стенку и сполз в лужу. Громко замычав, Мишутка вдруг бросился на обидчика, но тот схватил мальчика за руку, в которой был зажат перочинный ножик, и швырнул на старика. Хлопнула дверца, машина уехала.

Овсенька торопливо ощупал мальчика — тот вырвался.

— Ты чего? Ножичек? Да щас... щас найдем... где-то тут... да вот! — И он со счастливой улыбкой протянул Мишутке плохонький перочинный нож с коротким ржавым лезвийцем. — Эк ты его! Ну, не плачь, чего... забудь, ладно... Чего не бывает... Поделом ведь: не пачкай... Впредь мне, дураку, наука...

Кое-как пристроив на голове шапку, потянул Мишутку из подворотни.

В метро на Овсеньку с веселым любопытством уставилась компания подростков в кожаных курточках с заклепками и бахромой. Старик отвечал им взглядом боязливым, но ласковым: «Тут-то, в метре, бить не станут...» Наконец парень, перевязавший голову по-пиратски черным платком, наклонился вперед и, едва сдерживая смех, спросил:

— И тебя Бог создал по своему образу и подобию, а дед? — Вытянул руку к Овсеньке: — Посмотри на себя в зеркало, дед, я тебя умоляю!

Старик глянул: черный, лохматый, страшный.

Пацаны громко захохотали, и только тогда Овсенька разглядел: в руке у пирата было не карманное зеркальце, а песья фотография. Хотел сплюнуть, да воздержался: вдруг обидятся?

Прежде чем вернуться к Пицце, он купил в киоске на Плешке бутылку водки. Вздыхая, считал и пересчитывал мятые денежки — но делать нечего: день рожденья. Да и настроение сделалось — выпить.

К вечеру Пицца включила электрообогреватель, и в вагончике стало душно.

С удовольствием наблюдая за ловкими движениями женщины, собиравшей на стол, старик неторопливо рассказывал о приключении в подворотне на Мясницкой.

— А Мишутка-то — с ножичком! — с восхищением сказал он. — Надо же! Мал, мал, да вон как за старого вступился... — Он запнулся и уставился на мальчика, вдруг издавшего странный горловой звук. — Ты чего, малый, а? Не плачь, Москва слезам не верит, да и времена...

— Времена... — Пицца вздохнула. — Поостерегся бы мальчишку таскать туда-сюда в такие-то времена. А ну пропадет? Ему десяти нет, а он с ножичком...

Старик согласно покивал:

— Конечно, конечно... Так ведь и дома сидеть — знаешь...

Пицца снова вздохнула: знала.

Дверь распахнулась, из темноты раздался голос Синди:

— Помогите же, суки, втащить его!

Пицца с Овсенькой ухватились за толстые мужские руки и втянули большого человека в вагончик. Сзади его подталкивали Синди и Барби.

— На кой он вам сдался? — сердито спросила Пицца, разглядев на голове мужчины кровь. — Где подобрали?

Мужчина, рыкнув, с трудом перевернулся на бок и застонал. На нем было добротное пальто и дорогие ботинки.

— Во дворе валялся, — отдышавшись, объяснила Синди. — Там же холодища, еще сдохнет, ну и решили... да ладно тебе, не мурзись! — Присев на корточки, она быстро и умело обыскала мужика, сняла часы на золотом браслете, бросила на стол кожаный бумажник. — Ну вот...

Она вытащила из бумажника пачку денег и присвистнула.

— Баксы, — сказала флегматичная Барби. — Значит, его не грабили, а просто били. Сколько?

Синди зажмурилась: много. Синяк под ее левым глазом почти скрылся в морщинках. Очень много.

Мужчина на полу опять застонал.

— Так. — Синди деловито пересчитала купюры, отделила тонкую пачечку Пицце: — Твоя доля. С горкой. — Несколько бумажек сунула Овсеньке: — Мишутке на конфеты. — Остальное спрятала под юбкой, облизнулась. — Гуляем?

— А если он очухается и схватится? Или дружки какие-нибудь заявятся? — Пицца покачала головой, похожей на огурец. — Они тебе глаз на жопу натянут — телевизор сделают.

— А ты трепись поменьше! — огрызнулась Синди.

Овсенька с любопытством разглядывал хрусткие зеленые бумажки с портретами американских президентов и не мог сообразить, сколько ж ему обломилось: десятка, двадцатка, еще десятка...

Поколебавшись, Синди все же вернула в бумажник одну купюру и, хитро усмехнувшись, опустила его в карман мужского пальто. Погрозила пальцем старику — «спрячь!» — и налила себе водки. Жадно проглотила, выдохнула:

— Ну, осталось придумать, за что пьем!

— У меня сегодня деньрождение, — сказал Овсенька. — Сто лет в обед.

— Чего ж молчал? — вскинулась Синди. — А ну-ка! — Выдала Барби деньги: — Гуляем! Водки, мяса, шоколада — не жалея! И быстро у меня! Хлеб есть?

Барби, ворча, отправилась в магазин.

Сестры-малышки жили неподалеку от Плешки и работали главным образом на Казанском вокзале. Издали они походили на девочек-подростков, взгромоздившихся на высоченные материны каблуки. Выдавали их пустые равнодушные глаза и обилие штукатурки на потрепанных физиономиях. Они носили пластмассовое золото в прическах, латунное — на пальцах и с ранней весны до поздней осени не носили ничего под платьями, о чем знали на Казанском все: носильщики, милиционеры, бандиты и даже Овсенька. Брали их обычно парочкой.

Пока Барби бегала за выпивкой, Синди рассказала о сегодняшнем клиенте: толстяк, пригласивший ее к себе домой, называл себя «деятелем августовской революции». На баррикады у «Белого дома» он пришел со сломанной рукой в гипсе, на котором оставили автографы Ельцин, Руцкой, Хасбулатов и другие знаменитости. Клиент с гордостью показал этот гипс, хранившийся, как святыня, за стеклом в серванте.

— Заплатил? — деловито осведомилась Пицца.

— У меня не заплатишь. И бутерброд с сыром дал, гадюка.

Она презирала мужчин. «Я люблю любовь, — говорила она, — а они работы требуют».

Вернулась Барби с огромной полиэтиленовой сумкой, доверху набитой снедью и бутылками. Пицца и Синди принялись разбирать пакеты и кульки, а

Барби нарезала ветчины для Мишутки. Мальчик глотал мясо не жуя: проголодался. А когда наконец насытился — сделал себе бутерброд потолще про запас и убрался за фанерную перегородку, где стоял топчан и жил смиренный котенск.

— Следы-то у него вроде прошли, — озабоченно заметила Барби. — Ты шейку ему мазал чем-нибудь?

— Само зажило, — ответил Овсенька.

Речь шла о мозоли на Мишуткиной шее, натертой ошейником, который мать надевала на него, когда перед уходом на работу сажала мальчика на цепь.

— Я б такую мамашу в дерьме утопила. — Синди хлопнула в ладоши, приглашая всех к столу: — Наливай, Евсень-Овсень!

Выпили за старика, за его родителей, и снова разговор вернулся к Мишутке и его жестокой матери. По такому случаю Барби поведала историю о святой материнской любви: во время Ленинградской блокады одна женщина, спасая дочь от голодной смерти, жарила на сальной свечке собственные пальцы, отрубая их по одному — на обед, на ужин...

— В прошлый раз она у тебя свои сиськи жарила, — ядовито заметила Синди. — Скоро до жопы дойдешь. Повело тебя...

Овсенька вспомнил свою военную службу в осажденном Ленинграде. Однажды при авиационном налете осколком бомбы ранило госпитальную лошадь, и люди, стоявшие в очереди за хлебной пайкой, набросились на несчастную животину и разорвали — живую — на кусочки...

А Барби действительно повело. Всякий раз, напиваясь, она начинала рассказывать о своем сыне: как ходила беременная по обувным магазинам, где часами наслаждалась запахом кожи; как одна добиралась до роддома, оставляя на асфальте влажные пятна: по пути отходили воды; как щекотно поначалу было кормить малыша грудью; как лечила мальчика от малокровия черной икрой, а он ту икру выплевывал ей в лицо; как ревела, когда он впервые выговорил «мама»... Все знали, что никакого ребенка у нее не было, но когда Барби, глотая слезы, повествовала о том, как сдавала ребенка в приют, женщины непременно плакали.

— Сидим это мы с ним в приютском садике, а он мне вдруг и говорит: мама, я понял: маленькие кошки — это кошки, а когда кошки вырастают, они становятся собаками...

— Эх, девки! — Овсенька шумно высморкался. — Вспомнишь, как жил, и что? Три разочка вкусно поел да разок сладко поспал — и все...

— Золотое у тебя, Овсенька, сердце, — сказала Барби, вытирая нос тряпочкой. — Давайте, девки, за Овсенькино сердце выпьем!

— Да нету у меня сердца, истерлось! — Старик подмигнул Барби. — Какая-то жила внутри дрожит, и все. Старики — народ бессердечный...

Ему вдруг захотелось чеснока. Сошел бы и лук, но ни чеснока, ни лука у Пиццы не оказалось.

— Щас! — Барби с трудом поднялась, упираясь обеими руками в стол. — Будет тебе чеснок, золотая рыбка... — Шагнула к выходу и, пошатнувшись, ударом ноги распахнула дверь. — Отцепись, плохая жисть, прицепись хорошая!

— Да стой ты, кобыла! — Синди вцепилась ей в юбку. — Мусора заметут!

— Эй! — крикнул из темноты Алеша Силис. — Дед у вас?

— Здесь я, Леша! — обрадованно закричал Овсенька. — Заходи, погрейся!

Помахивая рукой перед лицом (накурено было — топор вешай), Алеша поднялся в вагончик. Это был молодой свежий мужчина со скуластым розовым лицом, близко и глубоко посаженными глазами и всегда плотно сжатыми губами, над которыми темнела тоненькая полоска усов.

— День рожденья у деда, — сказала Пицца, наливая Алеше. — Сто лет в обед.

— А этот уже наобедался? — Сняв форменную фуражку, сержант брезгливо переступил через лежавшего на полу мужчину. — С такими вот и поговоришь, Пицца. Что у него с башкой?

— Ударился. — Пицца вытащила из-под стола табуретку и придвинула к Алеше тарелку с холодным мясом.

— Мишутка где? — спросил Силис, чокаясь с Овсенькой. — Со здоровьем!

— Тут он, живой-здоровый. — Старик с любовью смотрел на милиционера. — Хороший ты, Алеша, человек, правда!

— А я с тобой и не спорю, — усмехнулся Силис. — Тебе кто морду набил? Синди пьяно погрозила ему пальцем:

— Я попала в автомобильную аварию, товарищ сержант!

— Это не авария, это ручная работа, — без улыбки возразил Алеша. — Про Громобоя слышали? Помер. Целый день на тротуаре провалялся, только сейчас за ним выехали...

— Помянем Громобоя! — предложила Барби, уже забывшая о чесноке. — Ну и сволочь он был!..

Мужчина на полу зашевелился и с рычанием сел. Обвел шальным взглядом компанию — и вдруг заорал во всю глотку:

О чем задумал, Громобой,  
Иль ты боишься смерти?

Пицца захохотала дурным голосом, а мужик продолжал:

Ты будешь счастлив двадцать лет,  
Я слова не нарушу,  
А ровно через двадцать лет  
Отдашь свою ты душу!..

Синди и Барби зааплодировали.

Взял в руку финское перо  
И кровью расписался...

И так же внезапно, как начал, мужик оборвал песню и схватился за голову: — Вот гады! Ну гады же! Глянь, что там у меня?

Пицца презрительно скривилась.

— Ничего. Дурная башка только.

Барби протянула ему стакан:

— Поправь головку, лох.

Он не раздумывая проглотил содержимое стакана и уставился на костлявые коленки Барби.

— Я не лох. — Встал — головой под потолок. — Я русский человек. И исключительно православный!

— И как тебя такого уработали? — задумчиво проговорила Синди. — Ну, ладно, топай отсюда. Живой — и слава Богу.

Он посмотрел на нее своими маленькими бараньими глазами и вдруг по-детски улыбнулся. Достал из кармана бумажник, не глядя вынул купюру (единственную, оставленную ему Синди).

— Я угощаю, девушки. — Развел руками: — Извини, сержант. Они меня от смерти спасли. Я правильно говорю? Я человек исключительно благодарный! За мой счет, девушки.

Женщины переглянулись.

— Ладно, сядь! — велела Синди. — У нас и без тебя есть что выпить. Тебя как звать, облом?

— Гордым именем Иван. — Скинув пальто на кучу старого тряпья в углу, где Пицца хранила прокатные костыли, Иван сел рядом с Барби, которая сонно шевелила губами и кивала стакану. — За кого пьем? За меня?

И засмеялся собственной шутке. Глаза его, однако, не смеялись.

— За Громобоя, — сказал Овсенька. — Помер который.

— Хороший был человек, — с чувством проговорил Иван, наливая в стаканы и глядя на женщин блестящими глазками. — Громобой! В самом деле Громобой?

Синди вяло махнула рукой:

— Да куда ему... Обыкновенный чокнутый. А как выпьет, совсем дурак дураком. — Хрипло хохотнула. — Все Бога ждал!



— Бога?

— Ну. Как найдет на него — шел на платформу и ждал поезда, на котором Бог приедет. Иисус Христос. Наплачешься с дураком... Стоит на платформе, весь как на иголках, прыгает на своем костылике, шею тянет — ждет. Христа — с поезда! Пассажир Христос! А поезд подойдет — начинал метаться, выглядывать, пассажиров за руки хватал: а вдруг этот... или тот? А может, кто видал его? Это Бога-то? — Синди так похоже изображала ужимки Громобоя, что даже Алеша Силис заусмеялся. — Я ему говорю: дура пьяная, не ездят Христы на поездах. Да и как же ты его не узнаешь в толпе, если он вдруг и правда явится? Ведь Бог... А он мне: а как же его узнать? На нем погоны, что ли? Ведь он и тогда явился не в царской короне, а как все, и поначалу его никто не признал, и били, и казнили, а если б признали, разве отважились бы казнить?

Овсенька, подавшись вперед, замотал головой:

— Дурак он, девонька, Громобой твой, прости, Господи... Это не мы Бога, а нас Бог будет искать, и найдет обязательно. Как же мы его не узнаем, если он придет нас спасти? Узнаем, конечно. Он либо знак подаст, либо еще как...

Алеша Силис холодно посмотрел на старика:

— Интересный вы народ: все хотят за копейку спастись. — В голосе его звучало незлое презрение. — Да чтоб спастись, надо делать что-нибудь. А вы что делаете? Ты на метро с Мишуткой катаешься, эти блядуют да воруют... За это спастись?

— А по-твоему, как в магазине должно быть? Заплатил — получи товар? На хрена такой Бог? — проворчала Пицца, которая несколько раз в году ходила в Елоховскую, после чего запиралась в вагончике и два-три дня кряду пила вчерную.

— Ну, хотя бы верить надо, — продолжал Алеша уже с раздражением. — А кто верит? Ты, что ли? Или ты? Да ты даже не знаешь, кто такой Бог!

Пицца оскалилась:

— Кабы знала, то и не верила бы.

Иван поднял ручищи, призывая к спокойствию.

— Братцы, братцы, послушайте! Я много когда-то читал... сейчас, правда, бросил... но люблю про это поговорить... Я же исключительно русский человек! А когда русский человек про это говорит? На бегу, в пивнушке, по пьянке, впопыхах — милое дело! Только и это надоедает. Братцы! Конечно, спасемся. В говне по уши живем, бездельничаем — это правда, сержант тут в точку: недостойны. Но ведь были бы достойны — тогда кому Бог нужен? Достойным Бог не нужен, он нам нужен. — Иван с грохотом опустил руки на стол. — Все равно спасемся, православные! Русь никогда ничего не делала, да по-настоящему, как в книгах, никогда и не верила, а — спасалась, и мы спасемся!..

— То другая Русь была, — возразил Алеша.

— А Русь всегда другая! — Иван счастливо засмеялся. — Одни про нее одно, другие — другое, а она все равно — третья! Все равно — другая! И на срать! Ура! Наливай!

Алеша со вздохом надел фуражку.

— Ладно, дед, пошли — пацану домой пора.

У выхода из подземного перехода стояла машина «скорой помощи». Угрюмые усталые санитары молча и деловито упаковывали в полиэтиленовый мешок скрюченное нагое тело Громобоя. Чуть поодаль тлел костерок. Овсенька пнул дымящийся башмак — все, что осталось от нищего с «честно отрубленной ногой», — и поспешил за Алешей и Мишуткой, которые уже скрылись под железнодорожным мостом.

В воняющем мочой и табаком вагоне народу было мало. Алеша дал мальчику шоколадку, и тот принялся ее бережно кусать, держа над раскрытой ладонью, чтобы крошки не пропадали.

— Кончал бы ты с этим, — сказал Алеша, когда электричка тронулась в сторону Курского вокзала. — Таскаешь пацана с собой — зачем? Либо потеряется, либо потеряешь. А как он расскажет, где живет? Ведь он и писать не умеет...

Овсенька кивнул:

— Прав ты, конечно, Леша. А что же делать? Я бы в деревню с ним уехал, да ведь померла моя деревня, мне говорили, нету ее больше. Значит, тут доживать надо. — Он со вздохом достал из кармана полупустую бутылку. — Будешь? Давай, давай, сынок, у тебя ведь тоже душа есть, я знаю, Леша...

— Чего ты знаешь? — Силис сердито поправил фуражку и, оглянувшись на дремлющих пассажиров, быстро глотнул из бутылки. — Все, остальное ты сам, я в форме.

Овсенька выпил и спрятал бутылку в карман.

Грохнув дверью, в вагон ввалился продавец с лакированной книжкой в руке.

— Любовный роман для взрослых «Эмануэль»! — скучно возгласил он. — В твердом прощитом переплете... кто интересуется, может полистать, ознакомиться...

Овсенька встрепенулся, полез в карман за деньгами.

— Давай купим, Алеша, почитаем... — Вынул десятидолларовую бумажку. — Молодой человек!..

Силис выхватил у него купюру, зашипел:

— Совсем сдурел! Книжка понадобилась! На эти деньги Мишутке можно ботинки купить, дурила!

Овсенька виновато улыбнулся.

— Откуда у тебя доллары?

— Синдюшка дала.

— Спрячь и никому не показывай. Народ сейчас такой, что и за рубли убьют. И внучке не показывай — отберет.

— Отберет, — с улыбкой согласился Овсенька. — Леш, может, возьмешь их у меня? Не умею я с ними...

— Ладно, давай. Поменяю — верну.

Когда подъезжали к Бутову, Мишутка слизывал с ладони последние шоколадные крошки.

Жена встретила Алешу в полупрозрачном халатике.

— Опять своего Овсеньку провожал? — насмешливо спросила она, подставляя щеку. — Филантроп.

За ужином Алеша нехотя ковырял вилкой мясо и думал о Мишутке и о своей жизни с Женей. Детей у них не было, хотя жена давно лечилась. Она была красива волнующей кошачьей красотой, и Алеша терял голову, когда она, капризно изгибаясь всем своим гладким ленивым телом, манила его пальчиком в постель. Женился он на ней по любви, хотя его отец был против: «А что ты о ней знаешь, парень? Знаешь, чем она до тебя занималась?» Алеша догадывался, но говорить об этом не хотел, боясь деталей и подробностей. Однажды набросился на ее лечащего врача, который сказал ему: «Что ж делать, Алексей Сергеевич, если ее матка так привыкла к абортам, что уже не держит плод?» Он боялся говорить обо всем этом и с Женей, хотя она как-то сказала: «Если хочешь, все расскажу...» Он хотел, очень хотел, но не мог в этом признаться. Догадывался, что долго жить без детей, одной любовью, — а жену любил зоологически, — невозможно. В самой глубокой глубине его души таилась до поры мысль о том, что однажды он скажет жене все, все, все, — и Алеша ненавидел эту мысль и себя, и даже плакал тайком от Жени, и давил эту мысль, как давят башмаком тлеющий окурочок... Набравшись смелости, предложил ей усыновить Мишутку, но она лишь чуть-чуть приподняла красивую бровку и пропела: «Припадочного? Глухонемого? Не люблю цепных детей...» И больше он таких разговоров не затевал.

— Алешенька! — пропела на четыре тона Женя из спальни. — Иди ко мне в чертог златой!

Среди ночи он вышел в кухню покурить. Затягиваясь сигаретой, тупо смотрел на тусклое зарево, поднимавшееся в небо над Москвой и слабо шевелившееся, и ему казалось, что там живет и шевелится огромное и беспокойное животное, сам факт существования которого отравляет мир и бесстыдно напоминает о древней, дочеловеческой тайне жизни... «Бог, Бог... Чего они все про Бога? — думал он, прикуривая новую сигарету. — Явится — не явится... Зачем

ему являться?» По настоянию жены он читал Библию, ходил иногда в церковь и на выступления проповедников, но так пока и не понял, зачем ему этот самый Бог, о котором с легкостью болтают все вокруг. Он подозревал, что настоящий Бог существует, но это такой Бог, которого человек ни за что не пустит в свою жизнь — с будильником, зарплатой и премией, с газетами и теплым туалетом, выпивкой и телевизором. И если Он и явится, Его и впрямь не узнают. «Христос был преступник, нищий и еврей, то есть трижды гад, — думал Алеша. — Хуже Громобоя или Пиццы. Кто ж его готов такого принять? Само собой, если и явится, его или прибьют по пьянке, или по тюрягам заматают...»

Жена во сне всхлипнула, забормотала, и сердце Алеши болезненно сжалось от любви и жалости к ней, к Мишутке, к дураку Овсеньке, к себе, наконец — к миру, которому уже не дождаться Спасителя...

Овсенька вздрогнул, проснулся и сел на постели.

— Кто тут? — шепотом спросил он, вглядываясь в темноту. — Есть кто? Нет?

Ему показалось, будто кто-то коснулся его щеки, и от этого прикосновения ему стало так хорошо, тепло и легко, что это напугало его.

Осторожно выбравшись из-под одеяла, он подошел к окну и отвел штору. Падал снег.

— Вон чего! — прошептал Овсенька. — Это снег пошел...

Редкие снежинки плыли в темном холодном воздухе, плавно опускаясь на асфальт.

Старик поправил одеяло и посмотрел на Мишутку. Мальчик улыбался. Овсенька знал, что Мишутка улыбается только во сне, и никому об этом не рассказывал: это была его тайна. Он лег, вдохнул запах детских носочков («Пора мыть мальчика...») и закрыл глаза.

— Первый снег, значит, — пробормотал он, засыпая. — Вон чего...

## ПЯТЬДЕСЯТ ДВА БУКОВЫХ ДРЕВА

Семья Засс приехала с Урала в начале пятидесятых и поселилась в двухэтажном светло-сером домике под черепичной крышей, стоявшем у Фридландского шоссе на выезде из городка. Сивоусый, широкий в кости, Август Засс устроился в леспромхозе, где вскоре занял должность главного лесничего. Это был строгий суховатый человек, никогда не смеявшийся, очень редко улыбавшийся и всегда трезвый. Он носил брезентовую куртку цвета хаки с карманами на заклепках, форменную фуражку и высокие кожаные сапоги. Детей у Зассов не было.

Лену же Засс никто никогда не видел — ни живой, ни мертвой. Многие даже сомневались в том, что в доме у Фридландского шоссе есть хозяйка, — хотя по бумагам Август числился женатым. Фрау Засс, как ее тотчас заглазно прозвали в городке, не появлялась ни на базаре, ни в магазинах, ни даже — что серьезнее — в общественной бане, стоявшей у слияния Преголи и Лавы. Соседей у живших на отшибе Зассов не было, гостей они не звали. Зашедший к ним однажды участковый милиционер Леша Леонтьев был радушно принят, напоен чаем с вареньем и коньяком, но хозяйку увидеть не сподобился. «Живет — и пусть себе живет, — сказал Леша. — Чтобы скрыться по-настоящему, человеку всегда нужны другие люди...»

Поздно вечером, когда городок отходил ко сну, Август запрягал крепкого серого конька в повозку с кожаным верхом, опускал полог и отправлялся колесить по улицам. Колеса повозки со звучным хрустом мололи красный кирпич мостовой на Семерке, дребезжали по тесаным, плотно пригнанным гранитным мелким кубикам, которыми была вымощена Липовая, и громко бухали по булыжникам у базара, — и весь городок знал: Август катает свою фрау. Она тряслась в возке, придерживая рукой кожаный полог и вглядываясь в дома, деревья и заборы, которых по какой-то причине не могла видеть при дневном свете. Так продолжалось больше тридцати лет, до самой ее смерти.

Все женщины в городке были почему-то убеждены в том, что Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, и потому-то Август и не позволяет ей показываться на людях: боится соблазна. В конце концов — быть может, именно потому, что никому ни разу не удалось увидеть ее лица, — это убеждение возобладало: Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, а значит, Август имеет право прятать ее от чужих глаз. На то и красавица. При этом, правда, не затыкали рот и тем, кто считал, что она просто чем-нибудь больна. Возможно, что ее красота и болезнь были таинственным образом связаны. Однако доктор Шеберстов ничего про болезнь фрау не знал. Поэтому Колька Урблюд в подпитии и говорил: Зассиха так уродлива, что показать ее людям было бы равнозначно покушению на общественную нравственность. «Настоящая красота всегда болезнь и покушение на общественную нравственность, — возражал хромой библиотекарь Мороз Морозыч. — Красота — это вызов». И долго и нудно рассуждал о красоте внешней, телесной, и красоте внутренней, душевной и духовной, всякий раз завершая свою речь чужими стихами:

Сосуд она, в котором пустота,  
или огонь, мерцающий в сосуде?

Но жители городка, вовсе не склонные «разводить философию», хотели лишь одного: ясности. Нельзя же признать красавицей женщину, которую никто не видел. На какие только ухищрения не пускались любопытные — все было напрасно: Август бдительно стерег жену.

Иногда вечерами, вместо катания в кожаном возке, супруги Засс предпринимали вылазку в буковую рощу, насчитывавшую ровно пятьдесят два дерева — они росли в сотне метров от их дома на невысоком холме, отлого спускавшемся в пойму Лавы. Это был жалкий клочок, оставшийся от тех бескрайних буковых лесов, которые когда-то покрывали земли между Вислой и Неманом. Август считал эту рощу своей, берег ее пуще глаза и ради нее даже изменял своей манере сухой правильной речи, почтительно именуя дерево — деревом. Только бук для него и был — деревом. Каждый день он пересчитывал буки, словно поклялся сберечь именно пятьдесят два древа, не меньше. Может, пятьдесят два было для него числом магическим?

Разглядывая красавиц на иллюстрациях к Дюма и Чехову, я пытался представить себе фрау Засс, но, разумеется, безрезультатно. Воображение подростка бедно: он может сочинить историю, но не лицо или характер. Что же это за женщина была, если ее нужно было прятать, как Железную Маску? Какая она? Как Буяниха, за которой, как говорили, когда-то ухаживали все мужчины городка, кроме сумасшедших? Как Зойка-с-мясокомбината, к которой вечером мог постучать любой мужчина, способный купить бутылку вина? Как соседская девочка, любившая дразнить мальчишек своими толстыми ляжками, с ужимками демонстрируя их сквозь деревянную решетку балкона? Или как Полина де Винье, которой властями средневековой Тулузы до восьмидесяти лет было разрешено появляться под вуалью на балконе лишь два раза в неделю, дабы красота ее не послужила причиной опасных массовых волнений? А может, она была тем ананасом, который жители городка вспоминали всякий раз, когда не находили слов для высшей похвалы, хотя, конечно же, никто из них тогда не знал вкуса ананаса. С иллюстраций смотрели очаровательные женщины, девушки, ангелы, — но что же привлекало в них? Наверное, в таком же положении оказался французский поэт Венсан Вуатюр, который, отчаявшись поймать красоту сетью слов, 24 января 1642 года в одном из знаменитых своих «Писем» определил то, что неуловимым образом очаровывает и обольщает нас, одной фразой: «Je ne sçai quoi». Не знаю, что такое.

Летним вечером, в час заката, я пробрался в буковую рощу на холме с единственной целью — увидеть таинственную красавицу. Освещенные светлорозовыми и еще теплыми солнечными лучами, гладкие серые стволы стояли как храмовые колонны, вырастая из пола, выложенного мозаикой резных буковых листьев. Легкий ветерок пошумливал в высоко вознесенных кронах. С полчаса я бродил по рощице, удивляясь отсутствию подростка, — как вдруг услышал негромкий мужской голос. Спрятаться здесь было трудно: роща про-



сматривалась насквозь. Я заметался, наконец плюхнулся в неглубокую ямку и зарылся в палую листву. Сердце мое громко колотилось, заглушая звук приближающихся шагов.

— Устала? — спросил Август.

— Нет, — ответила женщина.

Я не смел поднять голову, чтобы не обнаружить себя: они находились в двух-трех метрах от меня. Наконец их шаги стали удаляться. Немного выждав, я приподнялся и посмотрел им вслед. На руку Августа опиралась невысокая худенькая женщина. Мне показалось, что она слегка прихрамывает.

Совершенно ошалевший от пережитого приключения, я сел и огляделся. Светило заходящее солнце, еле слышно шелестела в вышине листва. Что же случилось? Я слышал ее голос, видел ее со спины — вот и все. Откуда же тогда взялось странное ощущение, будто только что произошло нечто важное? Быть может, все дело было в моем возбуждении? Эта залитая светло-розовым светом роща, этот шелест листвы, эта таинственная пара... Черт возьми, в отчаянии подумал я, ну какой смысл в том, что он прячет ее ото всех? Какой смысл в ее жизни? Такой же, какой в существовании этой рощи, в розовом свете заката, в шелесте листвы?..

Я долго еще бродил по роще, считая и пересчитывая буки (пятьдесят два, пятьдесят два...), пытаюсь проникнуть в магический смысл бессмысленного числа. А вдруг в следующий раз буков окажется больше или меньше? А вдруг это все изменит, и разверзнутся небеса, и откроется нечто такое, до чего обычно добираться в глубоком сне, но не успеваешь достигнуть и просыпаешься? Тайна красоты вымогала магию цифр... Годы спустя я прочел у Де Куинси в «Автобиографии»: «Даже бессвязные звуки бытия представляют собою некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших». Разумеется, тогда ничего не произошло, буков было пятьдесят два, я начал мерзнуть и был вынужден тащиться домой через топкий луг, мимо старого немецкого кладбища.

Вскоре она умерла. На похороны собралось множество народа, но Август и на этот раз всех перехитрил: Лену хоронили в закрытом гробу.

И сейчас иногда я просыпаюсь от звучного хруста рыхлого красного кирпича под колесами кожаного возка, от дребезжания их по тесаному граниту Липовой и громкого перестука на булыжной мостовой у базара — и долго стою с сигаретой у окна, выходящего на ярко освещенный вестибюль метро с алой буквой «М», и думаю о том, что по-прежнему ускользает от слов, но без чего немислима жизнь. Что это? *Je ne sçai quoi*. Тайна Лены Засс осталась неразгаданной.



---

---

ФРЕД СОЛЯНОВ

\*

## ЖИТИЕ КОЛОКОЛЬНОГО ЛИТЦА

*Рассказ*

1

**А**лексей Михайлович был последним царем, не брезговавшим мясом дикой рыси, что цветом схоже с шедшим на подводку зеркал английским оловом. Однако как человек тишайшего нрава он более предпочитал мясо вареного рака, по белизне не уступавшее пухлым перстам супруги ближнего боярина Ивана Мусина-Пушкина. Помнил, как в молодые лета подцепил оком пунцового рака, лежавшего на дне подаренного князем Юрием Ромодановским деревянного блюда с золотой обводкой. Речной дурень подъял клешни выпры, будто надумал взлететь. Но дивно было не то, что вареный усатик решил вознестись после смерти, а что хвост у него был вытянут напрямки. В заживо сваренном раке хвост должен быть загнут, как у акантового листа в византийских вычурах. А снулый рак исполнен был яду, как печень медведя во время зимней спячки. Отравы тот рак скрывал в себе не менее, чем медовушный взор разгарчивой Мессалины, подносившей пьяный кубок с бодрялкой родному батюшке. Подсунул стольник рака, сваренного дохлым. Однако самодержец не был подозрителен. Он кликнул обергателя государевой печати Артамона Матвеева и молвил:

— Неча все время в зеркало пялиться. Глянь на рака. Вишь, будто крыла, клешни подъял. Вот и в гербе российском крыла у орла должны прострены быть. И чтоб концы хвоста загнуть волюткой и в лапы вложить скипетр и державу. Седни же закажи новую печать. Ступай, пожалуй...

Спустя две недели была отлита новая государственная печать. Хоругви и кабаки украсились византийским двуглавым орлом с поднятыми крыльями, в его когтях были зажаты скипетр и держава, крупная, как высокое яблоко.

И теперь, в заматерелые годы, мысли Алексея Михайловича сызнава запутались в пухлых перстах боярыни Мусиной-Пушкиной. Очнулся он, когда сквозь кошацье золото решетчатого оконца протек в палату косою струей звон Большого Успенского колокола. Царь вздрогнул, широким крестным знаменьем греховные мысли за печку загнал и вздохнул.

В Большой Успенский нынче только по праздникам звонили. Прежний колокол, что отлил Емелька Данилов с отцом своим, порушили после

---

Альфред Михайлович Солянов родился в 1930 году. Закончил философский факультет МГУ. Живет в Москве. Автор повести «Федька с бывшей Воздвиженки», опубликованной в 1974 году издательством «Молодая гвардия», и поэтического сборника «Сергея-неудачник» (1995). Публиковал переводы стихов и прозы с немецкого и английского языков, в частности У. Теккерея, Р. М. Рильке, Г. Мейринка. Известен как бард — исполнитель авторской песни.

Первая публикация в «Новом мире» — очерк «Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании» (1995, № 6).

благовеста звонари в страшном году, когда моровая язва уложила в вотчину с косую сажень и Емельку Данилова, и еще сто сорок девять тысяч христианских душ в Белокаменной. Через год после того отлил на восемь тысяч пудов Большой Успенский литец Александр Григорьев...

Ударили в Большой Успенский, когда у царя народился меньшей сын, нареченный Петром, схожий с отпрыском Ивана Мусина-Пушкина Платоном, как колокола-близнята.

В тот же год в Пушкарской слободе у колокольных дел мастера Федора Дмитриевича Моторина родился сын, при крещении в церкви Спаса на Сретенке нарекли его Иваном. По тому случаю в Большой Успенский не звонили, однако, как и спеленутый царев сын Петр, Иван сын Федоров Моторин с младенчества наследовал у отца свое законное ремесло.

После смерти Алексея Михайловича на царство заступил его старший сын Федор, сославший Артамона Матвеева туда, где дать было нечего и некому, а заодно и кремлевский набатный колокол, что тот своим звоном нарушил его сон. А при матушке Екатерине Великой новый набатный колокол лишили языка, потому как он к бунту народ призывал. А Платон Иванович Мусин-Пушкин к бунту народ не склонял, однако и ему отрезали язык и сослали в Соловецкий монастырь при Анне Иоанновне.

Ссылали, резали языки, безглавили.

Колокола — как люди. Люди — как колокола.

## 2

Александр Григорьев помирал тихо. Он лежал под бугристой ватолой, худой и тщедушный, с рыжей бородой в проседи. Запавшие глазницы казались бурыми, как греческая бронза, и на горячем пошепте с его сохлых губ слетали последние слова:

— ...Как помру, серебряные рубли, что я скопил, схорони у себя. Сын твой в литцы выйдет, присягу даст, на те рубли завод литейный построй. Будете сами себе хозяева. Пусть твой Ванек грамоте обучится, чтоб не был таким, как я. Чтобы хитрую цифирь постиг. Не токмо верою, ино и мерою...

Как отлил Александр Григорьев Большой Успенский, Алексей Михайлович повелел každоденно выдавать мастеру по серебряному рублю. Рос мастер сиротой, детей не народил, вот и завещал свой сундук с рублями старому другу. Отцы их тоже купно колокола лили. Еще при царе Михаиле Дмитрий Моторин в подмосковном селе Медведкове — вотчине князя Дмитрия Пожарского — привез вящему тезке для его церкви свой колокол.

Однако разумел Федор Моторин, что такого благозвучного, как Большой Благовестный в Саввино-Сторожевском монастыре, весивший две тысячи пудов и тридцать гривенок, никто уже на Руси отлить не сподобится. Столь знатный талант только Александру Григорьеву выпал, да и ему — раз в жизни. Грамоте и цифири не обучен был, но под тяжелой медяной плотью музыку небесной мироколицы на века угадал...

Во всяком колоколе три тона. Первый слышен сразу после удара. Если звон густ и ровен и держится долго, не глушится иными тонами, стало быть, литцу талант выпал. Начинается тот звон от дрожания частиц в средней его части. Второй тон слышен немного позже, то уже гудит боевая нижняя стенка с утолщенной губой. Чем толще губа, тем гул сильнее. Третий тон идет по дну. Если дно толстое, звон может испортить остальные два тона...

— Чударь ты, — ответил Григорьеву Федор Моторин, однако прекословить умирающему не решился. Сын его Иван уже в шесть лет постиг начала литейной формовки и на пыльных околицах собирал в холстяной куль конские яблоки — ведал, что с ними глину смешивать лучше, чем с коровьими лепешками: от этого ни кожух, ни глиняный болван не давали большой усадки и после просушки не трескались.

С сыном слободского пушкаря Дениской Фоминым бегал Ванька на Пушкарский двор, щербатые — с прозеленью — кирпичные стены которого упирались в Лубянку и Рождественку; смотрел, как ярыжки еловыми шестами медяную расплавку дразнили в литейных печах. И затыкал на полигоне уши, когда пушкарские новые орудия пытали и охульные пушки возвращали на переплавку.

Бегали они с Дениской и в Кремль слушать перезвон колоколов на Иване Великом и звоннице. Звонарь вставлял в уши рябиновую балаболку и начинал службу с удара в главный колокол.

Бом-м-м!..

А когда вступали альты — средние колокола, — вымеривал следующий удар чтением псалма:

— Блажен муж...

Бом-м-м!..

— Вскую шаташася...

И сызнава плескались на одной ниточке жемчуговые трели зазвонников.

Бом-м-м!..

— Господи, что ся умножиша...

В три звона разлетались голоса благовестного перебора, литые в целокупности так, что и не разобрать было, то ли зазвонники плаваются и рушатся вниз басами, то ли басы дробятся на мелкие жемчужины и взмывают в поднебесье миллионами сверкучих брызг.

Дениска рос озоруном, в свои игры и Ваньку Моторина вманывал. С Ивановской площади он тащил друга к приходу Николы в Воробьиные у Серебрянских бань, где бывший малороссийский коваль на старости лет заделался звонарем. Чтобы дать замер ударам, звонарь Юрка приговаривал:

— Теща б....ща...

Бом-м!

— Блинища пекла...

Бом-м!

— Уронила сковородищу...

Бом-м!

— Всю ....щу обожгла.

И складом лились российские обмылки фряжского Возрождения, от которых Ванька с Дениской, грызя валдайские баранки, закатывались хохотком.

Однажды Дениска облачился в старые тряпки, изображая батюшку из прихода Сергия-чудотворца в Пушкарях, и делал вид, что бросает в воду соль и масло. Свершив помазание колокола — свернутой конусом жестянки — семь раз крест-накрест снаружи и четыре — внутри, окуривал колокол ладаном и речитативом выводил:

— О еже отгнати всю силу коварства и навета невидимых врагов от всех верных своих, глас звука его слышащих...

— Где воду-то взабьль брать? — спросил батюшку крестный отец.

— Была, да вся вышла. — Дениска полез в штаны. За крещением колокола следил отец Ваньки Федор Дмитриевич. Когда батюшка обратился в звонари и стал повторять припевки коваля Юрки, Федор Дмитриевич поймал батюшку за ухо, дал ему по потылице и сказал:

— Не попами и скоморохами будете, а литцами!..

Бог дал попа, черт дал скомороха, литец — литца.

Литцы на Руси жили так, что медной посуды у них было крест да пуговица, а рогатой скотины — таракан да жуколица. Пиво, что по подряду поставлялось в Пушкарский приказ на раствор формовочной глины, приказные себе забирали. Приходилось штаны рассупонивать и урыльной влагой смачивать глину. Рождался колокол в промежке дерьма и праха, чтобы чистой песней встречать жизнь и смерть человеческую.



## 3

В десять лет Ванька мог определить, готова земля на формовку или нет. Сжав в горсти горелую землю и увидев, что кусок не рассыпался, он смешивал ее с мелко толченным огнеупорным кирпичом и глиной, хранившимися порознь в больших деревянных ларях.

Дениске мастерские уже доверяли отливать ядра. Как-то он шепнул Ваньке:

— Знаешь, какой секретный прилив для пушечного сплава?

— Нет.

— На сорок пудов полтора фунта ртути, столь же селитры и щепоть серы...

Дениска не успел досказать, как ворота со стороны Рождественки распахнулись, и на Пушечный двор, будто струя из печного очага, вылилась длинная толпа царской свиты. Впереди шел долговязый отрок в зеленом кафтане с красными обшлагами и позолоченным двуглавым орлом на груди. Это был юный царь Петр. Он обошел литейные ямы, оглядел колокол, отлитый намедни, поднял железный прут, валявшийся подле него на земле, и ударил колокол по макушке. Раздался куцый звяк.

— Почему не звенит? — спросил он.

— Бьют колокол не в голову, а в бок, — ответил Василий Васильевич Голицын.

— Пусть стреляют из пушек, — приказал Петр.

На полигоне пушкари и бомбардиры показывали удалую стрельбу. Когда юный царь сам поднес фитиль к затравке и пушка бухнула, свита заколыхалась и заволдырилась, как плавная медь под еловыми шестами. Дениска сказал Ваньке:

— Каков? Я бы тоже смог, да не велют.

А Петр сызнава поднес фитиль к казеннику. Пушка бухнула, и ядро, подняв фонтан земли, вошло в насыпной бруствер, как дробина в масло. Глаза у юного государя разгорелись. Верно, представлял он, как бьет по бунташным стрельцам, бросившим на копьа оберегателя государственной печати Артамона Матвеева. Затаились в царском сердце страх и месть. Страх он скрывал, а месть свою утолил, когда вкупе с Меншиковым рубил головы стрельцам...

Денис к тому времени стал пушечным мастером, и, если где подходила пора пробивать очко в печи, чтобы пустить металл в форму, его звали на подмогу. Чугун в изломе был хорош — волокнист и зубрист, однако око могло и ошибиться.

Печник железным ломом выбивал толстый гвоздь из очага. Денис стоял у белой огненной струйки, поднимал десницу и резким взмахом разрубал ею струю, подносил ладонь к носу, нюхал ее и говорил:

— Песку и угля быстрее добавь — цинку много...

Молодые новики из подмастерьев подходили к Денису и просили показать руку. Убедившись, что ладонь не только цела, но на ней нет и следа ожога, они в изумлении великом повторяли:

— Вот чударь так чударь.

Денис знал, что, ежели рука в меру суха и в меру влажна, металл не успеет обжечь ее. Ну а уж как он чуял, чего в расплавке не хватает, а чего в излишке, того объяснить не мог.

## 4

Петр Алексеевич стал первым царем на Руси, своеручно силком стригшим бороды подданным. Бояре крякали, когда его величество резал ножницами подобие Божие. Один князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, муж верный и твердый, смолчал, едва царь сделал его голорылым, и только посапывал в длинные, будто у рака, усы, сверля монарха зрачками темными и глыбкими, как пушечные жерла. Уж он-то ведал, что нижний

оком фамильного герба Ромодановских, схожий с французской бородкой, бомбардир-капитан, он же в миру самодержец российский, остричь побойтся, потому как Европу трогать накладно было — могла дать сдачи втрое. Царь уважал тех, кто был сильнее его. Дипломатом рос.

А когда царь прислал князю-кесарю машину мамуру, которая сама рубила головы стрельцам и убивцам, да заодно отрубила голову отцу Дениса Фомина, Денис явился на Пушкарский двор, выводя ногами вавилоны и крича:

— Был Бог, да весь вышел!..

— Сдурел, что ли?! — цыкнул Иван Моторин.

— Где он, Бог-то?

— Рече безумец в сердце своем — несть Бога, — ответил Иван. — Приходи, когда проспишься.

— Пьяный проспится, дурак — никогда. Уйду я из литцов. Креста на царе нет. Да и артиллерист-то он хреновый. Пушки из колокольной меди льет. С первого же выстрела порвет.

— Красной меди добавят.

— Где красную медь нонеча найдешь? Была, да вся вышла...

Петр начал войну со шведским королем Карлом XII и под Нарвою потерял полторы сотни пушек. Думному дьяку Андрею Андреевичу Виниусу, начальнику новой Конторы артиллерии и фортификации, было приказано отлить двести пятьдесят орудий. Большой Успенский колокол, разбившийся во время пожара, велено было не трогать. Колокольной меди свезли на Пушкарский двор девяносто тысяч пудов. Виниус жаловался царю письменно:

«Много остановок от пьянства мастеров, которых ничем исправить невозможно. Бургомистры красной меди не присылают, а колокольная медь в пушки без той негодна...»

Жаловался думный дьяк, однако к весне пушки отлил. Про пьянство было наврано, чтобы проникся государь, как нелегко приходится его слуге. Денис Фомин с пьянством в счет не мог идти — ушел он из Пушкарского приказа, сиречь Конторы артиллерии.

Ивану же Моторину, когда помер его отец, в наследство перешел литейный завод на Сретенке, построенный на рубли Александра Григорьева. Владел им Иван Федорович пятнадцатый год. За восемь месяцев отлил он там из казенного чугуна сто пятнадцать орудий, работал скоро и себя не щадил. Однако лил пушки без спешки, давая расплавке отфырчаться, отшипеться, как дикой рыси, изойти газами, чтобы при отливке не случилось раковин в металле. Сам отбирал на Пушкарском дворе не белые, а серые крицы — серый чугун хоть и мягче был и труднее плавился, однако в нем меньше цинку было — в изломе плотен и зернист, не хрупок, годился на сверление и обточку, и только такой чугун мог идти на отливку пушек и полых снарядов.

Пришел срок Ивану Федоровичу жалованье за отливку пушек получать в Конторе, да Андрей Андреевич пощелкал на счетах, поскрипел облезлым костью по бумаге и рек:

— Сам, Иван Федорыч, знаешь, наличных денег в Конторе не бывает. Да и не положено тебе жалованья. Много на угар вышло. Норму превысил. И не я тебе, а ты мне должен три рубля с пятиалтынным и двумя денежками. К концу года заплатишь.

— Помилосердствуй, Андрей Андреич! Что я жене-то скажу? Сына от груди не отняла, в доме ни полушки...

Делал дело Виниус, да и себя не забывал. Записал подряд на медь и железо под чужим именем, подрядчикам Сибирского приказа заплатил по два рубля за пуд, в Контору доставил по шесть рублей за пуд и разницу в двадцать тысяч рублей к себе в сундук уложил. Александр Григорьев столько не накопил за двадцать лет, сколько думный дьяк за полгода ухватил у казны. Хрусталь и бархат присно были повязаны с колодкой и кандалами.

Мастера и ярыжки стали от работы отлынивать, одно ядро по неделе отливали — хоть держава и вела войну со шведом, кому охота задарма спину гнуть? Заказы на бомбы и снаряды были сорваны, а раз так — отписал государь письмо князю-кесарю, а тут и Меншиков с ревизией пожаловал.

Чтобы под старость оставить за собой Сибирский и Аптекарский приказы, Виниус вручил светлейшему князю акциденцию, что по-латински значило «случайность», а по-русски — взятка на десять тысяч рублей.

Меншиков грамоте не разумел, но охулки на руку не клал — барашек в десять тысяч выделки не стоил. Виниус был отстранен от должности. В Преображенском приказе в присутствии князя-кесаря Ромодановского Андрею Андреевичу дали вскресу кнутом. Кнут не ангел, души не вынет — это до Виниуса собственным задом усвоили даже честные отцы на Руси. Понял думный дьяк, что совершил с акциденцией промашку, да промашка раньше вышла — брал Виниус с нищих и с Ивана Моторина тоже. Поспешил думный дьяк — будто отлил колокол с большими раковинами, не дав кожуху обсохнуть. Ударил в колокол — не малиновый звон раздался, а черный хрип.

## 5

Новый начальник Конторы артиллерии и фортификации Яков Вилимович Брюс был выходцем из Шотландии. Брови вразлет, узкие хваткие глаза, и на скуластом фасаде — выпяченная нижняя губа. Все время он проводил на Сухаревой башне и редко сходил на землю. В телескоп следил движение планет и звезд и вершил предсказания по знакам солннопутья на каждый год. Вместе со стольником Юрием Петровичем Лермонтовым, потомком шотландского барда и мага Томаса Лермонта, он готовил к печати календарь, по которому каждый волен был узнать, когда надлежало «мыслить почать или жену пояти». Оба они читали на латинском работы знатного астронома Иоганна Кеплера и соглашались с ним, что душам свойственна природа не плоских фигур, а объемных тел. И оба пытались постичь, отчего снежинки с пушистыми лучами, гранатовые зерна, пчелиные соты и все кристаллы имеют шестигранную форму.

В паузах за трапезой, когда метафизика уступила место жареному каплуну с мальвазией, они вели беседы на житейские темы. Как-то Юрий Петрович сказал:

— В фамильном гербе моего рода есть шестилепестковая розетка.

— А девиз? — спросил Яков Вилимович, поднимая бокал венецианского стекла и рассматривая при свечах рубиновые блики его стенок.

— *Sors mea Jesus*<sup>1</sup>.

— Вы не догадываетесь, — усмехнулся Яков Вилимович, — почему мой бокал червленого колера? В стекло венецианцы добавляют примесь золота. И стекло принимает рубиновый оттенок. *Sors mea Jesus*. Где золото, там и кровь...

До их слуха доносился колокольный звон, и обрусевшие шотландцы принимались рассуждать, вслед за Бэконом Веруламским и Картезием, влияет ли колокольный звон на воздушные процессы.

Князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский был далек от небесных материй. Оттого царь Петр перепоручил дела Конторы артиллерии ему, а заодно повелел сделать розыск по делу Кочубея и Искры, доносивших об изменнических помыслах гетмана Ивана Мазепы. Изысканных блюд Федор Юрьевич не любил. Потомок Рюрика в двадцать втором колене, он хлебал щи, знал толк в ставленных медах и закусывал кубок перцовки пирогом с угрем. Напивался он только после охоты, и тогда шумным застольным друзьям начинало казаться, что у главы Преображенского при-

<sup>1</sup> Жребий мой — Иисус (лат.).

каза сквозь очи затылок светится. Однако розыск в подвалах приказа он всегда вел только под легким хмельком, осушив полштофа бодрянки.

Дом князя-кесаря, где на воротных столбах красовался герб с черным драконом на золотом поле, занимал добрую четверть Моховой, рядом с Преображенским приказом, у Каменного моста. Окна закрывали занавески, подвешенные на клыки кабана, убитого князем на ворошок. Клыки были схожи с крюками, на которых подвешивали за ребра татей и воров. Однако Кочубей и Искра были не ворами, а заговорщиками и изменщиками, и для них князь-кесарь приготовил иные пытки.

Когда в подвалах Преображенского приказа раздавались черные хрипы невинных малороссийских жертв, Яков Брюс и Юрий Лермонтов возвращались к себе домой на пошевнях, звонко скрипевших полозьями по укатанной снежной дороге. На Сретенке спор их о гармонии небесных сфер прервали хамовнические армай. Московские подорожники, не считаясь с иноземным происхождением царских слуг, раздели до нитки незадачливых метафизиков.

— Побойтесь Бога, — спокойно говорил Яков Брюс, когда с него снимали шубу, подбитую лисьим мехом.

— Сказано в Святом Писании — забирающему у тебя рубаху отдай и верхнюю одежду, — ответил один из армаев. — Что касамо Бога, был, да весь вышел.

И грабители были таковы.

— Кажется, в отечестве российском народился свой Робин Гуд, — усмехнулся Брюс, выдвигая вперед нижнюю губу.

В кромешной тьме они добрались до дома, стоявшего на каменном подклете, и долго стучали в ворота, пока им не открыл бородач, одетый в исподнюю рубаху, опоясанную широким кожаным гашником.

— Кто такие? — спросил он.

— Брюс и Лермонт, — ответил Яков Вилимович.

— Ба! — удивился бородач. — Не признал я вас поначалу. Проходите. — Иван Моторин пропустил ночных гостей вперед.

Он накормил ограбленных горячими щами, дав по чарке хлебного вина. За едой Брюс рассказал о встрече с армяями и как один из них заявил, что был Бог, да весь вышел. Жена Моторина Анна, накрывшая на стол, взглянула на мужа и тут же пригасила взор, опустив веки к столешнице.

— Благодарствуем, Иван Федорович, — сказал Брюс, вытирая усы поданным полотенцем.

Покуда гости ждали возка, за которым Моторин послал дворового мужика в Контору артиллерии, они втянули в свои ученые разговоры и колокольного литца.

— Мы с Юрием Петровичем рассуждали о золотом сечении, — сказал Брюс. — О том, что в основе гармонии лежит математическое соотношение, открытое Пифагором. Это одна мера и для слова, и для здания, и для звука, и для движения планет. Должно быть, то же сечение лежит в построении формы колокола. Как ты считаешь, Иван Федорыч?..

Моторин уже давно сделал замеры колокола Саввино-Сторожевского монастыря, который отлил Александр Григорьев. Знал, что в основе построения лежит губа. По ее толщине и строилась толщина стенок, которые ко дну у самой коронки должны быть в три раза тоньше. Однако вылить колокол в нужный тон и вес никогда не удавалось.

— Не столь вежество надобно, сколь угадка, — ответил Моторин. — Можно, конечное дело, вычислить золотое сечение, как вы рекли. Однако почему ни один колокол не поет так, как Саввино-Сторожевский?..

— Верно, мастер, мыслишь! — усмехнулся Брюс.

Когда возок увез шотландцев в зимний мрак, Анна выдохнула:

— Денис разбил твоего Брюса! Гореть ему, окаянному, на костре...

А Брюс, владевший верою и мерою, в тот вечер сказал Юрию Лермонтову:



— Как в колоколе тона повторяют друг друга в гармоничном согласии, так и мы должны повториться в наших российских потомках...

Что же до Ивана Мазепы, то граф Гаврила Иванович Головкин, не раз посещавший когда-то гетманский дом в Москве у Покровки, в переулке Козьмы и Демьяна, писал Ивану Степановичу:

«...мы приложим неусыпные труды исследовать то зло без дальних околичностей и огласки».

Блестящий знаток латыни, Мазепа не преминул наградить Головкина акциденцией, после чего Искра и Кочубей были отданы гетману на расправу.

В Полтавском сражении ядро, вылетевшее из орудия, отлитого Иваном Моториным, угодило в носилки Карла XII и разбило их в щепки. Бомбардир, стрелявший из пушки, принял накануне варенухи с излишком, иначе бы шведскому королю не пришлось так лихо бежать с поля брани.

В короне государственного колокола стенки были вылиты толще, чем губа, и резкий звук их рушил гармонию основного тона.

## 6

Когда Петр закладывал новую столицу и первым вогнал лопату в каменную землю, высокие слуги, в безгласном восхищении окружавшие его, узрели в небе орла, парившего прямо над рукастым самодержцем. Это сочли добрым знаменем. Российские орлы десятками тысяч удобряли финскую почву, не успев даже узнать, что Нева по-чухонски значит болото. И пока в Петропавловской крепости купцы заполняли снятые в аренду ледяные казематы замшелыми бочками с вином, а придворные дамы с вычерченными по последней моде зубами натужно осваивали на ассамблеях притомчивый французский менюэт и прыгучий английский контрданс и напивались до положения риз, бескорыстно спаиваемые глумившимся царем, нищие приказные в Москве на бессмертные акциденции строили себе каменные дома, и слышен был плач и скрежет зубовный в тысячах семей, силком переселяемых в Санкт-Петербург. Отныне всякий на собственной шкуре постигал хитроумную игру на четырнадцати сословных клавишах. Генерал-фельдцейхмейстер, стоявший во главе Конторы артиллерии и не отличавший пища от пушки, получал пять тысяч шестьсот шестнадцать рублей в год, подьячий — двадцать четыре рубля, и кузнец того же ведомства — четырнадцать рубликов, тринадцать алтын и две деньги. Не важно, был ли слух у подданного, важно было, в какую клавишу он тыкал.

Россия превращалась в могучую военную державу, нутро которой разъедало первобытное бессудие. Любовника своей первой жены, царицы Евдокии Лопухиной, Петр посадил на кол. Споенный светлейшим князем Меншиковым царевич Алексей был сперва пытаем на даче Ивана Мусина-Пушкина в присутствии отца, а после задушен в Трубецком раскате Петропавловской крепости накануне девятой годовщины со дня Полтавской победы. Купецких бочек больше в казематах не было — их место заняли политические заключенные. Российский чудотворец претворял вино в кровь. Страх можно было скрыть, но гнев скрыть не удавалось...

Едва сын Моторина Михаил в день Алексия Божьего человека прибежал домой и сказал, что в храме Николы в Воробьино какой-то мужик порубил топором святые образа Спаса и Богородицы, крича: «Был Бог, да весь вышел», Иван Федорович посмотрел на жену и хрипло молвил:

— Все ты, Анна-пророчица...

Постарела жена его, как похоронила грудного сына Дмитрия. Никто болькости матерного сердца не изведает до конца. А уж когда шесть годов тому завод их на Сретенке погорел без остатку, как-то согнулась вся.

И пошел Моторин на Болотную площадь, где должны были сжигать Дениску Фомина. Пахло на Болоте мокрой псиной, кислым пивом и спелой репой. Березы наперед ольхи опушились — надо было ждать сухого

лета, а стало быть, и пожаров. Стоял бывший пушечный литец привязанным к столбу. Обложили его кругом березовыми поленьями. Мальчишкой Иван бросил в литейную печь березовый катыш, и Дениска попрекнул его: «Сосновые класть надобно, они смолистей, и хоть жару меньше дают, пламы у них выше и длиннее...»

Десятого патриарха на Руси Адриана царь убрал, в делах церковных теперь командовал Святейший Синод, а в гражданских — патриарх всея Яузы и всего Кокуя князь-кесарь, покуда был жив, а после — сын его Иван Ромодановский. Зачитан был приговор, одобренный Синодом, чтобы Дениса Фомина предать сожжению заживо.

Палач поднес горящую головню к хворосту. Под легким ветерком пламы нехотя метнулись к Денису. Денис держал в правой руке топор, которым он рушил образа в храме. Положа руку на огонь, он вещал голосом мерным и страшным:

— Будут трусы и мятежи, будут лживые пророки. От девки от Магаданы народится сын...

В тот же день Иван Моторин пошел на Варварку, в царев кабак, где дудели скоморошьи волынки и пьяные девки, натерев щеки злой бодягой, купали свои губы в словесном непотребстве. Иван не помнил, как снял с золотушного попа скупью — из уважения к распятому Христу — и набил ему варю. А вышедши вон, положил бороду на плечо и узрел над дверью двуглавого орла, когтившего скипетр и державу.

— Отдай державу Христу, — шатаясь, сказал Иван. — Это я тебе говорю, двубашковый кровопийца.

Он поднялся на взлобок Старой площади и запел:

— Теща б...ща блиница пекла!..

В закатных лучах солнца двуглавый орел с простертыми крыльями отливал багрецом, будто сваренный заживо рак.

## 7

Фельдмаршал Миних, моложавый обаюн, казался другом всех, потому что не любил никого. Он был прост как дрозд — в шапку нагадил и зла не помнит. Обнося старый Киев валом, он засыпал землю и взорвал золотые врата Ярослава, но, ревнуя к изволению предков российских, с позволения Анны Иоанновны послал своего сына в Париж, дабы прославить мастерство московских литцов. Миних-младший предложил золотых дел мастеру академику Жерменю составить проект отливки Царь-колокола.

— Сколько будет весить колокол? — спросил французский академик.

— Двенадцать тысяч пудов, — ответил сын фельдмаршала.

— Вы шутите! — расхохотался Жермень. — Это невозможно технически. Глиняная форма не выдержит давления металла.

Однако Жермень умел вить веревки из песка и за проектные расчеты заломил такую сумму, что Анна Иоанновна решительно отказалась от своего намерения.

Иван Моторин сам составил проект и отправил его в Санкт-Петербург. Высочайшее утверждение пришло через два года. Бумаги из новой столицы в Белокаменную и обратно шли неторопко. Когда казна открывала свой кошель, чтобы расплатиться, сажень превращалась в версту. Но если надо было обобрать подданных, верста сжималась до вершка. Растрелли было предложено заняться декором будущего Царь-колокола. Тот не соглашался работать ниже восьми тысяч рублей — сюда он не включал оплату материалов и жалованье мастеровым и работным людишкам. Иноземцам со времен Петра платили жалованье в четыре-пять раз больше, чем россиянам, и любовь к покинутой отчизне тощала у них быстрее, чем карманы.

За слова и травы, образы и персоны на наружной стенке колокола взялся Федор Медведев, пять лет учившийся в Венеции у скульптора Пьетро Баратты. Секреты ремесла, не ставшие достоянием черни, ценились в Европе выше, чем тайна таланта. За зеркало высотой в полтора ар-

шина и шириной в аршин платили почти семьдесят тысяч серебряных монет. В зеркале сильные мира сего созерцали самих себя. В картине Рафаэля они могли видеть только одного Рафаэля и платили за нее три тысячи. Тайны ремесла становились явными, тайны таланта все века оставались тайной, как формула колокольной гармонии.

Персоны Алексея Михайловича были уже готовы. Только Иисус у Медведева не получался. Сын Божий ходил по раскаленным палестинским камням, был прожжен солнцем; повстречайся он царю Петру, тот мог бы и у него оттяпать бороду.

— Что-нибудь узрел? — спросил Моторин, когда скульптор укрыл его портрет влажной холстиной. Медведев лепил из гжельской глины голову лица.

— Узрю, когда начну резать из дерева, — ответил тот, вытирая руки о фартук. — Ты что такой смурной?

— Завод мой опечатали. В Сенате следствие ведут, сколь я уворовал у казны олова и меди, из коих в двадцать седьмом году вылил колокола для Исаакиевского собора.

Через три дня Федор Медведев принес наброски образов Христа и Анны-пророчицы. Моторин кинул взгляд на листы бумаги — перед ним был скуластый мужчина с широким носом и распухшими губами. Анна-пророчица была схожа с женой Моторина.

— Чтоб Христос державу в персты взял, такого еще никто не творил, — молвил он и провел кургузыми пальцами по лицу пророчицы. — Чударь ты истый.

Как Медведев с товарищами закончил работу над моделями, в Санкт-Петербургский сенат полетел доклад: «...онный убор сделали и окончили только в тысячу четыреста рублей, в том числе и инструменты и дача денежного жалованья».

И еще Медведев удивил лица напоследки.

— Почему у тебя ангелы глаза так раскрыли? — спросил Моторин, когда Медведев отлил восковые модели их голов. — Будто плакать хотят и не могут.

— То взабьль так. Все слезы выплакали, глядя на дела земные.

## 8

— Ваше величество, — докладывал граф Головкин, — мастера московские зело распустились. Моторин просит, чтобы ему за четыре прошедших года жалованье выплатили.

— Пропьет все, бездельник, и работы не исполнит, — ответила Анна Иоанновна, напрягая крупный настырный подбородок.

— Я напишу в Московский сенат, — продолжал Гаврила Иванович, поморщась. Давала знать о себе подагра. — Чтобы к нему приставили унтер-офицера, пускай не отлынивает от дела.

— Быть по сему, — ответила Анна Иоанновна. — Сроки давно вышли, пора и честь знать. А жалованья не давать, покуда не будет колокол отлит...

У себя в Ропше граф Головкин написал письмо в Сенат. Второй десяток лет он донашивал кафтан кофейного цвета, блюдя заповедь: «И плоти угодия не творите». Дописывая последние строчки, он вспомнил, как первым из царских слуг назвал Петра Великим и Отцом Отечества. Пора было и Анну Иоанновну причислять к лику великих. Канцлер подошел к трюмо. Его сделал сам Петр — два столба, изображавших два лавровых дерева с орлом наверху каждого. Канцлер прослезился, перекрестился на образа и зашептал Символ веры. Как всякий вор, он был слезлив, как всякий плут — богомолен.

В письме Гаврила Иванович давал инструкцию к тому, чтобы «за ленивым колокольным мастером Моториным прилежно смотреть, чтоб он безотлучно при той работе был, и кроме субботы и воскресения в дом его не отпускать...».

Выручил Моторина казенщик при винном откупе Иван Веселовский и дал в долг триста рублей. Пришел срок возвращать деньги, а жалованья не дали — дали артиллерии капитана Глебова, чтобы тот следил за литцом и домой не отпускал. Артиллерии капитан неотступно ходил за Иваном Федоровичем, а к вечеру отводил на Пушкарский двор и самолично будил его в шесть утра...

Двое суток плавилась медь в четырех печах. В двух из них подняло поды, и металл стал уходить в землю. Прорвало медью под и у третьей печи. Моторин понял, что печники уложили в поды не донской кирпич, а мещанский. Недоглядел литец за ними.

Отливку отложили до следующего года. Однако Моторин до того дня не дожил. Как преставилась жена его Анна, так в мае 1735 года в пожаре сгорел весь его дом. С голодухи и горя слег Иван Федорович и уже не вставал до августа. Господь прибрал его душу на Свое Преображение.

А в ноябре Михаил Моторин пустил медь сразу из четырех печей. Не боялся, что кожух не выдержит, — отец все рассчитал без сучка и задоринки. Каждую минуту в яму поступало триста семьдесят пудов меди. Такой нагрузки на форму не знал в мире ни один колокольный литец.

Да только не суждено было зазвонить в Царь-колокол никому — от забытой копеечной свечки, зажженной на Троицу перед образом Спаса в чулане женой Марией Михайловой в доме отставного прапорщика Александра Милославского, загорелась Москва. И кто-то по нечаянности, плеснув на горевшие бревна, покрывавшие литейную яму, попал на Царь-колокол. От него откололся нижний кусок и выдвинулся, как нижняя губа у Якова Брюса. Узнав про то, заплакал Михаил Моторин.

## 9

Тонколодыжная Елисавет, с поратостью гончей взлетевшая на престол, великодушно отменила смертную казнь, однако по привычке, унаследованной от отца, продолжала бить государственный колокол по макушке. Сердце колокола пребывало безгласно.

По исконным поверьям, ангельские слезы, падая на землю, превращались в алмазы. Сын графа Головкина был сослан на Колыму, в Собачий острог, где под вечно мерзлой землей прятались золото и ангельские слезы. За Иваном Головкиным доброй волей последовала его жена, урожденная княжна Ромодановская. Через четырнадцать лет оплакала она смерть мужа, скончавшегося за тысячи верст от Санкт-Петербурга. Это среди каторжан родилась страшная в своей наготе истина, дошедшая до нашего века, — слезы не имеют запаха. Даже ангельские...

А через сто лет потомок Томаса Лермонта, тоже поэт и прорицатель, предскажет себе свою гибель и гибель России в черный год. Когда убитого поэта везли на телеге, из его легких вырвался черный хрип. Червлёный намет его родового герба был подложен золотом. А где золото, там и кровь.

В семнадцать лет он написал загадочные строки:

...Сладость есть  
Во всем, что не сбылось.

Колокола — как люди. Люди — как колокола.





АНТОНИО ТАБУККИ



## ДВА РАССКАЗА

### ГОЛОСА

**П**ервой позвонила девушка. Она звонила третий раз за последние три дня и повторяла без конца одну фразу: я больше не могу... В некоторых случаях нужно быть особенно внимательным, чтобы не попасть в психическую зависимость от того, кто звонит. Необходима осторожность и в то же время доброжелательность, чтобы человек на другом конце провода почувствовал, что тут не бездушный механизм, а друг, от участия которого, быть может, зависит жизнь. Кроме того, важное правило: он не должен «споткнуться» о ваш голос, иначе ситуация только усложнится. С людьми в подавленном состоянии именно так и случается, они не довольствуются анонимным голосом, им нужен кто-то, кому они могут доверять, они хотят, чтобы это был *тот* голос, и отчаянно к нему привязываются. Труднее всего иметь дело с людьми, которыми овладела навязчивая идея, отчего они возводят вокруг себя прочную стену. Порой они говорят по телефону такое, что волосы дыбом становятся, и редко идут на контакт. На этот раз, однако, все получилось хорошо, потому что мне повезло: я неожиданно напала на то, что ее интересовало. Вот еще одно правило, которое подходит к большинству случаев: постараться выйти на тему, которая может заинтересовать позвонившего, потому что у всех, даже самых отчаявшихся, остается, в конце концов, что-то, что их занимает, даже у тех, кто, кажется, порвал все связи с реальностью. Впрочем, это вопрос вашей доброй воли. Иногда приходится прибегать к маленьким хитростям: мне, например, удавалось разряжать ситуацию, до того казавшуюся безвыходной, с помощью стакана. Предположим, звонит телефон, вы снимаете трубку, произносите обычную фразу, а в трубке полная тишина, даже дыхания не слышно. Тем не менее вы продолжаете с настойчивостью говорить что-нибудь в таком духе: вам, мол, известно, что на другом конце

---

Антонио Табукки (род. в 1943) — один из самых читаемых и переводимых сегодня писателей Италии, признанный мастер психологического рассказа. Именно этот жанр представлен практически во всех его книгах: «Piazza d'Italia» («Площадь Италии», 1975), «Il piccolo naviglio» («Кораблик», 1978), «Il gioco del rovescio» («Игра в наоборот», 1981), «Donna di Porto Pim» («Женщина из Порто-Пим», 1983), «Notturmo indiano» («Ночной индеец», 1984), «Piccoli equivoci senza importanza» («Маленькие экивоки, не имеющие значения», 1985), «Il filo dell'orizzonte» («Линия горизонта», 1986), «Requiem» («Реквием», 1992) и др. За книгу «Реквием» Табукки были присуждены премия международного Пен-клуба в 1992-м и крупнейшая литературная премия Италии «Palazzo al Bosco» в 1993 году.

Большой знаток и любитель поэзии, особенно иберийской, Табукки был инициатором и редактором антологии сюрреалистической поэзии «La parola interdetta» («Запретное слово», 1971), итальянского перевода стихов знаменитого португальского поэта Фернандо Песоа «Una sola moltitudine» («Единое множество», 1979).

В 1987 году Табукки был удостоен почетной французской литературной премии «Medicis Etranger», вручаемой лучшему иностранному литератору года.

На русском языке рассказы Антонио Табукки впервые были опубликованы в 1984 году в журнале «Простор» (Алма-Ата) в переводе В. Николаева. Два рассказа, которые представляет теперь читателям «Новый мир», взяты из сборника «Игра в наоборот».

слушают, а раз уж слушаете, то скажите все, что хотите, первое, что придет в голову: нелепость, ругательство, — крикните, наконец. В ответ ничего, мертвая тишина. Но у того, кто позвонил, был же повод для этого, только вам он неизвестен, вам вообще ничего не известно, человек может оказаться иностранцем или немым — кем угодно. Тогда я беру стакан и карандаш и говорю: послушай, нас на земле миллионы и миллионы, однако мы двое встретились, правда по телефону, это верно, не зная друг друга, не видя друг друга, но все-таки встретились, давай используем этот шанс, это ведь что-то должно означать, ты меня слышишь, давай сыграем, у меня здесь, передо мной, стакан, я заставлю его звенеть, ударив по нему карандашом, тлинь, ты меня слышишь, если слышишь, сделай то же самое, ударь два раза, а если перед тобой ничего нет, достаточно, если ты просто постучишь по телефонной трубке ногтем, вот так, цок-цок, слышишь, если ты меня слушаешь, ответь, я прошу тебя, слушай, я сейчас попробую перечислить вещи, какие придут мне в голову, а ты мне скажешь, нравятся ли они тебе, — например, тебе нравится море, если да, постучи два раза, один удар будет означать «нет»...

Так вот, о девушке, которая набирает номер. Пару минут она молчит, а потом начинает повторять: я больше не могу, я не могу больше, я не могу больше, я больше не могу, я не могу больше... И так далее, без конца. Это была чистая случайность, что я поставила пластинку. Сегодня пятнадцатое августа<sup>1</sup>, подумала я, вряд ли будет много звонков, и действительно, я приступила к дежурству больше двух часов назад, но до сих пор никто не позвонил. Стояла страшная жара, маленький вентилятор, который я принесла с собой, не давал ни капли прохлады, город казался вымершим, все укатили за город, на вакации. Я поудобнее устроилась в кресле, попробовала читать, но книга упала на грудь, а я боюсь дремать на дежурстве. У меня замедленная реакция, и если кто-нибудь позвонит, в первые секунды я буду плохо соображать, а именно первые секунды, как правило, и решают, потому что позвонивший может положить трубку, и кто знает, хватит ли у него мужества набрать номер еще раз. Потому я и поставила тихонько моцартовский «Турецкий марш», веселая музыка действует стимулирующе и поддерживает морально. Девушка позвонила, когда пластинка еще играла. Долго молчала, затем начала повторять, что больше так не может. Я не прерывала ее, потому что для подобных случаев есть свое правило: человек дает волю чувствам и должен высказать все, что хочет и сколько хочет. Когда же наконец она замолчала и сделалось слышно лишь ее прерывистое дыхание, я сказала: подожди секундочку, ладно, я только сниму пластинку, — а она мне ответила: не надо, пусть играет. Конечно, сказала я, я с удовольствием оставляю ее, а тебе что, нравится Брамс? Не знаю сама, почему я вдруг почувствовала, что ключом к контакту может оказаться музыка, этот трюк пришел мне в голову спонтанно, маленькие выдумки иногда провиденциальны, а что касается Брамса, вероятно, это была игра моего подсознания под впечатлением книжки Саган, название которой отложилось в памяти. Это не Брамс, сказала она, это Моцарт. Как Моцарт? — слукавила я. Конечно Моцарт, ответила она уже живее, это же «Турецкий марш» Моцарта. И стала рассказывать мне о консерватории, где училась до того, как случилась эта история.

Дальше все пошло хорошо.

Время тянулось медленно. Я слышала, как пробило шесть часов на колокольне церкви Сан-Доменико, выглянула в окно: над городом висела легкая знойная мгла, по улицам проезжали редкие машины. Я подкрасила ресницы — иногда я находила себя хорошенькой — и растянулась на диванчике рядом с проигрывателем, раздумывая о делах, о людях, о жизни.

Телефон зазвонил в половине седьмого. Я произнесла обычную формулу, может быть, немного устало, почувствовала на другом конце провода легкое замешательство, затем голос сказал: меня зовут Фернандо, но я

<sup>1</sup> 15 августа в Италии нерабочий день в связи с церковным праздником Успения. К тому же дни с 1 по 15 августа — самые жаркие, время массовых отпусков. (Здесь и далее примечания переводчика.)

не деепричастие<sup>2</sup>. Есть еще одно хорошее правило: надо оценить первую реплику, демонстрируя этим свою открытость к контакту. Я засмеялась и ответила, что у меня был дедушка, которого звали Андрей, но и он не был условным наклонением<sup>3</sup>, он был просто русский. На том конце провода немного посмеялись в ответ. Затем голос поведал, что все-таки имеет нечто общее с глаголами: некоторые их свойства в его характере. Прежде он был непереходным глаголом. Все глаголы служат для построения фраз, сказала я. Мне представилось, что наша беседа допускает аллюзии, и потом, всегда лучше поддержать тон, заданный собеседником. Но теперь я сослагательное наклонение, вернее, слагательное, сказал он. Слагательное? — переспросила я, в каком смысле? В том, ответил он, что я складываю оружие. Может быть, в том и состоит ошибка, сказала я, что оружие не должно быть сложено, возможно, причина в скверной грамматике, было бы гораздо правильнее, если бы воюющие стороны были вооружены, кругом и так столько безоружных, будьте уверены, целая армия наберется. Он ответил: буду. А я сказала, что наша беседа похожа на таблицу спрягаемых глаголов. Он засмеялся коротким, грубым смешком. А потом спросил, знаком ли мне шум времени. Нет, ответила я, не знаком. Это очень просто, сказал он, стоит только сесть в постели, ночью, когда не удастся уснуть, и уставиться открытыми глазами в темноту, немного спустя он услышится, похожий на рокот моря или глухой рык зверя, пожирающего жертву. Почему-то он не стал подробнее говорить об этом, хотя я не перебивала его, мне все равно не оставалось ничего другого, как сидеть и слушать. Между тем он был уже где-то далеко, я почувствовала по разговору, что наша связь прервалась, он сделал переход, в котором не было никакой логики, а может, он просто не хотел рассказывать о своих ночах. Я дала ему продолжить — никогда ни в коем случае нельзя перебивать говорящего. Мне не нравится его голос, подумала я, то чересчур истеричный, то переходящий в шепот. Дом очень большой, говорил он, это старинный дом, полный мебели, оставшейся от предков, безобразная мебель в стиле ампир, много потертых ковров и портретов угрюмых мужчин и гордых несчастных женщин со слегка отвисшей нижней губой, знаете, почему их рты имеют такую странную форму? — потому что горечь целой жизни собирается в нижней губе и оттягивает ее, эти женщины были вынуждены проводить бессонные ночи рядом с глупыми, не способными на любовь мужьями и так и сидели по ночам с открытыми глазами, устремленными в темноту, лелея свою боль, в гардеробе, соседнем с моей комнатой, еще лежат ее вещи, которые она оставила: на одной из тумбочек немного белья, действующего на нервы, маленькая золотая цепочка, которую она носила на запястье, и черепаховая заколка для волос, письмо лежит на комодe, под стеклянным колпаком, под ним когда-то стоял огромный будильник из Базеля, этот будильник я сломал, когда был еще ребенком, однажды я болел, никто не зашел проведать меня, я помню это, словно это произошло вчера, я поднялся, вытащил из-под колпака будильник, который испуганно звякнул, снял заднюю крышку и аккуратно разобрал его, пока вся простыня не покрылась маленькими шестеренками, если хотите, я могу его прочесть, я имею в виду письмо, более того, я могу процитировать его по памяти, я перечитываю его каждый вечер, Фернандо, если бы ты только знал, как я ненавидела тебя все эти годы, так оно начинается, остальное можете домыслить сами, колпак хранит концентрированную ненависть. Затем он вновь сделал резкий переход, но на этот раз, мне кажется, я поняла логику, потому что он назвал мужское имя: Джакомино.

И тогда я спросила его: письмо датировано пятнадцатым августа? Моя интуиция вдруг подсказала мне это, и он ответил, да, сегодня как раз годовщина и он отпразднует ее как подобает, он уже приготовил орудие празднования, оно тут, на столе, рядом с телефоном.

<sup>2</sup> В итальянском языке деепричастия имеют окончание «андо».

<sup>3</sup> Итальянские глаголы в первом лице единственного числа в условном наклонении оканчиваются на «рей».

Он замолчал, я подождала еще немного, надеясь, что он опять заговорит, но он больше ничего не сказал. Тогда я сказала: подожди, Фернандо, до следующей годовщины, попробуй подождать еще год. Я тотчас поняла смехотворность моего предложения, но в тот момент на ум мне не пришло ничего иного, я сказала это исключительно для того, чтобы сказать хоть что-нибудь. В конце концов, значение имеют не слова, а взаимопонимание. В ходе самых разных телефонных разговоров, в самых нелепых случаях я, как правило, ощущаю это понимание, однако сейчас был как раз такой случай, когда умение изменило мне, и я вдруг испытала отчаяние, словно сама нуждалась в другом человеке, который выслушал бы меня и сказал добрые слова. Это длилось всего мгновение, он молчал, я быстро пришла в себя и уже знала, что говорить дальше. Я могла сказать о микроперспективах, и я сказала ему о микроперспективах. В жизни существует несколько типов перспектив: так называемые большие перспективы, которые обыкновенно считаются самыми важными, и те, которые я называю микроперспективами, да, конечно, они малы, я согласна, но если все в мире относительно, если природа допускает, чтобы существовали и орлы, и муравьи, то почему, я спрашиваю, нельзя жить как муравьи, жить микроперспективами, да-да, микроперспективами, повторила я настойчиво, и он нашел мое определение занимательным. Ну и в чем состоят эти микроперспективы? — спросил он, и я принялась старательно объяснять. Микроперспективы — это модус вивенди, вы понимаете, или скажем так: это форма концентрации внимания, всего внимания, целиком, на мелкой детали жизни, как будто эта деталь наиглавнейшая, но в то же время относиться к этому надо с иронией, понимая, что на самом деле никакая она не наиглавнейшая, поскольку все относительно. Помогает также составить список занятий, вести заметки, подчинить себя жесткому распорядку и не уступать себе ни в чем. Микроперспектива — это конкретный способ привязаться к конкретным вещам.

Мне не показалось убедительным все, что я сказала, но я и не ставила целью убедить его. Я хорошо сознавала, что не открываю секрета философского камня, и все же тот факт, что он должен чувствовать, что кто-то еще озабочен его проблемами, не может не сослужить своей службы. Это все, что я могла для него сделать. Он спросил, можно ли позвонить мне домой. Очень жаль, но у меня нет домашнего телефона. А сюда? Конечно, сюда когда угодно, нет, завтра, к сожалению, нет, однако можно оставить для меня весточку, более того, он должен это сделать, здесь будет мой друг, он все передаст, я была бы рада получить весточку о том, какой была микроперспектива прожитого им дня.

Он вежливо попрощался со мной таким тоном, будто просил прощения. Опустился вечер, я этого даже не заметила. Некоторые телефонные разговоры требуют невероятного напряжения сил. Из окна я увидела Гулливера, пересекающего улицу, он шел сменить меня, Гулливер, его можно заметить даже с крыши небоскреба, недаром его прозвали Гулливером. Я собрала свои вещи и приготовилась уходить. И только сейчас обнаружила, что уже без десяти девять, черт возьми, я же обещала Пако, что буду дома ровно в девять. Если даже я поспешу, раньше чем в полдесятого до дому не доберусь. К тому же общественный транспорт, который в нормальные дни — наше несчастье, а уж пятнадцатого августа его вообще не дождешься! Уж лучше пешком. Я стрелой промчалась мимо Гулливера, не дав ему времени поздороваться со мной, он крикнул вслед что-то шутовское, я ответила с лестницы, что у меня свидание, что в следующий раз, Бога ради, пусть приходит точно по расписанию и что я оставила ему вентилятор, хоть он этого и не заслуживает.

Так не бывает, но когда я выскочила из подъезда, то увидела 32-й, выворачивающий из-за угла, и пусть он не подвезет меня до самого дома, но значительную часть пути сократит. Как из пращи я влетела в автобус, он был абсолютно пуст — это тоже было впечатляюще, пустой 32-й в это время, если вспомнить, каким он бывает обычно. Водитель ехал так медленно, что мне захотелось наорать на него, но потом я сказала себе: да брось ты, у него такое несчастное лицо и такие потухшие глаза, ладно, если



Пако рассердится, тем хуже для него, я не умею летать. Я вышла на остановке у больших магазинов и быстро зашагала к дому, но было уже девять двадцать пять и не имело смысла бежать, мало того что и так явишься с опозданием, да еще и потной и тяжело дышащей, как загнанная лошадь. Я вставила ключ в замок, стараясь сделать это тихо. Дом был погружен в темноту и безмолвие. Я ощутила беспокойство, неизвестно почему подумала о чем-то неприятном, потом меня охватила тревога. Я позвала: Пако, Пако, это я, я вернулась. На секунду я задохнулась от отчаяния. Я положила книги и сумку на тумбочку у входа и подошла к двери в гостиную. Пако, Пако, позвала я еще раз. Какой жестокой бывает порой тишина. Я знаю, что сказала бы ему, будь он здесь: прошу тебя, Пако, сказала бы я ему, это не моя вина, пришлось вести длинный телефонный разговор, а половина транспорта не ходит, потому что сегодня пятнадцатое августа. Я пошла закрыть балконную дверь — в саду было полно комаров, и как только они увидели свет, то налетели тучей. Вдруг я вспомнила, что в холодильнике у меня оставалась баночка икры и баночка паштета, и подумала, что вот и пришел момент открыть их и даже откупорить бутылку мозельского. Я постелила желтую льняную салфетку и поставила красную свечу. Зажженная свеча придавала уют моей кухне с мебелью светлого дерева. Накрывая на стол, я еще раз слабо позвала: Пако. Ложкой я тихонько ударила по бокалу, тлинь, затем ударила посильней, тлин-н-нь, звук разнесся по всему дому. На меня внезапно нашло вдохновение. Я постелила еще одну салфетку напротив, поставила на нее тарелку и бокал, положила столовые приборы. Налила в оба бокала вина. Пошла в ванную привести себя немного в порядок, вдруг он действительно сейчас придет. Тогда дважды прозвонил бы звонок, он всегда звонит дважды, я отворила бы дверь с таинственным видом, я накрыла на двоих, я тебя ждала, сказала бы я, сама не знаю, почему, но я тебя ждала!

И Бог весть какое при этом у него сделалось бы лицо.

## ТЕАТР

1. Садик маленькой казармы незаметно переходил в джунгли, темной стеной окружавшие поляну. Это было здание в колониальном стиле, с фасадом выцветшего розового цвета и желтыми жалюзи. Его построили еще в 1885 году как штаб-квартиру командующего нашими войсками в Мозамбике, но после того, как пять лет тому назад наша армия была выведена из севернородезийской зоны Ньяссленда, гарнизон в казарме больше не стоял. Когда я приехал, в ней жил капитан запаса, отслуживший здесь срочную службу, а также два солдата-негра со своими женами — сдержанные и молчаливые «сипаи», единственное занятие которых, судя по всему, имело отношение к ортопедии: они лечили обитателей соседней деревни, постоянно калечивших себе ноги на лесозаготовках. Вот и сейчас, в день моего приезда, двор казармы был полон хромоногих: на пристани Замбези, как объяснил мне капитан, рассыпался приготовленный к погрузке штабель бревен. Обычно негры предпочитают лечиться своими собственными методами, но эти люди из племени сенгас, сказал капитан, особый народец (я это знал не хуже его) — они приходят за помощью сюда, хотя медицинское оборудование казармы оставляет желать лучшего.

Капитан, велеречивый, деликатный мужчина, называл меня «ваше превосходительство». Лет ему было, наверное, столько же, сколько мне, может, чуть больше. Его акцент, провинциальные и архаичные манеры выдавали в нем северянина из Опорто или Амаранти<sup>4</sup>, крепкая челюсть, синеватая борода, взгляд, исполненный покоя и терпения, говорили о поколениях крестьян и горцев, краткое пребывание в армии не смогло стереть этих следов. Он изучал юриспруденцию, был записан в университет

<sup>4</sup> Опорто, Амаранти — населенные пункты на севере Португалии.

Коимбры<sup>5</sup>, и, когда демобилизовался и поступил на гражданскую службу, ему оставалось еще восемь экзаменов. Тут у него было предостаточно времени для занятий.

Мы расположились на маленькой террасе, и он, распорядившись подать свежий сок тамариндо, завел вежливый и доверительный разговор, безуспешно пытаясь держаться непринужденно. Как прошла поездка? — озабоченно спросил он. Спасибо, все было превосходно, насколько может быть превосходным трехсоткилометровое путешествие на грузовике по сами знаете какой дороге. Жоакино — превосходный шофер. Да-да, до Тете<sup>6</sup> я доехал поездом. Нет, климат в Тете как раз не из лучших. Известия из Европы? Есть, семидневной давности, ничего интересного, мне кажется. Я предполагаю пробыть здесь месяцев двенадцать, думаю, этого достаточно для переписи населения в округе Каниемба, но, может быть, хватит и десяти. Благодарю за любезное предложение, вероятно, помощь мне действительно понадобится. Я был бы очень признателен, если бы господин капитан мог предоставить в мое распоряжение одного из «сипаев», умеющего писать. Кстати, в казарме есть архив? Замечательно, с него и начнем. У вас есть опыт работы с архивами? Превосходно, я и не рассчитывал на такую удачу. Впрочем, моя работа должна быть достаточно общей, своего рода прикидкой для будущей, более подробной, переписи, которую правительство намеревается провести в округе Каниемба.

За соком тамариндо последовала крепчайшая водка, которую «сипаи» изготавливали прямо в казарме, и разговор наш принял характер легкомысленный и приятельский. Незаметно спустился вечер, терраса наполнилась беспокойными звуками джунглей, легчайший ветерок принес терпкий аромат подлеска, капитан опустил сетки, чтобы не налетели комары, зажег керосиновую лампу и попросил разрешения покинуть меня. Я только распоряджусь насчет ужина, и мы продолжим застольную беседу, сказал он. Я охотно отпустил его. Мне доставляло удовольствие одинокое созерцание темноты в тишине. Я посчитал лишним сказать ему о том, что сегодня завершается четвертый год моего пребывания в Африке. Мне хотелось подумать об этом наедине с самим собой.

2. В 1934 году Мозамбик был португальской колонией, наполненной великим одиночеством и населенной странными, невероятными, случайными людьми. В ней было что-то от рассказов Конрада, может быть, беспокойство, униженность и тайная грусть.

Я сошел с корабля в Лоуренсу-Маркише<sup>7</sup> четыре года назад, имея в кармане свеженький диплом выпускника факультета политических и колониальных наук и фамилию, заставлявшую правительственных чиновников почтительно склонять головы. В моей памяти еще не изгладилась, еще жгла душу короткая перепалка с отцом, который должность начальника административного округа в дикой стране, то есть колониального чиновника, расценил как недостойную представителя нашего рода. Честно говоря, я был с ним отчасти согласен, но Лиссабон стал для меня неудобен и непереносим, как костюм с чужого плеча: Кьядо, кафе «Бразильера», летние каникулы в Кашкайше на семейной вилле, лошади в клубе «Марина», балы в посольствах, праздное времяпрепровождение молодого человека моего класса — все это стояло у меня поперек горла. Однако что я мог поделать, если хотел жить собственной жизнью, специализируясь в колониальных науках? Возможно, было ошибкой само поступление в университет? Но о чем теперь рассуждать: университет закончен. Мне оставался выбор между праздностью в Лиссабоне и работой в Африке.

После двух лет пребывания в Тете, Иньямбане<sup>8</sup> показался мне почти Европой, несмотря на сонливость, грязь и увядшую красоту этого неболь-

<sup>5</sup> Коимбра — административный центр одной из северных провинций Португалии.

<sup>6</sup> Тете — административный центр глухой мозамбикской провинции.

<sup>7</sup> Лоуренсу-Маркиш — столица Мозамбика в бытность его колонией Португалии.

<sup>8</sup> Иньямбане — второй по величине город-порт Мозамбика.

шого торгового порта, укрывшегося за мысом Барре. Раз в месяц здесь бросали якоря суда, направлявшиеся в Красное море из южноафриканских портов Дурбан и Порт-Элизабет, и это создавало иллюзию цивилизованной жизни и неразрывной связи с остальным миром. Прогулки до пристани, когда там причаливали маленькие английские пароходы или линейные корабли из Лиссабона, служили малым утешением, но на большее я не мог рассчитывать, и думы кораблей, терявшихся за горизонтом, пробуждали во мне тоску по Европе, воспринимаемой как услышанная в детстве и едва хранимая памятью сказка. Африка своей самодостаточностью и вялостью увеличивала расстояния и приглушала воспоминания. Газеты сообщали, что в Австрии убит канцлер Дольфус, что в Америке семнадцать миллионов безработных, что в Германии сожжен рейхстаг. Отец писал мне многословные письма, переполненные новостями: один из моих братьев надумал постричься в монахи; на вилле в Кашкайше установили телефон; смертью Дона Мануэля<sup>9</sup> монархическому делу нанесен сильный удар — его уход в мир иной позволил претендовать на трон малоизвестному молодому человеку, к тому же иностранцу, связанному с мигуэлистской группировкой, что, само собой разумеется, было не по душе моей семье, принадлежавшей к либеральной аристократии. Новая конституция, текст которой лежал у меня под стеклом, определяла мою родину как «корпоративное и авторитарное государство», и правительственная депеша предписывала вывесить в общественных учреждениях фотографию нового премьер-министра Государственного совета — молодого университетского профессора с презрительным и высокомерным лицом, Антонио де Оливьера Салазара. Я прикрепил ее на стену у себя за спиной со смутным чувством неприязни к этому человеку. Но над письменным столом я сохранил портрет Дона Мануэля, с которым был связан почти семейными чувствами. Присутствие этих двух изображений в одной комнате было явным противоречием, но Африка с ее высочайшей терпимостью позволяла прекрасно уживаться любым противоречиям. Последний английский пароход доставил мне модный в Европе роман, события в котором развивались на Лазурном берегу, но он так и остался на моем столе неразрезанным. Ночи в Иньямбане были слишком далеки от огней Антиба<sup>10</sup>, о которых рассказывалось в модных романах с их примитивным содержанием: пальмы, сценографическая луна, ужины с омарами в клубах под соревнующиеся между собой маленькие оркестрики и джаз, шикарные женщины, принимающие ухаживания с обезоруживающей легкостью, любовь с роковыми, переменчивыми страстями — абсолютно далекая другая жизнь. В Африке, этом вместилище духа, непостижимости и риска, каждый ощущает себя далеким от всего, даже от самого себя.

3. Поездка была не такой уж превосходной, я солгал капитану. Она была утомительна и полна приключений. В одном месте мы неожиданно провалились в грязь и целое утро из нее выкарабкивались. К счастью, Джоакино оказался действительно первоклассным шофером, к тому же отлично знавшим все дороги. Это был пожилой терпеливый и вежливый мулат, привыкший к превратностям судьбы и несчастьям, он принимал жизнь как должное, а дорожные неудобства — как небольшие развлечения на долгом однообразном пути.

Развалившись на сиденье грузовика, резво катившего вдоль самой кромки джунглей, я в который раз вспоминал вице-губернатора и его указку, которой он водил по карте, висевшей на стене его кабинета в Иньямбане, показывая мне наиболее подходящий маршрут. Было жарко, вентилятор с трудом рассекал вязкий воздух, через распахнутое окно лился яр-

<sup>9</sup> Дон Мануэль — последний король Португалии Мануэль II, лишенный трона в 1910 году.

<sup>10</sup> Антиб — городок на Лазурном берегу Франции, модный курорт.

кий полуденный свет и доносился гомон базара, раскинувшегося неподалеку в тени деревьев. Указка медленно ползла на северо-запад по дороге, которая выглядела на карте тонкой ниточкой, пересекавшей густую зелень джунглей, где ни одного города в радиусе трехсот километров. И вот уже второй день я трясусь в грузовике, выполняя непостижимый, даже скорее нелепый, приказ моего начальника, словно перед моим носом все еще маячит та самая указка. Перепись в границах округа Каниемба, в пятистах километрах от нашей резиденции, требующая примерно десяти — двенадцати месяцев, смахивала одновременно и на наказание, и на суровое предупреждение мне. Я подумал, чем бы мог настолько рассердить вице-губернатора, что он дал мне такое поручение, и вспомнил фотографию Дона Мануэля над моим письменным столом, судебный процесс против богатого колониста, в котором я выступал в качестве истца, обвинив его в деспотизме по отношению к своим слугам, угрозы одного высокопоставленного туза в связи с началом расследования мною его подпольных махинаций. Каждый в отдельности и вместе взятые, эти факты, а может быть, и другие, о которых я даже и понятия не имел, могли повлиять на его решение. Но даже если знать истинную причину, ничего не изменится.

4. За кофе, когда капитан рассказывал типичную португальскую историю о нищете и богатстве, «сипай» принес мне прямоугольник белой плотной бумаги. Это был пригласительный билет, отпечатанный типографским способом, такими пользуются в свете в торжественных случаях. Он был слегка помят и пожелтел от старости. Текст на английском языке гласил: «Сэр Уилфред Коттон имеет честь пригласить на ужин... — далее следовало пустое место и от руки было вписано мое имя, — ...в четверг, 24 октября, в 19.00. Желателен вечерний костюм. Просьба сообщить ответ».

Я покрутил билет в руках. Должно быть, у меня было изумленное лицо, но и ситуация была соответствующей: казарма, населенная бывшим офицером и двумя пожилыми «сипаями», город Каниемба — допускаю, что он может называться городом — в двух днях пути от действительно настоящего города... и приглашение на ужин в смокинге! Я спросил капитана, кто такой этот сэр Уилфред Коттон. Так, англичанин. Понятно, я представляю себе, но что за тип англичанина, кто он такой, чем занимается? Он прибыл сюда несколько месяцев назад скорее всего из Солсбери, по крайней мере, я так думаю, ответил капитан, живет в маленьком домике на самом краю городка, кто такой, я даже не представляю, немолод, на первый взгляд, элегантный, тонкий человек.

Я еще раз перечитал приглашение и собрался было сунуть его в карман, но заметил выжидающий взгляд «сипая», стоявшего все это время у двери. Что-нибудь еще? — спросил я. Да, ваше превосходительство (я цитирую дословно), у входа ждет слуга господина Коттона, он напоминает вашему превосходительству, если ваше превосходительство ему это позволит, что четверг завтра, прикажете гнать его вон?

5. Коттедж Уилфрида Коттона принадлежал администрации компании по заготовке древесины до того, как фабрика была переведена на пару километров южнее, ближе к Замбези. На деревянном столбике у входа изпод свежей краски еще проступало изображение скрещенных топора и пилы с ласточкиным хвостом — марка компании. Маленький запущенный банановый садик служил естественной границей между домом и улочкой, внизу у реки проходила шоссейная дорога, ведущая в Тете, и над всем этим нависали щупальца буйных джунглей.

Было ровно семь. Коттон встретил меня стоя на террасе. На нем был белый пиджак и шелковая бабочка. Добро пожаловать, сказал он, ужин уже готов, будьте любезны, соблаговолите пройти в дом, ваш шофер поужинает на кухне, за ним уже послан слуга, не желаете ли аперитива? Бой в черных брючках и ослепительно белой рубашке застыл в ожидании у буфета, держа в руках бутылку вина. На столе стоял мясной пирог, облитый черничным вареньем. Ужин был непродолжительным, вкусным, расслаб-



ляющим и сопровождался беседой на общие темы. Надолго ли я в эти края, может быть, на год, о, в самом деле, надеюсь, такая перспектива не приводит вас в ужас, как вам это местечко, так себе, о, конечно, понимаю, но климат здесь совсем неплохой, вы не находите, влажность переносится легко... Граммофон в гостиной тихо наигрывал Гайдна.

За чаем мы беседовали о чае. Тот, что мы пили, был приготовлен по его собственному рецепту: листочки «Ли Конго», самые маленькие, которые придают чаю насыщенный цвет и содержат высокий процент теина, смешаны с сортом «Ньясса», очень ароматным и легким. Большие напольные часы в углу гостиной пробили восемь, и Уилфред Коттон спросил меня, люблю ли я театр. Очень, признался я и почувствовал легкую грусть: в Лиссабоне я не пропускал ни одной премьеры, да, пожалуй, из всех искусств театр я любил больше всего. Мой хозяин поднялся из-за стола с некоторой поспешностью, как мне показалось. Очень хорошо, сказал он, тогда сегодня вечером будет театр, не окажете ли мне любезность последовать за мной? И он быстро вышел из комнаты.

6. Хижина стояла посреди небольшой поляны между домом и джунглями. Это была просторная круглая лачуга из тростника, такая же, какие в этих краях строят негры, с виду, правда, более прочная. Стены внутри были побелены, на полу лежала циновка, на ней стоял пюпитр, у стены — маленькая плетенная из соломы скамеечка, больше в хижине ничего не было. Уилфред Коттон пригласил меня сесть, сам встал на циновку, положил на пюпитр книгу, которую принес с собой, и объявил: «Уильям Шекспир. «Король Лир». Акт первый. Сцена первая. Тронный зал в замке короля Лира».

Он прочитал, вернее, декламировал с удивительной силой весь первый акт и половину второго. Я смотрел на него как замороженный и видел то Лира, с душой, выжженной смертельной печалью, то сверкающего гениальностью, циничного и животрепещущего Шута. К середине второго акта в его голосе послышалась усталость, или мне это показалось, но диалог Лира с Ребаной прозвучал, на мой взгляд, несколько тускло. Я подумал, не подняться ли мне и не сказать ли ему, что на сегодня хватит, сэра Уилфред, я прошу вас, остановитесь, это было великолепно, но вы, наверное, устали, даже побледнели немного. Но в этот момент заговорил герцог Корнуэльский. Глухим, взволнованным, исполненным знамения голосом он возвестил: «Уйдем и мы, близка гроза»<sup>11</sup>, и трагедия вновь зазвучала с прежней силой, лица ожили, вошел Глостер, чтобы поведать: «Король в жестоком гневе» и что «стемнеет скоро, слышен вой зловещий». И глухой голос Корнуэла громом отозвался под высоченными сводами огромного дворцового зала: «Ворота на запор! Какая ночь! Уйдем от бури!»

Антракт, сказал Уилфред Коттон, не пройти ли нам в фойе, выпить чего-нибудь.

7. Слуга ждал нас на террасе, уже приготовив ликеры. Мы пили коньяк опершись на тонкие перильца балюстрады и вслушиваясь в звуки опустившейся ночи. Обезьяны, которые, пока смеркалось, устраивали душераздирающие концерты, сейчас наконец утомонились и уснули в ветвях. Из джунглей доносились только неясные шорохи или глухие звуки, иногда крик птицы. Сэр Уилфред спросил, доставила ли мне удовольствие трагедия. Я ответил, да, большое. А исполнение, что вы об этом скажете, кто вам больше понравился, Лир или Шут? Я признался, что интерпретация роли Шута показалась мне неожиданной по своей агрессии, ярости, почти безумию. Но и Лир потрясает: в нем чувствуется какая-то болезненная незащищенность от свалившейся на него мерзости, полное изнеможение и в то же время приговор. Он согласился, затем пояснил: исполнение роли Шута было намеренно взвинченным и буффонадным, поскольку необходим сильный комический фон с тем, чтобы подчеркнуть безмерную опус-

<sup>11</sup> Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

тошенность Лира. Сегодняшнего Лира я посвятил памяти сэра Генри Ирвинга, сказал он, вы его знаете? Ах да, конечно, он же умер, когда вы, наверное, еще и не родились, в 1905 году. Это был величайший актер, лучший исполнитель Шекспира всех времен. У него были королевские манеры и голос арфы. Лир — жемчужина его коллекции, никто и никогда не смог сравниться с ним в этой роли, печаль его Лира была бездонной, как преисподняя, и невозможно было вынести этих страданий, когда он в третьей сцене пятого акта сжимал руками виски, словно пытался сдержать нарастающий в голове взрыв, и бормотал: «Бездыханна! Я отличу, где смерть, где жизнь: она мертвей земли!» Но мы, может быть, продолжим беседу в другой раз, сказал без паузы Уилфред Коттон и пригласил меня на третий акт.

8. В течение шести месяцев, до конца 1934 года, каждый четверг я приходил в театр Уилфреда Коттона. И встречал там нескладного Гамлета, несчастного, решительного и одновременно благородного Лаэрта, безумного Отелло рядом с коварным Яго, измученного Брута, высокомерного и презрительного Антония и еще многих персонажей Шекспира в этом маленьком царстве лицедейства, театре радости и боли, побед и поражений — в тростниковой хижине с жалким соломенным ковриком. Наши вечерние беседы в «фойе» и за ужином — а мы говорили обо всем: о театре, погоде, музыке, кухне — делались все задушевнее, не становясь, впрочем, доверительными, а наши добросердечные отношения так и не переросли в дружеские. Мы просто глубоко уважали друг друга, возможно, не сознавая этого, объединенные безусловной любовью к театру.

Я закончил свою работу раньше, чем предполагал, и собирался уехать в конце недели. В субботу вечером Уилфред Коттон пригласил меня на прощальный ужин. В честь моего отъезда, видимо учитывая радость, которая так и сквозила на моем лице, как бы я ни старался ее скрыть, он исполнил «Сон в летнюю ночь». Эта комедия, сказал он, написана специально для представления во время свадеб знати, однако она будет подходящей и для празднования вашего развода с этим уголком земного шара, который, как мне кажется, не слишком пришелся вам по сердцу.

Мы попрощались в театре. Я попросил его не провожать меня до машины: я предпочел расстаться с ним здесь, в этом странном месте, которое было сценическим пространством наших забавных отношений. С тех пор я больше никогда его не встречал.

9. В октябре 1939 года в мой кабинет в Лоуренсу-Маркише доставили телеграмму. Это был запрос английского консула в Мозамбике о выдаче тела подданного Ее Величества королевы Великобритании, скончавшегося на португальской территории, в округе Каниемба. Умершего звали Уилфред Коттон, восьмидесяти двух лет, место рождения — Лондон. И лишь теперь, когда я вновь встретил его имя напечатанным в этом печальном официальном документе, человеческое любопытство неожиданно проснулось во мне, и я бросился в английское консульство. Меня принял сам консул, мой давнишний приятель. Он, казалось, изумился, когда я рассказал ему о своем знакомстве с Уилфредом Коттоном, и уж вовсе был поражен моей неосведомленностью, ведь речь шла о величайшем актере шекспировского театра, горячо любимом английской публикой, много лет назад внезапно покинувшем цивилизованный мир, да так, что никому не удалось обнаружить его следов. С необычной для него откровенностью консул поведал мне о причинах, побудивших сэра Уилфреда оставить Англию и уехать умирать в этот Богом забытый уголок земли. Рассказав о них, он не много добавил к вынесенному мной впечатлению об этом человеке. Причины были благородны и возвышенны, почти патетичны. Они были бы достойны пера самого Шекспира.

Перевел с итальянского Валерий Николаев.

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ



## СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

*Савинков на Лубянке*

Суд

«27 августа. Борис Викторович, наверное, уже в зале суда. Приговор будет объявлен не раньше чем завтра вечером. В «Правде» по-прежнему нет ничего. Значит, Александр Аркадьевич не знает, кого судят сегодня.

Я в моей камере, как зверь в клетке.

Снизу слышатся удары молота. Кто-то поет. Очевидно, ремонт. Мне кажется, что вечер никогда не наступит.

Я беру книгу по астрономии. Я перечитываю несколько раз одну и ту же страницу. Иногда я по чайнику стараюсь определить время.

Вероятно, теперь часов восемь... Щелкает ключ. Я вижу, как в коридоре Борис Викторович прощается с Пузицким. Пузицкий в длинной военной шинели.

— Я очень устал...

Он вынимает из кармана сандвич и виноград.

— В перерывах меня караулили пять красноармейцев и молодой командир. Он был очень любезен. Это он принес мне поесть...

Молчание. У него такой утомленный вид, что я не решаюсь его спрашивать ни о чем.

— Зал заседания был полон. Был Калинин, несколько членов ЦИКа и много рабочих... Процедура очень проста. У меня нет защитника, и так как я не отрицаю ничего, то в свидетелях нет нужды. Когда я расскажу до конца все семь лет моей борьбы с коммунистами, суд вынесет приговор. Председатель, Ульрих, придирается ко мне. Он ловит меня на ничтожных противоречиях. Как будто я могу помнить все мелочи моей жизни!.. Да и к чему меня ловить, раз я принимаю ответственность за все?.. Пока я не назвал себя, большинство присутствующих не знало, кого судят. Сообщение о моем аресте появится в газетах одновременно с приговором. Вероятно, это делается для того, чтобы избежать скопления народа около здания суда... Я отказался назвать фамилии...»

Никого он не выдал — это так, сколько ни настаивали следователи и судьи. В стенограмме суда есть фрагмент, который не был опубликован: «Я дам вам исчерпывающие показания, но насчет фамилий, вы меня легко поймете, я жизнью своей не дорожу, это сделать мне трудно. Я не буду называть имен... Я буду вам глубоко благодарен, если вы не будете задавать мне вопросов о фамилиях...»

«— Я называл только умерших. Но об иностранцах я говорил откровенно. Кто тот русский, который меня осудит за это?.. Иностранцы! Иностранцы, кто бы они ни были, прежде всего думают о себе, в ущерб России. Вы знаете, как я люблю Францию, но я не забыл, как, вольно или невольно, обманул нас ее

представитель перед Ярославским восстанием... (Посол Франции Ж. Нуланс заверял Савинкова, что, как только восстание начнется, французы своим десантом в Архангельск поддержат его. Однако этого не случилось. — *В. Ш.*) Поляки... Они посадили наших солдат за проволоку. Они разрешали отправляться членам нашего Союза в Россию только при условии шпионской работы. Меня они выслали за границу с жандармами... Я сегодня говорил пять часов... Мне нужны силы на завтра. Но я не смогу уснуть: передо мной стоит все та же дилемма...

28 августа. Борис Викторович мне сказал: «Во всяком случае, мы увидимся еще раз после приговора. Пилляр обещал мне это...»

Я лежу без движения на койке. Такое ожидание ужасно. В тюрьме оно ужасно вдвойне.

Я не знаю, сколько времени я лежу... Скрипит замок. Я притворяюсь спящей. Ведь это, наверное, надзиратель... Входит Борис Викторович.

— Перерыв до восьми часов.

Он долго молчит. Потом говорит внезапно:

— Я признаю Советскую власть. Народ с Советами. Это моя обязанность, как моей обязанностью было ехать в Россию... Когда меня больше не будет, напишите Философова<sup>1</sup>, Вере Викторовне и Рейлли и постарайтесь объяснить им то, что издали им покажется необъяснимым... Я очень мучился эти дни. Но теперь я принял решение, и я спокоен. Я постараюсь заснуть до конца перерыва...»

Невозможно не доверять его словам, думать, что он притворялся перед любимой женщиной в ожидании казни. Трагедия была подлинной.

«Я очень мучился эти дни»...

Такого Савинкова мало кто знает. Даже для ближайших друзей это был человек дела, сгусток воли. В душу свою не допускал, крупницы ее лишь угадывались в литературных героях Ропшина. Но вот на краю жизни, на Лубянке, он приоткрывает себя — начнет писать дневник, дневник-исповедь, — и в нем проступает человеческий лик этого исторического персонажа:

«Когда ждешь смерти и уверен в ней (в Севастополе я почему-то не был уверен), думаешь о самом главном. Вероятно, так. Я думал очень много о Любви Ефимовне и Левочке, немного о Русе (Левочка — сын Савинкова, Русей он называл свою сестру Веру. — *В. Ш.*), немного о покойной маме. Готовясь к расстрелу, я себе говорил: «Надя, женщина, прошла через это. Пройду и я». В этой мысли я находил поддержку. (Надя — сестра Савинкова. Вместе с мужем, В. Х. Майделем, была расстреляна большевиками в годы Гражданской войны. Савинков мотивировал свою многолетнюю непримиримость к советской власти тем, что не мог «переступить через их трупы». — *В. Ш.*) Кроме того, я много думал о малости человеческой жизни. Мама мне как-то сказала: «Помни, Борис, на свете все суета. Все». В последнем счете она, конечно, права. А утешали меня книги по астрономии. Особенно Венера, ее жизнь. В душе не было никакой надежды, и немного равнодушия. И в то же время отчетливое сознание — «не за что умирать». Именно «не за что»...

А идея умерла уже давно — в Варшаве...»

Умирать не за что. А чтобы жить, нужна новая идея? «Я признаю Советскую власть...» Вот когда только он принял окончательное решение — 28 августа, перед началом вечернего заседания суда.

Потом Савинков часто будет возвращаться в мыслях к дням суда, вспоминать все до мельчайших подробностей, еще и еще раз оценивать свои поступки и слова. Яркие вспышки памяти отпечатываются и в дневниковых записях, высветят наугад отдельные эпизоды.

Вот он сидит в перерывах между заседаниями суда в отдельном помещении, в окружении пятерых красноармейцев с винтовками. И маленький белобрысый их командир все толкует о ценах на хлеб и на селедку, о жилплощади

<sup>1</sup> Философов Д. В. (1872 — 1940) — писатель, общественный деятель. С 1919 года в эмиграции. Близкий друг и соратник Савинкова в борьбе с советской властью.



и кооперативах, о том, что жить становится легче, все дешевеет... И еще о своей малютке дочке: «Папа, по-па бам! бам!..» И он же, этот конвоир, принес откуда-то бутерброды и виноград и щедро одарил ими своего подконвойного!

Вот заходит Пузицкий, напряженный, приподнятый, — проверить состояние подопечного...

А тому уже все — все равно, так он устал...

Любовь Ефимовна мучительно ждет.

«Где-то, вероятно, в соседнем доме хрипит граммофон, и каждую минуту приоткрывается «глазок». Чтобы не думать, я считаю до тысячи. Кончив, я начинаю сначала.

Я единственный близкий Борису Викторовичу человек, который знает, что его ожидает сегодня. Все остальные узнают «после». Даже и Александр Аркадьевич. А ведь Александр Аркадьевич здесь, в двух шагах, в той же тюрьме...

Смена. Значит, 10 часов. Я снова считаю до тысячи и снова начинаю сначала, и опять сначала...

Тихо. Умолкли все звуки. Который же теперь час?.. Замок давит меня. Если бы я была на свободе... Если бы я была на свободе, я все равно была бы бессильна... Но, по крайней мере, не было бы одиночества... Наверное, очень поздно. А если после приговора Бориса Викторовича повели прямо на место казни?.. Я не в силах больше считать...

В коридоре многочисленные шаги. Борис Викторович входит в камеру. С ним надзиратель.

— Вы не спите? Уже третий час...

Я молчу.

— Какая вы бледная!.. Конечно, расстрел. Но суд ходатайствует о смягчении наказания.

Надзиратель приносит горячего чаю.

— Суд совещался четыре часа. Я был уверен, что меня расстреляют сегодня ночью».

На следующий день снова заседал Президиум ЦИК под председательством Калинина. И вынес решение с такой многословной, но исчерпывающей формулировкой: «...признавая, что после полного отказа Савинкова, констатированного судом, от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной Октябрьской революцией власти — применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка, и полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс, — постановляет:

Удовлетворить ходатайство Военной коллегии...»

Вечером председатель Военной коллегии Ульрих объявил об этом постановлении Савинкову. Все было, конечно, решено гораздо раньше, иначе Ульрих не стал бы и ходатайствовать о смягчении наказания.

«29 августа. 6 часов 30 минут вечера.

ВЦИК заменил осужденному Борису Викторовичу Савинкову смертную казнь десятилетним лишением свободы».

Это последняя запись в дневнике Любви Ефимовны. Но вот какое у него начало:

«Москва.

Пятница, 29 августа 1924 г.

Сегодня в полночь будет пятнадцать дней с тех пор, как мы перешли границу.

В воскресенье будет две недели, как мы на Лубянке.

Эти дни запечатлелись в моей памяти с точностью фотографической пластинки. Я хочу их передать на бумаге, хотя цели у меня нет никакой».

Цель, конечно, была, и ее раскрыл Борис Викторович, когда еще через месяц, в октябре, он, отредактировав и переписав дневник своей рукой, добавил к нему предисловие:

«Этот дневник — не литературное произведение. Это простой и правдивый рассказ одного из членов нашей организации, арестованного вместе со мной и Александром Дикгоф-Деренталем. Госпожа Дикгоф-Деренталь силою вещей была очевидицей всего, что произошло в Минске и в Москве в августе этого года. События, о которых она говорит, разрушают много легенд. Я бы хотел, чтобы иностранный читатель, читая эти страницы, отдал бы себе хоть до некоторой степени отчет в том, что в действительности происходило в России, — в той России, которая после разоривших ее войны и Революции восстанавливается мало-помалу из развалин. Я бы хотел также, чтобы иностранный читатель научился хоть немного любить великий народ, который после всех испытаний находит в себе силы выковывать новый государственный строй, в основу которого он кладет равенство и справедливость.

Борис Савинков».

Стало быть, дневник должен был разрушить некие «легенды», вернее, их предупредить — и предназначался для иностранного читателя, то есть сразу был рассчитан на публикацию в зарубежной печати. Это было выполнение социального заказа, начало агитационно-массовой кампании, в которую были вовлечены Савинков и его подруга.

Любовь Ефимовна переселилась окончательно в камеру № 60, где и писала свои воспоминания, а он их тут же правил и переписывал начисто.

В таком виде и сохранился дневник, и внутри рукописи — только лист черновика самой Любви Ефимовны. При этом менялись фамилии некоторых чекистов, чтобы не раскрывать оперативные «кадры».

В досье Савинкова есть его письмо неизвестному парижскому другу (отдельные французские слова и названия вписаны там рукой Любви Ефимовны), где Савинков сообщает: «Я все еще за решеткой, но в исключительных условиях. Я не слишком беспокоюсь...» И далее говорит, что посылает своему адресату через сестру рукопись мадам Деренталь о своем аресте и просит передать эту рукопись в какую-нибудь французскую газету, не важно какую, но предпочтительно в «Юманите»...

Было ли отослано это письмо и попал ли дневник за границу? Скорее всего нет, ибо он тогда так и не увидел свет. Цензоры с Лубянки сочли дневник слишком откровенным и наложили на него запрет.

После того как Савинков на суде окончательно определил свою позицию — на стороне советской власти, — ему ничего не оставалось, как ей следовать. Отныне он предстает в новой роли — рупора ОГПУ, пытаюсь изо всех сил сохранить хоть какую-нибудь независимость. Надежда — на обещание, данное ему чекистами: ему верят, его помилуют, освободят — и дадут работу. Или другой расчет: выиграть время, спасти себя, а там жизнь покажет — может быть, начать новую игру...

29 августа газеты обрушили на читателей лавину новостей: мир узнал и об аресте Савинкова, и о суде над ним, и о гуманном решении советской власти даровать ему жизнь.

Победители пожинали лавры. Каждый получил по заслугам.

Сохранился рапорт коменданта судебного процесса, вполне безграмотный, зато полный революционного пафоса и чекистского самодовольства:

«Доношу, что с 27 по 29 августа 1924 года происходил судебный процесс «Савинкова Бориса»... Вся секретная агентурная охрана состояла из 21 разведчика, то есть целиком вся группа действительно работала, и задачи разведки весьма тяжелые и ответственные. Вся ответственность лежала на плечах разведки, безусловно, работа велась разведкой круглые сутки, и этим надо отметить особо, что же касается о бдительности и зоркого глаза разведчиков, а также вся способность гибкости была проявлена. Охрана вышеуказанного процесса проведена доблестно, и еще была проявлена инициатива в охране вождей рабочего класса, благодаря бдительному и толковому руководству секретной агентурной охраны. Основываясь на вышеизложенном, прошу объявить в приказе благодарность разведке с ее руководителем как преданным своему служебному долгу и стоя зорко на боевом посту, который разведкой выполнен...»

Благодарность, конечно, была объявлена — многим. А Менжинский, Федоров, Пузицкий, Пилляр, Сыроежкин и другие особо отличившиеся участники операции «Синдикат-2» получили высшую награду Родины — орден Красного Знамени.

### Последняя роль

Печать — советская и иностранная — была заполнена материалами судебного процесса и откликами на него целую неделю. Центральные издательства Москвы и Ленинграда получили указание в экстренном порядке подготовить к выпуску несколько книг на ту же тему. Это была отлично проведенная пропагандистская кампания, тон которой задавали верховные советские идеологи Луначарский, Ярославский, Радек... Умело используя совпавшую с этими днями шестилетнюю годовщину «зверского покушения» на товарища Ленина, демонстрируя праведный гнев, эрудицию и полемический дар, они состязались в политическом красноречии. Возможна ли лучшая похвала РКП, чем исповедь Савинкова? Процесс еще раз показал необходимость не ослаблять репрессий, пока не будет окончательно сокрушен капитализм. Да здравствует мировая революция!

«Как хорошо, что Савинков остался жить! — восклицал в «Правде» нарком просвещения Луначарский. — Подумайте только, если этот человек, обладающий, несомненно, талантливым пером, в тиши невольного уединения, когда ему придется свою неумную энергию направить невольно по кабинетному руслу, займется писанием мемуаров о своей жизни, соприкасавшийся с таким невероятным количеством лиц и учреждений... подумайте только, если он со свойственной ему ядовитостью оболет все это соусом ненависти и презрения, накопившихся в нем за время странствования, — какой памфлет, вольный или невольный, возникнет, таким образом, перед глазами всего мира!

Если Савинков сколько-нибудь искренен, когда говорит, что самое тяжелое для него — это осуждение рабочими и крестьянами, которых он предал, то у него действительно есть блестящая возможность загладить свою вину — это со всей искренностью и яркостью рассказать все, как было, во всех подробностях.

И это будет хороший урок для людей чужого лагеря. Они охотно шли на то, чтобы использовать Савинкова, они хотели опереться на эту острую трость, — трость не только согнулась, но проткнула им ладонь...»

Директива власти выражена здесь вполне откровенно — теперь Савинков должен послужить ей своим пером. И он служит — с азартом, невероятной энергией входит и в эту новую роль. Пишет и печатает в «Правде» статью «Почему я признал Советскую власть», забрасывает своих бывших сподвижников, друзей и родных за рубежом письмами — открытыми и закрытыми, — объясняя свое политическое сальто-мортале и зазывая вслед за собой в Россию, где их якобы ожидает прощение. Главный довод тот же, что убедил и его: против хода истории не попрешь! Пора бросить выдумки о белом яблоке с красной кожурой! Яблоко красно внутри! По его словам, супруги Деренталь вполне разделили его теперешние взгляды. И даже внешний вид писем — написанных по новой орфографии, которой он тщательно избегал раньше, — должен был убедить всех в его искренности. Кстати сказать, переписку с заграницей Савинков вел через советского разведчика Игнатия Рейсса (Порецкого): «Мой адрес: гражданину Рейссу<sup>2</sup>, гостиница «Савой», 316, угол Рождественской и Софийки, Москва, для Б. В. (Мне передадут в тюрьму.)».

И эта словесная бомбардировка действительно вносит смятение в ряды савинковцев. Сначала они никак не могут поверить в предательство своего вождя, подозревают тут какую-то хитрую провокацию, но потом, когда сомневаться было уж нельзя, — начинают дружно от него отрекаться. В конце концов, итог общего мнения подводит в своем «Ответе Савинкову» один из его

<sup>2</sup> Рейсс И. (Порецкий Н. М.; 1899 — 1937) — сотрудник НКВД, ставший впоследствии невозвращенцем и написавший обвинительное письмо в ЦК ВКП(б). Был убит агентами НКВД в Швейцарии в 1937 году.

ближайших сотрудников, писатель Дмитрий Философов: Савинков стал бы «мертвым львом», если бы мужественно погиб, но сделался «живой собакой», которая, кроме презрения и жалости, ничего не заслуживает. Он мог бы все-таки кончить как-нибудь получше! И предрекает: человек, способный не только на политическое, но и на личное предательство, не достоин даже большевистского доверия. Савинков уже никогда не всплывет на поверхность!

Эмигрантские газеты внимательно читают на Лубянке, передают из рук в руки и собирают в досье. На их пожелтевших листах мелькают росчерки то красного, то синего карандаша: «Тов. Пузицкому», «Интересно, о Савинкове», а против фразы в одной из статей: «Если он кого-нибудь обманул, то лишь самого себя... ибо мы присутствуем не при пошлом фарсе, а при тяжелой трагедии. Прежде всего трагедии лжи...» — стоит жирное восклицание: «Верно, верно!..»

Попадают газеты — советские и зарубежные — и к Савинкову. Никогда еще он не слышал столько плохого о себе. Он становится мишенью для обеих противоборствующих сторон — и в России, и вне ее: коммунисты клеймят его за прошлое, антикоммунисты — за настоящее. Камни летят со всех сторон. Его жизнь выворачивают наизнанку вплоть до самых интимных подробностей и трясут перед всем миром, толкуют вкривь и вкось. Выискивают темные пятна в биографии, обвиняя то в сотрудничестве с царской охранкой, то в предварительном сговоре с большевиками. Упрекают, что всегда был лишь распорядителем крови, подставлял других — раньше Каляева и Сазонова<sup>3</sup>, теперь Павловского и Деренталей, — а сам выходил сухим из воды...

Из всего мира за пределами тюрьмы с ним остаются, принимая таким, какой он есть, лишь два человека — сестра Вера и ее муж, священник Мягков...

Все осенние месяцы литературное бюро Савинкова на Лубянке работает полным ходом. Он ведет обширную переписку, пишет очерки «Моя биография», «Необходимые исправления», готовит к массовому изданию старые вещи — «Воспоминания террориста», «То, чего не было», «Конь Бледный», — исправляет их, добавляет предисловия и комментарии. В Москве и Ленинграде выходит его «Конь Вороной»...

Он все менее и менее походит на обычного лубянского арестанта. В камеру начинают постепенно стекаться гонорары от советских издательств — «номер 60» становится состоятельным человеком.

Он имеет деньги и может тратить их.

Представление об этом дает «Счет», составленный им и сохранившийся в его досье, — подробный и точный перечень всех денежных переводов и трат. Три доллара, полученные на первых порах от сестры из Праги, выглядят трогательно смешными: теперь он уже сам посылает ей куда большие суммы для своего сына Левы, помогает и детям от первой жены — Виктору и Татьяне Успенским, живущим в Ленинграде. К зиме он покупает себе новые сапоги, костюм и поддевку на меху, дарит пальто на меху Любови Ефимовне...

И все же, при всех привилегиях, он остается зеком, каждый шаг его — под жестким контролем. Жизнь его ему не принадлежит.

«Однажды в декабре, — запишет он в дневнике, — я вышел с «парашей». Так как ремонтировали, то надо было идти к канцелярии. На площадке внизу: поднимается по лестнице молодой человек, лицо белее снега, папаха, шинель, в руках — вещи, корзина. Сзади надзиратель.

Пришел, рассказал. Л. Е. вышла и увидела, как он спускался вниз, без вещей, не с одним надзирателем, а с тремя. Через 15 минут (по часам) — глухой выстрел...»

К Новому году чекисты преподносят узникам подарок: Деренталей, которых держали на Лубянке без оформления ареста, начинают раз в неделю вы-

<sup>3</sup> Каляев И. П. (1877 — 1905), Сазонов (Созонов) Е. С. (1879 — 1910) — революционеры, члены боевой организации партии эсеров. Каляев в 1905 году в Кремле убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Казнен в Шлиссельбургской крепости. Сазонов в Петербурге убил министра внутренних дел Плеве и сам был при этом тяжело ранен. Отбывал бессрочную каторгу в Восточной Сибири, где в знак протеста против наказания каторжан розгами принял яд.



пускать из тюрьмы — разумеется, в сопровождении надежного человека — Ибрагим-бека (это тот самый «военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках», — который участвовал в их аресте в Минске) — прогуляться по Москве, сделать покупки. Расходы — из бюджета Бориса Викторовича.

Для самого Савинкова отдушина — книги, их ему посылает по списку, в неограниченных количествах Ионов, один из руководителей печатного дела, через которого ведется издательская работа писателя-узника.

Настроение у него в это время вполне мирное и почти благодушное.

«Милая моя Руся, — пишет он 9 января своей сестре (черновик этого никогда не публиковавшегося письма сохранился в архиве Лубянки), — тюрьма хороша тем, что дает возможность думать. Не только есть много времени, но и нет «житейской суеты», — той ежедневной сутолоки, которая из-за деревьев мешает видеть лес. За это достоинство тюрьме можно простить многие недостатки.

Читаю и думаю. Что, собственно, произошло с нами, интеллигентами, в последние годы? Все мы, революционеры и «сочувствующие», эсеры, эсдеки, даже кадеты, при царе мечтали об освобождении народа, о России, построенной на свободном волеизъявлении народных масс, то есть крестьян и рабочих. За эту нашу мечту мы шли на виселицу, в каторгу и в Сибирь, и этому нас учили все наши «учителя», до стариков из «Русского богатства»<sup>4</sup> включительно. Многие из нас отдали этой мечте всю свою жизнь. Хорошо. Настал час. Пришла долгожданная революция. Что мы сделали? Все, кроме большевиков, испугались ее. Все, кроме большевиков, бросились в кусты. А наиболее решительные из нас начали воевать, кто пером, а кто и мечом.

Как могло это случиться? Если в 1918 году было некое подобие оправдания — Брест-Литовский мир и наше «провидение» о расчленении России и о реставрации при помощи немцев («провидение», кстати сказать, не очень-то умное), — то теперь оправдания этого нет. Если в 1919 — 1920 годах было опять некое подобие оправдания — большевики, мол, не восстанавливают, а разоряют Россию, — то теперь ясно, что мы ошибались, стихийное революционное разорение России принимали, черт его знает почему, за осуществление программы РКП и в творческие ее силы, опять-таки черт его знает почему, не верили. Не верили просто так — за здорово живешь...»

Спустя месяц, 5 февраля, он, узнав от сестры, что еще один человек, его старый друг по партии эсеров Илья Фундаминский, не считает его иудой, спешит написать тому в Париж (письмо тоже сохранилось в лубянском досье) и развивает те же неотступные мысли:

«...начитался же я о себе — даже лысина встала дыбом. Сижусь и читаю. Читаю столько и так, как никогда, кажется, не читал. Вы знаете, я чтец плохой и меня нужно запереть, чтобы я стал «учиться»... Вот теперь и «учусь» и вижу, что был я круглый невежда и болван. Я ведь почти ничего не знал о России и теперь «открываю Америки». Вышло так: всю свою молодость я боролся за народовластие, во-первых, за землю крестьянам, во-вторых. А когда это народовластие осуществилось и землю у помещиков отобрали, я стал бороться против тех, кто это сделал. Почему? Я хожу по камере и спрашиваю себя, какой черт попутал меня. И нахожу только один ответ: во мне заговорило происхождение и воспитание...»

Однажды февральским вечером к Савинкову нагрянули гости — целая толпа иностранных журналистов. Посещение тюрьмы было санкционировано Сталиным с целью продемонстрировать справедливость и гуманность советского правосудия. Сопровождал гостей начальник Иностранного отдела ОГПУ Меер Трилиссер. Камера Савинкова была последней в программе экскурсии — самое интересное припасли под конец.

Журналисты увидели элегантно меблированную комнату, с большим бюро красного дерева и диваном, покрытым голубым шелком. На стенах — карти-

<sup>4</sup> «Русское богатство» — журнал партии народников, боровшейся за освобождение русского народа от царизма, но выступавшей против марксизма. Выходил в Петербурге (Петрограде) в 1876 — 1918 годах.

ны, паркетный пол укрывает толстый ковер. На столе — стопка исписанных листков и сочинения Ленина. Великий конспиратор был свежесвыбрит и надушен — его только что покинул парикмахер — и держался как какой-нибудь радушный, вальяжный барин, принимающий гостей. Не жаловался: еды достаточно, разрешают курить, читать по собственному выбору. Ежедневная прогулка по 45 минут. Даже слегка пополнел, прибавил весу. Правда, вот комната темновата, приходится и днем сидеть при электричестве — глаза устают... Но ведь не курорт!

На вопросы журналистов он отвечал моментально, с тактом, на русском и на французском с одинаковой легкостью.

— Почему вы вернулись в Россию?

— Я предпочитаю сидеть в тюрьме «чрезвычайки», нежели чем бегать по мостовым в Западной Европе.

Что это — бравада или подлинное мужество? — спрашивали себя журналисты. Восхищаясь и сочувствуя, они видели в нем сразу и отважного борца, и блестящего писателя и избегали задавать такие вопросы, которые поставили бы его в трудное положение в присутствии охранников.

К общему огорчению, один француз нарушил этикет:

— Скажите, те ужасы, в которых обвиняют Лубянку, — это правда?

Савинков на мгновенье замялся:

— Что касается меня, это неточно...

Американский корреспондент Вильям Ресвик описал эту сцену так:

«Я посмотрел на Трилиссера. Его темные глаза сверкнули. Узник, как и все присутствующие, не мог не заметить неприятного впечатления, произведенного на чекиста словами «что касается меня...». Тем временем Савинков продолжал говорить как свободный человек, пока Трилиссер не бросил: «Пора! Время!» От этих слов Савинков побледнел. Он улыбался, провожая нас к двери, но то уже была принужденная улыбка...»

Да, ужасы Лубянки в полной мере Савинкова не коснулись — лишь потому, что это не входило в планы ее хозяев. Но шила в мешке не утаишь — и что-то время от времени бросалось в глаза, зловещей нотой вспарывало тишину.

Из дневника Савинкова:

«Однажды в марте — выстрел. Потом стоны. Потом молчание. Л. Е. бледна, как полотенце. Сосновский говорит: «Надзиратель случайно выстрелил в себя».

— ?»

Вскоре после визита иностранцев разразился скандал, надолго выбивший Савинкова, и так ходившего по проволоке, из равновесия.

Мировую печать вдруг облетела сенсация, будто супруги Деренталь с самого начала были в сговоре с ОГПУ и помогли затащить своего высокого друга на Лубянку. Это сообщение, видимо, стоило Любови Ефимовне многих слез. Савинков пришел в ярость. Свидетельство тому — два неизвестных письма от 31 марта, хранящихся в его досье.

Первое адресовано писателю-эмигранту Дмитрию Философову, главе Варшавского комитета савинковского «Союза»:

«Господин Философов,

когда я был арестован, Вы написали статью «Предатели», в которой утверждали, что я тайно сговорился с большевиками еще в Париже, то есть обманул своих друзей. Узнав подробности моего ареста, то есть убедившись, что оклеветали меня, Вы не нашли нужным клевету свою опровергнуть.

Ныне Вы, один из редакторов «За Свободу», напечатали статью Арцыбашева «Записки писателя, XLVIII», которая содержит обвинение Любови Ефимовне и Александру Аркадьевичу в том, что они меня предали. Вы, господин Философов, не можете не знать, что это ложь и что Любовь Ефимовна и Александр Аркадьевич разделили со мной мою участь. Значит, Вы сознательно приняли участие в новой, еще худшей клевете. Политическая ненависть не оправдывает такого рода поступков. Как они именуются — Вы знаете сами. Рано или поздно Александр Аркадьевич и я с Вами сочтемся. Вы предупреждены».

Второй вызов на дуэль, еще более резкий, адресован самому Михаилу Арцыбашеву:

«Господин Арцыбашев,

Вы напечатали в «За Свободу» статью «Записки писателя, XLVIII». Вы пишете о людях, которых видели, по собственному признанию, один раз в жизни, и награждаете их разными качествами по своему усмотрению. Едва ли это достойно Вас. Но Вы не ограничиваетесь этим: Вы обвиняете Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь в том, что они предали меня.

Чтобы обвинить кого-либо, да еще печатно, в предательстве, надо иметь неопровержимые доказательства. [У Вас их нет, и Вы знаете, что и быть не может, ибо Вы сознательно лжете. Лжецов бьют по лицу. Буду жив, ударю.]

Я, которого, по Вашим словам, Л. Е. Деренталь и А. А. Деренталь предали, утверждаю, что у Вас никаких доказательств нет и быть не может. Вы оклеветали единственных людей, которые не побоялись разделить со мной мою участь. Судите сами о Вашем поступке».

Откуда же взялась эта сенсация и кому была нужна?

Подоплеку происшедшего раскрывает все тот же американец Вильям Ресвик, посетивший Савинкова в тюрьме. После этого визита, рассказывает он, его пригласил к себе помощник Дзержинского Генрих Ягода. Сначала с жаром говорил о «своих» беспризорных детях, которых милиция собирает на улицах, о благородной задаче их перевоспитания, но вскоре свернул на Савинкова. Ягода, не без профессиональной гордости, поведал, что того заманили в Россию благодаря одной очень красивой женщине, работающей на ГПУ. Но эта сотрудница имела несчастье влюбиться в него и создала органам проблему — потребовала провести несколько ночей на Лубянке. В конце концов пришлось разрешить... Вот до какого гуманизма дошел советский режим, предпочитающий тюрьмы без решеток!..

Ягода, конечно, знал, что назавтра же его визави раззвонит об услышанном на весь мир, — для того и приглашал. Расчет был точен: еще раз показать всеисильность ОГПУ и продажность его противников, перессорить их между собой, скомпрометировать Деренталей перед лицом заграницы и тем самым отсечь их от нее, и главное — этим отвлекающим маневром, этой отравленной дезой отвлечь внимание от подлинных своих агентов, которые продолжали служить ОГПУ, скрыть механику тайной войны с зарубежными врагами — войны, которая не прекращалась ни на минуту.

### Черная тетрадь

«9 апреля.

Сегодня освободили Л. Е. Я остался один. В опустелой камере стало грустно...»

Вся его кипучая борьба, последняя авантюра перехода границы, отчаянные метания перед судом, суд и приговор — все осталось далеко позади. Жизнь как бы замедлила скорость, будто совсем остановилась, когда ушла Любовь Ефимовна.

Савинков остался один на один с самим собой. События совершались только в его сознании, все более утрачивая новизну и реальную осязаемость. Мучительный самоанализ, самокопание — и все больше разочарований.

Супругов Деренталь выпустили из тюрьмы. Его оставили, ему по-прежнему не доверяли, его шансы на свободу становились все призрачнее.

9 апреля, в день, когда тюрьму покинула Любовь Ефимовна, Савинков начинает тот самый свой дневник-исповедь.

Теперь он мог довериться только бумаге, и то не до конца: и она была невольницей, в любой момент могла из его рук перейти в руки чекистов. Об этом необходимо помнить, читая дневник, — некоторые пассажи в нем как будто специально рассчитаны на лубянских читателей.

Внешне Савинков продолжал исправно играть роль пропагандиста советской власти — таким он являлся миру, а в камере оставался одинокий, затравленный, все более теряющий надежду и веру в людей и в себя человек.

Простая тетрадь в линейку, в черном клеенчатом переплете, с пожелтевшими страницами. Семьдесят лет она утаивалась в бездонных анналах Лубян-

ки под грифом «Секретно», за железными дверями и спинами часовых. Откроем эту тетрадь, перелистаем дни и ночи узника вслед за ним...

«10 апреля.

Открыли окно и унесли, по моей просьбе, ковер. Камера стала светлее, но неуютнее, строже. День длинный, вечер еще длиннее.

Л. Е. очень взволновалась статьей Арцыбашева. Ал. Арк. тоже. Я привык ко всему. Кроме того, мне кажется, что люди устроены так: когда им выгодна честность, они бывают честны, когда она им невыгодна, они лгут, воруют, клеветают... В своей жизни я видел очень мало действительно честных, то есть бескорыстных, людей — Каляева, Сазонова, Вноровского<sup>5</sup>... Должно быть, был бескорыстен Ленин, может быть, бескорыстен Дзержинский и еще некоторые большевики. Под бескорыстием я не понимаю только простейшее — бессеребрность, но и очень трудное — отказ от самого себя, то есть от своих всяческих выгод. Этот отказ возможен лишь при условии веры, то есть глубочайшего убеждения, если говорить современным языком, хотя это не одно и то же. У Арцыбашева и у Философова нет ни веры, ни твердого убеждения. И тот, и другой прожили безжертвенно свою жизнь.

Из своего опыта я знаю также и то, что цена клевете, как и похвале, маленькая. «Молва быстротечная». Когда я был молод, я тоже искал похвалы и возмущался клеветой... Но теперь, если я буду совершенно и до конца искренен, я должен сказать, что клевета меня трогает, только если она исходит от очень близких людей, а похвала не трогает совершенно. Все забывается. Все. Мама умерла два года назад. У нее была не совсем обыкновенная жизнь. (Савинкова Софья Александровна, псевдоним С. А. Шевиль; 1855 — 1923 — писательница, мемуаристка, сестра художника Ярошенко. — В. Ш.) Пока живы Руся и я, жива память о ней. Мы умрем, и о ней никто никогда не вспомнит. Даже внуки. Сколько лет будет жить не имя Ленина, а память о нем на земле? Пятьдесят? Может быть, сто?

Керенский, адвокат, никогда не знавший нужды, защищавший в политических процессах и ухаживавший за дамами, то есть человек, не имевший за что мстить, когда пришла революция, простил всем — царю, жандармам, каторжному начальству, урядникам, земским начальникам. А большевики не простили, а рабочие не простили, а крестьяне не простили. Я тоже не простил, но меня ослепила война. Я думал: после войны. Сперва необходимо победить. В этом «необходимо» все дело. Отсюда все, что было потом. Но откуда оно? Большевики правы: дворянин, интеллигент, потомок бунчужных полковников (бунчук — длинное древко с шаром или острием на верхнем конце, прядями из конских волос и кистями — знак власти атамана или гетмана на Украине и в Польше. — В. Ш.), я не мог примириться с мыслью о поражении. Солдаты были рваные, во вшах, по 45 человек в роте. А я звал на бой. Я не мог не звать. В сущности, я был против народа, за фикцию... Сколько крови и слез понадобилось, чтобы я выпутался из этой паутины...

11 апреля.

Была Л. Е. Она потрясена своим освобождением, — неуютностью комнаты, чужими людьми, неприткнутостью, самостоятельностью, тем, что у дверей не стоит часовой. Но если бы она здесь осталась, она бы окончательно потеряла здоровье...

Помню: вечер, мороз, Туров, или Петрикевичи, или Мозырь. Два балаховца (солдаты армии Балаховича. — В. Ш.) нагайками гонят еврея к мосту. Он упирается. На нем картуз и рваный, с торчащими клочьями меха, полушубок. Увидев меня, он кричит и машет руками: «Господин генерал!.. Ваше превосходительство!.. Только пере-но-цевать! Только пере-но-цевать!.. Замерзну в поле! Замерзну!..» И у него глаза такие, точно хотят выскочить из орбит. А балаховцы мне говорят: «Шпион».

<sup>5</sup> Вноровский-Мищенко Б. У. (1881 — 1906) — член боевой организации партии эсеров. Погиб при взрыве бомбы, которую он метнул в московского генерал-губернатора Дубасова.



12 апреля.

Воскресенье. Воскресные дни — самые длинные. Вероятно, потому, что в коридоре полная тишина. В будни часто проводят арестованных, слышны шаги и иногда голоса. По воскресеньям — ни звука.

У меня на столе — пушистая верба: спасибо Л. Е.

Прочел в «Правде» воспоминания Крупской о жизни Ленина в Лондоне. Кто из нас, эмигрантов при царе, интересовался рабочей жизнью на Западе? Иногда, очень редко, ходили на собрания послушать Жореса, иногда, еще более редко, совсем случайно, забредали в рабочие кварталы Парижа. Варились в собственном соку, рукоплескали разным Черновым<sup>6</sup> или отходили в сторону, в свое «логово», как я. А он проводил все дни среди рабочих, на их митингах, в их обжорках, в их читальнях. И Бурцев<sup>7</sup> продолжает верить, что Ленин мог взять деньги от немцев на революцию! Это значит ничего не понимать ни в психологии Ленина, ни в психологии рабочих. Но ведь и я этому верил. Почему?..

Очень хочется солнца. Сегодня я сказал надзирателю: «Мы с вами гуляем в колодце». Он засмеялся. Отсюда юг, горы, море кажутся сном — видел во сне, но не прожил...

13 апреля.

Были Л. Е. и Ал. Арк. ... Л. Е. все еще взволнована и не может прийти в себя. Ал. Арк. побледнел и очень похудел. С 1 апреля он получил 3 рубля. Сидит без чаю. Его положение, по-своему, не лучше моего. Ежеминутная зависимость и полная неизвестность.

14 апреля.

Был в Сокольниках с Пузицким, Сосновским, Гендиным, Ибрагимом. Еще только предчувствуется весна. Воздух туманный и влажный. Пахнет мокрой землей и перегнившим листом. На прудах — полурастаявший лед, сало. В лесу все видно насквозь — белые стволы берез, сероватые ветки, серо-голубые — осин, коричневые — сосен и елей. Небо низкое, темное. И полная тишина, как здесь.

Андрей Павлович, вероятно, думает, что «поймал» меня, Арцыбашев думает, что это — «двойная игра», Философов думает — «предатель». А на самом деле все проще. Я не мог дольше жить за границей. Не мог, потому что днем и ночью тосковал о России. Не мог, потому что в глубине души изверился не только в возможности, но и в правоте борьбы. Не мог, потому что не было ни угла, ни покоя (ведь впервые я жил с Л. Е. — здесь!). Не мог еще потому, что хотелось писать, а за границей что же напишешь? Словом, надо было ехать в Россию. Если бы я наверное знал, что меня ожидает, я бы все равно поехал. Почему я признал Советы? Потому, что я русский. Если русский народ их признал (а это было для меня почти очевидно еще в Париже — сбил с толку Андрей Павлович), то кто я такой, чтобы их не признать? Да, нищая, голодная, несчастная страна. Но я с нею. Был против Советов, когда думал, что народ их не хочет. Когда я колебался? Мне кажется, в походе на Мозырь. Жулики, грабители и негодяи, с одной стороны (за редкими исключениями...), с другой — неприветливый и полувраждебный крестьянин. Когда я увидел эту неприветливость и эту враждебность, я понял, что народ не с нами...

А тут я понял еще и другое. Ведь большевики проводят в жизнь то, о чем мы мечтали... Что за бесовское наваждение? Кто меня спутал и почему я заблудился в трех соснах? Война и происхождение... А ведь покойный брат Саша был бы, наверное, большевиком. Об этом я говорил Русе в Париже. Как удивительна и неожиданна жизнь.

(Старший брат Б. Савинкова Александр — тоже революционер — застрелился в приступе тоски в Сибири, в царской ссылке. — В. Ш.)

<sup>6</sup> Чернов В. М. (1873 — 1952) — политический деятель, один из лидеров партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания. В 1920 году эмигрировал.

<sup>7</sup> Бурцев В. Л. (1862 — 1942) — историк и публицист. Член партии эсеров. Разоблачитель Азефа — известного царского провокатора, с 1918 года жил в эмиграции.

15 апреля.

Была Л. Е. Все еще взволнована — не может привыкнуть к Москве.

Когда она писала и делала чернильные пятна на скатерти, я сердился. А теперь я с удовольствием смотрю на них. Как бы частица ее...

После июньского поражения, когда решилась судьба России, Керенский, вечером, сел в автомобиль и приказал мне сесть вместе с ним. Катались по галицийским полям. Была луна. Керенский сидел, откинувшись на спинку автомобиля и закрыв глаза. От времени до времени он говорил одни и те же слова: «И она изнемогла, расставаясь»... В эти часы он думал о женщине.

Когда приехали в армию (VII), он поужинал, а после ужина, не посоветовавшись ни с кем, подошел к командарму, Бельковичу, и сказал: «Вы отставлены, генерал». А старик Белькович перед наступлением исползал на коленях все окопы. Он был храбр, честен, богобоязнен и слеп. За его спиной воровали, били в морду, смеялись над ним. Но других Керенский не отставил.

Я пришел к Бельковичу. Он сказал: «За что вы меня фукнули?» — и не поверил, что я ни при чем. А я послал вдогонку Керенскому мотоциклиста с донесением, что Белькович лучший из всего штаба.

16 апреля.

...В Ново-Девичьем монастыре лестницы, по которым всходил еще Петр. Окна кельи царевны Софии. Зубчатые, красные, точно из пряника, башни. Под башнями — Москва-река. Пузицкий сказал про царевну Софию: «Противилась веку и потому погибла». И только? Еще нет зелени на деревьях. Но она уже предчувствуется в ветвях. Нет ничего очаровательнее предчувствия весны. Таков в Париже февраль...

Великий четверг. Звонят колокола. Днем кто-то где-то дудел на трубе — две ноты. Эти две ноты наполняли всю камеру.

Расставил шахматы и стал играть партию Капабланка — Алехин. И, как живая, встала Л. Е.

17 апреля.

...Л. Е. не пришла.

Целый день звонили колокола.

19 апреля.

Пасха. Я спросил надзирателя: «Были в церкви?» Он ответил: «Нет. Я был на комсомольском собрании».

Сперанский (один из чекистов, приставленных к Савинкову. — В. III.) говорит: «Вы никогда не подойдете к нам близко. Выйдете из тюрьмы и больше не захотите встречаться с нами». Это неверно. Коммунизм меня привлекает, во-первых, потому, что социализм — мечта моей молодости, во-вторых, потому, что в нем много справедливого, умного и честного, и в-третьих и наконец, потому, что, выбирая изо всего, что есть, я выбираю коммунизм. Не царя же? Не республику же Милюкова? Не эсеровское же бормотание? Но Сперанский говорил и о людях. Люди? Я их не знаю. Знаю едва ли десяток, да и то в разговорах, не на работе...

Да, русские, все русские, мне кажется, вовсе не похожи на европейцев. У европейца есть чувство меры, у русского его нет. У европейца есть мудрость человеческих отношений — приличие, вежливость, уважение к женщине, уважение к чужой личности, у русского на это нет и намека. У европейца есть деловитость, точность, практичность, русские ленивы, неаккуратны, не понимают, что значит реальность. Европейец бреется и моется каждый день, русские грязны. Европейец сдержан в словах, ибо познал силу слова, русские болтливы, неряшливы в выражениях, многословны. Европейец застегнут на все пуговицы, памятуя, что не только тело, но и душа, но и ум уродливы у большинства людей, русские — за милую душу, все, что придет в голову, то и произносят вслух, обо всем — об искусстве, о жизни, о любви... С русскими европейцу трудно. Но... Но русский отдаст последний грош, а европейец не отдаст ничего. Но русский спрыгнет с Ивана Великого, а европейец, когда идет дождь, наденет кашне, чтобы не простудиться, и раз в неделю будет принимать касторку на всякий случай. Но русский пожалеет так, как не пожалеет европейская мать. Но русский, лениво и глупо, выпрет из себя Достоевского, а европейец будет радоваться Мольеру. Но русский размахнется так, что небу станет жарко, а европейец если и размахнется, то высчитав заранее шансы против и за.

Но русский совершил величайшую социальную революцию, а европеец стоит разинув рот и либо трясется, либо учится ей. Черт знает, с востока свет!

20 апреля.

...Коммунисты раскрепостили женщину в экономическом отношении, по крайней мере в городах, по крайней мере в идее. Это очень хорошо. Но когда Сперанский говорит о «новом» в отношении полов, то мне становится очень скучно. «Новое» в том, что женщины отдаются на ковре по очереди всем гостям, или в том, что мужчины меняют женщин, как грязное белье? Но это было всегда. Правда, первое только в публичных домах... Все подобные рассуждения — детская болезнь революции, болезнь, которой заражены и взрослые люди. Это пройдет. Ни любовь, ни ревность, ни измену из жизни вычеркнуть нельзя. И в конце концов, все-таки самое ценное в жизни — любовь.

21 апреля.

Беготня и суета в коридоре. Потом молчание. Потом голос: «Который этаж?» Потом кого-то проносят в амбулаторию...

Однажды, в марте, — выстрел...

Однажды, в декабре... глухой выстрел.

Однажды, в августе, — два выстрела подряд.

Однажды... Однажды...

23 апреля.

Все то, что я написал, мне кажется, из рук вон плохо. Сегодня перечитывал и переделывал «Дело № 3142» и грыз от злости перо — не умею сказать так, как хочу! Не умею даже намекнуть.

Меня ругали за все мои вещи. Хвалили только за «Во Франции во время войны». А это — наихудшее из всего. В особенности рассказы.

Я работаю, переделывая по 15 раз, не для суда читателей (читатель чувствует только фабулу, в огромном большинстве случаев: интересно, неинтересно...), еще меньше для суда критиков (где они?) и, во всяком случае, не для удовольствия. Я работаю потому, что меня грызет, именно грызет желание сделать лучше. А я не могу.

Когда я читал у Сосновского свой рассказ, один ушел, другой заснул, третий громко разговаривал. Каков бы ни был мой рассказ, это настоящая дикость — полное неуважение к труду. А надзиратели, видя, как я пишу по 8 часов в сутки, ценят мой труд... Так называемые «простые» люди тоньше, добрее и честнее, чем мы, «интеллигенты». Сколько раз я замечал это в жизни...»

### Ропшин

Савинков, конечно, зря жалуется на чекистов: это еще милость с их стороны, что позволяют ему писать и даже устраивать читку своих сочинений. Вряд ли кто-нибудь из узников Лубянки за всю ее историю пользовался такими привилегиями. Ведь для них он был конченный человек — живой труп! И они могли бы вспомнить его же собственную фразу из «Коня Вороного», только что изданного в России: «У него морда в крови и глаз на нитке висит, а он про книжки толкует!..»

И все-таки он был прав! Потому что писатель Ропшин, в отличие от контры Савинкова, имел право на читателя.

И здесь, в тюрьме, Ропшин работал не покладая рук. Следы упорного труда мы находим всюду в его дневнике.

«Я знаю свой недостаток — сухость не языка, а описания, — записывает он 11 апреля. — Но и язык тоже враг. Каждый день я борюсь с ним: подыскиваю эпитеты, выщипываю рифму, подчеркиваю ритм. Как мало людей, которые чувствуют ритм и даже подозревают о существовании его. А между тем, в сущности, «Герой нашего времени» написан белыми стихами. Куприн, Короленко, даже Тургенев пишут со множеством эпитетов, — бросают их пригоршнями. Среди многих найдется один, настоящий. Он заставляет забыть об остальных. Лучшие эпитеты — у Тютчева».

26 апреля: «Целый день бился над одной страницей — попробуйте опишите парижскую улицу в начале апреля, вечером, да не на двухстах строках, как Гонкуры, а на десяти и чтобы чувствовался воздух Парижа. Не умею. Опускаются руки».

И, может быть, никогда еще он не имел возможности столько размышлять о литературе и о своем месте в ней, о секретах писательского труда и славы, о средствах выражения, созвучных эпохе, о новом читателе — наблюдения эти не всегда справедливы, но всегда остры и интересны. Многие его записи возникают по ходу чтения, как бы на полях книг, — а читает он много, запойно, в основном русских и французских авторов, постоянно сравнивая их:

«Французская литература ясна, прозрачна, я бы сказал, целомудреннее нашей. Французский писатель не выплевывает на бумагу все, что приходит ему в голову, после обеда. Русский — писах, еже писах — все глупости, весь вздор, весь мусор, все недодуманное, все необработанное. Писательство — «подвиг». За этой ложью скрывается право утомлять читателя и глушить его скудостью собственного ума» (15 апреля).

«Чехов называл свою жену «лошадка», «собака».

Его неумеренные почитатели найдут и в этих словах что-то особенное, трогательное. А по-моему, просто грубость земского врача. Чехов очень талантлив — он умел рассказывать то, что видел. Но он видел только серое в жизни — грязноватого цвета, грубоватого оттенка. Вся «Народная Воля» вдохновила его на один рассказ — «Записки неизвестного человека». Все, что выходило за границу маленькой провинциальной жизни, не интересовало его. Выпить, закусить, сыграть в картишки, Чебутыкин, Лаптев (герои чеховских произведений. — В. Ш.), ноющие интеллигенты — вот и вся жизнь. Была ли тогда Россия только такой? Конечно, нет. Уже рождалось то, что есть теперь, и уже писал Блок. Но он ни того, ни другого не замечал. Очень милый, исключительно даровитый, простой, добрый земский врач.

Чехова любят — Сперанский и Пузицкий! По закону контрастов?» (17 апреля).

«Дневник Гонкуров — дневник сытых французских буржуа, любящих искусство. Потому, что они любили искусство и хорошим языком писали романы, которые давно никто не читает, они, разумеется, воображали себя исключительными людьми. А кто себя таковыми не воображает? Даже не любя искусства, даже умея говорить только «матом»...

Гонкуры пишут:

«...гораздо хуже сознания смерти сознание ничтожности человеческой жизни».

Со всем этим я согласен.

Гонкуры пишут еще: «Лживые фразы, высокие слова, — вот чем занимаются политические деятели нашего времени». Через 60 лет то же самое мне повторил Monsieur Jean, парикмахерский подмастерье» (22 апреля).

«Почти все русские писатели страдают одним и тем же недостатком — длиннотою. Длиннен Мережковский, Куприн, Короленко, не говоря уже о второстепенных... Из нынешних, тех, которых я читал, — остались в памяти: Либединский, Бабель, Семенов» (28 апреля).

«Но почему Гонкуры так много пишут о природе? Неужели они не понимали, что о природе надо писать скупно — не только мало, но и коротко, в двух, трех строках. Нагромождение образов только мешает. В жизни не видишь всех деталей леса, реки, моря, но воспринимаешь их (не зрением, так слухом, не слухом, так обонянием, даже осязаешь: трава, даже вкусом — сорвешь колос ржи и жуешь). А у Гонкуров видишь и не воспринимаешь, и остаешься равнодушным. То же и у Бальзака... По правде говоря, природа меня трогает только у Пушкина, у Лермонтова (в «Герое нашего времени»), у Тургенева да в стихах Тютчева. А в жизни природа меня трогает всегда, даже лопух на тюремном дворе» (6 мая).

Савинков понимал, что Россия, в которую он попал, — это уже другая страна, чем та, которую он знал, и пытался изучить ее теперешних граждан, их язык — новояз, звучащий для него дико. Запоминал на прогулках, которые ему иногда устраивали, в Сокольники или в Новодевичий монастырь, в неизменном, бдительном сопровождении, — а может быть, списывал прямо со стен лубянских коридоров — удивительные изречения:

«Строго воспрещается выражаться».

Или в стихах:

«Гражданин, будь культурный,  
Мусор и окурки бросай в урны»...



А возвращаясь в камеру, снова усаживался за стол, закуривал, брал перо и придвигал к себе стопку бумаги. В эти месяцы Савинков успел написать помимо множества статей и писем несколько психологических рассказов — о жизни русской в Париже и о той же Лубянке.

Эмиграция и тюрьма. И то и другое — противоестественно для человека, и то и другое — неволя. Но так сложилось, что он, посвятивший всю жизнь свободе, никогда этой свободы не видел. И что это такое, в сущности, не знает. А знает только тюрьму, эмиграцию, да еще подполье и войну, что тоже — неволя. И чем яростней он дрался за свободу, тем безысходней были тиски рабства...

Когда-то он — человек прямого действия — «Слово воплощал в Дело», реализовывал идею революции, как ее понимал. Теперь остался наедине со Словом, само Слово стало Делом. Обрел ли он наконец себя? Сумел ли — столь щедро наделенный природой — выйти на простор этого своего призвания? И вместо того чтобы сочинять себя — как он делал это на суде, разводя декламацию, беллетристику о своей жизни, — сочинять книги.

Но человек един и не всегда в силах начать жизнь сначала.

Ропшину мешал Савинков, писателю — политик. И ему, отдавшему жизнь политике, уже не суждено было вырваться из ее цепких объятий. Душа была замутнена и отравлена. Недаром лейтмотивами его стихов, от которых ничего не скроешь, были — двойник, кровь, смерть... Он уже не видел себя вне расколовших его непримиримых лагерей, завербованный, ангажированный человек — вчера одним, сегодня другим воинством. Он видел мир в красном, белом или зеленом цвете, в социальной внешней окраске, а не во всем солнечном спектре человечности. Такого зрения он уже не обрел.

И Слово опять было отдано на службу Делу.

В результате в его рассказах эмиграция из беды обращена в вину, а тюрьма из насилия — в справедливое возмездие. Прежние друзья превратились в карикатуры, но и прежние враги, коммунисты, тоже не очеловечились. Оттолкнувшись от одного берега, он не доплыл до другого и тонул где-то посередине...

Два из написанных им на Лубянке рассказов — «Последние помещики» и «В тюрьме» — были потом напечатаны. Но рассказ «В тюрьме» — как раз тот, что он читал своим стражникам (в рукописи — «Дело № 3142»), — предстал перед читателем иным, чем он был на самом деле. Он был рассечен и сокращен почти наполовину, и из него были изъяты даже намеки на страшную действительность Лубянки. Неизвестный редактор причесал героев-чекистов и, наоборот, взъерошил их врагов. В опубликованном варианте рассказа главного героя, белогвардейского офицера Гвоздева (это как бы собирательный образ боевых товарищей Савинкова — Опперпута, Гнилорыбова и Павловского), хотят освободить. В рукописи — расстреливают:

«...но уже кто-то схватил его за плечо и грубо толкнул к стене. Пряча голову, он втянул ее в воротник. Грянул негромкий выстрел. Он его не услышал. Он, полковник Гвоздев, перестал жить».

А еще один рассказ, «Дело Савельева» — его тоже удалось найти в лубянском архиве, — вообще остался неизвестным, ибо, как написал сам Савинков на титульной странице: «Рассказ должен был быть передан в «Ленгиз» тов. Ионову, но не передан по цензурным условиям»... И здесь герой, одуроченный чекистами, идет под расстрел.

В этих рассказах Савинков как бы промоделировал свое поведение в тюрьме, в любом случае сопротивления — побег или попытка обмануть чекистов, согласие работать на них, чтобы убежать, — исход был предрешен.

Оставим кипу рукописей — вернемся к черной тетради.

### Знаки судьбы

«24 апреля.

Во дворе, где я гуляю, набухли почки. Кое-где показалась трава.

Сменили надзирателя, который был со мной с первого дня. Поставили другого — огромного, с грубым лицом. Он громко кашляет, громко сморкается и то и дело заглядывает в «глазок».

В Париже во мне живет Москва, в Москве — Париж. Я знаю, что для меня главное в Москве: русский язык, кривые переулки, старинные церкви, убожество, нищета и... музей революции, и... Новодевичий монастырь. Но что главное для меня в Париже? Не знаю. Кажется, цветы на каштанах, прозрачные сумерки, февральские оголенные деревья с предчувствием весны, яблони в цвету по дороге в St. Cloud, туман утром в Булонском лесу. Во всяком случае, прежде всего в памяти это и уже потом — гробница Наполеона, rue des Martyrs, Pere Lachaise, avenue Kleber и Magdebourg...

Впервые я был в Париже, когда мне было 20 лет. Bd. St. Michel, Hotel des Mines, St. Ouen, затерянность в огромном городе и — «Ca ira» (знаменитая революционная песня. — *В. Ш.*)... Потом нелегальным, нищим, вместе с И. П. Каляевым, у Gare de Lyon. 7 франков в день от... Азефа! Да и то не всегда. Приходилось искать его, ловить в «Olympia», у выхода. Закладывали револьверы... Потом, опять нелегальным, с В. М. Сулятицким<sup>8</sup>. Снова Азеф, Конни Циллианус<sup>9</sup>, конспирация, шведский паспорт. Потом — rue Lafontaine, Bd. Suchet — Марья Алексеевна (мать второй жены Савинкова — Е. И. Зильберберг. Дальше в дневнике имя дано сокращенно — «М. А.». — *В. Ш.*), «Конь Бледный». И Мережковские, которым я тогда, только тогда верил. Потом война, журнализм, Bergu, Marechal, Soulie, Braslerde de l'Est, La Victoire, rue Lalo, Эренбург, художники и «jusqu'au bout»<sup>10</sup>. Потом — Любовь Ефимовна и Union. И наконец, Гаресы и снова Л. Е. Полжизни — в Париже. Сперанский насмеяется: «француз». Нет, не француз, а русский, но русский, который видел то, чего не видел Сперанский. И наоборот?..

25 апреля.

В тюрьме время идет не так, как на воле. В тюрьме каждый день длинен, а оглянешься назад, — как быстро прошли месяц, три месяца, полгода! Не оглянешься, будет июнь, а до вечера дожить — десять лет.

Когда была жива мама, я о ней думал, конечно. Даже заботился, как мог. Но теперь, когда она умерла, когда ее уже нет, мне кажется, что я во все не думал, во все не заботился, не пожалел ее старости, не сделал все, что было в силах. Как это огромно — мать... Мне 46 лет. А я горюю о матери. Она не была со мною нежна (кроме последних лет)... И покойного отца я любил больше, чем ее, при жизни. Но вот она умерла. Смерть отца, сына, брата, сестры, М. А., И. П. (Каляева. — *В. Ш.*) для меня меньше, чем ее смерть. О ней я думаю всегда. Почему?

На могиле отца в Варшаве что-то кольнуло в сердце. Я положил венок (был вместе с Л. Е.). Вернулся в Брюль и... забыл. А вот мама, как живая, всегда передо мною. В Париже, возвращаюсь в час ночи, она меня ждет, в черном платье, в черной наколке. Стол накрыт... Она не ест, сидит передо мной: «Выпей рюмочку...» и ждет тоскующими глазами, расскажу ли я свой день? И в Ницце, суется и не зная, куда меня посадить. И у Плехановых, в Boulogne, на балконе, ожидая меня, провожая меня, слушая мои шаги по безлюдной улице. И на rue d'Antenil, в окне, прощаясь. И последние дни.

Я был нелегальным. Зашел к Макарову<sup>11</sup> (тоже уже нет), в 1906 г. Он говорит: «Ваш покойный отец... Ваш покойный брат... Ваш покойный сын...» Я не знал ничего. Вышел на улицу и шел, пошатываясь, не понимая.

Никто и никогда не поймет, что пережил я 15 июля 1904 и 4 февраля 1905 г. Теперь это — обычно. Тогда — совершенное исключение. Мне было 25 — 26 лет... Ивановская<sup>12</sup> в своих воспоминаниях написала: «Точно наводнение прошло по лицу». Оно и прошло. И не только по лицу.

<sup>8</sup> Сулятицкий В. М. (1885 — 1907) — член партии эсеров. В 1906 году помог Савинкову бежать из Севастопольской крепости. После покушения на премьер-министра Столыпина был приговорен к смертной казни и повешен.

<sup>9</sup> Циллианус (Зиллиакус) К. — член Партии «активного сопротивления» Финляндии, близкой к партии эсеров.

<sup>10</sup> До конца (*франц.*) — выражение, которое употреблялось во Франции по отношению к экстремистам (jusqu'au-butist — экстремист).

<sup>11</sup> Видимо, Макаров П. М., инженер, хороший знакомый Савинкова, не раз оказывал услуги боевой организации эсеров.

<sup>12</sup> Ивановская-Волощенко П. С. (1853 — 1935) — революционерка, в 1905 году примыкала к боевой организации партии эсеров.

Когда казнили И. П., я был в Париже. Я не спал ни минуты четыре ночи подряд.

Как я мог идти против коммунистов?»

Что же произошло 15 июля 1904-го и 4 февраля 1905 года? Видимо, что-то такое, что определило жизнь, навсегда отпечаталось в сознании...

15 июля 1904 года в двадцать минут десятого утра в Петербурге Савинков — он жил тогда по паспорту Константина Чернецкого — привел в действие свой продуманный до мелочей план и направил навстречу карете Плеве трех боевиков с бомбами. И сам пошел за ними... Он слышал, как прогремел взрыв — будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. Бросился вперед и увидел лежащего на мостовой Егора Сазонова. Под телом его расплзалась багровая лужа, глаза были мутны и полузакрты.

— А министр?

— Министр, говорят, проехал... — раздался чей-то голос.

Значит, Плеве жив, а Сазонов убит!

— Уходите! Уходите, господин! — прогнал Савинкова полицейский.

На самом деле Сазонов был ранен, а Плеве убит. Об этом он, Савинков, узнал из газет. А перед тем несколько часов метался по городу, переживая смерть друга и замышляя новый план покушения...

А на следующий год, 4 февраля, дело было уже в Москве... Он скрывался тогда под именем англичанина Джемса Галлея. В два часа дня передал завернутую в плед бомбу «Поэту», Ивану Каляеву, лучшему другу жизни с детских лет, поцеловал его в губы и смотрел, как тот решительно направился в Кремль, к Никольским воротам. Валил снег. А потом на Тверской какой-то мальчишка без шапки бежал и кричал:

— Великого князя убило, голову оторвало!..

Нет, они не были просто убийцами, его друзья! Они убивали во имя освобождения людей от рабства, во имя свободы! Каляев видел в терроре не только наилучшее средство политической борьбы, но и моральную, религиозную жертву. И для Сазонова, для него тоже, террор был прежде всего личной жертвой, подвигом. И все же, все же — как написал Егор с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня...»

Дорогие, святые имена, лучшие товарищи его жизни.

Это теперь обычное дело — убийства, кровь, смерть. Но тогда!..

Понятно, почему Савинков после всех этих воспоминаний удивляется: «Как я мог идти против коммунистов?» Ведь он, фанатик революции, по существу, жил и воевал как коммунист и только по историческому недоразумению встал под другое знамя. А они, коммунисты, осуществили его мечту, цель его жизни — убили царя!

Однажды в Париже мне попала в руки книга Романа Гуля «Генерал Бо» — о Савинкове. И там любопытная надпись — кто-то из читателей, видимо старый русский эмигрант (писал еще по дореволюционной орфографии, с «ятями»), начертал: «Ах, если бы в наше время были Каляевы, давно большевики погибли бы!»

Как знать! А не Каляевы ли и стали большевиками?

Григорий Зиновьев писал в предисловии к книге «Загадка Савинкова»: «На свете слишком много такого, что можно уничтожить только оружием, огнем и мечом. Марксисты высказывались за массовый террор... Мы будем употреблять террор не в розницу, а оптом».

Вот и все отличие Савинкова — Каляева от Зиновьева — Дзержинского: первые вели штучный отстрел, а вторые — косили тысячами, а потом и миллионами!

В только что рассекреченных документах Ленина — «самого человеческого человека» — есть такие приказы: «Тайно подготовить террор: необходимо и срочно...» Или: «Наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу хоть на одну версту и повесить там 100 — 1000 их чиновников и богачей)...» Или: «Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10 — 20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 руб. за повешенного...»

Это уж напрямую относится к Савинкову и его «зеленому» воинству. Террор на террор. Одно другого стоит.

Что же до «священной жертвы», о которой грезил Савинков и друзья его юности, то знаменитый революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой» был постоянно на устах Ленина. Под эти звуки хоронил солдат своей армии глава красного террора, взявший из рук эсеров разящий меч революции, — Феликс Дзержинский.

«26 апреля.

Левочка зажег костер и прыгал через него. А потом пускал пятикопеечный фейерверк — смеялся и не хотел идти спать. Ему было 12 лет. Когда я его увижу, ему будет сколько?.. И ни костер, ни фейерверк не повторятся...

Когда Андрей Павлович покраснел, смутился и у него забегали глаза, я сказал себе: «Арестуют». Когда он бросил Русе: «Долго же вам сидеть в эмиграции», — то же. Когда он заговорил о Рогове, коммунисте, с симпатией, — то же. И так много раз. А Фомичева я решительно заподозрил. У самой границы, ночью, когда он шмурыгнул носом и отошел в кусты на мое слово — «предатель», я одну минуту хотел взять его за шиворот. И не взял. Почему я поехал?.. Я шел к Бурцеву, уверенный, что меня арестуют. Он выслушал все и сказал: «Нет, нет оснований предполагать...» Я понимал, что вздор, но хотел ему верить. Как нарочно не слушал Ал. Арк. и Л. Е. Ехал инстинктом, слепо, ибо не мог оставаться, ибо замучила совесть (против народа!..), ибо Балахович, Маклаковы, Авксентьевы, Милюковы, ибо не было ни угла, ни крыши, ибо травля... ибо, ибо... Миллион причин. Замечательно, что не отговаривал никто. Все (кроме Руси) нашли, что так и должно быть — «привези нам золотое руно, или пусть тебя расстреляют». А теперь клеветают... Так устроены люди.

Боюсь за Л. Е.

27 апреля.

Руся пишет, что 12-го скончалась Шура (жена Виктора Савинкова. — *В. Ш.*)... Бедная, маленькая женщина! Не думаешь о человеке вовсе, а когда он умирает, то становится жаль, что знал мало, не интересовался, не заглянул глубже. И уже непоправимо.

И вот еще непоправимо. На острове Пасхи нашли следы очень древней культуры — каменные памятники, идолы. Не узнали, не могли узнать, к какому веку и какому народу они относятся. Два года назад остров Пасхи исчез во время землетрясения. Весь целиком. (Ложное известие об исчезновении острова Пасхи взято, видимо, из газет. — *В. Ш.*)

Когда М. Ал. умирала, я не поверил, что это смерть, — думал, что обычный припадок. До 8-и я играл в шахматы с ..., в 8 лег спать — был уже день давно. В 10 с половиной меня разбудила Е. И. Я вошел, М. А. была еще жива, лежала тихо, с закрытыми глазами. Я взял ее за руку, она посмотрела на меня и слабо пожала руку. Потом сказала: «Какие вы все добрые... Спасибо». И умерла.

А потом я каждый день ходил на кладбище, в склеп, и смотрел через окошко в гробу, как медленно, медленно (она была набальзамирована) разрушалось лицо. Темными тенями. Синеватыми пятнами. Провалом около губ.

А теперь я об этом вспоминаю почти спокойно.

28 апреля.

...Кое-где на кустах распустились листья (на дворе). Сегодня была гроза и сильно пахло дождем в камере, а на прогулке — сырой землей.

В жизни бывает несколько таких ярких дней, что их невозможно забыть, — ярких в своей простоте, в том, что ничего не случилось. Вот помню. Мне года 3 — 4 (еще в Вильне), я иду от сквера вверх, по Большой улице, с кем-то, может быть, с мамой. У меня в руках барабан, а солнце горит в небе, и на стеклах фонарей, и в дождевых лужах. А мне очень, очень радостно и хорошо. А вот другой день: мы возвращаемся с Л. Е. из Uemblay пешком, через мост. Я покупаю ландыши у старухи. Потом сидим внизу, у берега, в safe и смотрим на солнце. Оно на небе, и на реке, и у Л. Е. в глазах. И мне так же радостно, как тогда, ребенком, в Вильне.



Андрей Павлович — честный и стойкий солдат, Фомичев — мразь, С. Эд. (Павловский. — В. Ш.) — зверь.

29 апреля.

...Лет пятнадцать назад, Ильфракомбе, меня поразило море. Очень высокий, скалистый берег, почти замкнутым кругом. Внизу, совсем глубоко, кипящая, бело-синяя, расплавленная масса, которая ходит ходуном и рычит. Надо всем — совершенно свинцовое небо. Свинцовое небо и в Гаммерфесте, и в Вардё, но море другое, не расплавленное, не металлическое, а водяное, и не рычит, а свистит и воет. В Индийском океане — индиго и золото наверху. Слепнут глаза. В Северном — муть, белесые волны и дождик наискосок... После Индийского океана Красное море — серого цвета, Средиземное — грязноватого. После Зунда то же Средиземное море — как Индийский океан. *La relativite du choses!*..<sup>13</sup>

Первые листья во дворе — акации!

Ландыши, которые принесла Л. Е., уже отцвели...»

Он продолжает фиксировать в дневнике скудные приметы тюремной жизни — пишет их, словно углем, точными штрихами, с редкими сценками — прогулки, визиты Любви Ефимовны — с новостями из потустороннего шумного мира. Ей ведь тоже нелегко найти себя, устроиться в советской Москве, на птичьих правах, с постоянным страхом за будущее...

Ведет изнурительный разговор с современниками — то сводит счеты с бывшими друзьями, затянувшийся спор, который становится все ненужней, то обращается к чекистам, которые тоже не поняли, обманули его, то говорит с самим собой: почему таким клином сошлась жизнь, в чем он просчитался и в чем действительно был виноват.

После «разочарования белого», «разочарования зеленого» пережил ли он разочарование в себе? Нет, ни в двухдневной речи его на суде, ни в дневнике он ни разу не называет свои действия преступными, говорит лишь об ошибках и заблуждениях. Сознание собственной исключительности не покидает его. Но он уже утратил внутреннюю цельность, генеральную идею — куда жить. Отсюда — психологический надрыв, нарастающая депрессия.

Савинков строил свой мир не на вечных общечеловеческих ценностях — с такой внутренней крепостью и тюрьма одолима! — а на преходящей политической идее, на выжигающей душу злобе дня. Как говорил он сам, «сеял пшеницу, а вырастали чертополох и лопух». Трагедия случилась не сейчас, на Лубянке, а гораздо раньше, когда он, еще юношей, переступил через вечную заповедь «Не убий!». С тех пор всякий раз, убивая других, он убивал себя.

Уставая от безнадежной тяжбы со своим временем, он пускался в свободное плавание по волнам воспоминаний. И все больше и больше жил теперь памятью — и тогда на страницы черной тетради врывались яркие цветные картины прошлого, и, пережитое вновь, оно теперь виделось иначе. Вереницей шли странствия, где на фоне экзотических пейзажей непременно возникала она — та, которую он на людях так и не назвал по имени, лишь отстраненно-почтительно — Любовь Ефимовна, и даже в дневнике — Л. Е. Очень приблизилось детство — его собственное и его детей. Поднялась из гроба и встала совсем рядом мать, ближе, чем была в жизни. Открылась острая потребность в природе — вообще во всем простом, изначальном и так доступном обычно, что мы не замечаем, не ценим.

Читая дневник, видишь, как постепенно меняется сознание его автора, будто готовясь исподволь к какому-то важному, решающему событию. Нарастают предчувствия. Жизнь наполняется символами. Все кажется неслучайным. «Сердца трех» — книга в руках Любви Ефимовны, а вот теперь, 30 апреля: «Во дворе за ночь выросло три лютика, все три рядом...» Этот непрерывный звон московских колоколов, окатывающий Лубянку, словно в ответ на замурованные там выстрелы. И все неотступней, все чаще — мысли о смерти, как конский топот издалика...

<sup>13</sup> Все относительно! (франц.)

«30 апреля.

...Гонкуры, конечно, сытые буржуа, но необычайна и почти единственна в своем роде их братская любовь. Необычайны по силе и записи Эдмона о болезни и смерти Жюля...

— Все неповторяемо в жизни. Все бывает только один раз.

— Рисунок губ, линия жеста, блеск взгляда притягивают мужчину к женщине, как планету к планете. Эта тайна не будет разгадана никогда.

— Судьба крупных людей такова, что наступает день, когда нет выхода. Тогда они бросаются в море.

— Жизнь такое горе, такой труд, такая забота, что, умирая, спросишь себя: «Жил ли я?»

Со всем этим я тоже согласен.

1 мая.

Целый день за окном музыка — демонстрации.

У меня болят глаза, голова всегда тяжелая, в ушах всегда звенит. Нет воздуха и движения. С трудом заставляю себя писать. Попишешь час — и как неживой.

Я не то что поверил Павловскому. Я не верил, что его могут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. И в том, что его не расстреляли, — гениальность ГПУ.

В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 1923, с глазу на глаз, в маленьком кабаке на rue de Martyrs. У меня было как бы предчувствие будущего. Я спросил его: «А могут ли быть такие обстоятельства, при которых Вы предадите лично меня?» Он опустил глаза и ответил: «Поживем — увидим». Я тогда же рассказал об этом Л. Е. ... Но я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать... Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский?.. Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете... Вероятно, страх смерти... Очень жестокие люди иногда бывают трусливы. Но ведь не трусил же он сотни раз! Но если не страх смерти, то что?.. Он говорил Гендину, что я «не поеду», что я «такой же эмигрантский генерал, как другие». Но ведь он же знал, что это неправда. Он-то знал, что я не «генерал» и «поеду». Зачем же он еще лгал? Чтобы, предав, утешить себя? Это еще большее малодушие.

Я не имею на него злобы. Так вышло лучше. Честнее сидеть здесь в тюрьме, чем околачиваться за границей, и коммунисты лучше, чем все остальные. Но как напишешь его? Где ключ к нему? А если бы меня расстреляли?

В свое скорое освобождение я не верю. Если не освободили в октябре — ноябре, то долго будут держать в тюрьме. Это ошибка. Во-первых, я бы служил Советам верой и правдой — и это ясно. Во-вторых, мое освобождение примирило бы с Советами многих. Так — ни то ни се... Нельзя даже понять, почему же не расстреляли? Для того, чтобы гноить в тюрьме?.. Но я этого не хотел, и они этого не хотели. Думаю, что дело здесь не в больших, а в малых — в «винтиках». Жалует царь, да не жалует псарь... Недаром я слышу, что у меня «дурной характер». Дурной характер в том, что я не хочу называть людей, которые верили мне и которые теперь уже не могут принести никакого вреда?..

На прогулке шел дождь. Пахло теплой и влажной землей.

2 мая.

Виктор однажды сказал про Русю и А. Г. (Виктор — брат Савинкова, А. Г. Мягков — муж Руси. — *В. Ш.*): «Навозные жуки». Да, но эти «навозные жуки» создали крепкую и честную семью, вырастили добрых и честных детей, всегда работали, никогда никому гадостей не делали, всегда заботились о других и в тягчайшие дни оставались верными, благородными и мужественными друзьями. А Виктор?.. А я?.. Но у меня хоть есть оправдание (или мне так кажется): я, в сущности, всю жизнь определил не семьей и не личным счастьем, а тем, что называется «идеей». Пусть в «идее» этой я сбился с пути, но никто меня не упрекнет, что я добивался личного благополучия...

Я написал: «никто не упрекнет»... Упрекнут и в этом. Во всем упрекали и упрекают, и упрекнут — и в том, в чем виновен, и в том, в чем не виноват, и в том, что было, и в том, чего не было, и в моих слабостях, и в моей силе, и в

дурном, и в хорошем, и в бездарном, и в небездарном. Не одни, так другие... Но больно, когда упрекает с в о й, близкий, родной, любимый. Больно, когда и он со всеми...

Который год я не вижу весны, почти не вижу природы. В городе — стены, но все-таки иногда зеленые дни... А в тюрьме только запах отшумевшего по мостовой дождя да чахлые листики во дворе.

Как огненно-солнечно здесь, за решеткой, вспоминается Шанхай — Марсель. Холодное небо в Шанхае, голубые холмы в Гонконге, Сайгон с ослепительными лучами, Сингапур с ливнем, Коломбо с камфарным деревом и сахарным тростником, пустыня Джибути и лучезарный, сияющий, бесконечный, бездонный Индийский океан. Дельфины и полет рыб. И Л. Е.

Под Сайгоном я с Л. Е. зашел в деревенский дом. Полуголая мать, голые дети. Тростник, вышиною в сажень. Каменный колодец. Голубая корова. А дома, на стене, французская раскрашенная картинка и календарь.

В Джибути белые стены, палящее солнце, крохотные ослы, такие, на которых ездил Христос, пыль и голые камни. А в пустыне, в стороне от дороги, труп верблюда и грифы на нем — длинношеии, желтые, рвущие кровавое мясо.

3 мая.

Помню: Левочке 2 года. Утро. Южное солнце затопило всю комнату. Я лежу в кровати, а Левочка слабыми ножками карабкается по железной спинке, смотрит на меня и смеется.

Теперешняя, новая Россия мне кажется похожей на Левочку: слабые ножки, детство. Но уже радостный смех — предчувствие будущего. Смех, несмотря на разорение, нищету, расстрелы, голод, гражданскую войну — все бедствия, какие есть на земле. Смех — потому, что впереди большая, широкая, не омраченная пока ничем дорога. Сукин я сын, что понял это так поздно...

В эмиграции «вершат дела»: 80-летняя Брешковская, 78-летний Чайковский, 70-летний Милюков, 55-летний Кутепов, 55-летний Бурцев, 53-летний Философов... Самый молодой — Керенский, 44 года. А в России? Менжинский, Дзержинский, Каменев, Сталин считаются стариками. Все дело в руках молодых. А молодые не знают нас. Мы, революционеры 1905 — 1906 годов, для них — миф. Савинков — бандит и едва ли не польский шпион, но Савинков террорист?.. А кто такой Чернов? Где-то, кто-то, когда-то... кажется, контрреволюционер... Авксентьев? Не знаю... Фундаминский? Не знаю. Гоц? А, это тот, которого судили, эсер, балда... Да что Авксентьев и Гоц! Забыты Сазонов и Каляев. Совершенно забыт Гершуни... Больше. Царское время? Не помню: я был мальчонком... Пилсудский как-то жаловался мне, что польская молодежь не знает истории и не хочет знать. Получила все на даровщинку и довольна, и пафоса в ней нет... Но в русской молодежи пафос есть. Заслуга большевиков?

Кстати. Мой приговор в общем правилен, то есть правильно, что я признан виновным (я бы себя расстрелял...). Но неправильно и несправедливо одно: я признан виновным и в шпионаже в пользу Польши. Неправда. Шпионом я никогда не был. И это суд понимал. Понимало и ГПУ. Иначе шпионы и Колчак, и Деникин, и князь Львов, и даже Фундаминский. Почему же меня по этому пункту не оправдали?.. Житейская суета?..

4 мая.

Когда парикмахер стриг меня, я поднял клочок волос, — было больше белых, чем черных. Старость...

Звенит труба.

5 мая.

Л. Е. потрясена «отсрочкой». Я думаю, что таких «отсрочек» будет еще много... Себя мне не жаль, но жаль ее. Ее молодость со мной проходит в травле, в нищете, потом в тюрьме, потом в том, что есть сейчас... А я так хотел ей счастья...

Болят глаза, и в голове копоть. Пишу со скрежетом зубным, и ничего не выходит. Просижу еще год и совсем одурею, и выйду стариком.

Весь вечер поют за окном.

6 мая.

По совету Сперанского написал Дзержинскому...

В Париже я хотел запереть дверь на ключ, посадить перед собой Фомичева и сказать ему: «Сознавайтесь»... Хотел и не хотел. Что-то говорило: «Не надо, все равно...» Плохо ли, хорошо ли, пусть будет, что будет, но надо было спрыгнуть с этой колокольни. Дело не только в «организации» Андрея Павловича, дело еще и в том — прежде всего, — что я чувствовал неправоту своей борьбы и несправедливость своей жизни. Кругом — свиные хари, все эти Милюковы, и я сам — свинья, выгнан из России, обессилен, оплеван... И не с народом, а против него!..

Был Александр Аркадьевич. Бледный, худой и тоже взволнованный отсрочкой. Бедный взрослый ребенок, не умеющий ни жить, ни бороться за жизнь...»

На этом дневник обрывается.

### Конь Бледный

Итак, 6 мая Савинков, отчаявшись и разуверившись в обещаниях чекистов, пошел на решительный шаг — написал письмо Дзержинскому, предъявил ему свой «ультиматум». На следующий день он переписал свое письмо начисто и передал по назначению.

«7 мая 1925.

Внутренняя тюрьма.

Гражданин Дзержинский,

я знаю, что Вы очень занятой человек. Но я все-таки Вас прошу уделить мне несколько минут внимания.

Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, — меня поставят к стенке; второй — мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, т. е. тюремное заключение, казался мне исключением: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, «исправлять» же меня не нужно, — меня исправила жизнь. Так и был поставлен вопрос в беседах с гр. Менжинским, Артузовым и Пилляром: либо расстреливайте, либо дайте возможность работать. Я был против вас, теперь я с вами; быть серединка на половинку, ни «за», ни «против», т. е. сидеть в тюрьме или сделаться обывателем, я не могу.

Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать. Я ждал помилования в ноябре, потом в январе, потом в феврале, потом в апреле. Теперь я узнал, что надо ждать до Партийного Съезда: т. е. до декабря — января... Позвольте быть совершенно откровенным. Я мало верю в эти слова. Разве, например, Съезд Советов недостаточно авторитетен, чтобы решить мою участь? Зачем же отсрочка до Партийного Съезда? Вероятно, отсрочка эта только предлог...

Итак, вопреки всем беседам и всякому вероятно третьему исходу оказался возможным. Я сижу и буду сидеть в тюрьме, — сидеть, когда в искренности моей вряд ли остается сомнение и когда я хочу одного: эту искренность доказать на деле.

Я не знаю, какой в этом смысл. Я не знаю, кому от этого может быть польза.

Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы: недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных. С тех пор прошло немало времени. Я многое передумал в тюрьме и — мне не стыдно сказать — многому научился. Я обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский. Если Вы верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь: ведь когда-то и я был подпольщиком и боролся за революцию... Если же Вы мне не верите, то скажите мне это, прошу Вас, ясно и прямо, чтобы я в точности знал свое положение.

С искренним приветом

Б. Савинков».

В черновиках письма есть и такие выражения: «Я стал более красным, чем это кажется Вам» и «А работать у Вас я буду считать за честь», — но их в



окончательном варианте Савинков опустил, видимо боясь, что они прозвучат слишком уж льстиво.

Дзержинский разговаривать с Савинковым не стал. Только передал через тюремщиков, что приговор вряд ли будет пересмотрен...

О том, что произошло дальше, мы узнаем со слов Сперанского, который был рядом с Савинковым весь этот день. Кое-что много лет спустя рассказала писателю Ардаматскому и Любовь Ефимовна...

Утром она навестила Бориса Викторовича, весело обсуждала с ним фасон нового платья и очередной шляпки. А после того как она ушла, чекисты, видимо чтобы подсластить горькую пилюлю, решили выполнить давнюю просьбу Савинкова — свозить его за город, подышать весной. В сопровождении тройки опекунов — Пузицкого, Сперанского и Сыроежкина — он отправился на легковой машине на прогулку в Царицыно.

Там, на одной из многочисленных конспиративных дач ОГПУ, Савинков якобы выпил коньяку и пошел размяться в парк. Переходя через высокий горбатый мостик, прыгнувший над бурлящим ручьем, он вдруг схватил за руку шедшего рядом Сперанского:

— Уведите меня отсюда! Скорей!..

Потом, очень смущенный, он объяснил удивленным чекистам, что у него «боязнь пространства» и что на высоте у него всегда кружится голова и подкашиваются ноги.

Такой болезнью Савинков действительно страдал, это подтверждают его родственники: Борис Викторович не боялся ничего, кроме пустоты. Высота вызывала у него головокружение.

Поздним вечером чекисты привезли Савинкова «домой». Они прошли в кабинет Пилляра на пятом этаже и там ждали конвоя, который бы увел заключенного в камеру.

Пузицкий звонил по телефону, Сперанский и Сыроежкин сидели — один на диване, другой в кресле, — а Савинков расхаживал по комнате. Собиралась гроза, было душно, и окно комнаты, выходящее во двор, держали распахнутым. Видимо, когда-то это была балконная дверь — подоконник отходил от пола сантиметров на двадцать.

Дальнейшее произошло мгновенно. Савинков, подойдя к окну, посмотрел вниз и вдруг, покачнувшись и словно переломившись пополам, исчез... Никто из чекистов даже не успел шелохнуться.

«Я приехал на Лубянку через час после случившегося, — рассказывал помощник прокурора республики Р. В. Катанян. — Несколько работников ОГПУ во главе с Дзержинским писали сообщение о смерти Савинкова для газет. Феликс Эдмундович подошел ко мне. Он сказал: „Савинков остался верен себе — прожил мутную, скандальную жизнь и так же мутно и скандально ее окончил”».

На следующий день Дзержинский докладывал о происшествии на Политбюро ЦК партии. И, должно быть, повторил те же самые слова. А сообщение, которое он сочинил, было опубликовано только через неделю.

— Это неправда! Этого не может быть! Вы убили его! — закричала на французском Любовь Ефимовна, когда ее пригласили на Лубянку и объявили о смерти Савинкова.

Убили! Так подумали многие. Имя Савинкова снова облетело мир, на этот раз как имя героя-мученика, ценой жизни искупившего грехи.

Но были и другие голоса. Эмигрантский фельетонист Яблоновский написал в берлинской газете «Руль»: «...драма Савинкова рисуется мне в самом простом, даже простеньком виде. Обещали свободу. Несомненно обещали. Надули. Нагло, жульнически надули. Человек не стерпел и выбросился в окно».

В самоубийстве Савинкова вряд ли можно сомневаться. Убить его чекистам, конечно, ничего не стоило. Но для этого они бы наверняка использовали другие, более ловкие и тихие приемы. Только вот зачем им было его убивать? Опасности он уже не представлял. И живым — спеленутый лубянскими стенами — был гораздо нужнее. Мог еще не раз послужить — как свидетель, как эксперт. Помочь в какой-нибудь очередной операции. Наконец, написать несколько новых пропагандистских книг!

А вот сенсационный самоубийца был совсем не нужен. Как же так — только обрел в объятьях советской власти долгожданную правду и вдруг — головой вниз... Самоубийство зачеркивало весь пафос его покаяния, по существу, сводило на нет блистательный результат суда. Чекистам от него было нужно не мертвое тело, а пленный дух.

В следственном деле Савинкова есть маленький листочек бумаги:

#### Удостоверение

Сим удостоверяю, что смерть гр. Б. Савинкова последовала 7 мая 1925 г. вследствие тяжелых травматических повреждений головы (полное раздробление затылочной кости, части теменных и височных) с нарушением целостности важнейших центров головного мозга в результате падения с большой высоты.

Врач тюремный ОГПУ ... (Подпись неразборчива.)

Вот и эта, последняя, роль его кончилась. Лишь за день до смерти признался он себе, что жил несправедливо. И тут же перестал играть и сошел, вернее, выбросился со сцены. Выбросился в никуда. Одного мгновения истины было достаточно, чтобы жизнь стала невыносимой.

Где и как похоронен Савинков — неизвестно. На могилу он не имел права. Черчилль говорил: «Мало кто больше Савинкова страдал за русский народ...»

Возможно, это и будет правдой, если добавить: и мало из-за кого пострадало столько русского народа!

Жизнь Бориса Савинкова — политика и борца — оборвалась 7 мая 1925 года прыжком из окна лубянской тюрьмы. Писатель В. Ропшин пережил своего двойника и вернулся к нам сегодня, спустя семьдесят лет, после долгих запретов и заточения в спецхранах библиотек, своими книгами, которые переизданы массовыми тиражами и нашли наконец своего самого широкого читателя.

Трагедия Савинкова — только частичка большой народной трагедии. Достаточно взглянуть на тот кровавый след, который оставили по себе другие участники событий.

Александр Аркадьевичу Деренталю тоже не нашлось места в родной стране, как он ни старался приспособиться к новой жизни. После выхода из тюрьмы служил в Обществе культурных связей с заграницей, писал пьесы для клубной сцены, переводил тексты оперетт. Но в 1937 году был арестован, отправлен на Колыму и там через два года расстрелян.

Дзержинский и Менжинский не надолго пережили Савинкова — чекистская работа изнашивает быстро. Здоровье Железного Феликса не выдержало в 1926 году, в 1934 году умер страдающий какой-то загадочной болезнью Менжинский. Впоследствии в его умерщвлении обвинят Ягоду.

Чекисты — участники операции «Синдикат-2» стали жертвами их же собственной организации, доблестных органов. После орденов Родина наградила их смертными приговорами.

Главное действующее лицо операции — Андрей Павлович Федоров — руководил Иностранным отделом Ленинградского управления НКВД, когда его арестовали. Он был расстрелян как шпион и враг народа 20 сентября 1937 года. Начальник Минского ГПУ Филипп Медведь возглавлял позднее Ленинградское управление НКВД, но после убийства Кирова оказался на Колыме, где и был расстрелян.

19 июня 1937 года был приговорен к расстрелу как участник антисоветского заговора Сергей Васильевич Пузицкий. 11 июля — Пилляр фон Пилау. Когда-то в бою с белополяками он, чтобы не попасть в плен, последнюю пулю пустил в себя. Враги приняли его, истекающего кровью, за убитого. Но когда местные жители решили закопать трупы, то обнаружили, что он еще жив... Теперь, на следствии, его обвинили в том, что он сдался врагам и не сумел покончить жизнь самоубийством.

Три месяца выбивали показания из Игнатия Сосновского. А он подробно рассказывал о тех прославивших Лубянку операциях, в которых участвовал... Потом не выдержал пыток и «признался» во всем, что от него требовали. 15 ноября 1937 года его расстреляли.

В этом же году пришли за Артузовым — многолетним начальником Контрразведывательного и Иностранного отделов ОГПУ, а теперь шпионом сразу немецкой, французской, польской и английской разведок... Тем Артузовым, который, воспитывая молодых чекистов, находил слова, западавшие в душу: «Наш фронт незрим, прикрыт секретностью, дымкой таинственности. Но и на этом, скрытом от сотен глаз, фронте бывают свои «звездные» минуты... Это можно назвать «тихим героизмом»...»

Перед казнью Артузов написал кровью на клочке бумаги послание, в котором отверг предъявленные ему обвинения и доказывал, что он не шпион...

Григорий Сыроежкин был расстрелян в 1939 году. Судьбе было угодно, чтобы незадолго до этого пересеклись пути его и сына Савинкова — Льва: они воевали в одном отряде интербригадовцев в Испании. Старший сын Савинкова — Виктор Успенский — тоже сгинул в омуте репрессий.

Любови Ефимовне Деренталь суждена была долгая жизнь. Но эта жизнь была безнадежно исковеркана выпавшими на ее долю утратами.

Незадолго до смерти Борис Савинков записал: «Я следую по дороге своей жизни, как на лошадях, которые понесли...»

Но это были не обычные лошади.

В «Апокалипсисе» святому Иоанну являются Четыре Коня:

«...Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный и чтобы победить.

...И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

...Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.

...И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним...»

Борис Савинков прожил жизнь по Апокалипсису, будто проскакал ее на коне. Въехал в историю на Белом Коне — с венцом победителя, потом пересел на Рыжего Коня — с мечом, убивать, Рыжего сменил Вороной — с мерой, определенной земным судом, и наконец вот он, Конь Бледный, Последний Конь, которого предсказал ему Пилляр...



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

МАРИНА НОВИКОВА

\*

## МЕСЯЦЕСЛОВ

14.09.88.

*Женитьба Фигаро, или что послезавтра?* (Повтор фильма-спектакля Ленкома по ТВ.)

Ах, какие розы пламенеют на ширмах этого спектакля, тая меж лепестков стайки проказливых купидонов! Как барственна и мишурна позолота, доживающая последние исторические дни свои подобно графу Альмавиве! Какие куплеты поются в конце! Что там намеки, аллюзии, фигурки в кармане, этот массовый жест культуры в послеоттепельные времена. Уже и намеков не надо; уже сам воздух тесен от шепотков, смешков, слухов, притворно-ритуальных фраз — сам воздух оппозиционен и победителен. Скоро, уже скоро. Не знали, но чуяли, дышали этим предчувствием.

Шедевр двух финальных эпох: авторской и зрительской. Еще вальяжен застой, красив обрюзгой красотой Ширвиндта, красотой регалий и парадных костюмов, париков и поклонов. Многое он, всеильный, может, — не может он уже ничего. Мозги растряс, доносчиками обложился, хапает без разбору, без расчета. Только и уцелела что роскошная (ширвиндтовская!) жестикуляция.

Два премьеры — Ширвиндт и Миронов, Альмавива и Фигаро.

Фигаро здесь — долго дрессированный. Дерзок: на грани, но почтительнейше, как приближенный референт, кому и ставку-то отваливают за почти всю правду. Ненадежен: да где нынче взять надежных? Болтает: велик страх! Вон он, весь подпрыгивающий, подмигивающий, подергивающийся, сам себя уже с толку сбивающий конспирациями да инспирациями, подтекстами да заширмами.

Этот революции не сделает.

Он-то ее и сделает. Промахнулись, недооценили: и в XVIII веке, и в XX. Выпрямится, сведет с лица судорогу иронии, загремит.

А потом? Да-да, потом: после, через голову сдвига, катаклизма, переворота? Не завтра — послезавтра?

Ведь никуда судорога-то не улечит. Спина гнутая, разум ловкий, да чересчур уж к окольным путям привыкший. Все при нем и останется: до востребования.

Творения искусства (в отличие от хитов ремесленничества) многослойны. Пять лет прошло всего-навсего, а третий смысловой слой уже вырос. Закат реакции? Да. Завтрашний перелом? Да.

Но кто знает: что послезавтра?

14.09.89.

*Учредительное собрание.* Общество украинского языка и культуры «Промисвита».

Утро было холодное и ослепительно солнечное; по местным понятиям, скорее ноябрьское, чем октябрьское. Подходя к зданию музыкального училища, можно было издали заметить довольно большую толпу на входе. Преобладали мужчины, и скорее молодые. То там, то сям мелькали вышитые рубашки и сивые вислые усы. Звучала украинская речь, словно собрались иностранцы.



Знакомые прежде по городу при встрече пожимали руку долго, а то и обнимались. Во взглядах читалось: и вы тут! С магнитофонной пленки звучали приглушенно украинские песни. В холле закусывали и подписывались под обращением о газете специально на украинском языке. Дежурили ребята в голубых повязках. Лица у всех были мрачно-возбужденные и полные чувства радостной опасности. Возле дверей скитались двое молоденьких милиционеров, беззаботно улыбаясь; это делало их непохожими на остальных.

Прозвенел звонок; пошли в зал. Женщины, больше учительницы и больше сельские, выделялись чинным простодушием. Национальные общества приметны были смуглыми лицами, носами, глазами или скулами.

На сцене висел Шевченко в рушниках, понизу стояли флаги республики. Председатель начал говорить о языке, о перестройке, зачитал газету «Крымская правда» — письма против языка, посетовал, кончил стихами и предложил президиум. Украинский его был хорош, но в горле стояла судорога.

Пригласили на сцену власть, гостей-делегатов и своих главных. Дали слово для доклада на 20 минут, вышло на 45. Доклад был из прошлого — то ли десять, то ли двадцать лет назад мысленно сложенный, а ныне произнесенный. Был Шевченко и страдания, были калина и песни, были Тычина, знавший 20 языков, и Сосюра, первую книгу написавший по-русски. Была «Татарочка» Леси и Бабель с Шолом-Алейхемом, жившие на Украине. Зал напомнил о регламенте. Докладчик пошел за отсутствовавшим стаканом воды, но все же кончил.

Вторая звенела срывным отчаянным голосом и припомнила весь счет бед и унижений. Ректор на заявления по-украински отвечал: вы что, не можете написать человеческим языком? А сам из Сумской области; когда комиссия из Киева приезжала, сыпал пословицами и поговорками — показывал, как он знает язык... Театр украинский был настоящий, в начале 60-х секретарь Ставропольского крайкома Михаил Сергеевич приглашал на гастроли, а теперь — как с магазином «Украинской колбасы»: можем проснуться в один день и не увидеть ни театра, ни украинского, ни колбасы... В конце было воззвание и буря аплодисментов. Ясно было также, что ее взяли на заметку.

Представители национальных обществ ворочались в креслах и кипели: когда же им дадут слово? Дали. Сперва еврейскому. Вышел худенький, проворный, итээровского вида. Поздравил, вставляя к месту там и тут украинское слово. Сказал о народе с тысячелетней культурой, страдавшем, разбросанном, но сохранившем себя. Зал думал: про евреев, но оказалось: про украинцев. В конце объявил музыкальное приветствие. Несколько мужчин тем временем тихо, быстро и толково раскрыли рояль, внесли ударные, вышел еще один, со скрипкой, а напоследок — седой пожилой в шапочке и с вышитым ритуальным полотенцем на шее. Запел слабым, но приятным тенорком поздравительную, потом танго из Варшавского гетто. Потом еще один спел на идише про балалайку. Провеяло местечковым праздником: скудно, чисто и щемительно.

Следом пошли караим и крымчак. Караим просил восстановить Караимскую улицу и обращался к старшему украинскому брату. Из президиума ласково поправили: мы не хотим быть старшими, хотим быть равными. Караим начал обращаться к равному старшему брату. Был он крупный, грузный, волоокий, очень тюркский и очень предводитель.

Крымчак говорил, как их мало, еще меньше, чем караимов, и поднес цветной рукописный список Заповіту по-крымчакски, тут же его зачитав. Звучал Заповіт гортанно, совершенно по-тюркски, хотя сам крымчак напоминал еврея, ставшего армянским академиком. Нищий и детский подарок всех очень растрогал.

25.01.95.

*Возвращение домой.* Прямо у двери вагона — проводник (наш, крымский) скворешьей бодренькой скороговоркой:

— Ну как? Свет отключают? По три дня?..

В их районе — веерное отключение света. (Обыкновенно — с 18.00 по 21.00, когда возвращаются с работы и кипят самые домашние хлопоты: приготовить, вымыть, постирать...)

Привыкаем. Концлагерное ощущение: тепло, вода, свет — всё дают. Или не дают. Или не дадут завтра. Или могут не дать. Всё — милость свыше. (Не Бога — лагеря.) Всё — пайка. Детская сегодняшняя радость: дали! Подозрительно — о других районах города: почему им чаще?

Суточное мышление. Суточный ритм бытия. Дальше — тишина.

26.01.95.

*Наш Эрмитаж.*

Иду на рынок. Под ногами выбоины и колдобины. Чинили прорвавшиеся от ветхости трубы теплосети — недозасыпали, бросили. В подъезде вылетело от ветра стекло входной двери — бросили так, дырой. Стекла не достать, фанеры тоже. И — уже не беспокоит.

Есть три стадии нищеты. Первая — когда скрывают. Вторая — когда латают. Третья — когда носят дыры. Нищета привычки. Мы в ней.

На рынке не столько купля, сколько выставка. Эрмитаж. Ходят, смотрят много, глазастро, спрашивают требовательно, строго: симулируют покупку. А купят мало и похуже. Продавцы в молочном ряду, потерявши упование сбыть творог (1 кг — 1/10 максимальной пенсии), заывают: «Творог, вот творог, деткам нужно, укрепляет косточки, детки хорошо растут...» От них отстраняются ошпаренно. Психологи, бьют наверняка, а не рассчитали: себе не купить — унижительно, деткам — страшно.

Хитрость на хитрость. Вздорожало масло (1 кг — 1/10 профессорской зарплаты) — перешли на сметану. Базар тут же приметил — сметана подросла ценой по плечо маслу. Переметнулись на яйца — яйца подтянулись вполовину к мясу. Картошка — к яйцам. Лук (прощальный витамин) обогнал картошку. Бабушки ходят между рядами: собирают по штучке на суп. Уже не стыдливо — спокойно. Глаза отсутствуют.

Крымский татарин продал мне свеколки.

— Ну вот и спасибо, а я ваших детей учить буду.

Сразу подтянувшись, уважительно:

— А вы учительница?

— Нет, я в университете работаю. — (О профессорстве умалчиваю: не вяжется с дотошным выбором свеколок, да и с двумя потрепанными хозяйственными сумками.) — У нас на факультете есть крымско-татарское отделение.

Он весь — заглядыванье в лицо:

— Вы мою дочку не знаете? — (Не знаю — назвал фамилию.) — Она хорошо училась. — (Хорошо — как титул.) — Ну, чтоб Аллах дал вам здоровья!

28.01.95.

*Пальма и родник.*

В репринте «Православного энциклопедического словаря» (черный бисер буковок по сизоватому, полупрозрачному батисту бумаги) — о сегодняшнем святом, Павле Фивейском. Ушел один в Фиваиду, поселился под пальмой с родником, тем и питался. Точка. Вся жизнь, вся биография, весь подвиг в полтора строчках. За ними, вокруг них — молчаливый безразмерный горизонт слез, молитв, искусов, дум, отчаяний, надежд, огненного спокойствия прокалившегося духа. Об этом ни слова — и не надо. Восток в контраст к Западу? Извечная восточная мечта и цель: небо, пустыня, пальма, родник, Бог, Вселенная, Человек? Юноша, обдумывающий жите, решающий, делать жизнь с кого, столетия имел перед глазами этот десяток слов, эту картину, эту икону Павла Фивейского.

Как взывают, вторгаются, требуют (для «посторонних» — дают) эти полторы строки! Как мало рядом с ним было столь многое. Не только карьера, не только слава, но и «дело» — любое, если без пальмы и родника. Лев Толстой ушел из дому — эка невидаль! Он-то эти жития читал каждодневно, сзначально, пожизненно. Как и вся Россия. И весь ее максимализм (в том числе «революционаризм»), весь — прославленный и проклятый иными соседями и

мирами — импульс: вдруг все бросить — оторваться — раствориться в чистом призвании, подвиге, самоотмене, — не из этих ли крошек черствого черного хлеба житийного?

А ведь Павел Фивейский, по давности, — и «западный», общехристианский святой. Или забыли? Или отучились — читать ежедневно по полторы строки такого и класть на душу? Ау, «динамичная», «договорная», «личностная», «цивилизованная», «изобретательная» Европа. Как ты с этим справилась, куда подевала?..

Пальма и родник. Тем и питался.

24.03.95.

*Счастливая горка.* Вышла впервые после простуды на улицу. День такой синий, что зубы ломит. После нетопленных комнат спине и рукам тепло; солнце снег доедает. На склонах Салгирки ребятня спешит покататься на санках — уже не по снегу, а по лоснистой наледи с черными залысинами на припеке. Тут же маячат родители; тут же вдохновенно визжат и съезжают (вслед за малыши хозяевами) на хвостах собаки.

Один из отцов: «Кругом люди грызутся, а здесь одна счастливая горка на всю округу».

Оттого, что здесь сплошное настоящее. Никто (ни собаки, ни дети) не завяз ни в проклятом (вариант: счастливом) прошлом, ни в проклятом (счастливом) будущем. Всё — в синем кубике этого дня, часа, минуты, этого снега, солнца, ёкающего полета санок.

Наивысшее — наитруднейшее (для нас, «взрослых», «серьезных») состояние. В этом вот миге собрать всё и отдать себя всего. Не «лови мгновенье», отнюдь. «Лови» — потребление мгновений; здесь — самоотдача. В этой синей вечности и умереть легко. (Счастливые умирают легко, обратно тому, что обычно считается...)

А нас оборви — посреди нашего «делового времени» (или «ностальгического») — мы же взвоем: на что мы этот последний, царский, вечный час потратили! Почему не жили, пока он длился?

7.08.95.

*Марсианский взгляд.* Моя бывшая аспирантка, рассыпаясь беспечным, ярко-зелено-бисерным смехом: «А правда, что у вас были такие собрания — длинные-длинные, партийные, на которых все были сидеть обязаны?»

Остолбеваю. Прикидываю: сколько же ей лет? Двадцать шесть. И уже — вопрос, как на тот свет; взгляд — как с Марса. Неужели — уже все равно и все едино: согласия, несогласия, одобрямы и подхихики? Всё уже только марсианские хроники навыворот; сидят некие — длинно-длинно — что-то это означает — что, не понять, — инопланетный ритуал.

Отвечаю суховато (ага! никак тебе за партию обидно? — это я себе, слыша свой тон; да нет, за жертв отсидок, — я себе же, в ответ; а ей, девочке, что те, что эти, — я себе же, в ответ ответу): «Сидели. Это было бы очень смешно, если бы на таких сидениях не ломались судьбы».

А во рту послевкусие — ехидно-сомнительное. Так-таки ломались? Судьбы? У вас (не у поколения отцов — там и спору нет)? Что ж это за судьбы, позвольте полюбопытствовать, ежели их можно было сломать на собраниях 70 — 80-х? Часом, не карьерку ли с судьбой ты путаешь?

10.10.95.

*Двойное время.* Начала лекции по русскому фольклору. Кусочками, в начале каждой, — месяцеслов. На неделю вперед. Наподобие микропроповедей. (Охо-хонюшки! Не имея полномочий...)

Пытаюсь объяснить моим гаврикам двойное время предков. По горизонтали: циклическое, природное, вечность как смена дня-ночи, весны-лета-осени-зимы, из года в год — в сотнях запахов, в ошупи земли (звенит, дышит, парит,

лежит грудками — ледяными комками, и т. д. и т. п.), в птичьих повадках, в причудах ветров, в четках трудов, примет, аграрных праздников.

И по вертикали: четы-миней, имена (за именинами — небесный опекун, но и земной человек, живший доподлинно, с биографией доподлинной), двенадцатые праздники (тоже ведь — биография, тоже — что забываем — когда-то год, месяц, день реальности, город, селенье, гора, река, храм физически-документальные здесь, на Земле). И одновременно — вектор в вечность. Космическая притча. (Собственно, вектор из вечности, до-истории, — в вечность, после-историю.)

Так и жили: в точке пересечения двух вечных времен. Встаешь с утра — тут тебе восход (примета на день и на 2 — 3 дня вперед), тут ветер (восточник, у нас — из половецких степей, из Новороссийска, «брежнёвка», — к роспогоди, сухому холоду; западник — вологий, сумасброд, тучегон — к теплу и дождю). Тут все приметы поры года, все присловья и хозяйские советы.

А по вертикали — батюшки! III какой-то век на дворе. (Сегодня.) А не то и тысячелетие до нашей эры. Фараон, вождь, император — пророк, проповедник, мученик. И глядит тебе в глаза с костра или с креста: как Остап в «Тарасе Бульбе». Чуешь ли, сынок?

А нам: зубы чистить, утренние передачи, в троллейбус вскочить. Некогда, мол. (До вечности нам всегда некогда.)

А предкам было когда. Они-то с утра, потихоньку: «Чую! Помочь не могу, сам не дорос, так — не могу. Но — чую. Имя твое ношу — судьбу твою ношу. Ты со мной — я с тобой. Хоть капельку...»

А мы (патетически): возродить чувство истории! Будет вечность, так будет и история.

15.10.95.

*Компостер.* Исчезли в троллейбусах веселые звуки-шелкунчики: никто (почти никто) не платит за проезд. (Первое впечатление после Крыма в Москве: как часто слышится в транспорте это, когда-то такое привычное, ореховое: шелк-шелк-шелк.) Раньше было стыдно — теперь не стыдно. Деньги экономят, даже на малости. (Бедность — это постепенная потеря стыда.) Скоро мне будет стыдно за свой талон.

Но каков народный талант. Стали водители проверять талоны на конечной остановке — народ начал выходить на предпоследней. Я-то дивлюсь: что за невидаль? Конечная № 4, № 3 — рынок, а народишко валом, валом, со впалыми рюкзаками и сумками, с каталками (инфляция — надо брать, пока по карману), — все к выходу на предпоследней остановке... Поняла — восхитилась.

И опечалилась. Вот как (вот откуда) самое страшное и начинается. Если все, то не стыдно. На меня, компостирующую талон, полтроллейбуса смотрят уже угрюмо: я их унижаю. Если я «хорошая», они «плохие». Если я пробиваю, тогда они — не «все», тогда им стыдно.

А если все (предположим: война, землетрясение, лагерь...) могут грабить? Отнимать не золото — хлеб? А если все будут стоять перед выбором: подлость или смерть?

Если все, то ничего не стыдно? Господи!..

8.11.95.

*Журавли летят.* Высокое (глазами не достать) и низкое (по грудному, глубинному звуку) рыдание над городом. Украинские журавли; русские вот так же отрыдали недели три назад — они севернее, улетают раньше.

Что-то новое, фронтовое в их рыде. Жди меня, и я вернусь... К кому-то они вернуться? К нам — каким? К нам — куда (через полгода): в какие «автономии», «государства», «режимы», «системы»?

Прежде мы их жалели: сколько из них не долетят!.. Теперь они нас: сколько из нас не доживут — или выживут совсем иными.



10.11.95.

*И ничего...*

Нежданно («на октябрьские») ударила зима. Еще крымская (самая коварная): днем запустило, обвело деревья белым, принарядило бедную, замусоренную, пожухлую землю — праздник. А к вечеру не до праздника: мороз. По расчавканному снегу гололед. (Дворников днем, понятно, нет: дай Бог к утру, при окладе-то в 20 батонов хлеба. Про машины снегоуборочные забыто: бензин бриллиантовый.)

А тут и сумерки, а тут и фонари, как солдаты после атаки: жив каждый третий, да и тот едва-едва. Иду после работы (приработков) — гололед лунный: кратеры, впадины — фантасмагорическая подсветка снизу наискось, вспышками от пролетающих фар. Прохожие во мгле, словно призраки, а ступают, как в скафандрах: всей подошвой, пробуя впереди себя по-слепому.

Элементарная, нормальная ходьба, оказывается, — тоже «права человека». Ее тоже можно запросто человека лишит. И ничего: притерпелись (ко всему?).

Подумала, «и ничего» — усмехнулась. Мои друзья вспоминали: партсобрание в ИМЛИ по делу Синявского и Даниэля, верней, по письму в их защиту, подписанному несколькими храбрыми (больше — молодыми) имлийцами. Как заведено: критикуют и увещевают. Молодые кипятятся: по закону-де через полгода положено или предъявлять обвинение, или отпускать на свободу, а эти уже 9 месяцев сидят под следствием... В президиуме, среди иных, Сучков и Фрадкин (Сучков, директор, председательствует.) Слушает, слушает Сучков, наливаясь багровостью — не утерпевает. Встает, простирает руку к Фрадкину и патетично:

— Нет, ты слышишь, Илья? Девять месяцев, видишь ли, они сидят! А мы с тобой после войны, помнишь, полтора года до лагеря без суда сидели — и ничего!..

Как перекликнулось — через десятилетия.

12.11.95.

*Двойная эмиграция. (Из черновика письма Е. Г. Эткинду.)*

...В Москве мне вручили при отъезде, на вокзале, пачку свежих газет, коих у нас нет (или ведем их малоуспешный отлов). Например, «ЛГ». А в ней оказалась («случай, мощное, мгновенное орудие Провидения» — Пушкин) Ваша статья-ответ на «Сегодня»...<sup>1</sup> И вычитала я из нее не публичное (оно предлог, а не причина; даже так: причина, но не исток), а личное (оно всегда не «мелче», а крупней и ближе к глубине событий).

Если переводить с подтекста на текст, Вам (вам) хотели сказать: не суйтесь в русскую культуру (историю) — ни с вашими биографиями, ни с вашими концепциями. Это наше, и этого мы вам не отдадим.

Пока все это пареная репа — конкуренция. Но вот Ваш тон... что-то защемило во мне, и не о Вас только... а и обо всех Ваших поименованных и непоименованных соратниках-соизгнанниках.

Что-то переменилось в Вашем тоне. Тут не обида (хотя и обида). Растерянность? Недоумение? Воздух ведь не высечешь, а Вы бьете воздух — и смутно это ощущаете. Новый воздух «новой России»...

Вы (вы) такие блестящие, такие европейские и потому запретные еще так недавно, всего лет 10 — 15 назад, вы, которых изгоняли не столько за политику, сколько за то, чтобы «не были такими умными» и не портили пейзаж, — вы на каком-то неуловимом повороте стали — старомодными. Недомодернистичными. Вы уезжали, потому что говорили на человеческом языке, а вокруг официоз — на носорожьем; теперь Вы (вы) говорите на том же, а «тут» всё больше — на птичьем. На жаргоне «постмодернизма», да так, что и Гарвард перегарвардят.

<sup>1</sup> Эткинд Ефим. История русской литературы — не национальная монополия. — «Литературная газета», 1995, 18 октября. (Статья Л. Кациса и К. Поливанова «Made in где-то. И когда-то» об издании «Истории русской литературы», подготовленном западными славистами, была напечатана в газете «Сегодня», 1995, 24 июля.). — *Ред.*

Вас обогнали слева. (Если не считать, что слева сердце.)

А ведь западные университеты — штука жестокая. (Знаю: стажеры наезжают.) Чело­векоптицы из «новых русских» летят, перелетные, все туда — на Запад. Заполняют ниши, вьют гнезда, кладут яйца. Предпочитают не простые — золотые. (По уровню финансовых и интеллектуальных притязаний.) Университеты присматриваются — товар бойкий. А издавать параллельные истории литературы (как и параллельные переводы) — это все же роскошь, к которой тяготеет скорее нищая и загадочная «русская душа». Но не богатая и прагматичная душа «атлантическая». Да и русистика падает в цене: империи предпочитают изучать империи (пускай — зла), а не руины.

И опять: тут не в конкуренции соль (хотя и конкуренция нежданна). Тут другое — глубокое, пронзительное. Помните, я писала Вам, что из Солженицына мессии «здесь» не получится? (Задолго до того, как это провозгласили «новые здешние», — отмечаю не с гордостью, а с горечью: мессии, по мне, предпочтительней ньюсмейкеров.) Не получилось и с вами. Не токмо что с пророками, но и с нормальными учителями российской литературы. (Лукавство! — никогда ее учителя не были просто учителями, это я понимаю, и Вы (вы) понимаете, а чело­векоптицы тоже понимают, но делают вид, что понимать не хотят.)

И что же в итоге? А в итоге — вторая (двойная) эмиграция, второе изгнание (или его попытка): и «отсюда», и «оттуда». Какие уж тут туры и колеса, это уж воистину Рим, который требует полной гибели. И всерьез.

А у меня — опять — странная функция: жалеть. (Доля ты русская, доля ты женская!..) Людей — а не деятелей и не культурологов (даже). И не жалеть (даже), а испытывать синхронную боль. И не равную (даже, — хотя у боли нет конкуренции), а бóльшую. Ибо Вы (вы) не разрешите себе так безжалостно-отчетливо выговаривать ситуацию...

(Не послала: рука дрогнула.)

12.11.95 (съемки) — 21.11.95 (передача).

*Красные и белые.*

В Ливадии большая конференция к 75-летию окончания гражданской войны. Сегодня по Крым-ТВ передачи.

Главные «белые» гости (предполагавшиеся) отсутствуют. Главные «красные» потаяли также. Причины разные. Про «белых» яснее всех в интервью сказал князь Васильчиков:

— Есть многие, кто никогда не приедет в эту Россию. — (Крым тоже для них для всех — безусловная Россия.) — Это значило бы «поддержать красную идею».

— А Вы?

— Я так не считаю. Мы вернулись в свою Россию, не «красную» и не «белую». Вообще-то победила наша идея России. — (Гм... — это я в телевизор.) — Но мы приехали не потому, а потому, что Россия — одна на всех. — (Не дословно, но по смыслу ручаюсь.)

Два резких впечатления от интервью с «белыми» гостями. Этот вот лейтмотив: Россия одна, Родина одна; если был раскол, виноваты были обе стороны; сейчас надо — все переступить («простить» — говорят только самые «широкомыслящие», немногие); но о будущем этой единой не обронил ни слова никто. Знаменательно. Тут пришлось бы кое-что выяснять и уточнять; от единства мало чего могло бы и остаться.

И второе впечатление: русская культура (а на ней все сошлись, все оттенки и все флаги) для «белых» начинается и венчается верой. Графиня в летах: «Мы всюду старались сберечь Россию. Ведь русская эмиграция по всему миру построила православные храмы, а при храме школа, и в школе наши дети изучали русский язык, русскую историю». (Я, мысленно сравнивая: так и украинская диаспора себя столетие сберегала, и — веками — армянская, и — веками — еврейская.) Князь Васильчиков: «О прощении («красных») я и не думал, когда ехал в Россию: судить и прощать будет Бог — Он знает, кому и за что простить, а кому нет».

Зрительно же — самое острое и мгновенное чувство: совсем другие лица. Другая порода. Другая манера не речи — жизнеощущения и жизнеповедения. Ожившая классика: дворянская культура. (Никакое «прогрессивное» различие, никакая «либеральная», и тем паче «диссидентская», и — даже толковать нечего — нынешняя «экономическая» эмиграция ничего общего не имеют с этой породой, этой культурой — хотя бы на уровне самих жестов, коих почти нет; пластики — посадочно-прямой, собранно-свободной; интонаций — приветливо-чистосердечно-недоступных.) Демократизм аристократов. Каким недемократичным, агрессивно-неуверенным, плебейским выглядит рядом с ними демократизм и самых шумных из «демократов».

Приехали военно-исторические клубы, привезли и надели костюмы и «белых» и «красных». Костюмы-то надели, а начинку, нутро не наденешь. На Перекопе перед конференцией нашли «случайно» могилу четырех белых, с крестом. (Ох, не случайно! Знакома мне наша шестидесятипятилетняя выучка — к любым приездам и мероприятиям подбирать и срочно приводить в божеский вид подходящие «объекты».) Военклубовцы в форме «белых» возлагают на могилу венки. Венки, конечно, нашенского унифицированно-кладбищенского типа; возлагают — как бы — «по-ихнему»: опустившись на колени, с фуражками на согнутом локте. А перекреститься (до и после) никто из ребят не догадался. Оно и лучше: этого только не хватало «изображать».

«Красные» военклубовцы не в пример скованней. «Белый офицер» (в Ливадии):

— Я учитель истории.

— Эта форма для вас игра?

— Не совсем. Надеваешь — и начинаешь словно испытывать то, что испытывали в ней наши предки.

— Что бы вы хотели взять и передать от них сегодняшним офицерам?

— Культуру. Прежде всего.

«Красный матрос» (там же; с пулеметными лентами крест-накрест, молоденький, круглолиценький, черноусенький, — куда больше похожий на свою роль, чем «белые») озирается по сторонам и запинается: «Мы просто хотели показать форму тех лет». («Мы» — просто, а «те» — не просто?) Что бы вы хотели передать — его никто и не спрашивает.

То-то же не приехали главные «красные» гости.

А я, «смущением томимая» (Пушкин), думаю: единая... переступить... культура... Да верните прежним сегодня право собственности (как в Балтии, как в Чехии и т. п.), так старшее поколение, может (ради единой да ради культуры), еще и откажется от земли на пол-России (с Крымом включительно). А младшие, нестреляные, небитые наследники, тамошние уже, — э-э, шалишь! Всё позабирают под метлу, — а здешние, знамо дело, не отдадут — и не будет никаких примирений, никаких даже гражданских исков, а будет новый Перекоп.

Креститься-то они, давнишние, крестились, храмы строили, а вот насчет того, чтобы просящему рубашку — отдавать и верхнюю одежду, — с этим у них и в России было туго. На том и проиграли — не на социологии. Социология — уже отсюда вытекающая.

21.11.95.

*Кто как Бог.*

Сегодня — день Архангела Михаила. Поздравляю студентов-первачков: Михайлов, Михайловичей, Михайловых, Михайленко, Михальчуков и Микоэлянов... Рассказываю из народного календаря про Михаила-полумостка (полуростепель-полумороз, дороги подмерзли еще вполсилы). А не то — Михайловские грязи: дивное слово, начисто забытый синоним к оттепели.

Проповедую (прости, Господи!) о Михаиле. Мои знают одно: что он — «главнокомандующий» небесных сил. А Михаил ведь значит «кто, как Бог?».

Нам кажется: мы злые, все злые, все враждуют и грызутся, потому что жизнь такая — злая, осадная. А вот же — сюжет «ангельского бунта». (Поразительно: как притча тому человеку, пастуху в шатре, на том языке, без «философов» и «метафизиков», — сумела поведать то, что трудно даже перевести на наш высокоумный, цивилизованный язык.)

Чего им там-то не хватало? Бессмертные. Бесплотные. Сверхмогущественные. Всевидящие. Как поется, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Бог (второй раз прости, Господи!) под боком. Не любить — просто некого еще. И — восстали.

«И чего же им было надо?» — заячий писк из задних рядов... А — равенства. Эгалитэ, видите ли, раззуделось. Демократия примерещилась. Чтобы все равны были: все боги.

Ежели сесть, да вдуматься, да взглядеться себе в душу, так это про каждого из нас. Почему он такой сильный, а не я? (Он — любой другой!) Почему красивей? Почему умней? Почему талантливей? (Уровнем ниже: почему богаче? Почему он начальник, а не я?) В дальнем — на 99 процентов несознаваемом — подтексте это расшифровывается именно так: почему я тоже не Бог?

И вот встает один, еще безымянный (такой, как все, как другие архангелы: у всех одна и та же свобода выбора, впервые — мирозданием реализуемого). Встает и говорит простейшую — величайшую — вещь. Не аргументы. Не угрозы. Не перлы красноречия. Только одно, один вопрос: «Кто, как Бог?» То есть кто может (а не хочет; а не дерзает; а не пытается) быть таким, как Бог? Вас же создавший, между прочим, и вам (едва удерживаюсь, чтобы не сказать: «паршивцам этаким») даровавший полную свободу. Вплоть до свободы взбунтоваться. (Потому что иначе были бы вы не ангелы, а небесные автоматы со включенной программой.)

Так возникает это имя: Михаил. (Невозможно и представить, когда: до «времени», до самого «космоса».) И остается всеобщим уроком выбора до конца всех времен и всего белого света. И все Михаилы несут отблеск того — первого.

22.11.95.

*Цена человек* Отправляю письмо в Севастополь, товарищу юности. Морской инженер, всю жизнь на Дальнем Востоке, на рыболовецких судах, после двадцати с лишком лет вернулся домой, квартиры нет (отобрали родичи хитростью), одинокий, комната в коммуналке, поступил на завод — на заводе (как везде в Севастополе) сокращения, устроился на фирму («строительную»; если попросту — кирпич делают) — фирма прихлопнулась. Теперь безработный. Не пишет. Соображаю: молчит из остатков гордости. Вторично досображаю: нет денег лишних на конверт. Соображаю в третий раз: как послать конверт от себя, чтобы не обидеть? Пишу: вложила конверт, а то ты небось забеган, сто лет купить конверт не соберешься... Хорошо бы, чтобы поверил.

В прошлом письме от него: соседка, молодая (28 лет), предлагает фиктивный брак за 3 миллиона карбованцев (15 \$). Она продает свою комнату, а прописку хочет сохранить. Он ей: «А если я захочу жениться по-настоящему?..» Она ему: «Подумаешь! Через полгода подадим на развод...» Он ей: «А что подумает женщина, которую я сейчас люблю?..» Она ему: «Ой-ой! Если любит — поймет и простит, а тебе деньги нужны».

Читаю все это — и не выдерживаю: превращаюсь в гейзер. Пишу срочно: во-первых, за жильем сейчас охотится мафия, а после брака она, твоя соседка, получит права на твою площадь — ну как продаст тебя вместе с нею?.. А во-вторых, 3 миллиона — цена тухлой курицы, а не цветущего мужчины...

Всё так. Но — безработный... Но — шансов негусто... Но — позвончик (душевный) переломан... Может и капитулировать.

А у меня в голове — цифра. Три миллиона. Пятнадцать долларов. Рынок всегда знает, сколько можно предложить. Хотя бы и за человека. Значит, столько — уже можно.

29.11.95.

*Посмертный Рокоссовский.* Фото в местной газете: на пункте приема вторсырья, между стопками старых журналов и книг (газет нет — выписывают мало, номера после читки идут в хозяйство: на стельки, на горчичники), — бронзовый бюст. Что-то очень знакомое: тяжелый, красивый, внушительный. Оказывается: Рокоссовский. Газета вопрошает: может, завтра Пушкина понесут?



Пушкина не понесут. Потому что не примут (пока?). Крышки от люков канализационных снимать исподтишка начали. За них (из чугуна) тоже дорого дают. (Конечно, не на легальных пунктах.) Что в люк провалятся — это же другие, не они.

Вспоминаю: есть ли у нас свой, «семейный» (не официальный), Рокоссовский? Есть, и даже два. Один — «мемуар» московский, из маминых уст. Как киноактриса Серова гонялась за ним в сороковые: за красавцем, знаменитостью. Он в машину — она следом. Он ей: «Или вы выйдете, или я...» Вышла.

Второй мемуар — полумосковский-полукрымский. Наш актер (амплуа героя-любовника) снялся в 70-е, к юбилею Победы, в фильме «Освобождение», потом в телесериале — в роли Рокоссовского. Встретился — даже помаршалел как-то, говорит со скромным ликованием: «Меня ЦК утвердил, теперь я пожизненный Рокоссовский».

Актер цел доселе, переехал в Москву, в конце «перестройки» пробовал открыть ресторан с варьете, нынче состоит в каком-то из «творческих фондов». Рокоссовский посмертный, так сказать.

Получается два посмертных Рокоссовских.

29.11.95.

*Кто кому хозяин?* Лекция по фольклору. И — со вчерашнего дня — Рождественский пост (он же Филиппов, по дню ап. Филиппа).

Поздравляю Филиппов, Филипповичей, Филипповых, Пилипов, Пилипенко и Пилипчуков. С постом свои трудности: передо мной и евангелисты, и крымские татары, и иудеи...

Говорят: пост «изобрела» Церковь. Раньше добавляли: чтобы лишить человека земных радостей. А нынче, когда продукты малодоступней, а верха и масс-медиа осенила квадратно-гнездовая набожность, добавляют: изобрела, и это очень полезно. Но пост-то практиковали тысячелетиями. И не одни лишь аскеты-мудрецы. Постились (воздерживаясь и от эротики) индейцы перед походами. Постились чукчи и тибетцы. Постились вожди перед избранием на царство и шаманы перед посвящением. Древние следовали правилу зверя: голод лечит, очищает, бодрит, собирает внутренние силы.

Мировые религии совершили «только» одно: перевели обычай поста в новый символический язык. Пост стал обучением «иерархии предметов»: кто кого главнее? Кто кому хозяин? Кто правит человеком?

А. Адамович (успеваю несколько слов о нем), «Каратели»: перед нашими военнопленными, изголодавшимися, за проволокой, — ставили стол с колбасой. И те, кого не могли сломать доводы, посулы, угрозы, шли в каратели на запах колбасы... В таких случаях извиняюще вздыхают: что же, тело своего требует.

Требует. Но пост (тысячелетиями) учил: есть черта, за которой тело не смеет диктовать. Иначе не будет и человека, останется мыслящая тварь. Которая потом проклянет себя за тот запах, тот кусок, тот шаг. (Или жутче: оправдывает себя — и озлобится на всех, запахом не купленных.)

Даст Бог (говорю) вам так не стоять за проволокой. Но искус колбасы всегда есть. (Хоть метафорической колбасы.)

Помните о ваших предках и об их посте.

30.11.95.

*Теленародники.* Поближе к выборам «народная идея» подскакивает в цене. Появляется народ, в остальное время именуемый населением.

Вот и на ОРТ, после программы «Время», — убойный клип. Две немолодые бабы-ремонтницы, с пудовыми кирками, орудут на железнодорожном полотне. Одна обзывает другую дурой (да в придачу и покойного ее мужа, и шурина, и козу — сие должно быть особенно смешно и особенно понравиться народу). От такой работы да от таких проклятий («Ненавижу тебя! Так бы своими руками и убила!») старшая внезапно валится наземь. Которая помоложе (Мордюкова) пугается, мирится, потом обе сидят на рельсах и плачут, потом младшая с места в карьер запекает песню про казака, улыбаясь и разводя ши-

роко руками. Сие должно означать, во-первых, русскую отходчивость и добрую душу, а во-вторых, что-то на манер некрасовского: «Вынесет все — и широкую, ясную грудь проложит дорогу себе».

Вынесет. И проложит. И позаботится о том Господь Бог, а не ОРТ. А за ОРТ и его «народность» — стыдно. Жгуче, нестерпимо.

Сколько других: украинцев, казахов, белорусов, грузин и т. д. — тоже смотрят 1-й канал? А сколько русских, еще не люмпенов и не быдла? Как ими-то читается этот клип? А так. Вот-де народ, духовно одичалый настолько, что и женщин, матерей своих, угробливает лошадиным трудом. Даже старших и мертвых обзывает дураками. Даже со своими знает одно слово: ненавижу! Народ-нелюдь, народ-выродок.

Окончательно умиляет титр под занавес: «Дай вам Бог здоровья». Как варивали наши предки: ну, спасибочки. Заодно и Бог на политрекламу пошел.

Актрисы сыграли этот «демклип» великолепно — вряд ли и поняли, что их (как и баб тех) попросту отэксплуатировали. Кончатся выборы — и засунут преспокойно куда подальше и Бога, и народ, и Россию.

Не могу с собой совладать. Что-то библейское ворочается во мне, что-то от пророка Иеремии. И Лермонтов не сходит с мысли (какой там мысли! звучит): «Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата, есть грозный Судия — Он ждет...»

Кто бы мог подумать, что так воскреснет наше школьное, программное, старинное стихотворение.

7.12.95.

*Мужчины.* Сегодня получила зарплату за сентябрь (без индексации). 14 000 000 — или, проще, 80 \$. Прихожу домой, смеюсь — маме: «Ну, благодарю Бога, что это у тебя дочь, а не у меня муж. Ежели бы мне муж принес за четыре месяца 80 долларов, я бы взяла швабру — и за порог его, за порог!»

Мужчинам повсюду действительно тяжелее: какой же ты глава семьи? Кормилец? Отец? Опора и надежда? Часть мужей мечется, бегают: резкие скулы, волчий блеск в глазах — выкручусь! Найду что-то любой ценой!.. Часть похуже: впадает в хихикающее, сломленное отсутствие стыда (комплекс кастрата).

10.12.95.

*Кино нашего быта.* Оказывается, в полублокадном положении — бездна юмора. Особенно если смотреть на самого себя глазами кино.

Вот вырубил (Бог весть на сколько) вечером свет. Никакой паники. Во-первых, учимся прорицать и провидеть: когда отключат. (График вроде есть, но действует по мистическим законам: то с опережением, то с опозданием, то с удлинением.) От этого зависит скорость: ужина, мойки посуды, стирки, чтения книг, писания статей, хлопот по дому. Принцип ускоренного кино: всё вихрем. (Дети только в ритм не включаются.)

Дальше — кино немое. Свет гаснет. (Варианты: белье в растворе, суп должен закипеть, словарь нужный найден, а слово еще нет.) Этап летучей мыши. Без ахов и стонов, интеллигентно, во тьме крошечной (вырублен не дом, а квартал или район) — к свече. (Вариант: к фонарю.) Свечи в старых баночках из-под майонеза: чтобы сберечь псевдостеарин. (Потом вставим новый фитиль из веревочки.) Фонарь взывает: на ошупь включается сирена. (Он туристический, импортный, наших нет в продаже. Свечи дороже: тают вмиг.) Помнить наизусть: углы шкафов, стекла, кресла — иначе разобьешь или разобьешься.

Следующий этап: танец с огнем. Свеча слабая, фонарь тусклый (цвета утопленника). Несем бережно туда, где центр жизни. (Типа: костер в пещере палеолита.) Чаще всего на кухню. Включаем все конфорки. Получаем смесь адского пламени газовой и синюшного света фонаря. (Или романтического — письмо Татьяны — трепетанья свечи.) Теперь свечу (фонарь) уносим: два света на кухне — жирно будет.

Никогда никто не видывал, как сказочно выглядит ванная (стирка!) при свече. На кафеле рукоплещут светотени. Потолок подмигивает. (Правда, чисто ли выстирано, различимо не весьма.)

Этап сплочения. Круг света — фонарь ли, свеча ли — мал. Все сходится к нему. Комната уменьшается, круглится: клубок мохнатой темноты, а в середине — свет и мы. Тянет смотреть в глаза, говорить вполшепот, и всё о вечном. Увы! — надо втиснуться в приламповое (присвеченсе) пространство и что-то изловчиться сделать. Бренное, но прагматически нужное.

Подойдешь к окну — дом напротив: сизые окна — фонари, желто-махонькие — свечи. Много черных. Там неправильные люди. Легли с горя спать, а встанут в полночь или до свету: когда включают электричество. А сами схлопочут от ночного образа жизни непроходящую мигрень.

12.12.95.

*Акция отчаяния.*

Первая забастовка. С сегодняшнего дня наша кафедра объявила забастовку. По сути, первую. 5.12 было нечто общегородское: горстка профактива на митинге под Лениным, остальные или сидели дома (у кого не было занятий), или занимались (единодушный мотив: студентов жалко). После «зарплаты» пополз не гнев, а ватный ужас (не страх даже): что, если так же будет дальше?

Ватный ужас — от него и воздух забастовки. Подписались под решением все. Не верит в результаты почти никто. (Глас народный: ничего это не дает, но что-то же делать надо.) Доценты, как первые революционеры, возбужденно перезваниваются: «Ну, как там у нас?»

Изумительный ответ профкома университета на оповещение о забастовке: они не возражают. (На все возможные исходы события.)

Предупредили: зарплату за эти дни вычтут. Общий хохот: какую? когда? и чего она тогда будет стоить, при инфляции-то?

У меня — для себя — вопросов только два. Сколько продержимся? И (главный) как отреагируют студенты? (Третий, скверноватый, прячу: кто из наших сломается и выйдет из игры?)

15.12.95.

*Еще ничего нет.* Прошли единственные ТВ-дебаты перед выборами в Госдуму: Гайдар — Иванов (компартия). Выпишу только зрительные впечатления и резюме. (Остальное изобразят газеты.)

Зрительно: не победил никто. Гайдар — пикник, очень милый сердцу всякого народа типаж (мистер Пиквик, Евгений Леонов, Кола Брюньон, Ламме из Тиля Уленшпигеля — далее везде). Но пикник не может быть человеком власти. (И вообще — слишком «умным».) Пикник — обаяние, хитреца, толстячок-круглячок, простодушие, свойскость, милота. «На грядке Господнего сада махровая розочка вы» (П. Антокольский, Вийон). Розочка из Гайдара? А «спокойная сила» (имидж Миттерана) — не для его типа. И не для русских: тут спокойная сила — это Илья Муромец.

Иванов — мал по душевному формату. Роковая оговорка: я — местечковый адвокат. (Хстел сказать: не столичный. Сказал в точку.) Если это — красноречие партии, то увы. Если это — голос России, то ее голос может быть застенчиво-спотыклив, зычен, вдумчив, тих, могуч... Не может быть — профессиональным очень средней руки.

Дыра на месте Зюганова точно равна дыре на месте Ельцина (прошлые выборы в президенты России, теледебаты). Не в дебатах была сила — и тогда, и сейчас.

Общее ощущение от «Взгляда»: уже поздно, мелко и не нужно. Ото «всего» же (речи Ельцина, экранного воздуха последних недель и т.п.) ощущение — опять дрогнула почва. Тектоника. (Кошки именно в такую пору, когда «ничего еще нет», начинают убегать на улицу.) Слышу сверху, слышу снизу, не из политпрослойки. Даже не гул — предгулье. Магнитное возмущение.

Поползла Россия.

Ельцин (думаю) не коммунистов опасается. Что-то уральское, (еще) сибирское, таежное, медвежье, не пропитое и не пропетлянное, заворочалось внутри. Учужал — это пред-сползание, пред-воздух, эти невидимые подземно-надземные волны. Учужал, что сносит — как когда-то непостижимо возносило.

В такую пору раньше вставали под образа — от царя до псаря. Предки чу- яли (как говорят мои студенты): опять судьбоносица по России замела. Вот этого-то будущего (истинного — не «политического»), этого «еще нет — уже есть» не ощущает, кажется, никто из «политиков».

16.12.95.

*Повестка.* Ночью — впервые — сильно скрутило сердце. Проснулась: тупая боль всей левой половины, отдает в плечо, не снимает никакое дежурное лекарство. Пришлось массировать. Ночь кувырком. Целый день то же. Износ вылез наружу.

Впервые — реально — перспектива последнего отчета. И репортажа отнюдь не про успехи. Повестка пришла.

Смешная мысль: земля холодная, раскисшая — хорошо ложиться в нее весной. Или летом.

Впервые: нельзя обгонять маму. Каково-то ей будет? (Значит, нет еще полного доверия к Нему. Прискорбно.)

О «делах» и «творчестве» — на удивление спокойно. Митр. Антоний: жив ли ты, умер ли — это должно быть для тебя совершенно все равно. Важно: для чего ты жил и умер.

20.12.95.

По ТВ — интервью с каким-то мэтром западной науки. Вспоминаются мои диалоги для «ЛГ» с украинским эмигрантом, академиком из Гарварда Омеляном Прицаком. Перелистаю свои старые записи о нем.

Дедушка Мазай от атлантического менталитета. Пан Врубеля. Легкая сикось-накось в польском вырезе глаз: холодноватых, серо-голубых, балтийских — по цвету, незабудочно-любопытствующе-детских, славянских — по выражению. Нос бульбочкой, губы резным стеклом. Абрис лица крестьянский, залысина Николы-угодника. Плотненькая, колобковая (не квашная!) фигура с легкой, мэтристой сутульцей, а пластика экономная, компакт-пластика. Свобода есть — воли нет: по-западному.

Из-под свободной (но не расхлябанной) домашней куртки — белая майка-телогрейка. Телогрейка по-нашенски; белейшая (кусочек снега из-за пазухи) — «по-ихнему».

Стол классического, допотопного (докатаклизменного) академика. От кожи на поверхности — чтоб под рукой не скользило. До секций для «классификации» книг-бумаг по переднему — перед глазами — краю. Классификационный стол — удобно, но всё в рамках и в узде.

Книжные шкафы — ВДНХ западного ученого. Свои труды — отдельно и на видном месте. Оттиски юбилейных, юбилярных, биокомплиментарных, посвячительных, «гонорейных» изданий всегда тут же под рукой. Ненавязчиво, сами собой выплывают, дарятся, надписываются, демонстрируются. А вместе с тем — полки *semper Legenda*: книг — окошек в биографии, книг — участников биографии. Предпочтительно — «тех же»: легендарно-дымчатых, далеких изданий. (Недоступная роскошь для «наших».)

Кресла с лѣжниками наперекрест: утопительные. Диванчик с лѣжником: обволакивающий. Полное безразличье к тому, что висит и стоит декором, — тут явна чужая, официальная рука. Это делали для него — не он сам.

На кухне — как у Снежной королевы. Бело, чисто, пышно, пусто. (Сага о вытяжке.)

Пришла вторая гостья («пані з Петербургу» — молодая чего-то-исследовательница). Ее — в другую комнату, с милой (но жесткой) просьбой подождать. Гости врозь. («Наши» — свели бы, познакомили.) Гости классифицированы и размещены на полочках.

Фотография с Папой Римским. Интим-фото (что на Западе особенно ценится: личный, не в официальную меру — контакт). Оба очень похожи: достигнуты в «мирском», неофициальном движении друг к другу; улыбчивы с хитрецей (два кума из одного села); смущенно — славяне. Прорвалось сквозь Ватикан и Гарвард. Оба полезны друг другу (от спасения души до совместных культурпроектов; это — по-западному). И оба нужны друг другу: два уехавших из климата «очень жарко — очень, смертельно студёно» в климат «ни жарко



ни холодно». В климат душевных (и духовных) кондиционеров... И оба — в наплыве самоощущения «оттуда» (отсюда), мигом возникшего при встрече. (Так опознают своих, реагируют на своих только дети, собаки и инородцы.)

Смущенные, исподлобья, по-крестьянски неуклюже-любовно-кумовские полуулыбки, полудвижения навстречу у обоих — тайный знак тайного родства. Масонство Восточной Европы — в Европе Западной.

Наш диалог. Включается, как уют в миниатюре Ярмольника: вопрос — включение — немедленный нагрев — немедленно врубаемый ответ. Ответ по готовому.

Все неготовое (М. Бахтин), все не-угаданное-заранее, не-повторенное-уже дважды, трижды, многожды — сразу переводится. Переключается в приготовленный (обдуманый, уже-ответенный) регистр. Неотвечаемых вопросов нет вообще. (Безответные вопросы — не вопросы, а муха в чаю: досадная помеха, вынуть и отбросить; какое муха имеет отношение к чаю?) Вечные вопросы (вопрошания Бытия) — и подавно неприличие. Кто же заголяется прилюдно?

«Непонимание» — форма мундирной духовной одежды (парадная, зимняя).

Очень охотно — о себе, любимом. Тут можно чуть-чуть и распахнуться. Но — в мелочах. Ибо в целом — сюжет уже составлен, отработан, выстроен. («Я сам» — это тоже готовый ответ: имидж, монография, концепция.)

К. Станиславский: «Моя жизнь» (в искусстве; но могла бы быть и — в науке, философии, политике etc.) как «моя исповедь». Следовательно — хоть капелькой «мое недостойнство», «мое покаяние».

Прицак: «мій шлях» (историка; но мог быть и... см. выше) как «история фирмы». Благодарности основателям (= учителям), вкладчикам (= соратникам). Желательны звучные, социально акустичные имена. Нелестное или «смутное» опускается. (Школа офицеров Красной Армии, плен и перебег, Берлинский университет 1944 — 1945 etc.)

Моменты таяния. Метафоры в речи. С моей подачи — но авторство охотно присваивается. При повторном их чтении — детское удовольствие. В своих зарубежных текстах — то же, но элегантнее, латинистей, атлантической. Метафора «там» — ключ к сердцу (и кошельку!) читателей и меценатов. Науч-поп кормит. Оттого у кого нет метафор, у того нет и меценатов.

Скромность-элегантность, а не скромность — «одетая убого, но видом величаявая жена».

Эмоциональные пружины. Всегда скрыты и всегда решающи. Все толчки — эмоциональные (не расчетные). Вечное славянско-восточноевропейское «вдруг» — «внезапно» — «но тут...».

Озарения, сломы, перепады. «Жесты» (Haltung) не менее, а более важны, чем процессы. Биография событий, поступков. (А концепция — процессов.)

Люди, а не факты. «Литература», а не наука. Так в его биографии. (Обратно — в теории.) И сам культ факта, документа, «письмен» — в теории — как литературный сюжет сельского хлопчика (местечкового метиса или второсортного нацмена), пробивающегося в высшее общество. Там — принято так.

Забыть себя — и вечно возвращаться к себе. Отречься — и искать... Такая «славянская», такая «романтическая» парадигма!

21.12.95.

*Безымянная память.* Сердце так и не проходит. К тупой боли привыкаю.

Тексты (любые) забываются нами быстро. Люди задерживаются чуть подольше. (Проверяю: глубина моей личной памяти — семья, наставники, друзья и их предки — лет сто.) Дальше — чистые импульсы, перешедшие в импульсы. Порывы — в порывы (а отсюда уж в поступки, привычки, характеры, судьбы). Развоплощенное — нет, как раз полностью воплотившееся и перелившееся — добро. (Или зло.)

Как мы цепляемся за именную память. Как не дорожим этой безымянной, бестелесной, безадресной, «ниоткуда», «отовсюду», — омывающей нас. Теплый ветер вечности, которым мы и живы.

Симферополь.

## ПЛАТОНИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Михаил Угаров. «Зеленые щеки апреля». — «Драматург», 1995, № 6.

**П**исать пьесы — странное занятие. Конечно, талант не выбирают: какой достался, за тот и спасибо. Но все-таки: изначально и постоянно ставить себя в «пограничную ситуацию», существовать как бы между двух великих держав, ни в одной не будучи полноправным гражданином, — невыигрышная и даже драматическая роль. А именно ее играет драматург. Действительно, драма как род словесности может жить самостоятельной жизнью и занимать свое место на книжной полке. В то же время ее словесная ткань не самодостаточна. Она нуждается в соавторстве театра, она должна быть воплощена — в буквальном смысле — в плоть исполнителей, дающих персонажам полноту жизни, в полновесную плоть декораций — в спектакль то есть.

Собственно, до некоторых пор драматургия и шла к публике исключительно через подмости. Текст печатался — если печатался — лишь после постановки, успех которой во многом определял его дальнейшую судьбу. А пьеса несыгранная имела очень мало шансов на самостоятельную жизнь. Теперь не так. Теперь за драматургом вроде бы признают право на независимость от театра, — во всяком случае, не связывают собственные художественные качества пьесы с перипетиями ее сценического существования (или несуществования). Однако в текущем литературном процессе драматургия по-прежнему не на равных. Толстые журналы печатают ее очень редко, а рецензируют еще реже: для этого существуют специальные издания, которые читают преимущественно в театральных кругах. Да и сам драматург, хотя желает литературного признания, не готов им удовольствоваться: он потому и драматург, что испытывает к театру влечение, род недуга. А в результате возникает конфликт: между стремлением пьесы к самоценности и стремлением к сцене.

Особая роль в этом конфликте отводится ремарке. Иные, скромные, а может, расчетливые, авторы и донныне оставляют ее на служебном положении. Другие, напротив, стараются оградить свой замысел от произвола соавтора-театра, развертывая перед ним баррикады из подробных описаний: внешности героев, обстановки действия и прочего, вплоть до мельчайших оттенков чувства и пейзажных деталей типа солнечного отражения на озерной глади (Чехов, «Чайка»). И пусть режиссеры не склонны к ним прислушиваться — драматурги все же предпочитают вести свою тяжбу, не сходя с практического основания. Большинство рекомендаций можно осуществить — была бы охота. Можно и одежду подобрать в соответствии, и солнце в воде отразить, и требовать с актера — если способен — кошачью грацию.

Ремарки Михаила Угарова нереализуемы в принципе. Он работает с текстом как самый обстоятельный и неторопливый прозаик, умеющий ценить вкус, звук и вес слова. Ему нравится описывать картины, которые рисует воображение, вникать в их подробности, выводить затейливые орнаменты и узоры; нравится даже просто перечислять колоритные имена и названия — словно обкатывая зубами и языком сладкие горошины-ландринки. «Весь холм сплошь усеян синими цветами песчаной фиалки. Она очень похожа на душистую фиалку, но листья ее узкие и покрыты волосками, а цветы совсем не пахнут. Здесь растет петров крест, у него толстые, мясистые листья красноватого цвета... Есть и румянка, и чернокорень, и очиток. О можжевельнике и чертополохе говорить нечего, они кругом. Гораздо реже встречается изящная маленькая бедренцовая роза... И уж совсем особое дело — душица майоран, двоюродная сестрица тимьяна...»

На язык театра это не переводится. То есть изобразить усыпанный цветами холм труда не составит. Всю указанную растительность предъявить — сложнее, однако ж, после консультации с ботаническим атласом, возможно. Но сколько ни рассыпай по склонам бутафорский чернокорень и очиток, их рифмующегося, перемигивающегося аллитерациями и ассонансами звука не передашь. Этот текст само-

игрален — имея в виду переливчатую игру словесной ткани. Однако не учитывать его при сценическом прочтении — тоже нельзя: ремарочный курсив включен в общую композицию и вступает в своеобразный диалог с «речами» персонажей. «Ива... взяла да и обернулась вдруг всей своей кроной в легкое серебро. Замерла, выждав минуту. А потом вновь вернулась густой прохладной зеленью», — тонкий строй авторского языка как бы подчеркивает речевую простоту героя: «Л и с и ц ы н. Элементарно. На ивовых листьях нижняя подкладка светлее, чем верхняя. Стало быть, когда они выворачиваются наизнанку, то и вся ива светлеет...»

Возможен и согласный диалог между ремаркой и репликой, при котором речевая мелодия плавно перетекает из текста, назначенного к сценическому озвучиванию, в текст, вроде бы должный остаться за кулисами. Встречаются и повторы, цитаты или вариации: так, пьеса «Газета «Русский инвалид» за 18 июля...» начинается с избыточно подробного, орнаментального описания обстановки, а заканчивается почти тем же, но сокращенным описанием, вложенным в уста героя.

...И как режиссерам обращаться с сей затейливой словесностью? Можно, разумеется, использовать напрашивающийся прием: вывести на площадку добавочного персонажа, обозначив его как «автора» или «от автора», и отдать ему для прочтения весь курсив. Только если б автор хотел этого, он бы сам это и сделал, и, случается, делает: в пьесе «Оборванец» есть «недействующее» лицо, которому передоверен весь комментарий. Но прочие присутствия посторонних на сцене не предусматривают: там идет своя жизнь, развивается свой психологический сюжет, персонажи наделены собственными характерами, а отношения между ними четко выстроены — все, как положено в драме. И если не считать указаний к действию («входит-уходит»), то в сюжетный ход ремарка не вмешивается. Однако без нее текст теряет значительную долю обаяния, а смысловая конструкция и словесно-музыкальное развитие лишаются цельности. Можно понять, почему Угарова считают несценичным.

И ладно б он был вовсе от сцены далек — а то ведь принадлежит к театру с нежной юности: сразу после школы вступил в профессиональную труппу и играл в ней тринадцать лет. Артистом, по собственным словам, он был средним, но для знания сценических требований это безразлично. Вот Александр Галин на актерском поприще тоже не блистал, а между тем в его драматургии чувствуется театральная практика. И вообще «пьеса актера» (как и «проза поэта») — это отдельная песня. Она проста по тексту и отчетлива по интриге; ее главная задача — чтобы «было что играть». Угаров «по-актерски» не писал никогда. И кажется даже: артистическим (да плюс завлитовским) опытом он воспользовался строго от противного. То есть взялся за перо, зная, какие ходовые сценические фишки сразу выводит из игры — чтобы играть в свой театр.

Правда, первая его вещь — «Голуби» (1989, опубли. 1993 — «Современная драматургия», № 3-4) — еще не задает режиссерам задач повышенной сложности: словесный антураж не получил равных с действующими лицами прав. Но и внешней событийности, самоигральной сценичности туда ход закрыт. Пьеса, что называется, разговорная, и ее сюжетная неподвижность соотнесена с местом действия: это тесная келья, где обитают трое молодых монахов — Варлаам, Федор, Григорий. Время действия поначалу не уточнено — просто тихая весенняя ночь какого-то давнего года. То, что речь идет об эпохе Годунова, становится ясно лишь к середине — и вплоть до самого конца представляется несущественным. Поскольку замкнутое пространство кельи кажется выключенным из актуальности. Здесь живут своей привычной жизнью, внешне спокойной, но готовой вспыхнуть изнутри. Семнадцатилетний тихий «голубь» Гриша не знает, куда деть незанятую душу. Двое других увлечены темными снами, иллюзиями и оболъщениями. Федор упивается тем, что он — писец — может переписать прошлое по собственной воле и всей власти царской не хватит «простую бумажку выправить»: «Тут... я царь». Варлаама такое призрачное могущество не прельщает, ему нужно нечто более осязаемое. И он заводит злую игру с Гришей: смущает и путает, пугает страшными признаниями, чтобы тут же взять их назад, — и исподволь внушает, что реальность складывается не из хода реальных фактов, но подчинена самоуправству обманчивых слов. Границы между правдой и ложью размываются, прошлое теряет свою неизменность, настоящее — «настоящность». К чему это ведет, становится ясно в последней сцене. Тихо подступает рассвет. И тихо, вкрадчиво, завораживающе Варлаам нашептывает Грише, что царевич Димитрий — жив. Спрятан в монастыре, ничего про себя не знает, но время придет...

Автор не говорит прямо, что его Григорий и Гришка Отрепьев — одно лицо. Но намек вполне внятн. И благодаря ему все меняется. То, что могло иметь вид случайности, необязательности, ночного нестроного разговора, выстраивается в четкий смысловой ряд. Маленькая частная история — вернее, не история даже, а внешне бессобытийный диалог — выходит за собственные рамки, продлеваясь в большом историческом пространстве. Финал оборачивается началом давно известной драмы.

Этот парадоксальный способ организации сценического действия — когда собственно действенная его часть оказывается вынесена куда-то в будущую историю или, напротив, предысторию — использован Угаровым не только в «Голубях». Пьесы «Газета «Русский инвалид»...» («Драматург», 1993, № 1) и «Зеленые щеки апреля», дополнившись ремарочными красотами, сохранили ту же причуду сюжетосложения. При этом не важно, какого рода персонажи вовлечены в игру — вымышленные ли, реально-исторические. В любом случае перед нами представлены совершенно камерные, частные эпизоды, временная протяженность которых измеряется несколькими часами. Они демонстративно лишены динамики, внешне не напряжены — но обретают движение и напряжение в силу того, на что драматург лишь намекает или что мельком проговаривает; завязка с развязкой тоже как бы вытеснены туда, в тень прошлого или грядущего. А показанный публике момент — с позиции «нормальной» драматургии — является лишь предисловием (послесловием) к драме. Или комментарием к ней. Да и начальный момент действия выбран будто случайно, наобум — и случайность его даже декларируется.

«С чего бы начать? Впрочем, это совершенно не важно... Начать можно с чего угодно... хоть с печки». Что касается конца, то его «вообще нет»: «Можно дать занавес где захочешь. Дернул за веревочку, он и упал! А что уж там за ним дальше было — это... нас не касается!..» Правда, это слова персонажа, и автор за них не в ответе. Но ведь пьеса «Газета «Русский инвалид»...» начинается именно «с печки» (то есть с ее описания), а заканчивается обрывом на полуфразе: падающий в финальной ремарке занавес словно отгораживает нас от продолжающейся на сцене жизни, а она «все тянется и тянется, все ничем не кончается».

Драматург, разумеется, лукавит. В действительности он строит свои истории так, как хочет, и говорит все, что считает нужным сказать. А мнимая случайность начала «с чего угодно» и мнимое отсутствие конца — суть открыто демонстрирующие себя приемы, изящная и отточенная формальная игра. Но игра, выражающая очень важную для Угарова идею.

Сущность ее в том, что жизнь хороша, пока бессюжетна. Пока идет себе и идет незатейливым заведенным порядком. А чуть только начинается драматическое действие — так начинаются драмы. Иван Павлович, скромный герой «Русского инвалида», пережил в прошлом мучительный «сюжет» — с безумной любовью, побегом за границу, разрывом, разорением, отчаянием почти до помешательства. И теперь его «в истории и историйки — калачом не заманишь!». Все действие пьесы сводится к отказу от действия: бывшая возлюбленная прислала письмо, хочет снова увлечь в побег, назначает свидание. И за нервным, скачущим разговором с племянниками Иван Павлович дожидается условленного часа — чтобы с последним ударом взвиться и прокричать свое «не хочу»: «Нельзя позволять впутывать себя в сюжет!.. Это насилие! Не имеете права!» А открячавшись и успокоившись, пойти себе ужинать вместе с Алешей и Сашенькой, под заботливым приглядом старой няньки, в уютном окружении знакомой до мелочей обстановки.

Оттого-то и выписаны-переписаны с таким тщанием все ее предметы, что они суть приметы прочного, устойчивого, «бессюжетного» быта. Оттого и цветы на холме, которому суждено стать фоном для пьесы «Зеленые щеки апреля», перечислены все без изъятия, как в каталоге, что весенний их расцвет — знак изменчивой неизменности, вечного повторения, простого жизненного круговорота. Так же, как «мирная корова», пасущаяся на берегу озера, и лошадь, хвостом отгоняющая мух, и бабочки, и стрижи... Но драма в том, что жизнь не застрахована от драм. Напротив, она страшно незащищена. Один какой-нибудь Иван Павлович, наученный горьким опытом, сумеет по новой не впутаться в сюжет. А другие, молодые-неопытные? Нашепчет соблазнитель байку про спрятанного царевича, и готово — вон из тихой кельи, на большой простор, в будущее смутное время. Или еще проще: нальют шнапсу в стакан, напоят непривычного юношу до сонной одури — и кончено: умчался мимо едущий поезд, упущена долгожданная встреча с возлюб-



ленной, разрушено милое, спокойное счастье... А разрушитель распрощается издевательски и отбудет в свое роковое будущее — в историю.

Ибо дело идет о ее делателях. То есть случайно попавший в сюжет юный Сережа, равно как солидный крестьянин Бауэр, ставший благодаря своему шнапсу случайным соучастником сюжетосложения, — лица не исторические. Зато историческая роль организаторов этого мелкого злодеяствия весьма велика. Правда, драматург не называет их по именам, а маскирует прозрачно-пародийными прозвищами: Лисицын и Крупа... Комическая, почти клоунская парочка, возникшая апрелем 1916-го на берегу Цюрихерзее, мгновенно портит благоухающий весенний воздух — не фигуральным, а самым натуральным образом. Отталкивающие физиологические подробности, сопровождающие их выход, могут вызвать, пожалуй, раздражение у читателя, которому подобные методы представляются и слишком простыми, и не слишком достойными. Угаров и сам вообще-то не склонен к элементарным характеристикам. Но в данном случае пренебрегает сложностью, чтобы сразу, окончательно и бесповоротно опошлить этих персонажей большой истории, которые, будучи временно не у дел, резво закручивают «историйку» — не то заподозрив в юноше шпиона, не то просто от прирожденной подлости. От злобного неприятия простых и мирных радостей, про которые так сладко вспоминает Сережа: дачных романов, любительских спектаклей, купания в мелких речках со смешными названиями — Пуштá, Сарóвка, Шóкша, Ужéвка... Лисицын хочет заглушить его теплые воспоминания своими, полными механического холода и смерти: о коллекции часов, собранной в родительском доме, и другой — птичьих чучел. Специальный мастер потрошил птах, «высушивал их шкурки, втыкал в них обратно перышки, а вместо глаз вставлял пуговики. Получались как живые»... Но мальчик Сережа — живой, а не «как живой». Его не удастся обратить в механизм или набить идейным прахом. Остается сбить с ног водкою.

Можно, опять же, сказать, что это слишком просто — представить автора Октября всего лишь мелким пакостником, что масштаб будущей исторической трагедии требует и большего масштаба личности. Но драматург как раз не хочет различать масштабов зла, вернее, не хочет признавать за злом масштабности. Ему что не приметный вымышленный анонимщик, из прихоти разрушающий чужую судьбу («Оборванец»), что великий разрушитель — все едино. Для того и вынесена на сцену маленькая внеисторическая частность, незапланированный эпизодик, случай, чтоб показать: природа злодеяствия всегда мелка.

Пьеса «Зеленые щеки апреля» имеет подзаголовок — или это определение жанра? — «Опера первого дня». Какие дни засим последуют — известно. Почему опера — надобно разъяснить: потому что в апрельскую драму замешались валькирии. Сначала они (вернее, Вагнер, театр, певицы) легкой тенью возникают в разговоре; а в конце, под занавес, вылетают на берег сами — чтоб решить, как им положено, участь героев. Только если в торжественном оперном пространстве их суда удостаиваются именно героини, то здесь и скромному юноше даны те же права. Правда, и валькирии больше похожи на русских крестьянских девок, чем на мифических воительниц, — может, они просто пригрезились опьяневшему Сереже? Как бы ни было, их появление сообщает частному случаю смысл роковой необходимости, перед которой и первая жертва «первого дня», и устроитель всех дней, что «потрясли мир», — одинаково бессильны. И в том равны.

Для Угарова его персонажи равны тоже — но по-другому: он как бы не отличает реальные лица от вымышленных. И дело не только в том, что все, кто ни есть, представлены «без чинов», в приватной обстановке, что всякая дистанция отсутствует, а сюжетные ситуации вымышлены в равной мере. Главную роль в этом «неразличении» играет ремарка, постоянно аккомпанирующая диалогу. Своей спокойной, мерной красотой она противостоит разрушительному действию драмы. И во всех случаях ей присуща особая интонация — добросовестного рассказчика, наблюдателя, который не выдумывает, а лишь описывает то, что видел и слышал в натуре... Конечно, и прозаик обычно стремится представить въяве фон и обстановку своих сюжетов. Но проза, даже очень плотная, все-таки бесплотна, тогда как для драматургии воплощенность есть способ и условие существования. Театр словно бы отменяет прошлое: сценическая история всегда разворачивается в некоем настоящем, здесь и сейчас. И сценическое пространство по-настоящему материально, и персонажи одеты в плоть...

Но позвольте! — должен в этом месте воскликнуть предполагаемый читатель, — оно так, если драма поставлена. Если же нет — откуда взяться материи? А я откуда

знаю! Впрочем, могу предложить гипотезу. Когда-то, еще в пору актерской молодости, Михаил Угаров начал писать текст под названием «Платонический театр». Речь там шла, как предполагаю, о театре, которого нет, но который должен быть. О театре идеальном и совершенном — о высшей реальности театра, где отсутствует граница между буквой и произносимым словом, между замыслом драматургическим и сценическим воплощением. Вот драматургия Угарова и есть — платонический театр. В каком пространстве он располагается и как разыгрывает свои представления — Бог весть. Но драматург их видел. И во всех подробностях представил публике... Не настаиваю, конечно, на основательности этой версии. Но она все объясняет. И пресловутую несценичность. И убеждение, что драма (в буквальном переводе с греческого — «действие») не нуждается в драме. И приравнивание действия к зло-действию. И уверенность в высшем смысле любого «очитка».

Алена ЗЛОБИНА.

\*

## В ПОИСКАХ ДРУГОЙ ПОЛОВИНЫ

Дмитрий Бакин. Страна происхождения. Рассказы. СПб. «Лимбус Пресс». 1996. 152 стр.

— А в бога вы верите, доктор?..

— Нет, но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то. Уже давно я не считаю это оригинальным.

А. Камю, «Чума».

Давно мне не дает покоя одна реклама. Рядом с портретами провидиц и шаманов — надпись: «Кто с господом в душе и с мукой в сердце, приди ко мне!..» Те, кто с мукой в сердце, может быть, ничего не заметят и придут. Но очевидно, что тот, кто напечатал эту трогательную фразу, не совсем понимает, о чем говорит, иначе он как минимум не написал бы слово «Господь» с маленькой буквы. Это не придирка. Ибо тот, кто с Господом в душе, знает, что Господь — это имя, потому что, призывая Его, обращается к Нему и ни к кому другому. Вполне возможно, что тот, кто так написал, может исцелить, но совершенно точно, что он не будет знать достоверно, каким образом он это сделал и куда ушла болезнь. А это, как хотите, опасно. Это гораздо более опасно, чем обращаться за помощью к неверующему врачу, твердо укорененному в той реальности, которую единственную он признает за таковую, уповающему лишь на проверенные опытом лекарства и свою самоотверженность. Почему же все больше и больше наших современников устремляется к провидицам и шаманам, даже и сознавая, что те не совсем точно знают, к кому обращаются? Наверное, даже в поисках — вслепую — другой половины усеченной реальности им видится больше надежды.

Есть два автора, которые неизбежно приходят на ум при чтении рассказов Дмитрия Бакина. Это Андрей Платонов и Альбер Камю. Говорят, его уже сравнивали и с тем, и с другим. Платоновская, чуткая к плотскому движению души, фраза; мир, осажденный абсурдом, как у великого французского экзистенциалиста. Но как только эти два автора приходят на ум, так сразу же возникает тревожное чувство несоответствия, несовпадения. Понятно, что если одного автора можно сравнить сразу с двумя такими разными, такими непохожими друг на друга, то уже есть над чем задуматься. Но, что еще интереснее, в ходе размышлений может обнаружиться, что у Камю с Платоновым больше общего, чем у каждого из них с Д. Бакиным.

Рассказ «Листья», первый по порядку в сборнике, сразу заставляет вникнуть в самую суть дела. А суть, мне представляется, в том, что мужчины, покинутые ушедшими на поиски возможности выжить женщинами, «погрузились в тяжелые волны опьянения, засыпая в поисках ответа, убежденные в том, что всему, что снится, предначертано верить, ибо реальность — половина правды и негде людям искать вторую половину правды, кроме как во сне». Здесь определяется объем мира, создаваемого Бакиным, и он иной, нежели у Платонова. У Платонова мир с первых шагов замыкается от Бога в своем теле, и внутри этого тела мира создается

вполне цельный и завершенный универсум, связанный в каждой своей части, без торчащих концов и обрывков. Всякая вещь, мысль, абстракция не одушевляется, но отелеснивается, включается полноправно в тело мира и окончательно обосновывается в нем, не требуя и не предполагая выхода за его пределы.

Не то у Бакина. В его мир вход открыт, и Бог ожидается с первых шагов («семнадцать лет бездетности ожидали прихода Иисуса Христа»), но кто приходит и куда сквозит распахнутый мир — вот вопрос. Во всяком случае, из мира Бакина, умирая, уходят «руководимые теми, кто давно умер», а в мире Платонова умирающий попадает обратно в темную влагу материнской утробы, замыкая круг, в самой смерти своей не вырываясь за пределы замкнутого в себе тела мира. Пространство у Платонова замыкается; по сути, его герои никак не могут отыскать выхода за конечные пределы телесного мира. Времени же вообще нет в платоновском мире, ибо его нельзя почувствовать как «встречной твердой вещи», оно лишь колеблется туда-сюда, маятником, держа мир в оцепенении. Поэтому у Платонова невозможно ощутить перемещения: есть бытие в одном месте, а потом бытие в другом месте, а потом в третьем — и так далее. Человек не движется, не идет, а как бы прорастает в разных местах, и места эти не связываются между собой его передвижением. Поэтому совершенно невозможно себе представить, как в этом мире могут доходить письма, как вообще может осуществляться какая бы то ни было связь между людьми в разных местах.

У Бакина всякий уход вызывает подозрение в том, что это уход за пределы мира, без возврата. Перемещение слишком легко, слишком возможно, гораздо более вероятно за пределы мира, нежели в его пределах: «...женщины поселка, гонимые голодом, прихватив котомки, узелки и сумки, ушли в сторону Херсона, где надеялись на пожитки, не тронутые немцами, выменять семена, патрубки, домашнюю птицу и скотину. Несколько калек, демобилизованных в начале войны, несколько контуженых, а также женатый дурак, имевший военную бронь, предписывавшую ему не трогаться с места, стояли посреди мертвого поля и смотрели, как нагруженные женщины идут по белой пыльной дороге, минуют сосновый бор и церковь на холме, а потом скрываются за поворотом, и ни один из них не верил, что они вернуться, пребывая в убеждении, что белая пыльная дорога и есть та дорога, по которой можно идти вечно и бесследно исчезнуть, растворившись в воздухе». Герой Платонова приходит «из природы», герой Бакина и является неизвестно откуда, внезапно оказываясь на тропинке, ведущей к поселку со стороны поля.

У Платонова и сон не выходит за пределы мира, но, так же как мир, вбирается внутрь героя: «Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы, кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и вдаль терпеливо уходила пустая дорога. Дванов завидовал всему этому — он хотел бы деревья, воздух и дорогу забрать и вместить в себя, чтобы не успеть умереть под их защитой». Сон как бы «выгнут» в ту же сторону, что и реальность, а не завершает ее второй половиной. Сон — дополнение этой реальности: «Копенкину ничего не снилось, потому что у него все сбывалось наяву», «Не существует перехода от ясного сознания к сновидению — во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле».

Сон у Бакина — выход в иную реальность, продолжающую и дополняющую земную.

Дыр и выходов в мире Бакина сколько угодно, но место, в которое они ведут, совсем не освоено. Поэтому все связи — как с этим запредельным «местом», так и внутри наличной половины реальности — случайны и хаотичны, подпадают беспорядку и суеверию. Ибо они в большинстве случаев ведут из ниоткуда в никуда — как нервы в вырезанном из тела куске.

Реальность Платонова и Камю прочна, ибо сознательно ограничена: в первом случае — исключительной телесностью сущего, во втором — замыканием связей, не нашедших своих концов в пределах допущенной реальности, в черном ящике абсурда.

Платоновские дороги кончаются в тупике. Дороги Бакина ведут прочь — к призрачным целям, но главное — прочь, мир не входит и не может войти в героя, замыкающегося во внутренней жизни. А потому он не чувствует мира с уважительной теплотой, как чувствует его платоновский герой, а глядит на него взглядом инопланетянина — отчужденно. Открытый мир Бакина предполагает и допускает возможность чужого, нездешнего взгляда, обесценивающего то, что дано, но не дающего ничего взамен: «И всегда, где бы он ни был, в нем главенствовало стремление неподвижно стоять в стороне от мутного потока лет, где среди ила, обло-

манных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди, — неподвижно стоять в стороне и давать им советы, обманув тень закона, которая падает на голову каждого с момента рождения». И наука, и мудрость жизни исходят только от мертвых, приходя из-за пределов мира, произвольно обрубленного, а потому непостижимого в явных живому границах: «...ему давно было ясно, что она пребывает на земле как оружие мертвых, и мертвые говорят ее устами, чтобы предостеречь живых в том, что при жизни остается неясным...»

Все дело в том, что бытие другой половины, к которой потянулись души и нити, — недостоверно: «...бабка сказала — тот, кто велел нам быть, не простит; Анна сказала — никто нам быть не велел. Мы порождение взрыва». А любая недостоверность границ порождает люфт реальности — ее произвольное расширение и суждение, придающее ей видимую сложность вследствие отсутствия закономерности. Мир Бакина таинствен, потому что неясен в своих границах. Поэтому же он агрессивен.

Тяжеловатая телесная платоновская фраза там, где она появляется у Бакина, производит то же странное и таинственное впечатление, какое производит не по размеру и не по сезону одетый человек. Потому что замечательно прописанное телесное действие героя Бакина не имеет никакого отношения к телу. Телесные действия совершаются как символы духа; подлинное царство писателя — на границе ведомого и неведомого, сказанного и несказанного, постижимого и непостижимого в этой жизни. Поэтому лучше всего у Бакина — процесс выговаривания, дохождения до сказанного. Слова как бы очерчивают маленькое место в мире, которое проясняется уже самым процессом положения ему границ. «И сказала... и сказала... и сказала» — типичная структура такого очерчивания. По этому принципу построен весь рассказ «Про падение пропадом», описывающий жизнь трех героев в некотором кусочке пространства и времени — так что незаметная деталь, незначительное событие в жизни одного из них становится самой жизнью другого.

Бакинский герой, в отличие от героя Камю или Платонова, — человек, который не владеет целым своим миром (сознательно отгороженного — в случае Камю — от всего, что не вошло в его пределы). Он пришел из другой половины реальности, но, помня дорогу, которой он пришел, он начисто забыл, куда ведет эта дорога, «Христос» забыл Бога Отца, сохранив лишь память о своем сходении «в человека». Вещи, написанные в условиях такой метафизической забывчивости, всегда представляются таинственными и мистическими. Нужно только помнить, что причина этой таинственности — усечение реальности, произведенное беспомощностью, а не волевым актом.

В такой реальности обрывки смыслов толкуются, не проясняя, но затемняя друг друга, не складываясь в картину, но рассыпаясь, как мозаика от удара ладошки ребенка, отчаявшегося с ней поладить. Обрывки смыслов набиваются в одну фразу, множественность истолкований делает явление окончательно недоступным для понимания, истолкования не ложатся рядом, как в привычном постмодернизме, но пожирают и уничтожают друг друга, оставляя теперь, с очевидностью, вместо пустой множественности — пустое место.

И все же не покидает чувство несправедливости (пусть и — правильности) всего сказанного, и оно постепенно выливается вот в какой вопрос: почему аналогии возникают через головы стольких ближних — с такими дальними? Почему, скажем, не Битов, не Венедикт Ерофеев, не Саша Соколов? Да потому что у Бакина — впервые после долгого перерыва — вновь появляется вселенная (пусть даже только ее половина) не как тупая и косная декорация, не как место действия героев, но как живая, активная, действующая (хоть и непонятная) сила. Как нечто, что может унижить и привести к восстанию, вырастив у человека на ноге шестой палец неизвестно за что; но восстание против чего не приводит к отчаянию (хотя, может, и порождает большой страх) — ибо это не попытка проломить головой мертвую каменную стену, но взгляд в — неизвестно откуда возникшие — очи. Долгое время герою противостоял лишь герой. Даже ерофеевская вселенная, казалось бы такая активная и подвижная, сворачивающаяся кольцами пространства и играющая временем, — не лицо, обращенное к герою, но лишь место появления других героев, которые и есть — активная сила, из-за которых, может, и корежится так вселенная.

Словом, на пустом месте Бакин вновь пытается написать — лик. И вот здесь, как чудесное соответствие автору, появляется история героя — художника Пала. Пал, увидев лик Бедолагина (Христа рассказа «Листья», пришедшего из-за границ



мира и «гвоздями приколотенного» к своей человеческой сущности — фамилии «Бедолагин»), решает для своего обогащения и утешения своих сограждан, церковь которых лишена ликов долгой войной и разрухой и прочим надругательством человека над миром, — так вот, решает написать для них новые иконы. Он пишет их с земного прообраза, не прозревая в нем вечной сущности, но механически пририсовывая нимб. Он пишет их на холсте.

Художник, чувствуя всеобщую потребность в лике, не знает, где отыскать его и как его запечатлеть. Он в незнании и беспамятстве пытается подражать прежнему и вместо твердой доски творит на сворачивающемся и разворачивающемся, колеблемом ветром холсте, пытаясь для твердости и похожести вставить его в «старую раму».

Не удивлюсь, если и сам автор не помнит, на чем пишут икону.

Не так-то просто вновь взглянуть в очи искаженной и обесчещенной — так долго почитавшейся не мертвой даже, а неживой — реальности. Но зачинает ребенка бесплодная от своих грехов — распутства и неверия — Анна, зачинает его от ни на что не годного пьяницы Бедолагина, беспамятного Христа, забывшего о своей божественной природе и отрекшегося от нее, и смыкается с реальностью сон, и пролегает дорога из сна в реальность, протоптанная легкими Аннинными ногами.

И хотя в следующих рассказах герои будут устанавливать пулеметы, чтобы защититься от ожившей реальности, или плодить детей, чтобы противопоставить ей — свое, детской плотью от нее заслониться, хотя они будут пугаться в обрывках неизвестных ими связей, жизнью платя за незнание и беспамятство, но Анна все же «сказала — господи — и сказала — господи — а потом сказала — храни».

Татьяна КАСАТКИНА.



## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сергей Гандлевский. Праздник. Книга стихов. СПб. «Пушкинский фонд». 1995. 112 стр.

«Праздник» — вторая книга стихов Сергея Гандлевского. Первая называлась «Рассказ» — «прямолинейная проза в стихах». Концепция второй, не менее «прозаичной»: «праздник жизни», «праздник смерти» — «все на свете праздник». В том числе и поэтическая речь об этом.

Говори. Что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла  
Городскою рекою баржа́ по закатному следу,  
Как две трети июня, до двадцать второго числа,  
Встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету,  
Как дыхание липы сквозит в духоте площадей,  
Как со всех четырех сторон света гремело в июле?  
А что речи нужна позарез подоплека идей  
И нешуточный повод — так это тебя обманули.

«Стансы», одно из лучших стихотворений С. Гандлевского, открывают книгу, играя одновременно роль «аттракциона», манифеста и вступительной статьи. Праздник без повода. Дар без смысла. (В завершающем сборник стихотворении: «Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи».) Муза набоковской прозы.

«Поступь рока слышна у Набокова в каждом романе».

Внутри «рамки» стихи распределены по четырем разделам. Формальный признак — хронология: 1973 — 1977; 1976 — 1980; 1979 — 1982; 1982 — 1994. Подобным образом организованные книги напоминают обычно дневник или фотоальбом. Поводов к такому восприятию в «Празднике» предостаточно: часто упоминаемые «the sights» («Оля, Лаура, Кенжеев на фоне / Зелени в восьмидесятом году»); посвящения коллегам по группе «Московское время», цитаты из их стихотворений — в качестве эпиграфов; щедро рассыпанные биографические подробности. Герой — вроде бы копия автора. Нужно внимательно приглядеться, чтобы обнаружить зазор, художественную дистанцию. Приглядимся.

Часть первая — портрет художника в юности.

Я телом был, я жил единым хлебом,  
Когда из тишины за слогом слог  
Чудное имя Лесбия извлек,  
Опешившую плоть разбавил небом —  
И ангел тень по снегу поволок.

Прорезавшаяся душа в поисках адекватного отраженья: «Марина, если б знала ты, / Как горестно и терпеливо / Душа искала двойника!» Программное отчаянье: «Держу в руках, чтоб в снег не пролилось, / Грядущей жизни зеркало пустое».

Начало «Праздника» — самая светлая его часть. Здесь немало переключек с Мандельштамом и Ходасевичем, но преобладает символистская прозрачность. Разреженный воздух. Парадиз детства, «сто лет свободы и любви!» — даже с точки зрения изгнанника.

Часть вторая. Отчаянные попытки уехать от самого себя, пустого зеркала и приевшегося пейзажа. Крым. Кавказ. Азия. Определение «очарованный странник с пачки „Памира”» появится позже, но это уже он. Возвращение — момент творческого «примирения с действительностью»: никуда не денешься ни от общего-внешнего-чужого (язык — социален), ни от своего (речь — индивидуальна). Новый образ — образ «поэта-бича», по определению Андрея Зорина (см.: альманах «Личное дело №»), «в значительной степени литературен и служит производной от позиции автора, ориентированной на языковое сознание полностью деклассированного общества». Герой С. Гандлевского — скорее «главный», чем «лирический». От прочих («сограждан») отличающийся, подобно гребенщиковскому Иванову, тем, что «у него в кармане Сартр, у сограждан — в лучшем случае пятак».

Часть третья — в сущности, та же песня («И к нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни за сравнительным анализом вина»). Но — чуть разухабистей:

«Расцветали яблони и груши», —  
Звонко пела в кухне Линда Браун.  
Я хлебал портвейн, развесив уши.  
Это время было бравым.

Жить с отчаяньем не хватает сил. «Питие» — та же попытка к бегству. «Алкоголизм, хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно». Суррогат свободы для «поколения дворников и сторожей».

Актуализируется иная дистанция — по отношению к поэтам «серебряного века». Пространство А. Блока («Ночь, улица, фонарь, аптека. / Бессмысленный и тусклый свет») и «московское время» О. Мандельштама («Еще далёко мне до патриарха, / Еще на мне полупочтенный возраст...») с пространством С. Гандлевского («Аптека, очередь, фонарь / Под глазом бабы. Всюду гарь») и его же «московским временем» («Еще далёко мне до патриарха, / Еще не время, заявляясь в гости...») при наложении не совпадают.

Не жалею, не зову, не плачу,  
Не кричу, не требую суда.  
Потому что так или иначе  
Жизнь сложилась раз и навсегда.

Пора поэтического самоопределения. Сознание принадлежности к особому «веку» — как его теперь называют, «бронзовому».

Часть четвертая. «Склоняют своенравные лета... / К поэзии, прости за выраженье, / Прочь от суровой прозы». У С. Гандлевского, по наблюдению М. Айзенберга (см., опять же, «Личное дело №»), — «только те слова, на которые есть право». Произнести по поводу своих стихов слово «поэзия» самокритичный поэт почувствовал себя вправе только теперь. (А что через «прости за выраженье» — так, с точки зрения «критического сентименталиста», подобной оговорки требует не только «низкое», но и «высокое».) Неизменные собеседники — О. Мандельштам, Вл. Ходасевич и А. Пушкин. Самоутверждение позади, разговор ведется на равных. Зазор между «человеческим» и «поэтическим» в стихах постепенно сходит на нет. Становится все ощутимее дистанция между текстами — и автором, для кото-

рого они уже не зеркало, а отдельный, самодостаточный организм. Ключевое слово — «фактура». Ключевая цитата — «виноградное мясо».

Здесь — «хиты», известные по альманаху «Личное дело №» («Апреля цирковая музыка...»; «Не сменить ли пластинку...»; «Есть в растительной жизни поэта...»; «Самосуд неожиданной зрелости...»; «Устроиться на автобазу...»; «Отечество, предание, геройство...» и проч.). А также новые стихи, выдержанные в строго пессимистической тональности.

Еще осталось человеку  
Припомнить все, чего он не,  
Дорогой, например, в аптеку  
В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,  
Взглянуть на ликованье зла  
Без зла, не потому что добрый,  
А потому что жизнь прошла.

«Праздник» — книга о судьбе (это, пожалуй, и есть Тема Сергея Гандлевского) поэта и его поколения. «Трепанация черепа» — история той же болезни. «Поколение дворников и сторожей / Потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. / Все разошлись по домам... / У нас нет надежды, но этот путь наш» (Б. Г.).

Show must go on.

Ольга КУЗНЕЦОВА.



## О ЛЮДЯХ, БОГАХ И ЗВЕРЯХ

Редьярд Киплинг. Пэк с холмов. М. АСТ. 1996. 246 стр.

Редьярд Киплинг. Награды и феи. М. АСТ. 1996. 304 стр.

**К**иплинг — фигура странная, может быть, и переоцененная в чем-то, но уж точно недооцененная в главном. И звание нобелевского лауреата, самого молодого из всех награжденных за литературную деятельность, более отвлекает, чем раскрывает суть. Желаящим понять, каков Киплинг-человек, а соответственно, Киплинг-писатель, стоит обращаться не к автобиографии либо к монографиям о нем. Им следует раскрыть киплинговские книги и прочитав их непредвзято, как впервые — или и вправду впервые.

И потому я не стану здесь рассказывать о том, о чем давно и подробно рассказано дотошными критиками, например, не буду говорить о выбранной Киплингом маске беспристрастного повествователя. Впрочем, думаю, читавшие его убедились в обратном: Киплинг отнюдь не бесстрастен и уж совсем не беспристрастен. Но лучше послушаем, что говорил он сам, говорил о себе, как о другом, как о Панче, герое автобиографического рассказа «Мэ-э, паршивая овца...».

После нескольких счастливых лет, проведенных в Индии с родителями, маленького Киплинга отослали на воспитание в Англию к получужим людям, и жилось ему там трудно, много труднее, чем его младшей сестре, упоминаемой под именем Джуди. Проступки записывались в специальную книжицу, наказания следовали за наказаниями, попреки за попреками.

И он вспоминает о том с резкой иронией и горькой грустью: «...за это время тетя Анни-Роза успела приобщить его к двум чрезвычайной важности явлениям — он узнал, что есть на свете бесплотное существо по имени Бог, близкий друг и союзник тети Анни-Розы, обитающий, по всей видимости, за кухонной плитой, где всего жарче, а также коричневая замусоленная книжка, испещренная непонятными точечками и загогулинами. Панч был всегда рад удружить человеку. Поэтому он приправил повесть о сотворении мира уцелевшими в его памяти обрывками индийских сказок и преподнес эту смесь Джуди, чем привел тетю Анни-Розу в полное негодование. Он совершил грех, тяжкий грех, и за это должен был добрых пятнадцать минут слушать, что ему говорят старшие. В чем именно заключается прегрешение, он толком понять не мог, но все-таки старался не повторять его, так как Бог, по словам тети Анни-Розы, слышал все до последнего слова и очень раз-

гневался. Если так, мог бы и сам прийти сказать, подумал Панч и выбросил этот случай из головы. После он твердо усвоил, что Господь — это тот, кто один в целом свете превосходит могуществом грозную тетю Анни-Розу; тот, кто стоит в тени и считает удары розгой».

Все это, как ни странно, а может быть, совсем и не странно, очень и очень надолго определило жизнь Киплинга. Во-первых, отношение к религии и к богам, каким бы то ни было, оставалось у него слегка недоверчивым и чуть насмешливым. И хотя киплинговские книги переполнены библейскими аллюзиями и цитатами, это лишь определенный культурный знак. Как англо-индусские слова, как солдатский жаргон, возвышенные библеизмы сосуществуют в его рассказах и стихотворениях не более чем на равных — ведь человек должен владеть многими языками и наречиями, он должен много знать и много учиться, чтобы стать Человеком.

Во-вторых, он так и не отказался от этого странного способа рассказывать сказки, истории, складывать стихотворения. В них, кроме почти вавилонского смешения языков, смешивались еще и культуры, за европейским просвечивало восточное, сквозь восточное виделось европейское. Можно повторить знаменитые киплинговские слова, повторить, но понять их совсем иначе, нежели понимали прежде:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,  
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.

Нет, они сошлись не на Страшном суде, они сошлись в одном человеке — в Киплинге: он их судья, но и защитник, и одновременно он — ответчик перед ними.

И в-третьих, в самых главных, — когда свистела розга, а кто-то, безликий и бесплотный, в темноте отсчитывал удары, наносимые злой рукой чужого человека, Киплинг понял: так детей воспитывать нельзя, иначе дети вырастут уродами, моральными, да и физическими. Он понял это на собственном опыте, ведь после попреков, издевательств и многочисленных истязаний он, маленьким мальчиком, потерял зрение и рассудок. И только долгие дни и месяцы любви и добра, доставшиеся ему после, помогли восстановить остроту мысли и немного подправить зрение. Раны в душе зарубцевались, однако остались навсегда.

Киплинг помнил, какую радость и успокоение приносили тогда книги. За малейшую провинность ему запрещали читать, но если книга все-таки попадала в руки, он уходил в далекий и ни на что не похожий мир и был там в безопасности. Выдуманный мир оказывался мудрей и реальней, чем мир окружающий.

Он помнил это всю жизнь, помнил, став писателем. И постепенно, год за годом, по всей вероятности, и в мыслях не имея, что действует согласно какой-то определенной схеме, он сочинял книги, которые могли стать как бы учебником, но не школьным, скучным, а настоящим, интересным учебником для юных граждан его Англии, его Империи.

В книге «Вот такие истории» Киплинг объяснял совсем маленьким детям явления и вещи огромного Мира. Пусть объяснения чуточку неправдоподобны, зато они занимательные и не занудные, для убедительности автор нарисовал и чудесные иллюстрации к своим сказкам. Он хотел воспитать в маленьких людях сообразительность, любовь к миру и интерес к нему. Скорее это даже и не сказки, они напоминают «легенды о происхождении», какие бытуют в архаических обществах.

Рассказывая, почему у верблюда появился горб или откуда возник алфавит, автор показывал, что есть на земле разные создания и разные пути для мысли. Нельзя замыкаться в самих себе, быть напыщенными, самовлюбленными и заносчивыми.

Эти «истории» находятся в сфере мифов, и время здесь почти не существует либо отнесено к далеким «когда-то-временам». Но в «Пэке с Холмов Пука» (так называется книга в оригинале) и в «Наградах и феях» уже присутствует время Истории, английской истории, пусть изложенной как легенда, но говорящей о реальных событиях.

Автор здесь беседует уже с детьми постарше, и темы бесед — самые серьезные. Он говорит о старых богах, которые не вечны, они умирают, но иногда воскресают олять. И все же старых богов своей страны нельзя ни обижать, ни забывать, надо относиться к ним как к части своего прошлого. Ведь и они тоже, вместе с



людьми, сохранили для будущих поколений эту землю. Следует быть терпимым, благодарным и не слепым.

И центральным эпизодом книги о Пэке с Холмов становится сцена, когда старое божество, свидетель и участник многих событий, вводит детей во владение Англией. И время замкнутое, мифологическое, распрямляется, звенит, как стальная полоса, оно превращается в линейное, историческое время, длящееся от прошлого до наших дней.

Конечно, История пестра, а тем более пестра, написанная вразброс, для детского чтения и без самого важного в Истории — последовательности. Хотя связи между удаленными случаями и картинами и делаются крепче, но теряются логика, план, предложенный провидением или тем, прозвание чему каждый подставит сам... Однако для автора куда важнее убедить, что прошлое было и что оно определяет и настоящее, и будущее. Наполеон и герцог Веллингтон, Талейран и Фрэнсис Дрейк, древние боги Тор и Виланд. Люди, реальность которых вторглась в череду исторических событий, рожденные человеческой душой божества и литературные герои, появляющиеся лишь на страницах киплинговских книг. Многоцветность верований и многоцветность персонажей — римляне, норманны, саксы, пикты.

Впрочем, Киплинг не был бы самим собой, то есть гением, если бы не желал невозможного — написать обо всем, использовать все мыслимые и немыслимые варианты сюжета, показать каждую вещь во всех ракурсах. В «Книге Джунглей» есть рассказ о белом тюлене, решившем спасти тюлений народ, вывести его в такое место, где бы не могли отыскать люди, десятками и сотнями убивающие беззащитных тварей. И он сделал это, хотя ему пришлось убеждать сородичей и словом и действием, в честном бою заслуживать право отдавать приказы. Рассказ этот имеет особый смысл так же, как значима в нем каждая деталь: и белая тюленья шкура, сделавшаяся красной от пролитой крови, и долгий исход, когда тюлени следуют за своим вожатым с овечьей покорностью.

Казалось бы, ответ дан окончательный и твердый. И вот в «Наградах и феях» рассказывается история о Меоне, одном из вождей южных саксов, реальном или выдуманном. Он отправил подданных креститься, а сам продолжал поклоняться Вотану, ибо старых богов не следует бросать просто так. Он сказал, что окрестится тогда, когда окрестят Падду, тюленя с седой мордой, которого он выкормил. Странная шутка. И странные события происходят дальше.

Лодка, на которой плыли Меон и священники Вильфрид и Эдди, разбилась, несколько дней они просидели на скале, промерзшие и голодные, и вдруг появился Падда, тосковавший по своему хозяину, разыскивавший его. И седой тюлень кормит страждущих, ловит и приносит им рыбу за рыбой, а потом приводит людей на лодке. И Эдди, служитель Божий, прежде считавший тюленя дьявольским отродьем, тронут до глубины души.

Меону снова предлагают принять крещение, и он опять отказывается — он не хочет менять религию только потому, что вымок или испытывает голод. Когда же в конце концов все благополучно завершилось и его окрестили, Меон заметил, как Эдди святой водой украдкой начертал крестик на морде тюленя.

А затем Меон созвал подданных и сказал: «Слушайте, люди! Два дня назад я спросил у нашего епископа, достойно ли мужчины отречься от богов своих предков в час опасности. Наш епископ ответил, что недостойно. Нет, не вопите так, вы ведь все уже христиане! Люди с моей красной боевой ладьи знают, как близки к смерти были мы трое, когда Падда привел их к скале епископа. Вы можете рассказать всем другим, что даже в таком месте и в такое время на самом краю гибели, среди водорослей и холодной воды наш епископ, христианин, посоветовал мне, язычнику, не отступить от богов моих предков. И я говорю вам теперь, что Бог, который печется о том, чтобы каждый человек хранил свою веру, даже если он может, предав ее, спасти душу, такой Бог — истинный Бог. А потому я верую в христианского Бога и в Вильфрида, его епископа, и в Церковь, которой управляет Вильфрид». И еще он сказал слегка насмешливые слова о своих подданных, окрестившихся в надежде получить хороший урожай. Впрочем, их можно и пожалеть. Несколько лет стояла засуха, но лишь крещение завершилось, полил дождь.

Легко заметить, что и автор тоже чуть насмешлив, и он верит в своего бога потому, что это бог его предков. Он поверит искренне и сильно после, когда в его жизни произойдет трагедия — погибнет на Первой мировой войне его сын. Но киплинговское христианство — тема отдельная и непростая, здесь ее касаться не

стоит. Оставлю без толкований и рассказ «Обращение святого Вильфрида». О чем этот рассказ? Следует надеяться, задачу каждый решит сам, тем более Киплинг и подразумевал, что маленькие читатели должны раскинуть собственным умом. Если же книги попали в руки взрослого, что ж. Школа остается школой, пусть самая необычная, и следующим классом, выпускным, должна быть «Книга Джунглей». А это другие истории, другие герои и ритмы, ибо мир огромен и неисчерпаем.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.



## СУМБУР ВМЕСТО ФИЛОСОФИИ?

Русская философия. Словарь. М. «Республика». 1995. 665 стр.

Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М. «Наука». 1995. 624 стр.

**Х**арактер потребных обывателю справок определяет эпоха. В те далекие 70-е, когда каждый уважающий себя гуманитарный (сторож, истопник) и окологуманитарный (ст. н. с. АН СССР) интеллигент считал для себя обязательным иметь и читать «синего» Пастернака, «Поэтику ранневизантийской литературы» и пять томов «Философской энциклопедии», — в ту эпоху изданием справочным (то есть предназначенным для получения практических, полезных в домашнем или научном обиходе сведений) было расписание движения электропоездов с Казанского вокзала. Расписание же рейсов авиакомпании «Люфтганза» было, конечно же, не справочником (поскольку практических сведений не содержало), но поэтическим сборником: Канары, Сейшелы, Тенерифе, Куала-Лумпур — все это звучало как «озеро Чад» с «изысканным жирафом»; а сколько стоит туда добраться бизнес-классом, где удобнее пересаживаться — во Франкфурте или Цюрихе, — это уже «сатира и юмор».

«Философская энциклопедия» — особенно ее поистине культовый «пятый том» — также была не справочным изданием, а поэтической антологией, хотя, конечно, юным и уже не очень поклонникам Дерриды и Подороги невозможно объяснить, отчего так билось сердце при чтении, к примеру, таких строк: «Специфич. характер др.-рус. духовной культуры, выявлявший свое гл. содержание не в «логосе» абстрактной спекуляции, но в жизнестроит. этике «соборности» и в предметно-связанных формах художеств. творчества, дал идеалу С<офии> особую важность».

Не объяснишь ведь фанатам «Алисы», почему белые медведи о земную ось, зайцы траву и фонари желтые сквозь туман...

«Пятый том» с его статьями «София», «Спасение», «Чудо» сам был спасением: от «Что такое друзья народа...», от «Социально-политического и идейного единства», от «Социалистического соревнования»<sup>1</sup>... был чудом, которое «суть прорыв из сверхъестественного в естественное, из мира благодати в мир природы»; был «знаком», «знамением» — «содержат. возвещением, обращенным к человеку», возвещением о некоем идеальном мире, где днем читают Бердяева, вечером смотрят Феллини, а перед сном пьют двойной бурбон со льдом; о мире, населенном сказочными героями: В. С. Соловьевым, Е. Н. и С. Н. Трубецкими, П. А. Флоренским, С. Л. Франком, П. Я. Чаадаевым... Именно «Философская энциклопедия» стала тогда для подавляющего большинства единственной чувственно-доступной формой существования «русской философии»: фиксируя наличие недоступной непосредственному восприятию реальности, издание не ставило себе целью описывать эту реальность в подробностях — так, проплывающие перед кинопутешественником виды Парижа и Лондона не сопровождались бегущей строкой с информацией о времени вылета туда из аэропорта «Шереметьево»

Однако мир, в 70-е лишь просвечивавший «сквозь грубую кору вещества», стал повседневной реальностью; информационный спрос вышел за рамки привычных «как проехать по Москве» от магазина «Ядран» до магазина «Лейпциг», и бывшие кинопутешественники заинтересовались АРЕХ'ом, чартером, звездочками и числом солнечных дней на Кипре и в Коста-Браве. Разница между «русской философией» 70-х и «русской философией» середины 90-х примерно такая же, как меж-

<sup>1</sup> Статьи того же «пятого тома» (справка для юного читателя «НМ». — А. Н.).

ду «Клубом кинопутешественников» и турагентством: Нотр-Дам в лучах заката потерял, конечно, некую долю очарования, переместившись из идеального мира телеэкрана в повседневную суету отпускных забот и сборов, что тем не менее не является убедительным аргументом против прогулок по набережной Сены.

Энциклопедическое издание исторического характера всегда находится в соответствии с уровнем и качеством наличных исторических знаний; это своего рода аудиторская проверка активов и пассивов. Однако в условиях кратковременного пока существования рынка аудиторских услуг фирм с устойчивой репутацией еще не возникло, и всевозможные балансовые отчеты не внушают безусловного доверия; к тому же «история русской философии» — предприятие хотя и сравнительно молодое, но имеющее крайне запутанные, многочисленные внешние и внутренние связи со всевозможными смежниками, дочерними фирмами и филиалами.

В отличие от, скажем, «истории русской литературы», в «истории русской философии» не было своего С. А. Венгерова с его материалами к словарю и знаменитой картотекой (философы вообще обладают выраженной идиосинкразией ко всяким «карточкам» и «библиографиям»: так, попытавшийся повторить дело Венгерова в истории философии Н. Я. Колубовский даже не удостоился персональной статьи в «республиканском» словаре); не было у русских философов и беспристрастных биографов (за исключением собирателя «материалов к биографии В. С. Соловьева» С. М. Лукьянова, чей труд также оказался проигнорирован в пристатейной к «Соловьеву» библиографии в том же издании); существующие, хотя и весьма немногочисленные, жизнеописания философов обыкновенно строятся по известным канонам житийной литературы или ЖЗЛ; не было ни полных собраний, ни комментированных изданий, ни сборников «воспоминаний современников» и т. д. С такой основой затевать сколько-нибудь ответственное справочное издание (даже со скромным подзаголовком «Словарь» или «Малый энциклопедический словарь») — дело, требующее от участников в равной мере мужества, легкомыслия и молодецкой удали.

Первое, что сразу же обращает на себя внимание, — отсутствие в обоих изданиях не то что какой-либо концепции, но вообще какой-либо «общей идеи»; впрочем, издатели обоих словарей этого особенно и не скрывают: в словаре «республиканском» (далее — С1), очевидно в силу привычки «работать с письмами трудящихся», предлагается «писать в издательство о замеченных недостатках» (слава Богу, «трудящиеся» заняты делами более практическими — а то ведь пришлось бы «таскать — не перетаскать»); издатели словаря «научного» (далее — С2) хотя и пытаются подвести — *no less oblige!* — «базис под оазис», толкуя про «аналитическую» и «эйдетическую» модели, однако в итоге чистосердечно признаются, что при формировании словника «руководствовались содержательной целесообразностью, нередко компромиссными решениями». Не будем, однако, бранить за это уважаемых коллег: чеховский профессор ведь не виноват в том, что не имел общей идеи, поскольку таковая в его времена вообще отсутствовала — точно так же, как нет сегодня «общей идеи» в «истории русской философии», которую, с одной стороны, при желании можно скукожить до одного В. С. Соловьева, с другой — растянуть до последнего газетного фельетониста. Посему дискутировать вокруг словника, как говорится, контрпродуктивно: коль принято числить по «философскому ведомству» Гоголя и Достоевского, то пусть будут, раз это надо для национальной гордости; но оттого, что в С1 присутствуют Тютчев и Фет, он, конечно, не стал лучше, чем С2, в коем данные персоналии отсутствуют: в любом случае вряд ли отыщется чудак, пожелавший навести справки (о двух последних) именно в философском словаре. Но вот появление в С1 А. И. Цветаевой при серьезном отношении к делу создает опасный прецедент: если для попадания в пантеон «русских философов» достаточно послушать лекции по философии и переписываться с философами, то придется включать в словник десятки очаровательных особ, успевших за время пребывания на Высших женских курсах не раз обменяться письмами и даже пройти под руку со своими преподавателями по философии; что же касается мыслей об «относительности любого знания перед лицом бесконечности», то, как справедливо было замечено, «женщина тоже человек».

К сожалению, курьезы избыточности не в состоянии компенсировать отсутствия статей о тех, о ком следует и очень хочется получить сведения исключительно из словарей по истории русской философии, например: Александр Владиславович Кубицкий — философ неокантианской ориентации, до 1911 года — приват-доцент Московского университета по кафедре философии, затем — преподаватель Уни-

верситета имени А. Л. Шанявского, в 30-е годы впервые выполнивший полный перевод «Метафизики» Аристотеля; Борис Александрович Фохт, также неокантианец, профессор (!) Московского университета; Николай Васильевич Самсонов, доцент Московского университета (об их существовании можно узнать лишь из именного указателя, составленного А. В. Лавровым к мемуарной трилогии А. Белого; философы определенно не любят еще и указатели<sup>2</sup>). Поскольку все они, очевидно, удовлетворяют критерию «философия», их отсутствие в обоих изданиях можно объяснить либо несоответствием их критерию «русскости», либо слабой заинтересованностью составителей в собственно истории русской философии.

Но и за это не станем слишком бранить: действительно, академическая философия, к тому же еще и неокантианская, — материя скучная, неоригинальная и совершенно несамобытная. Стоит ли в ней копаться, когда есть в истории русской философии в высшей степени оригинальные и национальные мыслители — такие, например, как (С1):

**ЛЕНИН** (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич, чей вклад в философию состоит в том, что он в послеоктябрьский период выдвинул идею «симфонии», стремился «найти... некоторую среднюю, синтетическую позицию», а в работе «О значении воинствующего материализма» «набросал программу деятельности философов-марксистов», состоящую в «союзе с некоммунистами, с учеными-естествоиспытателями...» — и скромная дата в скобочках: 1922.

Нет уж, товарищи: тот, кто (не под вашим ли бдительным надзором?) все эти работы по десятку раз конспектировал, век не забудет ни про «поповщину», ни про «диктатуру пролетариата», которая «красной нитью проходит»! И куда же это все у вас подевалось? Да за такого ЛЕНИНА (наст. фам. Ульянов) лететь бы нам всем из аудитории (при удачном раскладе, конечно) прямехонько в ряды, да с соответствующей сопроводительной запиской, чтоб разъяснил победительнее, что такое правый уклон и как с ним боролись. Исправим попутно и одну фактическую неточность: «резко критическая оценка» Л. по отношению к религиозным мыслителям «достигает своего апогея» не в «острой публицистике», но в соответствующем распоряжении об их высылке за границу в том же самом 1922 году; во всяком случае, распоряжение прозвучало куда как убедительнее для оппонентов, нежели ленинская статья.

**СТАЛИН** (наст. фам. Джугашвили) Иосиф Виссарионович, «создатель особой, расходящейся с ортодоксальным марксизмом и ленинизмом концепции, к-рая позже получила название сталинизма»; что это за концепция, автор соответствующей статьи определить не берется, поскольку «в науке сталинизм еще не получил адекватной оценки» и «до сих пор остается по преимуществу объектом политико-идеологических спекуляций». Ну какая еще надобна наука для адекватной оценки? Нет, практические люди писали в С1: пусть оно и неэстетично, зато надежно и, главное, не подведет ни в какой ситуации: оценки нет, спекулянты поименно не названы. «Вы, гражданин, что имели в виду?» — «То-то и то-то; а вы что подумали?» Авторам С2 придется куда как сложнее: здесь имеется статья «Подавление философии в СССР», из которой безо всякой науки все становится ясно, понятно и адекватно.

К сожалению, идеологической обработке в «духе времени» (который каждый автор, разумеется, чувствует по-своему) подверглись в обоих словарях многие персонажи: так, о «христианском социализме» С. Н. Булгакова упоминается вскользь; нет никаких упоминаний о поэтизации политического террора организаторами «Христианского Братства Борьбы» В. П. Свенцицким и В. Ф. Эрном, а поскольку и о самом «Братстве» нет статьи (в обоих изданиях), то и выходит, что никакого «бомбизма» в истории русской религиозной философии нет вовсе. Оно бы хорошо, если б так и было...

Впрочем, хуже другое: составителям обоих словарей не удалось выдержать основной принцип любого справочного издания — предоставить пользователю пусть и неполный, но зато заранее определенный и, главное, единообразный, унифицированный набор информации. В этом, собственно, и заключается работа членов редколлегии, рискнувших взяться за издание словарей, коих в С1 значится четверо, а в С2 — даже шестеро. Пользователь вправе знать, какой, пусть минимальный, на-

<sup>2</sup> Можно было бы рекомендовать также подготовленное Ю. Н. Сухаревым издание: «Русская философия: философия как специальность в России». Вып. 1-2. М. ИНИОН РАН, 1992, — да вот не покажется ли оно уж слишком специальным?



бор сведений он непременно может получить из данного справочного издания, — только в таком случае оно будет работать в объявленном качестве, в противном же оно превращается в беспорядочный набор более или менее удачных, коротких и не очень, монографий различных авторов. Особенно это относится к творческим биографиям, в которых нередко существует целый ряд фактографических точек, как-то: время, место и тема магистерской и докторской диссертаций; служба и должность в том или ином учебном заведении; заграничные научные командировки и т. д. Без этого обязательного набора сведений мы получим, продолжая уже употребленное сравнение, некое расписание, в котором для одних поездов указывается время отправления, для других — время в пути, для третьих — цена билета, для четвертых — тип вагона. Автору статьи «С. Н. Булгаков» (С2), может быть, без интереса, что его герой преподавал в Московском университете и Коммерческом институте; однако, поскольку в большинстве статей подобная информация присутствует, из вроде бы безобидного пропуска законно делается вывод, что в университете Булгаков лекций не читал и в 1911 году в отставку не подавал (об отставке, кстати, не сообщает и аналогичная статья в С1). В итоге два словаря есть, а внятной биографии С. Н. Булгакова — нет. Между тем биография С. Н. Булгакова никакой загадки не составляет, она неоднократно излагалась во вполне доступных изданиях и наверняка хорошо известна членам редколлегии. Что же говорить о философах, чья творческая биография требует дополнительных разысканий?

Придется признать некий парадокс: несмотря на значительное, сравнительно с «Философской энциклопедией», расширение словника и сообщаемых сведений, нынешние издания в определенном смысле шаг назад от «пятого тома». Дело в том, что «Энциклопедия», несмотря на всю свою высокую поэзию, все же сообщала то, что было известно исторической науке того времени; между тем за минувшие шесть-семь лет в научный и общекультурный обиход введен обширнейший пласт самых разнообразных материалов, относящихся к истории русской философии, и мы имеем полное право требовать, чтобы они были хоть как-то учтены авторами статей — в тексте ли, в пристатейной ли библиографии. Однако (главным образом это относится к С1) этого не произошло. Создается впечатление, что за все эти годы не вышло ни одного тома альманаха «Минувшее» (библиография к статье «Вехи» в С1 не содержит упоминания материалов, опубликованных в вып. 11), ни журнала «Начала» (в статье «Евразийство», С1, нет сведений о специальном номере, 1992, № 4); не печатались материалы по истории русской философии и в журнале «Новый мир» (в статье «Гершензон», в обоих словарях, не упоминается принципиальная переписка с В. В. Розановым; между тем в С1 «Переписке из двух углов» посвящена отдельная статья — за что же так Василия Васильевича?)<sup>3</sup>. Нежелание авторов копаться во всякого рода «материалах к биографии» и эпистолярных приводит их к неточностям и ошибкам, которых вполне можно было бы избежать при минимальной заинтересованности тем, что происходит за пределами «Вопросов философии» и «Ученых записок Московского университета»: так, в 70-е годы действительно мало что было опубликовано о В. Ф. Эрне, а фраза о его «шовинистической позиции» во время русско-германской войны находила свои идеологические объяснения. Ныне же, когда опубликованы его университетские документы («Начала», 1993, № 3), не годится производить его в профессоры<sup>4</sup> (С1 и С2, один автор) и умалчивать о его научной командировке и жизни в Италии (откуда и возникли его диссертационные работы о Розмини и Джоберти), о завязавшейся там же дружбе с В. И. Ивановым и, толкуя о развитии идей Эрна в творчестве М. Фуко и (прости, Господи) Ж. Дерриды, так и не упомянуть громовой статьи «От Канта к Круппу». В 70-е годы для биографии Е. Н. Трубецкого достаточно было неточной справки: «преподавал в Москве (с 1905)»; но сегодня не только недопустимо повторять эту неточную дату (С2) и недостаточно ее только уточнить (в С1 верно: 1906), но и следовало бы указать дату отставки (1911) и не делать из князя ренегата, якобы преподававшего до 1917 года, после того как его

<sup>3</sup> Отсутствие публикаций по истории философии в пристатейной библиографии можно при желании объяснить нехваткой издательской площади, необходимостью жертвовать второстепенным ради первостепенного — если бы не обилие ссылок на проходные, совершенно непринципиальные статьи никому не известных авторов.

<sup>4</sup> О чем, впрочем, можно было бы догадаться хотя бы из того известного автору статьи факта, что Эрн не успел защитить докторскую диссертацию. А с производством в профессору в Императорских университетах было строго.

коллеги покинули университет по принципиальному поводу. Заметим попутно, что имущественное право Российской империи не предполагало наследование кафедр, и Е. Н. Трубецкой занял кафедру энциклопедии права и истории философии права<sup>5</sup>, на коей его брат, С. Н. Трубецкой, никогда не числился (все — С2).

Не будем больше утомлять читателя скрупулезным перечнем тех ошибок и неточностей, недопустимых умолчаний и невозможных в реальности фактов, библиографических казусов<sup>6</sup>, которые — по авторской безответственности, редакционному благодушию или корректорской рассеянности — то и дело встречаются на страницах обоих словарей. И все же сравнение следует заключить в пользу С2 — как труда более продуманного, более соответствующего задаче справочного издания, не в последнюю очередь благодаря более компактному, если можно так выразиться, пониманию истории русской философии: составители не пытались расширять словник за счет сомнительных (с точки зрения соответствия предмету) персоналий и понятий, зато не пожалели места для статей, действительно касающихся особых (самообытных, если будет угодно) форм русской философии. Такие работы, как «Библиотека Религиозно-философская» (пристатейная библиография включает полный — 39 выпусков — список изданий «Библиотеки»), «Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге — Петрограде (1907 — 1917)», «Религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева в Москве», «Журналы философские в России», и немало иных-прочих являют собой пример того, как может выглядеть энциклопедический словарь русской философии при профессиональном и ответственном отношении к поставленной задаче. Составители С1, очевидно стремясь представить богатство русской философии, явно перегрузили словник, введя в него, к примеру, «основные работы» по русской философии: помимо того, что набор попавших в словарь работ имеет довольно-таки случайный характер (так, из работ В. С. Соловьева есть «Кризис западной философии» и «Оправдание добра», но нет «Критики отвлеченных начал»), пересказ философских сочинений «своими словами» вряд ли является необходимой составляющей справочного издания; наличие статьи «Оптина пустынь» особой ценности словарю не придает, зато делает наглядным отсутствие «Зосимовой пустыни», сыгравшей роль аналога Оптиной для русской философии начала XX века, и т. д.

В заключение помечтаем. Вот если бы издатели, редакторы и авторы обоих словарей проявили на деле столь свойственную русской философии соборность, распределили бы статьи наиболее адекватным образом, после чего без особого спеха подготовили бы новое издание, в котором учли бы все то, что за последние годы было все-таки в истории русской философии сделано, и сделано неплохо, — тогда, может быть, появился бы на свет «Большой» или «Малый», но действительно «энциклопедический» словарь «Русская философия». И тогда зазвучала бы симфония.

Александр НОСОВ.



## СПЛЕТЕНИЯ БЕЗ СТЕБЛЯ

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М. Интрада — ИНИОН. 1996. 319 стр.

**К**онсерватизм, который хочется назвать прирожденным, сильно мешает старшему поколению с доверием отнестись к критическим текстам, представляющим современные методологии, в особенности западные. Он мешает даже филологам, о неспециалистах же что и говорить. Им такие тексты, должно быть, кажутся написанными на незнакомом языке, хотя и привычными буквами. Вроде бы ясно,

<sup>5</sup> И об этом нетрудно было догадаться — хотя бы из упомянутого в пристатейной библиографии издания лекций Е. Н. Трубецкого «Энциклопедия права». С подобного рода неточностями мы будем сталкиваться до тех пор, пока будем считать возможным писать историю русской философии в отрыве от конкретных реалий русской культурной (общественной, издательской и т. д.) жизни.

<sup>6</sup> Один, наиболее вопиющий, все же назовем (С2): в библиографии к статье «Гершензон», в разделах «Лит.» и «Соч.», одно и то же издание именуется сначала — «Очерки прошлого», потом — «Образы прошлого». А ведь от издательства «Наука» работало целых три корректора!

о чем должно быть сообщение, однако смысл, пусть приблизительный, не улавливается. Так, очутившись в Стамбуле или Будапеште, раздражаешься из-за собственной тупости, когда не прочтешь вокзальное панно или указатель на перекрестке.

Но там-то обнаруживаешь спасительный английский перевод. Увы, в работах, репрезентативных для новейшей критики, не предусмотрены подобные подсказки для профанов. Оттого в глазах большинства эти работы остаются сезамом, который не открывается, сколько ни приказывай. Нет ключа. Непонятен сам язык, которым оперируют авторы, приверженные сегодняшним веяниям.

Он, этот язык, словно щеголяет своим сходством с лексиконом, прижившимся в справочниках по компьютерным системам. И когда при помощи такого словаря пробуют описывать явления литературы, настораживаются не только архаисты. Пожалуй, у каждого читателя из непосвященных возникнет инстинкт противодействия, если в статье, числящейся по разряду литературной критики, ему то и дело начнут попадаться то «миметическая референциальность», то «тстабилизирующий метадискурс». Полноте, о чем с нами говорят, к чему относятся все эти громоздящиеся друг на друга «ризомы», «аукторы» и «актанты»? Неужели к искусству?

С подозрением, что перед нами какая-то мистификация, а то и провокация, непросто сладить. Даже искушенному читателю, который откроет переведенных теперь у нас Лиотара или Делёза, почти наверняка не избежать некоторой растерянности. Недоумение не то же самое, что предвзятость, и вообще дело не в оценках, которые в итоге могут быть и самыми лестными. Требуется, однако, немалое усилие, чтобы убедить себя: это и вправду литературоведение.

Не точнее ли сказать по-другому: идеология, — вкладывая в это слово очень широкое и отнюдь не одиозное содержание. Или философия культуры. Или лингвистика, семиотика, вообще гуманитарное знание как некая целостность. Конечно, этой целостностью обнимается и изучение литературы, так что теоретически не должно возникать ни тени сомнения, что блистательные построения того же Делёза, или Поля де Мана, или Юлии Кристевой принадлежат филологии, тем более что материалом служат художественные тексты. Тем не менее сомнение остается. Не из-за того ли, что литература, в чем быстро убеждаешься, нужна только как сырье, как обоснование и аргумент для умозрительных теорий, которыми превыше всего дорожит любой из названных авторов и другие, из числа их единомышленников? А значит, не так уж она и обязательна, ведь в качестве сырья подошли бы и тексты, к литературе не относящиеся. Скажем, социальная психология способна предоставить ничуть не менее веские аргументы приверженцам доктрин, лишь по инерции называемых эстетическими.

Незаменимость, уникальность именно художественного кода оказываются по меньшей мере второстепенным обстоятельством. Выходит, что концепция, как будто создававшаяся для того, чтобы предложить толкование литературных фактов, на самом деле от них отдалается, изолируется и начинает жить собственной жизнью, внося еще одно дополнение в «постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс».

Тяжеловесный этот, но вполне точный термин останавливает на себе внимание, так как его, в сущности, нечем заменить. Потребность в лингвистических монстрах для обозначения того, что происходит на просторах эстетики, — мета современности. Прежде удавалось без особых усилий обозначить предмет занятий и суть подходов, существующих в этой области. Находились нормальные слова: органическая критика, социологическая, импрессионистская... Потому что сама критика не была неким расплывчатым понятием, за которым может скрываться многое, но только не попытка докопаться до смысла произведения, который прежние критики твердо считали не фикцией, но чем-то реальным и доступным объяснению.

Пусть их объяснения были неточными, неумелыми, даже топорными, все равно никто бы не заключил, что литература им, называя вещи своими именами, попросту неинтересна, а прочтение книги как способ ее интерпретации они находят делом пустым и ненужным. Теперь критика как интерпретация — в обыденном, зато, может быть, самом точном значении слова, — во всяком случае, старомодна. Ее осыпают градом упреков, ее готовы облить презрением. Она стала объектом даже не полемики, а травестики, и ее спешат объявить обветшалым реквизитом, подобно тому как лет тридцать назад торопливо сооружали — выяснилось, что не понадобившиеся, — музейные витрины для таких устаревших ве-



щей, как литературный персонаж, иллюзия сходства с жизнью или «ересь психологизма».

На место археологических раритетов, среди которых ныне оказываются даже положения русского формализма или «новой критики» англичан и американцев, приходит и впрямь целый «комплекс» однородных понятий, рефлексия философского свойства, распространенная и на искусство. Крайне затруднительно ее воссоздавать, тем более с непривычки. Слова, вызывающие ломоту в висках, все равно кажутся единственно подходящими.

Составители справочника, подготовленного Институтом научной информации по общественным наукам, сумели описать «комплекс» без упрощений и по большей части внятно, решив задачу не из шуточных. Указана отправная точка большинства теорий, ставших столь авторитетными за последние годы, — «текстуальность», воистину магическая категория, что-то родственное сказочному посоху, прикосновение которого творит чудеса. Не так ли и здесь? С любыми онтологическими сложностями можно без больших усилий справиться, согласившись, что мир напрасно считают некой данностью (или театром, как полагал один известный поэт). Мир — это текст и ничего более, так как ничто не может существовать «экстралингвистически» — вне рамок текста, не исключительно как феномен языка.

Дальше все очень логично и стройно. Отменяются подозрительная «метафизика», скомпрометировавшая себя «интерпретация» и совсем уж мифическая «реальность». Отбрасываются такие эфемерности, как «субъект», «автор» и даже «структура», обладающая своего рода унифицированностью и завершенностью. Это все лишь мнимости, если не хуже — жажда власти, скрываемая якобы бескорыстными стремлениями установить какой-то основной или преобладающий смысл. На проверку мы всегда имеем дело со множеством смыслов, причем ни один из них не может стать предпочтительным. «Центрация», непререкаемость — со всем этим надлежит покончить, обнаруживая за иллюзорным единообразием неизбежную множественность текстов, которые взаимодействуют помимо чьей-то воли и желания.

Единственное, чему «комплекс», кажется, готов придать статус закона, — это непремный релятивизм отношений и внутри текста, и между текстами, число которых бесконечно прибывает. Господствуют неопределенность и неуверенность, сменившие смехотворную веру в то, что можно построить универсальную систему философии ли, эстетики, морали — да чего угодно. Мечты о «всеобщем тексте», или «культурном интертексте», охватывающем едва ли не все под солнцем, тем не менее сохраняются, но это будет никак не монумент, подавляющий конечными истинами. Ни в коем случае: грядущий интертекст явит собой образец относительности, отличаясь смысловой неясностью, открытостью для самых разнообразных прочтений и готовностью вбирать в себя новые тексты, которые способны изменить его до неузнаваемости.

При первом знакомстве такие постулаты кого-то ошеломляют, а кого-то и завораживают — хотя бы своим демократизмом, теоретически им, несомненно, присущим. Да и не только теоретически. Мишель Фуко, один из главных архитекторов «комплекса», потратил множество усилий, чтобы ослабить давление «эпистемы», то есть условной культурной нормы, бессознательно усваиваемой большинством, и возвеличить тех, кто в «эпистему» не вписывается, становясь отверженным, как Рембо, безумцем, как Гёльдерлин или Ницше. Жак Деррида, первый авторитет сегодняшней западной критики, не устает отвергать любые претензии на окончательность прочтений и суждений, находя их несовместимыми с истинной природой жизни текста. Похоже, Бахтиным как мыслителем, отказывавшимся трактовать события культуры вне ситуации диалога, готовы восхищаться все, принадлежащие к «комплексу», сколь бы своеобразно они ни понимали русского философа.

Но все-таки оценить хочется не установки, а результаты, и вот тут некоторый скепсис, пожалуй, примешается даже к самому пылкому энтузиазму. Справочник описывает методологию, а желающим познать ее плоды адресована библиография — очень большая: почти шестьсот названий. Выбрав из нее что-нибудь наиболее знаменитое и раскрыв книжку, читатель, можно не сомневаться, испытает сложные чувства. Включая и разочарование из-за того, что обещано ему, кажется, было намного больше, чем он получил.

В самом деле, ведь такими аргументированными выглядели общие посылки, предвещавшие преодоление догматизма во имя целительного «методологического сомнения», которое позволит совсем по-новому воспринять художественные текс-



ты, включая и хрестоматийные. А в итоге? В итоге, рассуждая о «логике дополненности», посредством которой исторические реалии становятся не более чем компонентами текста, Деррида не обнаруживает в «Исповеди» Руссо, собственно, ничего, помимо «примеров сексуального фетишизма», словно книга и писалась единственно с целью избавиться от травмирующих воспоминаний, оставленных отношениями с матерью. Программе освобождения критики от идеологического диктата как не посочувствовать, а нам особенно, но неужели делать это надо лишь для того, чтобы «Дон Кихот» предстал как «риторические поиски лингвистического авторитета», словно все прочее несущественно? А как поверить, что в «Красном и черном» всего важнее «риторика желания», трансформирующая традиционную романтическую тему суверенности индивидуума? Что «Посторонний» Камю интересен происходящим в тексте смещением с акториального регистра на аукториальный (проще сказать — несовпадающими функциями героя как действующего лица и как повествователя), тогда как проблематика абсурда — лишь чужеродный довод, что бы по данному поводу ни думал сам писатель?

Приведенные примеры почерпнуты из разных авторов — Ж. Линтвельта, Р. Сальдивара и других, однако характеризуют не столько индивидуальности критиков, сколько «комплекс» как целое. Пока с его помощью интерпретируют западные художественные тексты новейшего периода, сохраняется впечатление эффективности таких методов, да и неудивительно: «комплекс» все энергичнее подчиняет себе текущую словесность, меняя привычные коннотации самого понятия «литература». Но контакты с классикой становятся тяжелым испытанием, поскольку она сопротивляется подобным перекодировкам и заставляет того же Сальдивара, завершающего деконструкцию «Моби Дика», уточнить, что он не посягал на имеющиеся «структуры интерпретации», а «расчленял» их единственно с целью продемонстрировать, что ни одна, как и его собственная, не может считаться окончательным прочтением. Иначе говоря, пожонглировав изысканнейшими приемами, критик увенчивает свой разбор тривиальностью из тех, какими изобилует обывательская мудрость: сколько голов — столько умов.

Сомнение в том, что нам продемонстрировали действительно современный и перспективный подход, становится, во всяком случае, допустимым. А консерватизм мало сказать понятным — искусаительным. Почти неодолимым.

Однако искушению не следует поддаваться. А уж тем более нельзя торопиться с выводами, предшествующими основательному знакомству. Меж тем они-то, наспех сделанные, как раз и в ходу, не суть важно — восторженные или уничижительные. Первых теперь намного больше, но грустно, что выбирать, как всегда, приходится между панегириками, увенчавшими беглый просмотр двух-трех наугад выхваченных страниц, и шельмованием, которое подстегивается невежеством.

Эта печальная ситуация, видимо, была неизбежной. Мстит за себя многие годы продержавшийся у нас полузапрет даже на такую литературоведческую классику, как ранний Ролан Барт, не говоря о более радикальных тенденциях. Что гадать, правда ли мы так уж нелюбопытны, раз не было реальной возможности разобраться в теориях, которыми, без преувеличения, оказался заинтригован весь филологический мир.

Обыкновенным делом почитались ярлыки взамен дискуссий. Естественно, что потом пришла пора рабских имитаций взамен осмысления, не исключаящего и полемики.

Понадобится еще не один труд вроде инионовской маленькой энциклопедии, чтобы как-то выправить эти вывихи: и неприятие с порога, отдающее ретроградством, и безоглядное восхищение, за которым не стоит ничего, кроме интеллектуальной моды. Впрочем, с нападками на постструктурализм у нас теперь почти покончено, они непрестижны, их легко выдать за реликт советского менталитета, порассуждав об укорененности «репрессивных практик». А вот для предчувствия откровений, которыми способна одарить пересаженная на отечественную почву постструктуралистская методология, для этих восторженных ожиданий, превосходящих всякую меру, созданы все условия. И ожидания все время на виду. Достаточно заглянуть в критические отделы журналов, желающих рассматривать себя в качестве светочей просвещения, или посетить любую из многочисленных конференций, в названии которых — дань времени! — уж обязательно отыщется или «гомодиегетика», или «нарративная типология», или «шизофренический дискурс» и еще ужасно много «вумного», как говаривал о себе молодой Чехов, когда ему приходилось писать не в «Осколки», а в «Новое время».

Со временем, наверное, страсть к «вумному» ослабнет, взгляд на постструктурализм станет более объективным и его перестанут воспринимать как универсальную систему мысли, которой доступно буквально все. И которая к тому же обладает ну просто абсолютным соответствием всему духу культуры кончающегося столетия.

На Западе звездный час этой школы, в сущности, уже на исходе. Догматически рассуждая, можно назвать появившийся у нас справочник слегка запоздавшим да и не вполне отвечающим своему заглавию. Разумеется, в нем представлено не все современное зарубежное литературоведение. Но, во-первых, обещан второй выпуск, где будет, в частности, и «новый историзм», уверенно выходящий на авансцену, которую, очевидно, вскоре покинут Деррида и его последователи. А главное, в нашей ситуации важно располагать объективной и достоверной картиной как раз того направления, которое было доминирующим в философии культуры несколько десятилетий на Западе, а теперь притязает на ту же роль и в России. Бог весть, приобретет ли оно эту роль. Но прежде чем волноваться или восхищаться по поводу вероятных перемен, хорошо бы с необходимой четкостью представлять себе, что именно они собой ознаменуют. Овладеть языком, который они сулят сделать обиходным и для русской критики. Научиться читать этот шифр, который, в общем-то, не так уж и сложен.

Кстати, таинственная «ризома» позаимствована Делёзом и Гваттари из ботаники: так называется корневище, не обладающее четко выраженным подземным стеблем. Термин появился в споре со структуралистами, которые все-таки дорожили некой выстроенностью, упорядоченностью, целенаправленностью, навлекая на себя подозрения в приверженности архаичному «монизму» и чуть ли не в тоталитарном образе мыслей. На самом деле, писали Делёз и Гваттари, культура, включая художественную, «дивиргентна», это непрерывно возникающие и отмирающие отростки, побеги, сплетения, своего рода лабиринт, в котором бесполезно искать центральный коридор — его просто не существует. А существует лишь «недифференцированная целостность», как это положение определяет постструктуралистский лексикон.

Пожалуй, метафора хороша и для характеристики самого постструктурализма. Там ведь тоже все сплошь «дивиргенции», а центр, некий объединяющий принцип фактически отсутствует, ибо не считать же таким принципом идею недифференцированности, неопределенности, относительности и шаткости всего, принадлежащего к кругу культуры. Споры нет, подобное восприятие очень в духе времени, но дух времени — величина крайне нестабильная, почти что эфемерная, тогда как теоретические амбиции постструктурализма не только высоки, а исключительно упорны. Сомнительно, чтобы они оправдались, но из сплетений, пусть лишенных центрального стебля, все-таки должно возникнуть поле, на котором лишь преубежденные не заметят ничего, кроме дикой травы.

Алексей ЗВЕРЕВ.



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ПОЭЗИЯ КАК СОСТОЯНИЕ

*Из стихов и заметок Ивана Соловьева*

**И**ван Игоревич Соловьев (1944 — 1989) — философ, эссеист, теоретик литературы и искусства, не успевший при жизни опубликовать ни одного из своих многочисленных сочинений. Жил в Москве, преподавал в средней школе русский язык и литературу. Посмертно вышло собрание его заметок о любви («Размышления Ивана Соловьева об Эросе». — «Человек», 1991, № 1, стр. 195 — 212; там же — краткие биографические сведения об авторе). Подготовлен к печати и ждет выхода его трактат «Троеверие и горчичное зерно» — о судьбах католичества в России.

В этой публикации Иван Соловьев предстает не в самом характерном для него качестве стихотворца. За всю свою жизнь Иван Соловьев написал всего двенадцать коротких стихотворений, в общей сложности не больше ста строк. Заранее должен предупредить читателя — у Ивана Соловьева нет своего голоса в поэзии. В то же время нельзя найти у него и явных перепевов каких-то других поэтов, пародийных заимствований, обнаженных цитат, столь модных в эпоху концептуализма (70 — 80-е годы). Скорее, это «никакая» поэзия, «нулевой градус письма». Стихотворения Ивана Соловьева похожи сразу на стихи очень многих поэтов — и в то же время не похожи друг на друга, среди них невозможно выделить единого стилевого принципа, авторской индивидуальности. Они похожи на поэзию вообще, хотя настоящей поэзией и не являются. Можно было бы сказать, что Иван Соловьев просто не сложился как поэт, если бы он и в самом деле ставил перед собой такую задачу. Но скорее всего он создавал симулякры стихов, некие усредненные подобию того, что представляет собой поэзия в целом. Сам Соловьев определил такой род творчества: «стихи без автора и смысла, без адресата и души». Быть может, эти опыты были продолжением или иллюстрацией его теоретической работы — сейчас уже трудно об этом судить. Никто не знал, что он пишет стихи, никто не слышал их в его исполнении. Вообще он довольно тщательно следил за порядком в своем архиве, но стихи были найдены на разрозненных, небрежно оборванных листках бумаги, и если бы не следы правки, можно было бы подумать, что это чужие стихи.

Иван Соловьев не предназначал своих стихотворных опытов для печати, и я не решился бы предложить их вниманию читателя, если бы Иван Соловьев не оказался предтечей некоторых важных тенденций в поэзии конца XX века. Отшумели споры между метареалистами, концептуалистами, презенталистами и другими течениями 70-х — начала 90-х годов — и вот выясняется, что поэзия пошла не по пути высокого или низкого стиля, не по пути мифа или пародии, метаболы или концепта, а по пути среднего стиля, причем не изящно-среднего, выразительно-среднего, а именно усредненного, посредственного. То, что теперь называют «неавторскими» стихами, находит в Иване Соловьеве прямого предшественника; особенно если учесть, что в его бумагах есть и несколько теоретических заметок, позволяющих обосновать или объяснить такой род творчества. Эти размышления органично вписываются в контекст современной поэзии, во всяком случае, той ее части, которая не столько создает новые поэтические произведения, сколько воссоздает общие, «ничьи» поэтические состояния. Так, в заметке № 4 можно найти косвенные отсылки к жанру «кричалок», созданному [на русской почве] Дмитрием Приговым, а заметку № 5 можно соотнести с теми стихами, которые критик Вячеслав Курицын сочиняет в соавторстве с великими поэтами прошлого. Стихи-каталоги Льва Рубинштейна, сочинения Тимура Кибирова, в которых чужая речь приведена к общему знаменателю со своей, — все, что так раздражает ценителей авторской поэзии, может быть если не оправдано, то отчасти объяснено теорией поэтического состояния. Как писал И. Соловьев, «в стихах не должно быть ни

оригинальности, ни подражательства, потому что само это различение своего и чужого оказывается несостоятельным, коль скоро речь идет о состоянии поэзии, а не о поэтических действиях тех или иных лиц». Вслед за публикацией стихов мы приводим соловьевские заметки по рукописям, хранящимся в архиве автора этих строк.

## СТИХИ

\* \*  
\*

Стихи без автора и смысла,  
Без адресата и души,  
Как над пустыней коромысло,  
Висят — хоть вовсе не пиши.

Их не запомнить и вовек,  
Но сочиняют каждый день —  
Таков безумный человек  
И промыслительная лень.

И только в слабых, бедных их  
Мгновенья голос я постиг,  
То шепот нашего ума

*(не закончено)*

## Цикада

Цикада громкая в саду.  
Какое странное уменье —  
Твердить свое без промедленья,  
Без утомленья, без сомненья,  
Без божества, без вдохновенья...  
Не пригодится ли в аду?

## Голос

Мне голос был. Он звал утешно...

*А. Ахматова.*

...И если я чего-то хочу,  
То это — вернуться в родную землю,

Прижаться к ней, сказать Ильичу:  
Тебя и дело твое приемлю.

Слез не роняя, зажечь свечу  
И помянуть Степана, Емелю,

Долгих лет пожелать палачу,  
В плечах сравнявшему чужь и мерю.

Души своей возвещая потерю,  
Еще не кричу, но уже шепчу.

Роптать на Бога, завидовать зверю  
Еще не могу, но уже хочу.

И если во что-то еще я верю,  
То щит свой к храму приколочу.



\* \*  
\*

Ночь, Россия, я и Пушкин.  
Я и Пушкин... Погоди.  
Леса темные верхушки  
Только видны впереди.

Только слышны звоны, звоны,  
Только горький дым в ноздрях...  
Пушкин. Белые колонны.  
И России тонкий прах.

### Умиление

Ползком и писком было дитя:  
Качливым богом колыбели,  
Мазком задумчивой пастели,  
Отливкою того дутья,  
Каким играют на свирели.

### Юность 1

Я хотел говорить прямо,  
Но не мог говорить просто,  
И была моя жизнь — яма,  
И душа в ней — вроде компоста.

### Юность 2

Понюхал потный свой носок  
И выстрелил себе в висок.

### На прочтение русской народной сказки

Эта горестная весть  
Не могла нас не потрясть:  
Победила лисья лесть,  
Колобок попался в пасть.

Тех уже совсем не счесть,  
Кто над книгой плачет всласть  
И выдумывает месть,  
Как лисе навек пропасть.

### Эй-нштейниана

Кто более велик: Эйнштейн иль Эйзенштейн?  
Когда бы встретились они, слились духовно, —  
Какой бы гений воспарил над нами!  
А ведь уже сошлись их имена.  
Когда-нибудь и души их сольются.

### Отголоски

1. Я буду плыть и скучать, плыть и скучать, плыть и скучать...
2. Жизнь похожа на... похожа на... похожа на...
3. Не видно ни зги, нигде ни души, некуда торопиться, не с кем перемолвиться.
4. Опадают листья... наряд, сад, подряд, листопад.
5. Не видно себя, и зеркало лжет, и душа молчит, и плачу не я.
6. Кто плачет, тот платит. Я плачу, но не плачу.
7. Съезжаются гости на дачу.

## Тревога

Когда и с друзьями не пьется,  
И чарка с размаху не бьется,  
И в доме стоит тишина,  
И чарка до краю полна —

В дорогу, в дорогу, в дорогу!  
Прощенья проси у друзей,  
Домашнюю злую тревогу  
Дорожной тоскою развей.

## О смысле жизни

Чтобы прожить жизнь не на-  
прасно, человек должен написать  
книгу и посадить дерево.

*Восточная мудрость.*

Сто томов я напишу,  
Сто деревьев посажу.

А потом начну считать:  
«Раз, два, три, четыре, пять...»

И забуду про слова,  
Про себя, про дерева.

И окажется, как встарь:  
Печка, лампа, стол, букварь.

А в душе звучит опять:  
«Вышел зайчик погулять».

## ЗАМЕТКИ

## 1

Валентин Катаев на старости лет изобрел «мовизм» — «плохость» как стилевое направление. Это явно авангардистское изобретение: возможно, он вспомнил друзей своей молодости, одесский круг или лефовский круг. Авангардизм пытался создать антитезу «хорошему» стилю — выверенному, точному, изящному, законченному. Антитеза удалась, плохости было много и у Хлебникова с Крученых, и у обэриутов, и вот сейчас у концептуалистов (сам-то Катаев, кстати, писал хорошо). «Дыр бур щил убещур» (А. Крученых). «Человек не может жить, если нету у него!» (Л. Рубинштейн). Нелепость, оборванность, косноязычие, скрежет зубовный... Но дальше, чувствуется, пойдет в другую сторону. Не от хорошего к плохому. И не от плохого к хорошему. А от хорошего и плохого — к среднему, никакому.

Ведь что человеку нужно? Ему нужна поэзия, все, что есть в ней хорошего и плохого, великого и пошлого. Вот он и получит эту поэзию в «никаких» стихах. То есть кому-то по-прежнему будут нужны хорошие поэты, кому-то хорошие «плохие» поэты, но большинство, пожалуй, нуждается именно в средних поэтах, которые и не пытаются быть лучше или хуже, чем поэзия в целом. «Никакая» поэзия пишется не от имени какого-то поэта, она лишена авторства, идеи, цели, она пишется так, как поэзия могла бы писаться, если бы она была просто поэзией, без уточнения автора, жанра, стиля, времени, места. Это как бы абстракция поэзии, которая может принимать форму конкретных стихов.

Конечно, по традиционной мерке — это вообще не поэзия, а графомания. Но графоман-то как раз и пытается выделиться, писать не как все, создавать великую поэзию, хорошую поэзию. Безавторская поэзия не является графоманской, но по

сути своей — анонимной, как фольклор. Не станем же мы утверждать, что какой-нибудь народный стишок, «тары-бары», выше Пушкина или Пастернака. Но поэтический запрос массовой души он может удовлетворять полнее, чем Пушкин или Пастернак. Вот и сейчас, после того, как поэзия успела побывать всякой, и хорошей, и — вопреки себе — плохой, наступает время никакой поэзии, чистой от примет авторства, как фольклор. Но это уже фольклор образованных людей, читавших и Пушкина, и Пастернака, и Цветаеву, — просто у них в душе уже все перемешалось и осталась только любовь к поэзии, точнее, физическая потребность в ней.

Это и есть самое новое и страшное — когда культура становится физической потребностью. И уже за стол не сядешь без газеты. И в туалет не пойдешь без нее же. И уже по лесу не прогуляешься, чтобы не промурлыкать про себя что-нибудь осеннее: «Люблю я пышное природы увяданье, давай ронять слова рассеянно и щедро, отговорила роща золотая...»

## 2

Поэзии и так уже много — она как нескончаемый дождь за окном, и проливной ее шум постоянно стоит в ушах. Она нам подпевает, когда мы о ней и не думаем. Вот эта поэзия, которая везде и нигде, еще не нашла своего выражения. Есть много гениальных стихов, еще больше талантливых и т. д. — но все это произведения. А та поэзия, которую мы слышим в ушах подобно дождю, — уже не произведение, а некое состояние природы, точней, культуры. И всякий культурный человек время от времени, а то и постоянно пребывает в этом состоянии.

Но как его выразить? Как передать поэзию не в виде отдельного произведения, а в образе этой клейкой, муторной, вязкой субстанции, которую нельзя отлепить от души, потому что она-то и есть душа, во всяком случае, то, что многие принимают за душу? Вот такая поэзия-состояние и вытеснит со временем отдельные поэтические произведения, и у нее появятся свои авторы, пожалуй что анонимы. В отличие от древнего, дописьменного фольклора, этот неофольклор возникнет уже на основе письменности, как слияние всего того, что было когда-то литературой, — слияние стилей, эпох, растворение лучшего в худшем. Капли будут сливаться, и дождь будет идти. И уже не важно, какая там строка от Пушкина, какая от Блока, а какая от Соловьева или Иванова с Сидоровым, — важно, что все это вместе и есть поэзия: то, что бормочется, мурлыкается, горчит в душе и улаживает душу.

Как передать этот поэтический шум, в котором сливаются и исчезают отдельные звуки? Как передать те щемящие чувства, которые наводит именно шум, его неразборчивость, глухота, протяженность, а не то пушкинское или блоковское, что давно уже в него кануло и в нем растворилось? Иногда мне кажется, что я уже слышу шум этой новой поэзии, — а может быть, это и в самом деле дождь за окном.

## 3

Я представляю себе поэта, который захочет воплотить поэзию как состояние. Вряд ли это будет настоящий поэт, поэт по призванию, потому что он будет лишен авторской индивидуальности. Он будет похож на всех других поэтов и не похож сам на себя. То, что он пишет, — это вообще не стихи, а не-стихи, то есть имеющее отношение к стихам лишь в меру отрицания их стихового качества. Но вообще-то «не-» — довольно опасная черта близости к тому, что оно отрицает, особенно если соединение производится не через пробел, а через черточку. В этой черточке есть своя уменьшительная чертовщина, да к тому же еще прекрасного пола (не демоница, не чертовка, а что-то крошечное, девичье, почти детское, но уже лукавое — «черточка», нимфетка среди чертей).

Не-стихи — вовсе не значит плохие стихи, хотя и хорошими они не могут быть по определению. Это просто другой модус существования, один из возможных и далеко не лучших поэтических миров. «Не-стихи» — это стихи в сослагательном наклонении, которые пишутся не потому, что кто-то их на самом деле пишет, придумывает, вкладывает в них себя, а потому, что они могут писаться. Здесь нужно подобрать особую безличную форму глагола состояния вроде «моро-

зит», «холодно», «дождливо», «стихово». Да, «стихово» — это и есть то, что происходит в таких как-бы-стихах. В них — то состояние культуры, у которого давно уже нет субъекта.

И приписывать этой «стиховости» наличие субъекта, автора — такая же антропоморфная иллюзия, мифологический пережиток, как считать, будто «дождит» или «морозит» — это чьи-то действия, неполные предложения, у которых подлежащее просто опущено, ибо само собой разумеется. Да нет, нет у них подлежащего и не может быть (я впадаю в остервенение, вспоминая вчерашний урок. Все-таки школьники — стихийные мифотворцы, которые без представления о субъекте шагу не могут ступить. А кто это сделал? — Ладно, мы же договорились, что в таких случаях все делает Пушкин. И стишит тоже он). Да поймите же, если «холодает» или «смеркается», то это не кто-то холодает и не что-то смеркается, а это состояние самой природы. И в языке есть особые безличные глаголы и наречная «категория состояния» для обозначения таких вот действий без деятеля: «прохладно», «светает». Если же субъект и появляется в таких конструкциях, то не в именительном, а в дательном падеже. Не он действует, но ему дается испытать на себе эти состояния, состоять при них. «Мне тепло, мне прохладно». Вот эта позиция, обозначенная дательным падежом, еще и не закреплена в культуре. Быть поэтом не в именительном, а дательном падеже, тем, кому стихово.

И вот теперь предстоит донести до сознания наших бородатых школьников и седовласых школьниц, всего почтенного литературного сообщества, что и у культуры, и у поэзии есть свои категории состояния и они тоже требуют выражения. И если в такой стране, с поэтически насыщенной атмосферой, как Россия, постоянно «стишит» — то надо быть благодарным за такую небесную благодать и не подменять ее действиями отдельных стихотворцев. Нужно определить основы новой, без-авторской, поэтики, начертать грамматику безличных состояний в поэзии и культуре.

## 4

Поэзия вселяет неистовство. Когда-то поэты физически пребывали во власти этого сверхличного экстаза. «Подобно тому, как корибанты пляшут в исступлении, так и они (поэты) в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми»<sup>1</sup>. Но с тех пор, как поэзия стала литературой, литерами, заносимыми на бумагу, — где они, эти неистовства, крики, безудержность, которые подобают духу поэзии? В том-то и дело, что в эпоху индивидуального творчества даже великие поэты оказываются всего лишь деятелями литературы, они пишут, кропают свои сочинения, а если позволяют себе исступление, то не в жестах, не в голосе, а лишь где-то на дне души, откуда ритмические волны поднимаются к поверхности стихов.

Но с переходом от личных действий к категории состояния меняется даже физический состав поэзии. То, что накоплялось в ней как вклады индивидуальных энергий, теперь действует с силой грозовой разрядки, как состояние самой атмосферы, насыщенной электричеством. Стихи возвращаются в стихию. Поэзию кричат, выкрикивают, голосят, истошно распевают на разные голоса. Новые носители поэтических состояний (не-поэты) будут воем и ревом вторгаться в наш слух, потому что они-то и есть выразители нашего общего культурного слуха, переполненного поэзией. Строки «Евгения Онегина» должны читаться так, как и в голову не пришло бы самому Пушкину, писавшему вполне камерные стихи в жанре любовного романа с лирическими отступлениями. Но ведь до нашего слуха эти стихи дошли уже размноженными десятками прочтений, истолкований, комментариев — и наших собственных откликов, удивлений, отголосков. Сколько раз мы уже твердили себе, по поводу и без повода: «Мой дядя самых честных правил...», «Мы все учились понемногу...», «Кто жил и мыслил, тот не может...», «Я к вам пишу — чего же боле?..», «Ужель та самая Татьяна...», «Я знаю, жребий мой измерен...» и т. д. и т. п. У нас, в сущности, голова гудит от «Евгения Онегина», от жужжания всех этих крылатых строк, от стрекотания вездесущих цитат-цикад, которым «неумол-

<sup>1</sup> Платон. Ион. Соч. в 3-х томах, т. 1. М. «Мысль». 1968, стр. 138. Корибанты — жрецы и спутники Великой Матери богов, славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт и тимпанов (там же, стр. 515).



каемость свойственна»<sup>2</sup>. Культура — это и есть мощный динамик, приставленный к тексту и многократно усиливающий его звучание, это особое качество громкости и гулкости, которое переполняет наш слух и множится раскатами внутреннего эха. К бесконечному варьированию цитат во вторичных текстах добавляется наша собственная, почти маниакальная манера нашептывать их про себя, наговаривать на грампластинку, которая день и ночь с неумолкающим шелестом вращается в ухе. Культура лишает нас тишины и превращает даже самые спокойные минуты в говорливую толкотню цитат. А уж классические произведения — это просто громкоговорители, вплотную приставленные к нашим ушам и непрерывно туда орущие.

И после всего этого вы хотите, чтобы я читал «Евгения Онегина» чинным голосом, с тихими придыханиями, как положено вести интимную беседу в интеллигентном кругу? Да я буду его орать, выплевывать из себя вместе с кусками собственных легочных тканей, приставших к этим пушкинским ритмам, застрявших в его строфах. Я буду читать эти стихи не так, как они записаны, а как они звучат во мне, как они дошли до меня — через толщу культуры и через все резонансы личной и общественной памяти. В строфу про дядю честных правил у меня впечатаются тараканьи усы того честнейшего дяди, которого я привык созерцать на парадных портретах моего детства. В бесстыдное и невинное письмо Татьяны Онегину я вставлю куплет о маленькой девочке, которая играет и поет, и хотя она никогда не видела героя своих сновидений, но уже готова зачать от него целый избранный народ грядущего. А в строки «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я» непременно добавлю «днем, и ночью, и на том свете» и повторю это раз десять, как я повторял эти строки, когда по весьма подходящему личному поводу они приходили мне на ум.

Пусть кто хочет слушает меня, а кто хочет заткнет уши, но всей мерой визга, воя и улюлюканья, отпущенного моим бедным связкам, я прочту вам того «Онегина», каким он до меня дошел и каким сложился во мне. «Онегина», который давно уже перестал быть личным действием поэта Пушкина, а стал акустическим состоянием российской культуры, ее ревущими децибелами, а также тревожащими, хотя и неслышимыми ультра- и инфразвуками. Эта акустика уже так тяжело давит на мои барабанные перепонки, что, с целью уравнивать перепад давлений, мне остается только выкричать обратно «Евгения Онегина», «Мертвые души», «Братьев Карамазовых», «Двенадцать», хотя я и сомневаюсь, что целость барабанных перепонок стоит лопнувших голосовых связок.

Но ведь я не один, нас много, переживающих литературу как категорию состояния, и в этом залог ее новой фольклоризации. Если на заре поэзии сами поэты были исступленными и одержимыми, то теперь этот экстатический дух поэзии переливается в нас, читателей. На протяжении долгих веков поэзия дробилась по каплям литературных уединений, авторских созерцаний, тихих досугов, но все эти капли, одна за другой, точили читательский слух, переполняли его, — и теперь уже целое море, в котором сливаются голоса Гомера и Мандельштама, «с тяжким грохотом подходит к изголовью»<sup>3</sup>.

## 5

Если мы присваиваем своему подсознанию или полусознанию чужую музыку или стихи — а ведь 99,9 процента музыкальных и поэтических натур испытывают потребность именно в творчестве чужого, — то в точно таком виде, под знаком двойного авторства, это и нужно записывать-зачитывать, как сочинение Пушкина — Иванова. Деление человечества на сочинителей и читателей не учитывает третьей, самой обширной категории — тех, которые хотят не просто читать, но сочинять чужие произведения. И порою им кажется, что они в самом деле это сочинили: «Я помню чудное мгновенье...», или «Явление Христа народу», или «Лебединое озеро». И это самые счастливые мгновенья их жизни — когда они вдруг слышат в себе эти стихи или музыку или видят внутренним взором свое гениальное

<sup>2</sup> «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает» (Мандельштам О. Разговор о Данте. Собр. соч. в 3-х томах, т. 2. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Нью-Йорк. Международное литературное содружество. 1971, стр. 368).

<sup>3</sup> Строка из стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...».

полотно, когда все это, многократно виденное и слышанное, заново рождается в них. И ведь действительно рождается, иногда с трудом и мукой.

Это великая, неутоленная культурная потребность — сочинять чужое, причем, упаси Бог, не в виде плагиата, а так, скромного соавторства, где мне, может быть, принадлежит одна строчка из десяти, какая-нибудь «Галина» вместо «Леилы», но уж я этой вставки даже Пушкину не уступлю, настолько она моя, ведь это мою жену, а не его возлюбленную зовут Галина.

От меня вечер Леила  
Равнодушно уходила.

(Пушкин)

От меня вечер Галина  
Уходила не без сплина.

(Пушкин — Соловьев)

Или:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

(Пушкин)

Я помню светлый день в апреле:  
Передо мной явилась ты,  
Под нежный звон лесной капли,  
Вся в облаке душистой прели,  
Как гений чистой красоты.

(Пушкин — Соловьев)

Стендаль сравнивает образование любви с погружением голый ветки в насыщенный соляной раствор, где она обрастает ослепительными кристаллами. Так простое событие, встреча с женщиной, обрастает в нашей душе надеждами, тревогами, желаниями, сомнениями и кристаллизуется в любовь. Собственно, любовь — это и есть кристаллизация, «особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами»<sup>4</sup>. Сейчас я говорю не о пушкинской любви к Керн, а о нашей любви к Пушкину. Встреча с его стихами обрастает в нашей душе кристаллами нежности, надежды, сомнения, мы строим догадки, мы ревнуем, недоумеваем, мы бродим с его строками по лесу и бормочем их при встрече с друзьями и любимыми, мы наполняем их своим опытом, своим волнением, мы вкладываем свое значение в каждое сказанное им слово. Так давайте же состояться этой любви, давайте обрасти стихотворению кристаллами новых мыслей и слов. Пусть, как веточка живого коралла, каждое стихотворение обрастает своей колонией полипов, льнущих к нему слов, пояснений, договариваний, переформатываний, вступает в симбиоз с этими паразитами, которые без него не могут жить, — и само разветвляется в многоцветный коралловый лес! Это и есть наша главная культурная потребность — неестественно преображать предмет своих желаний, бредить им, додумывать его, договаривать, подглядывать за ним, отображаться в нем, украшать его цветочками и виньетки своего воображения.

И вот на эту культурную потребность никто еще не ответил, никто не объяснил ее насущность для подавляющего большинства культурных людей. Им ведь хочется не просто читать-почитывать, но любить то, что они читают, а значит, кристаллизовать свои чувства в тексте, давать волю своему воображению. Недостаточно им быть просто читателями, хотя и в сочинители, конечно, они тоже не набиваются: все-таки порядочные, скромные люди. Но читать, читать, читать, только читать невыносимо, да и за тысячи лет столько понаписано, каждый год прирастает неведомыми шедеврами, всего не перечитаешь. А вот если бы найти такой удобный, смешанный сочинительско-читательский жанр, чтобы самому сочинять прочитанное, преисполняться соавторской гордостью?

Необходимо этот жанр узаконить в культуре, чтобы из-за гордыни сочинителей читатели от них не отвернулись. Перестанут читать — тогда и писать будет не для кого. А вот если позволить такое соавторство, хоть на одну сотую прибавленного труда, тогда сколько же читателей заново перечитали бы и «Капитанскую дочку», и «Войну и мир». Ведь все-таки свое произведение, нужно исправить эти вечные толстовские громоздкости, шероховатости, да и свои любимые имена, блюда, пейзажи вставить, тогда под таким сочинением и рядом с Толстым подписаться будет не стыдно. Пусть и читает исправленное издание «Войны и мира» Толстого — Иванова вся ивановская семья и дружеский круг, вплоть до дальних

<sup>4</sup> Стендаль. О любви. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 4. М. 1959, стр. 367.

родственников, и пусть пишут в литературных журналах аналитические статьи: «Какой соавтор лучше? Сопоставительный анализ «Войны и мира» Толстого — Иванова и Толстого — Сидорова».

## 6

Двойное авторство может быть не только вдохновенным присвоением чужого, но и не менее счастливой раздачей своего. Собственно, «сочинять чужое» можно в двух смыслах: ставя под чужим свою подпись или ставя под своим чужую подпись. Не знаю, какая потребность сильнее. Я, во всяком случае, чувствую в себе несколько нерожденных авторов, с которыми охотно поделился бы рядом своих опытов. Не потому, что они уступают моим («на тебе, друже, чего похуже»), а потому, что по замыслу и слогу они принадлежат не мне, хотя никому другому не довелось их сочинить. По той же самой причине, по какой мне хочется сочинить некоторые стихи Пушкина, мне хочется, чтобы Пушкин сочинил некоторые отрывки моей критической прозы. Ну пусть не Александр Пушкин, это уж слишком большая честь, — так пусть Андрей или Иван. Я чувствую в себе утробное шевеление этого Андрея Пушкина, который вот-вот напишет научный, слегка структуралистский комментарий на сочинения своего великого пращура... нет, однофамильца. Или не так давно, среди размышлений о физике эфирных тел, мне послышался голос моего современника и, кажется, даже однокашника по начальной школе Петра Эйнштейна.

Не то чтобы я хочу о них написать, сделать из них персонажей, — нет, я хочу их сделать авторами, чтобы они писали со мной, а иногда и вместо меня. «Андрей Пушкин и Иван Соловьев. Сравнительный анализ стихотворений Пушкина „Пророк“ и „Подражания Корану“». Или, самоустраняясь: «Петр Эйнштейн. Космология эфирных тел и физика сновидений». Разве это мое дело — писать об эфирных телах? Но уж если мне так пишется, то нужно отдавать себе отчет, что в этом состоянии я не одинок, а именно со-стою в отношениях с кем-то. Это может быть Петр Эйнштейн, а если дело повернет к теории сингулярностей, к квантовой механике, то уж скорее Игорь Гейзенберг.

Из того, что я пишу, мне самому, Ивану Соловьеву, принадлежит меньшая часть. А большая — тем, чьи эфирные тела уже отделяются от меня, чьи голоса я слышу в некотором отдалении, хотя они и связаны для меня с воспоминаниями детства или юности. Все мы, Пушкин, Соловьев, Эйнштейн, — бывшие одноклассники или сокурсники, то есть частицы одного поколения, какой-то уходящей исторической формации, распадающейся на врозь звучащие, но родные друг другу голоса. Я бы даже сказал, что начинаю я писать всегда, как Иван Соловьев, но потом написанное от меня отделяется, хочется его закавычить, как будто это не я, а цитата из меня. А потом хочется, наоборот, раскавычить написанное, но так, чтобы оно досталось уже кому-то другому, — и почти всегда находится автор, который с большим правом мог бы написать то, что у меня написалось. Такая тонкая, постепенная смена авторства. Сначала я пишу, потом цитирую себя, потом цитирую кого-то, может быть и себя, потом цитирую кого-то, может быть и не себя, потом кто-то другой уже сам от себя и пишет. Чужое во мне делает полный круг — и возвращается уже в виде соавтора. Начинает писаться от имени И. Соловьева, а заканчивается под именем А. Пушкина или П. Эйнштейна.

Не только в писании, но и в чтении делается этот круг, так что конфигурацию состояний, передающихся через литературу, можно обозначить двукружием, или восьмеркой. Я пишу — и обретаю чужого, соавтора в самом себе. Меня читают — и сами становятся моими соавторами. Александр Пушкин начал писать «Я помню чудное мгновенье...» под своим именем, а кончает под тысячью имен, к нему прикнущих, вместе с ним расписавшихся, включая и мое.

Такая трансформация авторства по ходу создания текста происходит постоянно и в разных направлениях. То я прибавляю свое имя к имени Александра П. То к моему имени добавляется имя Андрея П. И все получается поровну, справедливо, потому что нас много, а поэзия одна и она пользуется всеми нашими именами, чтобы выразить свою бесконечность.

## 7

Самому Пушкину уже не чужды были жесты как ворованного, так и дарованного авторства. Он умел полной пригоршней зачерпнуть чужое — и отчерпнуть свое. Предприимчивость его дара уравновешивалась только переимчивостью. Даже

многие, казалось бы, оригинальные пьесы и те оказываются заимствованиями, подражаниями, переложениями, причем без второй подписи. Чести Пушкина это, конечно, не украшает, но может быть списано на общую неразборчивость того времени, которое знало прелесть поэтических состояний и их невмещаемость в границы произведений. С авторскими гонорарами можно было и не считаться, хотя с гонорарами дело всегда обстоит сложнее. Даже «Я вас любил...» — и то, выясняется, сочинение какого-то француза, с которым Пушкин не захотел разделить посмертную славу этого стихотворения, хотя при жизни и разделил поэтическое состояние безответной любви. Если вчитаться в этот поэтический перл, то ничего, кроме поэтического состояния и грамматики, в нем не найдешь, никакой силы самобытного творчества, фантазии, воображения, глубины. Пушкин был мастер таких сочинений средней руки, к которым каждый может приложить и свою руку — и расписаться как под выражением своего состояния.

Но зато Пушкин и своего не жалел. Я уж не говорю про его бесчисленных поэтических подражателей, завистников, должников, которые от его доброй воли не зависели, брали не спрашивая. Но и сам Пушкин чувствовал в себе кого-то другого, кому хотел препоручить свои творения. Иногда камуфляж так удавался, что в литературе возник некто Гоголь, написавший пушкинских «Мертвых душ» и «Ревизора». Гоголь сам признавался, что Пушкин ему эти сюжеты подарил, — а ведь они не хуже сюжетов самого Пушкина, пожалуй, и лучше. Но Пушкин слышал в этих абсурдных повествованиях чей-то чужой голос, а тут и подвернулся ему этот молоденький малоросс, с чувством юмора... Вот так и оказался автором «Мертвых душ» Николай Гоголь, который потом всю жизнь каялся, что совсем не то написал, не свое, не то, что должен был написать, — а своего, как ни бился, так и не смог написать, оставшись в литературе подставным лицом, разработчиком пушкинских сюжетов, этаким Белкиным, возведенным в почетные классики<sup>5</sup>.

Но Гоголь не совсем достоверный пример, а вот Белкин, несомненно, соразделял с Пушкиным вершинные создания его прозы. Сам Пушкин ни за что не мог бы дать «Барышне-крестьянке» или «Станционному смотрителю» свое авторское имя: уж слишком простоватый слог, много чувствительности, трогательного добродушия, внешней занимательности, мало аристократизма. Но и авторству Гоголя таких сюжетов не поручишь, тот больше по части гротеска, абсурда и юмора. Так в Пушкине постепенно образовался другой автор, провинциальный помещик, о котором и сказать нечего, кроме того, что он добрый мальчик, прилежный слушатель, добросердечный рассказчик. Пушкин признал, что повести эти принадлежат Белкину, то есть тому Пушкину, который был Белкиным, и не нам перечить этой авторской воле, которая самоустранилась и назначила своим творениям другого автора. Поэтому обидно и за Пушкина, и за Белкина, когда их разлучают, когда в антологиях и хрестоматиях читаешь: «„Барышня-крестьянка“, рассказ Пушкина». Да не Пушкина, а Пушкина — Белкина, — дьявольская разница. И кто виноват, что Пушкину опять присвоили то, чего он не совершал? Конечно, можно возразить, что сам Пушкин подарил Белкину свои сочинения, значит, они пушкинские. Но если я кому-то дарю какую-то вещь, разве она по-прежнему моя? Сам Пушкин, сделав подарок, ни за что не стал бы отнимать его обратно, даже узнав, что безделушка-то, оказывается, дорого стоит. Нет, это не Пушкин, а мы виноваты, забирая у Белкина то, что Пушкин ему подарил.

И не потому ли так удалась Пушкину болдинская осень 1830 года, что он обрел сразу нескольких со-авторов и писал за всех, едва успевая макать перо в чернильницу? «Скупого рыцаря» с ним писал В. Шенстон, «Пир во время чумы» — Дж. Вильсон, ну а «Повести Белкина» — И. П. Белкин. Что касается лирических стихотворений, то кто только не приложил к ним руку — от англичанина Бари

<sup>5</sup> Впрочем, возможно, что все наоборот — это Гоголь записал Пушкина в свои соавторы, почувствовав, что в «Мертвых душах» и в «Ревизоре» что-то не так, не все гоголевское, веселое, бесшабашное, народное, хохлацкое, а есть какая-то российская грусть и хандра, которых самому Гоголю и взять неоткуда — это пушкинское в нем. Трудно уже разобраться, кто кому передал сюжеты: Пушкин Гоголю — завещающим и благословляющим даром или Гоголь Пушкину — даром почтения и благоговения. Но возможно, что Пушкин был отчасти Гоголем еще до Гоголя, а Гоголь был отчасти Пушкиным уже после Пушкина, оттого и примеряли они к своим сюжетам чужие имена как счастливо найденные псевдонимы. И под «Мертвыми душами» в какой-нибудь вечной книге жизни будет написано: сочинение Гоголя и Пушкина.



Корнуолла («Пью за здравие Мери...») до янычара Амин-Оглу («Стамбул гяуры нынче славят...»). Болдинская осень, которая стала символом великой творческой жатвы, обильна не просто произведениями, но авторами, которым Пушкин еле-еле успевал раздавать свое.

## 8

Если я пишу что-то под чужим именем, значит, в этот самый момент *(не закончено)*.

Публикация и предисловие Михаила ЭПШТЕЙНА.

*От редакции.* Никакими дополнительными сведениями о жизни, творчестве и мнениях Ивана Соловьева мы, к сожалению, не располагаем. Любопытствующие могут обратиться к Михаилу Эпштейну, ныне проживающему в США (Атланта, штат Джорджия). Ведь душеприказчик — тот же соавтор, а если следовать взглядам самого Ивана Соловьева — в некотором смысле и автор.



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**І. К. МОЧУЛЬСКИЙ.** Гоголь. Соловьев. Достоевский. Составление и послесловие В. М. Толмачева. М. «Республика». 1995. 607 стр.

Книга, открывающая серию «Прошлое и настоящее», — первое представление в России творчества писателя, прочно занимающего «второй ряд» в литературе русской эмиграции во Франции, К. В. Мочульского. Триптих о писателях-философах (в отличие от менее известного, да и менее удавшегося триптиха этого же автора о поэтах — А. Белом, В. Брюсове и А. Блоке) входил в число передававшихся в недавние годы из рук в руки книг. С его книги о Соловьеве у многих начиналось знакомство с русской философией. Теперь с творчеством парижского литературоведа познакомится и более широкая читательская публика, по достоинству оценив ясность слога, выверенность и соразмерность мысли, разумное сочетание биографии и изложения идей, свойственные немного старомодному перу Мочульского.

Читая его книги, иногда ловишь себя на мысли, что они напоминают затянувшееся гимназическое сочинение по литературе (написанное, правда, в очень хорошей гимназии, у толкового учителя). И неспроста. Ведь Мочульский прежде всего педагог — преподаватель западноевропейской литературы и языков, знаток Сервантеса, чья педагогическая карьера началась ещё в 1918 году в Одессе, откуда он родом. И отец его был филологом, автором известной книжки о духовных стихах, на которую ссылаются до сих пор. Правы издатели книги, предназначившие ее в редакционной аннотации «учителям и преподавателям вузов в первую очередь». Мочульский не оставил навыков добросовестного филолога-среднячка и в эмиграции, где оказался в 1920 году, сначала в Софии, затем в Париже. Следил за тем, что пишут и издают коллеги, в том числе и на родине, обильно цитировал, ссылался, использовал идеи

своих собратьев. Так, например, частым упоминанием о мифе в романах Достоевского, трактовкой его романов как художественной мистерии, осмыслением Достоевского как предтечи символизма он обязан Вяч. Иванову и его немецкой книге «Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика» (1932), активным приятием идеи Софии Премудрости Божией, отождествляемой с Вечной Женственностью, — о. Сергию Булгакову, которому «с сыновьей любовью» посвящает он книгу о Вл. Соловьеве. Часто обращается к ценным сборникам статей о Достоевском, выходящим в Праге под редакцией А. Л. Бема в 30-е годы, к сожалению у нас не переизданным и трудно находимым. Поначалу складывается впечатление, что свое собственное «я» исследователь намеренно скрывает.

Главной темой во всех трех книгах является свидетельство о тернистом пути ко Христу, увенчанном его обретением для трех русских гениев, чья «осанна», как писал Достоевский, через горнило испытаний прошла. И не будет преувеличением сказать, что книги написаны как оправдание пути, пройденного ко христианскому благочестию самим Мочульским. Начало его религиозного пути отнюдь не совпало с отлучением от Родины. В 20-е годы кругом его общения является в основном среда поэтической молодежи, собиравшейся в кафе на Монпарнасе. Литературная его деятельность в этот период сводится к написанию небольших рецензий, публикуемых в «Звене», «Современных записках» и других эмигрантских изданиях. В Братство Святой Софии, основанное Булгаковым, и в Сергиевский институт он приходит уже в середине 30-х годов, в последний «призыв». Книжки «Духовный путь Гоголя» и «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» появляются соответственно в 1934-м и 1936-м. По-видимому, болезненный эстет, саркастически пародировавший в юношестве песнь Дантова ада, населяя его своими профессорами и однокашниками, проделал немалую работу по

совлечению с себя «ветхого Адама». Ему были знакомы мучения раздвоенного сознания «подпольного человека» Достоевского, и страницы, на которых Мочульский пытается разобраться в психологии умаления, грехопадения, больного сознания героев Достоевского, оказываются наиболее яркими в книге, в которой в целом превалирует дух радостного, созидательного, побеждающего христианского делания. (Не случайно Мочульский оказался в рядах «Православного дела», среди ближайших сподвижников, а потом, после ее гибели, и прямым преемником матери Марии (Кузьминой-Караваевой).) Книга о Достоевском пишется в годы войны, в оккупированном Париже, что придает ей особый духовный смысл (по нашему мнению, это лучшая книга Мочульского). Его друг Б. К. Зайцев вспоминал то время: «По улицам могли шествовать патрули, в одиннадцать надо быть дома, в любой миг могла взвыть сирена — бомбардировка прервала бы чтение: все равно, пока тихо и есть время домой возвратиться, он слушал тринадцатую песнь «Ада» по-русски или отрывок из романа, а я о женитьбе Достоевского или о князе Мышкине. Мы были писатели закоренелые, но и братья»<sup>1</sup>. Мочульский своей жизнью попытался дать ответ на вопрос о возможности примирения христианства и культуры на фоне трагедии крушения гуманизма, доказать возможность внутреннего преодоления кризиса культуры. Память он о себе оставил добрую — память праведника. Епископ Кассиан (Безобразов) так поминал его: «У него было сердце нежное до хрупкости и исключительный дар любви. Ловкие люди умели его эксплуатировать, и он часто был не способен оказать отпор... Чарующая тонкость его духовного облика — не нашей эпохи. Она относится к тому же наследию духа и в наше время грубой силы звучит как-им-то анахронизмом. Но в этих анахронизмах светит вечная правда. Разрывая рамки времени, она вторгается в нашу жизнь, как благое упование и залог спасения»<sup>2</sup>.

Статья В. М. Толмачева, завершающая книгу, написанная с большой симпатией к герою и его литературному та-

ланту, воскрешает черты Мочульского — человека и литератора. Она является первым, пусть и далеко не исчерпывающим, опытом критико-биографической статьи о незаслуженно редко поминаемом писателе русской эмиграции; дополняет ее краткая библиография работ Мочульского. Однако книга не лишена и досадных недостатков. Именной указатель, будь он аннотированным, мог бы заменить вполне поверхностный комментарий. Есть и неточности: например, псевдоним В. И. Даля — Казак Луганский, а вовсе не Луганский казак; немецкий старец (то есть Нямецкого монастыря в Бессарабии) св. Паисий Величковский дважды — в тексте и в комментарии — превращен в немецкого старца, заставляя недоумевать непросвещенного читателя: что же, выходит, нам немцы «Добротолубие» переводили? Встречаются небрежности и в указании дат.

Конечно, текстологические неточности и опечатки встречаются и в книгах «УМСА-press». Но будем помнить, что издавали и издавались там, как правило, бессребреники, не имеющие возможности с гонорара купить новый пиджак, — которые вовсе и не подозревали, что закладывают основы финансовой состоятельности крупного постсоветского издательства, широко пользующегося к тому же дотациями Комитета РФ по печати.

**И. Л. М. ЛОПАТИН. Аксиомы философии. Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания И. В. Борисовой. М. РОССПЭН. 1996. 558 стр. Серия «Научная философия».**

Один из «братьев-разбойников», шаливший вместе с гимназистом Володей Соловьевым на даче в Покровском-Стрешневе, а затем профессор философии Московского университета и редактор «Вопросов философии и психологии», до сих пор был несправедливо обделен вниманием творцов издательского бума, вдохновившихся на переиздание запрещенных, забытых и покрывшихся пылью книг философского содержания. Наверное, оттого, что, во-первых, он практически полностью избегал публицистики и, стало быть, почитался «академическим», а значит, «неинтересным» философом. Во-вторых, оттого, что он сознательно отделял философию как профессиональное и рациональное занятие от религиозно-

<sup>1</sup> Зайцев Б. К. Дух голубиный. — В его кн.: «Сочинения», т. 3. М. 1993, стр. 411.

<sup>2</sup> Епископ Кассиан (Безобразов). Родословие духа. (Памяти К. В. Мочульского). — «Православная мысль», Париж, 1949, вып. 7, стр. 16.

го мирозерцания, а потому остался на обочине «религиозного ренессанса», как дореволюционного, так и послеперестроечного. И в-третьих, потому, что издавать Лопатина по-настоящему трудно, для этого надо быть философски грамотным человеком: ведь круг философских пристрастий Лопатина был нетрадиционным для его коллег и замыкался он не на Канте и Гегеле, а на спиритуализме Лейбница и Лотце. К тому же, когда «передовые умы» в России были всецело погружены в споры неокантианцев и феноменологов, Лопатин, с суеверной боязнью относящийся к философским нововведениям, жил в атмосфере философских споров и проблем последней четверти XIX века, в коих издателю Лопатина также приходится разбираться.

Но все же Льву Михайловичу наконец-то повезло. Том, составленный И. В. Борисовой, стал без преувеличения одним из лучших изданий по русской мысли, вышедших за последние годы. В нем собраны наиболее яркие статьи Лопатина (не полемического, а именно теоретико-философского характера), появлявшиеся в журнале «Вопросы философии и психологии» с 1890-го (сразу после его основания) по 1912 год, обрамленные рефератом «Вопрос о свободе воли» (приложенным к докторской диссертации «Положительные задачи философии», 1889) и брошюрой «Неотложные задачи современной мысли» (1917).

Вчитываясь в текст Лопатина, убеждаешься, что писал он не хуже Соловьева (Соловьев более читаем, но читают все-таки больше его публицистику и стихи, а не «Теоретическую философию»), а местами ловишь себя на мысли о сходстве гога, непременно включающего в себя добрую старомодную иронию, скрашивающую тяготы трудного чтения. Добродушный большой ребенок, «уютный философ» (по слову Е. Н. Трубецкого), всю жизнь проживший в «детской» ампириного особняка в Гагаринском переулке на Арбате, которому камердинер ушки ваткой затыкал, он мог быть обидчивым и капризным, когда сталкивался с противными ему декадентами (не в салоне М. К. Марозовой, где был неизменно учтив и любезен, а в редакции или на защите), и был в их глазах «козлицем» (А. Белый). Он не обладал практическим умом, не был общественным деятелем — как говорят в таких случаях, к жизни был не приспособлен. Когда в 1911 году его

коллеги ушли из Московского университета в знак протеста против изменения университетского устава, он остался вовсе не из расхождения с ними, а скорее всего потому, что просто не представлял себе, чем можно заняться вне университета, потеряв профессорское кресло. Но это не значит, что он был безжизненным схоластом. Центром его размышлений был вопрос о свободе воли человека. В поисках ответа его заботило, чтобы философский субъект, под псевдонимом которого человек обитает в рамках философской системы, не был растворен и упразднен в безличном и надчеловеческом, пусть даже божественном, чтобы он ощущал себя субстанцией и источником своей силы и творческой активности. Об этом непримиримо и до хрипоты спорил с оказавшимся по другую сторону философской баррикады Вл. Соловьевым, засвидетельствовавшим факт этих споров в шуточных стихах.

Лопатин как философ тянулся к здравому смыслу. Его позиция есть изложенное сложным философским языком реальное и обыденное самоощущение человека, а отнюдь не воздушный замок немецкого критицизма, построенный на песке какой-нибудь безумной идеи, опрокидывающей очевидность вверх тормашками. Последняя его работа удивляет как раз своей реалистичностью и честностью, попыткой ответа на один из главных, если не главнейший, вопросов философии XX века: как возможна философия в мире, который перестал стремиться к мудрости. «Научный» философ рассуждает в ней об идее бессмертия души и приходит к выводу о ее непротиворечии умозрению и опыту и, более того, о том, что, лишь признавая эту идею как постулат, философская система освобождается от внутренних противоречий. И. В. Борисова называет эту работу публицистической, но она становится понятной лишь в контексте всего творчества Лопатина, канон которого был сформулирован им еще в молодости. С нее начинается закат Лопатина и его дома в Гагаринском, проданного общине сестер милосердия, у которой философ тем не менее хлопотал право остаться в «детской» до самой смерти в 1920 году. Лишенный привычного уклада жизни, теряющий друзей, умирающих и уезжающих, — трогательна память о нем непримиримого оппонента Е. Н. Трубецкого во фрагменте из «Воспоминаний», приведенном в Приложении, — он заканчи-



вает свое житие словами, венчающими текст «Неотложной задачи...»: «Когда темно кругом и темно впереди, — чтобы не упасть духом, не растеряться, не прийти в отчаяние, а бодро делать свое дело, — надо очень крепко верить, что нет такого мрака, которого не рассеют лучи вечного света!»

Книга Л. М. Лопатина вышла в серии «Научная философия», которая ярко-красным цветом своей обложки, по всей видимости, бросает вызов философии ненаучной, то есть мистической, религиозной. Вопрос, что понимать под научной философией и как отделять ее от ненаучной, и для нас, и для издателей серии остается открытым — поэтому спектр вышедших и планируемых изданий достаточно широк. Есть ли это философия методическая, школьная (в смысле принадлежности философа к определенной научной школе), академическая, скучная, непонятная для профанов, внешняя по отношению к религии? В случае с Лопатиным мы понимаем этот термин так: философия, которая научает. Ибо есть ли вообще смысл читать и переиздавать философов, которые ничему не учат? В этом отношении всякая хорошая философия «научна» по определению.

О составлении и научном аппарате книги можно говорить лишь в превосходной степени. В книге удивительно соразмерно представлен историко-философский контекст творчества философа и «добрый дух» его личности. Причем вступительная статья посвящена в основном биографии и творческому окружению, а более чем восьмидесятистраничный комментарий — истории создания публикуемых текстов и выявлению философских реалий. Комментарий не только пестрит ссылками на указания переводов и реферативных изложений по-русски тех иностранных философов, которых сейчас мало кто читает, но и знакомит читателя с самими проблемами, на которые откликается Лопатин. Можно найти, например, даже небольшое эссе о Непознаваемом у Спенсера или емкую историческую справку о развитии интереса к спиритизму за границей и в России. Личность Лопатина представляется тем более живо, что в книге даны яркие характеристики философа, принадлежащие Е. Н. Трубецкому, Ф. А. Степуно, К. Ельцовой, М. К. Морозовой и другим, чудное Ответное слово Лопатина на праздновании 30-летия его творче-

ской деятельности в 1911 году. Приложена практически полная библиография его трудов.

Как вспоминала Н. П. Корелина, секретарь редакции «Вопросов философии и психологии», в разруху 1919 года Лев Михайлович спросил у ее маленькой внучки, что подарить ей на день рождения. «Подари мне, Л. М., твою Положительную задачу и Неотложную задачу; когда вырасту большая, я их прочту»<sup>3</sup>. И то, что мы издаем и читаем Лопатина, свидетельствует о том, что мы выросли.

### III. СОЧИНЕНИЯ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА. Под редакцией В. Г. Сукача.

Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899 — 1913 гг. М. «Танаис». 1994. 735 стр.

О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М. «Танаис». 1996. 803 стр.

Если когда-нибудь мы напишем «Притчу о благочестивом филологе и нечестивом философе», то эпиграфом к ней возьмем слова Розанова из «Уединенного»: «Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в «употребительном смысле»), и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово»<sup>4</sup>. Это Розанов написал не для себя, а для нас. Это заповедь издателю розановских сочинений, тому, кто верит, что слово — продолжение человека, что в языке он запечатлевает себя примерно так, как тело себя — в воске или гипсе. Это заповедь любому текстологу, но розанововеду в особенности, ибо сам Розанов с таким трепетом относился ко всему материальному, к чему прикоснулся человек, к вещи, которая через человека приобрела смысл и имя. Пока что такое издательское «благочестие» удастся В. Г. Сукачу в большей степени, чем издателям «Республики», с торопливой небрежностью выпускающим Розанова том за томом. Сочинения Розанова под редакцией В. Г. Сукача планируется выпускать в двух сериях: ранний Розанов с 1886 по 1898 год, когда его

<sup>3</sup> Корелина Н. П. За пятьдесят лет. <Воспоминания о Лопатине>. Публикация И. В. Басина. — «Вопросы философии», 1993, № 11, стр. 118.

<sup>4</sup> Розанов В. В. О себе и жизни своей. М. «Московский рабочий». 1990, стр. 96.

писательский стиль и круг собственных тем находились в становлении, и серия книг, изданных по тематическому принципу (подобно тому, как сам Розанов собирал свои статьи) — религиозное сознание, государство, просвещение, семья и брак, незаконнорожденные, пол, сектантство, путешествия и т. д. Внутренний план, существующий у издателя, будет развиваться не методически последовательно, а в известной степени произвольно, как, впрочем, это происходит и в издании «Республики». Пока что мы имеем две книги (по одной из каждой серии), к слову сказать, изданные под марками Института мировой литературы и общества «Литературные изгнанники»; если уподобить розановское творчество дереву — имеем корень и одну из ветвей.

«Как весело должно быть издателям спустя сто десять лет после ее полного рыночного провала в 1886 г. снова пускать эту тихую, тайную книгу в мир», — пишет в предисловии к «О понимании» В. В. Биbihин, еще в начале 90-х годов введивший студенческую аудиторию МГУ в мир этой книги. Книга, благодаря которой автор считал себя состоявшимся философом, и сегодня не привлекает к себе массу читателей (хотя теперешний тираж увеличился против первого, провального, больше чем в восемь раз). Но для истинного ценителя розановского творчества невозможно ее обойти. Розанов писал ее с упоением пять лет, в пору своего учительства в елецкой гимназии, с максимализмом гимназического учителя рассчитывая совершить переворот в философском знании, едва ли не завершить философию, ответив на все ее вопросы. По своей претензии это замысел того же масштаба, что «Феноменология духа» и «Энциклопедия философских наук» Гегеля. В русской философии ему под стать идея «цельного знания» Вл. Соловьева (это же словосочетание вынесено в подзаголовок книги Розанова), проработанная им отнюдь не с такой методичностью, как это сумел сделать Розанов. Но если у Соловьева цельное знание основывалось на идее предельного миру «сущего всеединого», то Розанов сразу же определяет задачей «науки как цельного миропонимания» — «понять существование», то есть то, что в самом здешнем мире есть и что означает «быть» вообще. Книга Розанова целиком в XIX веке — аристотелевские категории, подобие позити-

вистской классификации наук (издатель предусмотрительно приложил к книге три схемы), но в ней, как в зародыше, содержатся практически все темы позднего Розанова (и даже многие мысли уже проговорены). Не случайно самое загадочное для Розанова — потенциальность, то существование, которое еще не есть как факт, но только зарождается или может зародиться (вот откуда то великое, что есть в розановской теме пола, — тайна рождения). Сама книга — это потенциальность будущего, состоявшегося Розанова и в то же время потенциальность мысли, которая не была услышана и продумана мыслящей частью его (да и наших) современников: тираж первого издания пошел на оберточную бумагу. Впрочем, А. М. Ремизов вспоминал в 1955 году, что в 1905 году (почти на вершине своей славы) Розанов отдал ему тридцать уцелевших экземпляров «О понимании» для бесплатной раздачи, и к Ремизову потянулись цепочкой за книгой Г. И. Чулков, А. Волжский, В. Н. Княжнин, Б. А. Леман, А. В. Карташев, В. В. Успенский, Л. И. Шестов. Войдя в эту книгу, «светлую и просторную», как пишет автор предисловия, неспроста все время использующий космологические метафоры для ее характеристики, можно путешествовать по ней почти с тем же упоением, с каким она и писалась. А прочтя, пересмотреть замечательно составленный А. В. Матешук предметный указатель, превосходящий условность этого жанра и представляющий своеобразный репертуар к темам книги.

Вторая книга, собравшая практически все путевые очерки Розанова, тоже может быть интерпретирована через страстное хотение Розанова «понять существование». Эта жадность к существованию, это любопытство в равной степени сказываются и в темах его философствования, и в наблюдательности путешественника, увековечивающего мелочи быта и случайно встреченных людей, но и приобщающего их к общему и «идейному» — как люди женятся, как они трудятся, как развлекаются и — главное — как молятся, ведь «молитва и удовольствия — вот единственное, остатки чего сохранились нам от древности». Во внезапных переходах от быта к высокому, от мелочи к обобщению — в этих неожиданных переходах, которые наша душа проделывает вслед за Розановым, смысл «катарсиса» через розановскую литературу.

В книге «О понимании» Розанов предупреждает, что самое страшное для культуры — в потере религиозного чувства и в безразличии к религии: «не неверие, как борьба против Религии, есть характерная черта нашего времени; но неверие, как равнодушие в Религии». Об этом же свидетельствует в «Итальянских впечатлениях» (сочинении, которое мы бы поставили в русской культуре рядом с «Итальянскими стихами» А. Блока или «Обрами Италии» П. Муратова) наблюдательный путешественник, предчувствуя и опасаясь, что «вместо ожидаемого Страшного Суда, которого так боялись апостолы и рисовал его Микеланджело, наступит длинная вереница буфетов, в своем роде некоторый хилиазм: „буфет Вифлеем“, „буфет Фивы“, „буфет Рим“, „буфет Москва“, с отметкой около последней: „Поезд стоит час, ресторан и отличная кулебяка”».

Алексей Козырев.

\*

**I. ПИФАГОРЕЙСКИЕ ЗОЛОТЫЕ СТИХИ С КОММЕНТАРИЕМ ФИЛОСОФА ГИЕРОКЛА.** М. «Гнозис». 1995. 123 стр.

**II. СЛЕПОЙ ЭДИП: СЛОВА И РЕЧИ.** М. «Гнозис». 1995. 112 стр.

**III. ДВА ТЕКСТА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ДИЛЬТЕЕ.** I. Г. Шпет. История как проблема логики. Ч. II, гл. VII: Вильгельм Дильтей. II. М. Хайдеггер. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925). М. «Гнозис». 1995. 202 стр.

**IV. ЛЮДВИГ ХЕЙДЕ.** Осуществление свободы. Введение в гегелевскую философию права. М. «Гнозис». 1995. 248 стр.

**V. БЕРТРАН РАССЕЛ.** Введение в математическую философию. М. «Гнозис». 1996. 240 стр.

**VI. СВЕТЛАНА НЕРЕТИНА.** Концептуализм Абеяра. Слово и текст в средневековой культуре. М. «Гнозис». 1996. 182 стр.

**VII. СЕРГЕЙ ЗИМОВЕЦ.** Молчание Герасима. М. «Гнозис». 1995. 164 стр.

Философские журналы рано или поздно обзаводятся своими «библиотеками». Быть может, в этом сказывается специфически журнальный «комплекс неполноценности» — вечная фрагментарность, вечная «случайность» объединения разнородного под одной облож-

Трудно предугадать дальнейшую судьбу этого собрания. Составитель, посвятивший всю свою сознательную жизнь изучению и собиранию Розанова, трезво оценивая перспективу, сообщает в редакторской преамбуле к книге «О понимании»: «...легкомыслием было бы всякое обещание читателям. Мы построили издание так, что любой набор его книг... может быть законченным, поскольку каждый том исчерпывает тематически весь материал из творческого наследия писателя и носит индивидуальный заголовок». Однако теперь, когда кажется невозможным представить себе образ русской литературы без Розанова, очень хотелось бы, чтобы посаженное и давнее первые ростки дерево розановского собрания процветало и плодоносило.

кой, от чего не способны спасти ни «рубрики», ни «темы номера»... «Библиотека журнала», а тем более «серия» — куда солидней, целостней, устойчивей; с этими формами более надежно слита утопия гарантированного будущего.

Стратегия формирования серии книг по философии предполагает поиск собственного топоса. Конечно, он может быть задан вполне внешне и формально. Например, известная сегодня фундаментальная серия «Лики культуры» собирается по вынужденно-традиционному принципу «культурного восполнения» — работы Вебера, Манхейма, Трельча, Георга Зиммеля и т. д., с многими из которых раньше на русском языке можно было познакомиться лишь в варианте реферата, публикуются наконец в полнотекстовой форме. Коллективные усилия издателей и переводчиков в этом случае заранее вписаны в глобальную и труднооспоримую просветительскую задачу. Сложнее — с попытками формирования «малых» философских серий. Они ориентируются на то или иное понимание нашего философского сегодня. Поэтому издательский выбор здесь не может быть простой собирательной тактикой.

Журнал «Логос» начал выпуск серии книг по литературе и философии под названием «Пирамида». Абрис новой серии для меня еще не ясен. Впрочем, сказав это, я должна добавить: в моих глазах серия от этого пока не теряет. В

ее состав на сегодня вошли очень разные книги. Но общий мозаичный рисунок основания «Пирамиды» получился привлекательным. Оформил серию художник Андрей Бондаренко, дав ей несомненный шанс быть внешне узнаваемой. Книги пронумерованы, в 1995 — 1996 годах их вышло — семь. И я изберу самый простой способ представления — последовательно расскажу о каждой.

I. Итак, в основании пирамиды, под номером один, тиражом тысяча экземпляров — «Пифагорейские Золотые стихи с комментарием философа Гиерокла» (перевод с древнегреческого Ирины Петер). Этот небольшой стихотворный текст (составленный, по всей видимости, из отдельных строк, приписываемых пифагорейцам и цитируемых различными древними авторами) известен в нескольких вариантах русского перевода; существовал на русском языке и перевод комментария к Золотым стихам александрийского неоплатоника Гиерокла (дореволюционное издание под ред. Г. Малеванского). Новый перевод даже на первый и поверхностный взгляд отличается от предыдущих. В нем не эксплуатируется архаическая норма русского языка, которая, как кажется, уже срослась в нашем восприятии с древностью текста, создавая некую ауру и патетически вводя историческую дистанцию. Переводчица снимает патетику и косноязычие старых переводов, она стремится скорее к ясности в передаче пифагорейских сакральных предписаний и опирается при этом на сегодняшнюю культурную норму языка. Взглядам Гиерокла (статьи о котором вы не найдете ни в «Философском энциклопедическом словаре», ни в пятитомной «Философской энциклопедии») посвящена значительная часть предисловия к данному изданию.

II. Следующая книга серии, появляющаяся под № 4, опережая 2 и 3, носит имя «Слепой Эдип» и начинает подсерию «Литература». Наверное, что-то вразумительное по поводу этой работы способна сказать только «новая литературная критика», например в лице В. Курицына. Я же — затрудняюсь. Кажется — это некий деконструктивно-поэтико-философский манифест. Во всяком случае, как и все манифесты, он живет вдохновением: «Найти новые, невиданные до сих пор печати выражения, чтобы вновь оторваться от земли,

наподобие чудесного шара, падающего вверх, а не вниз, и так же мягко и невесомо возвращаться к ней. Это был бы новый человек — Angelus Novus». Можно ли, следуя рискованными путями великого нарушителя табу — Эдипа — вынашивать надежду встречи с Angelus Novus? Впрочем, по отношению к представленному в книге опыту — это вопрос человека постороннего и непосвященного.

III. В следующей книге серии — «Два текста о Вильгельме Дильтее» — представлены: седьмая глава из второй части работы Г. Шпета «История как проблема логики» (публикуется впервые, по рукописи из архива Г. Шпета; подготовлена к печати М. Литвинович и И. Чубаровым) и Кассельские доклады (1925) М. Хайдеггера (в переводе А. В. Михайлова). Заметим, что на русском языке Кассельские доклады Мартина Хайдеггера появились всего через два года после их первой публикации в Германии. О существовании машинописной расшифровки стенограммы докладов, прочитанных Хайдеггером в Кургессенском обществе искусства и науки, до 80-х годов не знали даже издатели хайдеггеровского полного собрания сочинений. Между тем в докладах, посвященных В. Дильтею, уже ясно обозначены отправные точки хайдеггеровского мышления, развернувшегося в знаменитом тексте «Бытия и времени».

Обстоятельное философское исследование Г. Шпета было посвящено проблеме методологии исторического знания, и Дильтей рассматривается им во второй части этой работы наряду с такими фигурами, как Кант, Шопенгауэр, Ницше, Вундт, Зигвард, Риккерт... Однако Дильтей, как признает Шпет, стоит особняком. Он — не систематический мыслитель. Скорее — создатель новых принципов, программ и планов, которые остались им самим не выполненными. Философ, не приобретший академически верных учеников. Впрочем, Густава Густавовича Шпета это обстоятельство скорее вдохновляло на поиск собственного метода и академические системные построения.

В ином соотношении стоят работа Вильгельма Дильтея и философствование Мартина Хайдеггера. Основную интуицию Дильтея Хайдеггер обозначает как «историческое мировоззрение». Кстати, в этой связи Хайдеггер упоминает еще одно (сегодня практически неупоминаемое даже в узких кругах оте-



чественных специалистов — историков философии) имя — граф Йорк фон Вартенбург. Переписка Йорка и Дильтея была впервые опубликована в 1923 году и произвела на современников большое впечатление. Некоторые даже сделали вывод, что работа Дильтея — не более чем попытка методически оформить выраженные, скорее, в художественной форме мысли графа Йорка об «исторической жизни» и «живой истории», о «жизненности», которая должна быть противоположена безжизненному метафизическому методу (см. примечания А. В. Михайлова). Эта радикальная интуиция руководит хайдеггеровскими философскими поисками. Как получить историчность — но не историческое, бытие — но не сущее, действительность — но не действительное? Дело Дильтея, как полагает Хайдеггер, может быть продолжено на путях феноменологии, способной проникать за любые определения — к самим вещам. В Кассельских докладах уже фактически сложился способ движения и своеобразный язык хайдеггеровского философствования, пластично переданный великолепным переводом Александра Викторовича Михайлова. (Михайлов готовил и перевод «Бытия и времени»; возможно, при заинтересованном содействии Комиссии по наследию А. В. Михайлова, мы сможем увидеть и этот его перевод. Он несомненно представлял бы огромный интерес даже в том случае, если он не завершен.)

IV. Философская эпоха, одним из истоков которой была работа Дильтея и которую Мартин Хайдеггер назвал «борьбой за историческое мировоззрение», пыталась осмыслить себя в том числе через отталкивание от гегелевской философии. Однако великие системы прошлого продолжают жить, причем жить двояко — как архивные ценности, к обозрению которых по дисциплинарной необходимости обращается академическая философия, и как опыт, с которым находит возможность работать современное мышление. Попытка актуального, учитывающего контекст нынешних дискуссий прочтения гегелевской философии права предпринимается в книге нидерландского профессора этики и современной философии Людвиг Хейде «Осуществление свободы» (ответственный редактор издания А. Доброхотов). Работа подробная, во многом носящая одновременно характер обстоятельной про-

педевтики, — попытка современного введения в гегелевскую философию права. Вывод и пафос ее, правда, вполне традиционны — «полное принятие конечного существования открывает путь к утверждению существования Бога». Л. Хейде полагает, что можно мыслить современно, будучи не «деструктивным», но «позитивным», сохраняя верность традиции греческого логоса: «Эта традиция логоса, которая у Гегеля достигает кульминационного пункта, оказывается тем, от чего едва ли можно избавиться, по крайней мере для того, кто еще хочет философствовать». И это, миролюбиво полагает профессор, не противоречит тому, что «на современной «философской сцене» господствуют, в основном, Хайдеггер, Ницше, Фрейд и Виттгенштейн». Он даже вполне посторонне-снисходителен к таким радикальным интерпретаторам традиции, как Мишель Фуко и Жак Деррида (в аргументацию которых он благоразумно не входит). В последней главе книги «Нравственное общество и действительность свободы» автор оказывается в наиболее проблематичных пределах гегелевского философствования. Он показывает, что, следуя путями гегелевского мышления, мы должны будем признать: «*Осуществление идеи свободы... прекращается, когда мы пересекаем границу определенного государства*». Из стремящейся сохранить себя индивидуальности государства проистекают и войны этих «суверенных образований». «В этом смысле война обладает некоторой разумностью, — констатирует современный интерпретатор Гегеля. — Это не что-то, обо что разбивается мышление». Л. Хейде предпочитает оставить это гегелевское противоречие «открытым»...

V. Две следующие книги серии, Бертрана Рассела «Введение в математическую философию» и С. Неретиной «Концептуализм Абеяра. Слово и текст в средневековой культуре», несомненно представляют профессиональный интерес для гуманитариев.

Работа Б. Рассела появилась на русском языке через девяносто лет после своего опубликования — боюсь, вместе с уведомлением о том, что фундаментальный труд Рассела-Уайтхеда «Principia Mathematica» отечественный читатель не получит никогда. Переводчик и автор предисловия В. Целищев ссылается на Рассела, полагавшего эту свою небольшую работу «адекватной «Principia Ma-

thematica» для образованной публики». «Введение...» — облегченный вариант первоисточника. Книгу украсило приложение, куда вошли отрывки из работы В. Куайна «Теория множеств и ее логика», статья Курта Геделя «Расселовская математическая логика», а также отрывки из книги Рассела «Мое философское развитие». В подборе материала составитель руководствовался идеей возможно полнее заочно представить «Principia...». Согласно расселовскому проекту, исследование логических оснований математики должно было «отраженным светом» прояснить и традиционные проблемы философии. Впрочем, с этой утопией современное философствование, похоже, рассталось.

VI. Книга известной исследовательницы средневековой философии Светланы Неретиной о поэте, философе и теологе XII века Абеяре — это попытка определить место Абеяра как уникальное, «спасти» мыслителя от неизбежного обезличивания традицией. Заявленный метод — текетологический анализ произведения — должен помочь «вскрыть под внешними языковыми структурами начала самоопределения человека, выраженные в речевой стихии». Такая экзистенциальная установка поддерживает веру автора в возможность сегодняшнего продуктивного для мысли «диалога» со средневековой культурой. Диалога, который может состояться благодаря обнаружению «личностного посыла» или, иначе говоря, индивидуального измерения философского опыта. Абеяровская идея «концепта» (в отличие от «понятия») связует начала этоса и логоса: «...когнитивные акты суждения у Абеяра... оказываются нагруженными актами нравственного суждения, и механизмы когнитивных актов... оказываются механизмами нравственных актов спасения». Книга написана на вдохновении открытия новых возможностей интерпретации средневековых текстов.

VII. Последняя из вышедших в серии «Пирамида» книг настроена к традиции (правда, прежде всего отечественной) не столь благодушно. Сборник работ Сергея Зимовца, поименованный «Молчание Герасима», пожалуй, способен несколько смутить академическое спокойствие гуманитариев. Одно дело — когда на страницах газет-однодневок хулиганят журналисты-публицисты, другое — когда за дело берутся предста-

вители самого «философского цеха». К ним счет другой. Но и выказать простой эмоциональный жест — раздраженного неприятия — здесь уже неуместно.

Предметы, на которых упражняет свое энергичное аналитическое мастерство С. Зимовец, многообразны. Однако собраны они по единству некой приметы. Они, как убежден автор, — «прирожденные нам культурные стереотипы. Онегин и Татьяна, Герасим и Муму, Ваня Солнцев, Буратино, Шариков и Швондер, Колобок, Белка и Стрелка, Мичурин, три Павла (Власов — Корчагин — Морозов), Чук и Гек...». Все это — символические конденсаты советской культурной топографии и именно в этом своем качестве подлежат жестко-рациональному распределению. Инструментом вивисекции становится терминология нового поколения гуманитарных наук — психоаналитическая, постструктуралистская, постмодернистская...

И вот когда этот мощный аналитический аппарат оказывается опрокинутым на привычные отечественные реалии, происходит удивительный комический эффект. Оцените: Герасим (анализируется известный рассказ И. Тургенева) «как субъект желания децентрируется, его нарциссическая самодостаточность разрушается нехваткой, которую он отныне будет стремиться восполнить, а власть будет контролировать и распределять это стремление, то есть фактически осуществлять доместикацию животного...». Или: «Желание Герасима теперь замыкается на Муму и делегирует ей свое либидо. Вместе с тем Муму является не только пространством инвестиций либидо, но и пространством инвестиций приобретенного Герасимом социального кода». Это странное, театрально-напряженное несоответствие ощущаешь на всем протяжении книги. Но когда ты уже готов поверить, что тебя смешат сознательно, автор вдруг перебивает свое замечательно ироничное изложение — серьезностью выводов.

Работа Зимовца претендует не на «концепт», но на концептуальность. Как обнаруживается, он пишет «фундаментальную историю русского — российского — мира». У его текстов есть сверхзадача — прояснить «социальную алхимию», традицию отечественной социальной инженерии. История Герасима оборачивается рассказом о безуспешной социализации героя, о труд-

ностях становления из животного (молчуна Герасима, которому еще не подарен первый признак социального воспризнания — новый кафтан, а с ним и надежда на подтверждение своей человеческой сущности — брак с прачкой Татьяной) — человека, а также о процессе обратном — традиционном для отечественных властных отношений низведении к животному. Герой катаевского «Сына полка», в свою очередь, оказывается чистым продуктом властной социализации по коллективистскому образцу. К физиологическим опытам И. Павлова тоже найден политический ключ. Его лаборатория видится Зимовцу как разновидность паноптикона Бентама — пространства репрессивной стратегии власти, организующей себе объект надзора по удобным ей законам...

У попытки «рациональной калькуляции» российских структур власти, осу-

ществляемой С. Зимовцом, есть и свой итог: в результате массивного применения современных западных техник анализа к автору незаметно подкрался и вывод — о неконвертируемости двух типов социальности — западного и российского. Один — прояснен рационально и закреплен в легальной норме, другой — действует анонимно и брутально. Прочие различия — тоже по дихотомическому признаку. Россия вновь оказалась бессознательным западной культуры. Автор предлагает и последний из возможных ее образов — складка-промежность.

Отточенный аналитический аппарат утилизировал все и вся. И довольно увлекательная языковая одиссея по русско-советскому культурному пространству закончилась для меня некоторой растерянностью перед простотой формулируемых выводов.

**Елена Ознобкина.**



---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Амброз Бирс.** Может ли быть? Избранные произведения. Предисловие Алексея Зверева. М. «Books chamber internation». 1995. 415 стр. 5000 экз.

Около пятидесяти рассказов известного американского прозаика Амброза Бирса (1842 — 1914).

**Поджо Браччолини.** Фацетии. Вступительная статья, перевод с итальянского А. Дживелегова. М. «Терра». 1996. 334 стр. 10 000 экз.

**Георгий Гачев.** Жизнь с мыслью. Книга счастливого человека (пока...). Исповедь. М. «ДИДИК» — «ТАНАИС — МТРК „Мир“». 1995. 494 стр. 5000 экз.

Из авторского вступления: «Идея книги проста. Я (человек) не могу ждать, пока человечество разрешит все проклятые вопросы, найдет истину и заживет по совести и счастливо в мировом масштабе... так что все это я должен сделать за свою жизнь... ее я сам должен переориентировать на истину и построить, чтоб по совести и счастливо. ...вот доклад о попытке так жить жизнь».

**Макс Жакоб.** Избранные стихи. Вступительная статья, перевод с французского, комментарии А. Смирновой. СПб. «ИНАПРЕСС». 1995. 256 стр.

**Трумен Капоте.** Другие голоса — другие комнаты. Голоса травы. Завтрак у Тиффани. Перевод с английского В. Голышева, С. Митиной. Предисловие В. Голышева. М. «Слово-SLOVO». 1995. 270 стр. 5000 экз.

**А. М. Ремизов.** Москва Алексея Ремизова. Автобиографическая проза. Рассказы. Сны. Исторические были-небыли. Встречи. Московские легенды. Взвихренная Русь. Составители Н. Попова, И. Попов. М. «КСТАТИ». 1996. 280 стр. 5000 экз.

**А. Чижевский.** В науке я прослыл поэтом... Стихотворения. Составление Л. Т. Энгельгардт. Вступительная статья В. А. Волкова. Калуга. «Золотая аллея». 1996. 272 стр. 6000 экз.

**В. Шаламов.** Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. Составление, примечания И. П. Сиротинской. М. «Республика». 1996. 480 стр.



**Михаил Ардов, Борис Ардов, Алексей Баталов.** Легендарная Ордынка. Сборник воспоминаний. СПб. «ИНАПРЕСС». 1995. 385 стр. 5000 экз.

Литературная и театральная Москва в жизни (быт, жильцы, гости) квартиры Н. А. Ольшевской и В. Е. Ардова. Значительная часть воспоминаний посвящена Анне Ахматовой. Воспоминания Михаила Ардова под тем же названием публиковались в «Новом мире» (1994, № 4 — 5).

**Воспоминания о Михаиле Зошенко.** Составление и подготовка текста Ю. В. Томашевского. СПб. «Художественная литература». 1995. 608 стр. 5000 экз.

Воспоминания К. Чуковского, К. Федина, В. Каверина, Д. Гранина, Ю. Нагибина, Д. Шостаковича, А. Райкина и других.

**Л. С. Выготский.** Мышление и речь. Психологическое исследование. М. «Лабиринт». 1996. 416 стр.

**П. П. Гнедич.** Всемирная история искусств. М. «Современник». 1996. 494 стр. 20 000 экз.

**Максимы и мысли узника Святой Елены.** Рукопись, найденная в бумагах Лас Каза. Перевод с французского, статья и комментарии С. Н. Искюля. СПб. «ИНАПРЕСС», 1995. 188 стр. 2000 экз.

Предполагается, что это подлинные записи, сделанные автором знаменитой книги «Мемориал Святой Елены» графом Лас Каза, в свое время добровольно последовавшим за Наполеоном в ссылку.



**Малые римские историки.** Веллей Патеркул. Римская история. Анней Флор. Две книги Римских войн. Луций Ампелий. Памятная книжица. Издание подготовлено А. И. Немировским. М. «Ладомир». 1996. 388 стр. 3000 экз.

**Монархи Европы.** Судьба династий. Редактор-составитель Н. В. Попов. М. «Республика». 1996. 624 стр. 11 000 экз.

По форме и содержанию — развернутый энциклопедический справочник по персонам и династиям. Богатый иконографический материал.

**Ида Наппельбаум.** Угол отражения. Краткие встречи долгой жизни. СПб. «Logos». 1995. 184 стр. 1000 экз.

**Александр Солженицын.** Публицистика. В трех томах. Том 2. Общественные заявления, письма, интервью. Составление и пояснения Н. Д. Солженицыной. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1996. 624 стр. 10 000 экз.

Тексты, представленные в хронологическом порядке, собраны в двух разделах: «В Советском Союзе (1965 — 1974)», «На Западе (1974 — 1981)».

**Граф М. В. Толстой.** Хранилище моей памяти. М. Издательство Спасо-Преображенского монастыря. 1995. 318 стр. 5000 экз.

Воспоминания о прожитых десятилетиях «в лицах» — краткие очерки о встреченных людях разных званий и сословий (врач, литератор, министр, игуменья, митрополит и другие), написанные известным литератором и историком церкви графом Михаилом Владимировичем Толстым (1812 — 1896). Печатаются по двухтомному изданию 1891 — 1893 годов.

**Иосиф Флавий.** Иудейские древности. В 2-х томах. Перевод с греческого Г. Г. Генкеля. М. «Крон-Пресс». 1996. 862 стр. 10 000 экз.

**Франсуа Рене де Шатобриан.** Замогильные записки. Перевод с французского Ольги Гринберг и Веры Мильчиной. Вступительная статья и примечания В. А. Мильчиной. М. Издательство имени Сабашниковых. 1995. 736 стр. 15 000 экз.

На сегодня самое полное издание автобиографической прозы Шатобриана; опущены главы, «где излагаются детали французской политической жизни, малопонятные современному читателю», и биография Наполеона, написанная Шатобрианом для «Замогильных записок». Содержание выпущенных глав дается в кратком пересказе. Кроме примечаний издание содержит обширный «Указатель имен».

**Александр Эткинд.** Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М. «ИЦ-Гарант». 1996. 413 стр. 5000 экз.

Составитель С. Костырко.



**Поздравляем наших постоянных авторов**

***ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА***

**И**

***АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА КУШНЕРА***

**с присуждением им Государственных премий  
Российской Федерации по литературе за 1996 год**

---

---

## ПЕРИОДИКА



*«Волга», «Вопросы литературы», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда», «Иностранная литература», «Континент», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Октябрь», «Юность»*

**А. Алтунян.** О собирателях земли русской. Жириновский как публицист. — «Вопросы литературы», 1996, № 2.

Анализ публицистического стиля Жириновского на примере его статьи «О собирательной роли России и молодых волках», опубликованной в газете «Известия» 23 апреля 1994 года. А. Алтунян — автор ряда работ по идейно-стилистическому анализу политических текстов.

**С. Боровиков.** В русском жанре — 9. — «Волга», 1996, № 1.

Продолжающийся цикл замет и размышлений литературного критика (и главного редактора саратовского журнала «Волга»). Иногда просто приводится любопытная цитата, например: «„Думу не распускают ввиду того, что она еще недостаточно навредила России” (из письма русского общественного деятеля К. Н. Пасхалова)».

**Леонид Бородин.** Однажды в отпуске. Рассказ. — «Юность», 1996, № 3.

Короткий рассказ. «Я плакал, потому что мне было жаль человечество. Я плакал по Риму, который первый, и по второму, и по Третьему, и по четвертому, которому уже не быти...»

**Зинаида Гиппиус.** Моя первая любовь. Рассказ. Предисловие Н. И. Осьмаковой. — «Континент», № 86 (1996).

Короткий автобиографический рассказ. Печатается по газете «Звено» (Париж) от 9 июня 1924 года.

**Уильям Голдинг.** Пирамида. Роман. Перевод с английского Е. Суриц. — «Иностранная литература», 1996, № 3.

Роман воспитания в традиционном понимании жанра. История первой любви. Сцены провинциальной жизни. Впервые издан в Англии в 1967 году.

**Я. Гордин.** Год 1843 — цена сомнений. — «Звезда», 1996, № 3.

«1843 год был особым годом в истории завоевания Кавказа...» Статья известного прозаика и публициста напечатана в новой рубрике журнала «Звезда» — «Россия и Кавказ».

**Ирина Грэм.** Орфический реквием. Тема и вариации в шести масках. — «Нева», 1996, № 3.

За персонажами повести «Орфический реквием» стоят реальные фигуры: Андре, Орфей — это композитор Артур Лурье; упоминаемая не раз Долороза — это Анна Ахматова; Жан — французский философ Жак Маритен. Под заголовком «Голос Орфея» в повести приводятся подлинные заметки Артура Лурье (оригиналы хранятся в библиотеке нью-йоркского Линкольн-Центра). Автор повести — Ирина Грэм — родилась в Италии, жила в Китае, в настоящее время проживает в США.

**Владимир Гусев.** «Свои»? — «Наш современник», 1996, № 4.

«Критику все эти десять лет писать неохота. Критика текущего литературного процесса предполагает, что есть этот процесс. Что он существует как нечто естественное, как любили говорить, органическое... А что сказать о «процессе» этих лет? Сами понимаете».

**Олег Давыдов.** Между Предславлем и Мырятиным. Стратегический дар Георгия Владимова. — «Независимая газета», 1996, № 20, 1 февраля.

«Дело в том, что роман Владимова вообще нельзя назвать историческим. ...надо сразу сказать, что реалии войны, которые все-таки присутствуют в тексте Владимова, представляют собой антураж, оттеняющий некие совершенно не связанные с войной события жизни писателя». На этой же полосе печатается статья Юрия Щеглова «Страх, с которым нужно бороться». Автор полемизирует с утверждением Анатолия Рыбакова, что роман «Генерал и его армия» есть апология измены и предательства. В то же время

Ю. Щеглов невысоко оценивает это произведение: «Странно, что ни Эмиль Кардин, ни Владимир Богомолов, ни Михаил Нехорошев не замечают очевидной неудачи, которая постигла Георгия Владимова при обрисовке образов генерала Власова и генерала Гудериана — двух поплавок, на которых держится «интересность» романа».

**Юрий Давыдов.** Победитель. Очерк. — «Континент», № 86 (1996).

О революционере Сергее Нечаеве. «Повторяю капитальное: уроженец Иванова, родины первого в мире совдепа, победил всерьез и надолго».

**Сергей Довлатов.** Жизнь коротка. Рассказ. — «Звезда», 1996, № 3.

Рассказ в России не публиковался. Печатается с уточнениями, по журналу «Время и мы», Нью-Йорк, 1988, № 102.

**Евгений Ермолин.** Провинциал. Игорь Дедков и его литературное поприще. — «Континент», № 86 (1996).

«В чем духовная суть момента, выразителем которой стал Игорь Дедков? Прежде всего это — бунт против мнимостей в литературе и в жизни. Бунт, который уместно считать восстанием против модернистского в своей основе художественно-политического проекта и соответствующей ему практики первой половины XX века. Это было отталкивание от официозных демагогии и лицемерия, от муляжных культуры и литературы соцреализма. Теперь бы мы сказали: советский проект вполне выявил свою демоническую природу, по определению лишённую самомалейшей подлинности... Но религиозная правда шестидесятничества состоит именно в попытке оттолкнуться от утопической мнимости, от советской дьяволиады — и нащупать что-то подлинное».

**Сьюзен Зонтаг.** Порнографическое воображение. Перевод с английского Б. Дубина. — «Вопросы литературы», 1996, № 2.

Эссе 1967 года американской исследовательницы С. Зонтаг сопровождается статьей Бориса Дубина: «...это текст не о физио- либо психопатологии, а о смысле и цене крайностей в культуре (и, в частности, в новейшей литературе)».

**Игорь Клех.** Диглоссия. — «Дружба народов», 1996, № 4.

«Я не хочу писать об эротике, но не вижу способа не писать о ней...»

**Виктор Козько.** Прохожий. Провинциальные фантазии. Перевел с белорусского автор. Послесловие Л. Аннинского. — «Дружба народов», 1996, № 4.

Про кота.

**Юрий Кувалдин.** Исповедь и покаяние. Как я издавал «Дневник» Юрия Нагибина. — «Независимая газета», 1996, № 67, 10 апреля.

«Он хотел издать «Дневник» при жизни, хотел, предчувствуя скандал, тем самым вызвать огонь на себя. Но провидение вмешалось, не позволило. Через две недели после того, как Нагибин передал мне рукопись, его не стало». Автор статьи — прозаик, директор издательства «Книжный сад».

**Юлия Латынина.** Повесть о благонравном мятежнике. — «Звезда», 1996, № 3.

«...С этими словами Фань Чжун взмахнул рукавами и прошептал заклинание — и что же? Перед чиновниками вместо тела мятежника лежала обыкновенная лягушка, только ростом с человека. Фань Чжун взмахнул рукавами еще раз, и лягушка уменьшилась до своего обычного размера.

— Знайте же, — сказал Фань Чжун, — что мятежник Ли на деле был не что иное, как оборотень-лягушка...»

**Элизабет Маркштейн.** Три словечка в постмодернистском контексте. — «Вопросы литературы», 1996, № 2.

Славистка, переводчица, преподавательница Венского университета Э. Маркштейн анализирует специфическое «постмодернистское» употребление слов «адекватность», «органичность», «аутентичность».

**Сергей Митрофанов.** Страх шестидесятника перед девяностыми. — «Независимая газета», 1996, № 75, 20 апреля.

Подзаголовок рецензии на сборник Евгения Евтушенко «Мое самое-самое» (М. ХГС. 1995) звучит так: «Его любили-любили, а он взял и постарел». «Однако сборник интересен прежде всего потому, — пишет рецензент, — что это уникальный документ — фактически автобиография человека, который всю жизнь отталкивался от своей страны, когда она была с ним, а потом оказался в пустоте, когда ее из-под ног его выдернули».

**Ольга Панченко.** Виктор Шкловский: Текст-миф-реальность. — «Дружба народов», 1996, № 4.

Фрагмент готовящейся к печати книги, состоящей из исследовательского текста и переписки Шкловского. В данном номере журнала печатаются письма к Юрию Тынянову, Борису Эйхенбауму, Эльзе Триоле. Почему-то с сокращениями.

**Петр Пермяков.** Марфа и правнуки. Старая сибирская быль. Предисловие Виктора Астафьева. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Главный редактор Роман Солнцев. Красноярск, 1996, № 1-2.

От автора: «Впервые дневник прадеда я прочел в возрасте 10 — 12 лет. Тогда я многого не разобрал, но понял, что это семейная реликвия и ее нужно бережно хранить. Недавно дневник снова попался мне на глаза... Мне показалось, что история, описанная в нем, будет интересна другим... Повествование ведется от имени моего прадеда Ивана Трофимовича».

**Жан Перро.** Чудесное путешествие Льюиса Кэрролла в царство русских сказок. Вступительная заметка и перевод с французского Сергея Фокина. — «Звезда», 1996, № 3.

Французский литературовед задается вопросом: почему именно в период невиданного успеха «Алисы в Стране чудес» Льюис Кэрролл решил предпринять первое и единственное в своей жизни заграничное путешествие — в Россию?

**Письма Р. В. Иванова-Разумника.** Публикация писем к Л. Л. Слонимской и примечания В. Г. Белоуса. Публикация писем к Б. Г. Зайцеву и примечания В. Г. Белоуса, Я. В. Леонтьева и Ж. Шерона. — «Звезда», 1996, № 3.

Письма 40-х годов известного литературного критика, историка общественной мысли, публициста. «Жить без «социальных интересов» — значит добровольно суживать круг своей жизни; это делали только великие люди второго сорта (имена же их многи суть), а все подлинно великие всегда жили всеми сторонами жизни» (из письма к Л. Л. Слонимской от 18 июня 1941 года). Публикации предшествует статья Владимира Белоуса «Духовное завещание Скифа».

**Евгений Пономарев.** Психология подонка. Герои Э. Лимонова и низовая культура. — «Звезда», 1996, № 3.

«Герои двух напумевших романов Лимонова поразительно похожи — Эдичка («Это я — Эдичка») и Оскар Худзински («Палач»). Сравнивая этих неутомимо философствующих героев, можно нащупать единую идеологию». Е. Р. Пономарев (род. в 1975 г.) — студент филологического факультета Санкт-Петербургского университета, публикуется впервые.

**Иван Шмелев.** Свет разума. Рассказ. Предисловие Елены Осьминой. — «Наш современник», 1996, № 4.

Гражданская война в Крыму. Главный герой — алуштинский дьякон, — вероятно, лицо невыдуманное. Рассказ написан в 1926 году, в эмиграции. Печатается по одноименному парижскому сборнику 1928 года.

Составитель **Андрей Василевский.**

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

### Август

25 лет назад — в № 8 за 1971 год напечатана повесть Юрия Трифонова «Долгое прощание».

30 лет назад — в № 8 за 1966 год напечатана повесть Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура».

40 лет назад — в № 8 за 1956 год началась публикация романа В. Дудинцева «Не хлебом единым».

70 лет назад — в № 8(9) за 1926 год напечатана поэма Бориса Пастернака «Лейтенант Шмидт», а также статья Владимира Маяковского «В мастерской стиха» с таким примечательным предисловием: «Редакция не разделяет некоторых мнений и оценок т. Маяковского. Но, признавая большой интерес за этой статьей, дает ей место на страницах «Нов. Мира», тем более, что литературная группа, от имени которой говорит т. Маяковский, не имеет ныне своего органа».



# SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Aleksei Alekhin, Tamara Zhirmunskaya, Evgeny Karasev and Igor Pomerantsev.

We are publishing the narrative «The Overtone» by Viktor Astafyev, as well as the ending of the novel «The Forty Years of Chanchzhoe» by Dmitry Lipskerov, three short stories by Yuri Buida and the short story «A Bell Caster's Life» by Fred Solyanov.

Two short stories by Antonio Tabucchi occupy the section «New Translations».

In the section «Publications and Reports» we are ending the article «Savinkov in Lubyanka» by Vitaly Shentalinsky.

The section «Writer's Diary» offers the essay «The Calendar» by Marina Novikova.

In the section «Book Review» Alena Zlobina reviews plays by Mikhail Uvarov; Tatyana Kasatkina reviews prosaic works by Dmitry Bakin; Olga Kuznetsova reviews poems by Sergei Gandlevsky; Yevgeny Peremyshlev reviews new translations of R. Kipling; Aleksandr Nosov reviews new dictionaries on Russian philosophy; Aleksei Zverev reviews a new dictionary on literary criticism.

In the section «Editor's Mail» we are publishing the work «Poetry as a State» by Mikhail Epshtein.

In the section «Briefly About Books» Aleksei Kozyrev and Yelena Oznobkina review new books on philosophy.

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, М. В. Бутов,  
А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин,  
А. А. Ким, Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко,  
Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко,  
П. А. Николаев, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов,  
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2  
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

---

Сдано в набор 20.04.96 г. Подписано к печати 21.06.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции  
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.  
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

---

Тираж 21 200 экз. Зак. 1895. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**ДО КОНЦА 1996 ГОДА И В 1997 ГОДУ  
«НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- С. С. АВЕРИНЦЕВ. **О слове в Откровении и слове в поэзии;**  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман, часть третья);  
 ИНГМАР БЕРГМАН. **Исповедальные беседы** (роман, перевод со шведского);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. **Жизнь без нас** (стихопроза);  
 В. БОГОМОЛОВ. **Алина** (повесть);  
 МИХАИЛ БУТОВ. **Свобода** (роман);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Дорога Бог знает куда** (повесть);  
 АНДРЕЙ ВОЛОС. **Собака** (рассказы);  
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. **Дневники** (перевод с польского);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. **Вечера с Петром Великим** (роман);  
 БОРИС ЕКИМОВ. **Очерки и рассказы;**  
 ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. **Путешествие к Набокову;**  
 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. **Рассказы;**  
 МИХАИЛ КУРАЕВ. **Возвращение из Ленинграда в Санкт-Петербург;**  
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. **Б. Б. и др.** (рассказы);  
 МАРИНА НОВИКОВА. **Ужасы** (продолжение статей «Маргиналы», «Соблазны», «Символы»);  
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Прохождение тени** (роман);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Грибники ходят с ножами** (повесть);  
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. **Morbus Kitahara** (роман, перевод с немецкого);  
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. **Маканин нового времени;**  
 ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. **Убегающий от печали** (из литературного наследия);  
 АНТОН УТКИН. **Хоровод** (роман);  
 АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ. **Чехов между верой и неверием;**  
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. **Золотая блесна** (северная проза);  
 НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ. **Переход Суворова через Альпы** (повесть в новеллах);  
 У. ШОУН. **Лихорадка** (повесть, перевод с английского);

а также новые произведения СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**